95884

XXV 1/4.

27 NOV 2002

891.709
1941 г.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО

ТОМЪ I

1810 г.—1827 г.

ИЗДАНІЕ

Графа С. Д. Шереметева

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. О., 2 л., 7.

1878

(426)

1946 Ъ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

КРИТИЧЕСКІЕ и БІОГРАФИЧЕСКІЕ

ОЧЕРКИ

ТОМЪ I

1810 г.—1827 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л., 7.
1878

Главнымъ пособіемъ при собраніи прозаическихъ сочиненій князя Петра Андреевича Вяземскаго послужилъ библіографическій трудъ С. И. Пономарева: *Матеріалы для полнаго изданія сочиненій Князя П. А. Вяземскаго, въ память шестидесятилѣтія его литературной дѣятельности 1808—1868.* Списокъ прозаическихъ сочиненій покойнаго князя Петра Андреевича составляетъ вторую часть этого труда.

По указанію этого списка, изъ нашихъ старыхъ журналовъ извлечены всѣ статьи князя Вяземскаго, которыя затѣмъ пересмотрѣны были въ Гомбургѣ самимъ авторомъ и снабжены его замѣчаніями. Автобіографическое введеніе, которымъ начинается это изданіе, доставлено въ Петербургъ весною нынѣшняго года.

Къ участію въ настоящемъ изданіи князь Петръ Андреевичъ письменно пригласилъ: Я. К. Грота, А. Ѳ. Бычкова, покойнаго А. В. Никитенко и Н. П. Барсукова, при-чемъ послѣдняго назначилъ, по собственному его выраженію, „особеннымъ душеприкащикомъ и издателемъ своего домочадства“.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Автобіографическое введеніе	I—LX
I. (1810) Запросы господину Василію Жуковскому отъ современниковъ и потомковъ	1— 2
II. (1810) Письмо къ К. Н. Батюшкову	3— 9
III. (1815) Письмо съ Липецкихъ водъ	10— 14
IV. (1816) О Державинѣ	15— 21
V. (1817) О собраніи Русскихъ народныхъ пѣсней	22— 23
VI. (1817) О жизни и сочиненіяхъ В. А. Озерова	24— 60
VII. (1818) О письмѣ Екатерины II къ Сумарокову	61— 64
VIII. (1819) О новыхъ письмахъ Вольтера	65— 70
IX. (1821) Объ изданіи стихотвореній В. Л. Пушкина . . .	71— 72
X. (1822) О Кавказскомъ плѣнникѣ, повѣсть соч. А. Пушкина.	73— 78
XI. (1822) О біографическомъ похвальномъ словѣ г-жѣ Сталь-Гольстейнъ	79— 83
XII. (1822) О двухъ статьяхъ, напечатанныхъ въ Вѣстникѣ Европы.	14— 95
XIII. (1822) Grammaire italienne simplifiée et reduite à 24 leçons, par M-r M. F. Valerio	96— 97
XIV. (1823) Письмо къ издателю Сына Отечества	98—100
XV. (1823) Замѣчанія на краткое обозрѣніе Русской Литературы 1822 года	101—109
XVI. (1823) Нѣсколько словъ о буквѣ С	110—111
XVII. (1823) Извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева.	112—166
XVIII. (1824) Разговоръ между издателемъ и классикомъ. . .	167—173
XIX. (1824) Нѣсколько вынужденныхъ словъ	174—177
XX. (1825) Жуковскій.—Пушкинъ.—О новой піитикѣ басенъ.	178—185
XXI. (1825) Чернецъ. Соч. Ивана Козлова	185—192

XXII. (1825) О разборѣ трехъ статей, помѣщенныхъ въ запискахъ Наполеона . . . . . 193—197
XXIII. (1825) Письмо въ Парижъ . . . . . 198—205
XXIV. (1826) Записки графини Жанлисъ . . . . . 206—215
XXV. (1826) Нѣсколько словъ о г. Гульяновѣ . . . . . 216—218
XXVI. (1826—1827) Письма изъ Парижа. . . . . 219—259
XXVII. (1827) Сочиненіе въ прозѣ В. Жуковскаго . . . . . 260—269
XXVIII. (1827) О злоупотребленіи словъ. . . . . 270—281
XXIX. (1827) Журналистика. . . . . 282—290
XXX. (1827) Тальма . . . . . 291—312
XXXI. (1827) Цыганы. Поэма Пушкина . . . . . 313—325
XXXII. (1827) Сонеты Мицкевича . . . . . 326—336
XXXIII. (1827) Сонеты Крымскіе . . . . . 336—348
XXXIV. (1827) Графъ Марковъ . . . . . 349—355

АВТОБІОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНІЕ.

Вѣроятно, никто болѣе меня не удивится появленію въ печати полнаго собранія всего написаннаго мною въ прозѣ, въ теченіи шестидесятилѣтія и болѣе. Это уже не въ чужомъ, а въ собственномъ пиру похмѣлье. Впрочемъ, голова моя, кажется, крѣпка: чернилами до-пьяна я никогда не упивался.

Въ наше скороспѣлое и торопливое время такое позднее появленіе довольно любопытно. У насъ издаются книги только-что вчера дописанныя; листы высохнуть еще не успѣли: кажется, не только у насъ, но и вездѣ, иные издаютъ книги, которыя только завтра напишутся, а пока спѣшатъ издать въ свѣтъ пробные листы. Что до меня касается, слѣдуетъ еще замѣтить, что предлагаемое нынѣ собраніе сочиненій моихъ предпринято не по моему почину и такъ-сказать отъ меня заочно. Благопріятели предложили, а я согласился. Какъ и почему согласился я, читателямъ и публикѣ знать въ подробности не нужно. Это дѣло домашнее. Впрочемъ, не одинъ разъ друзья мои убѣждали меня собрать и издать себя. Кажется, и постороннія лица, и даже литтературные недоброжелатели мои, удивлялись, съ примѣсью нѣкотораго сожалѣнія, что нѣтъ меня на книжномъ рынкѣ. Дѣло въ томъ: въ старое время, то-есть когда былъ я молодъ, было мнѣ просто не до того. Жизнь сама по себѣ выходила скоропечатными листками. Типографія была тутъ въ сторонѣ, была не при чемъ. Вообще я себя расточалъ, а оглядываться и собирать себя не думалъ. Далѣе, когда дѣятельность литтературы нашей начала сходить съ пути, по кото-

рому я слѣдовалъ, и приняла иное направленіе, на вызовъ издать написанное мною и разбросанное по журналамъ, отвѣчалъ я: „теперь поздно и рано“. *Поздно*—потому, что желѣзо остыло, а должно ковать желѣзо, пока оно горячо, то-есть, пока участіе читателей еще живо и сочувственно, пока не развлеклось оно новыми именами, новыми пріемами. *Рано*—потому, что не настала еще пора, когда старое такъ состарится, что можетъ показаться новымъ и молодымъ. По неизмѣнному житейскому порядку и круговращенію, такъ бываетъ во многомъ: жизнь и исторія на лицо—онѣ засвидѣтельствуютъ правду этихъ словъ. Легко можетъ статься, что многое изъ нынѣ животрепещущаго и господствующаго не переживетъ вѣка и дня своего. Другое, нынѣ старое и забытое, можетъ очнуться позднѣе. Оно будетъ источникомъ добросовѣстныхъ изысканій, училищемъ, въ которомъ новыя поколѣнія могутъ почерпать если не уроки, не образцы, то преданія, нелишенныя занимательности и цѣнности не только для новаго, настоящаго, но и для будущаго. Слова: прошедшее, настоящее, будущее—имѣютъ значеніе условное и переносное. Всякое настоящее было когда-то будущимъ и это будущее обратится въ прошедшее. Иное старое можетъ оставаться въ сторонѣ и въ забвеніи; но тутъ нѣтъ еще доказательства, что оно устарѣло; оно только вышло изъ употребленія. Это такъ, но запросъ на него можетъ возродиться. Антикваріи, продавцы старой мебели, старой утвари также удачно торгуютъ старьемъ, какъ и сосѣдняя съ ними лавка сбываетъ свой свѣжій и по послѣднему требованію изготовленный товаръ. Одно здѣсь условіе: старое должно имѣть свою внутреннюю и вѣсовую, или художественную цѣнность. Въ такомъ товарѣ есть большая, неувядаемая живучесть. Отлагая въ сторону стыдливую скромность и не подвергая себя упрекамъ въ излишней гордости, полагаю, что предлагаемый здѣсь товаръ не лишенъ, въ нѣкоторой степени, того и другаго свойства. Слѣдовательно, и моя рѣчь впереди. Стоитъ только дождаться удобнаго часа, а онъ пробьетъ уже безъ меня, но пробьетъ. Впрочемъ, нѣкогда и я имѣлъ свой часъ, и часы били еще съ трезвономъ и курантиками. Поздняя старость имѣетъ право говорить о себѣ въ

третьемъ лицѣ. Старикъ въ собственныхъ глазахъ своихъ уже не *я*, а *онъ*. Въ такихъ условіяхъ выхожу предъ общественное судилище. Доволенъ буду я и малочисленнымъ одобрительнымъ вниманіемъ нѣкоторыхъ читателей; равнодушенъ буду, — по крайней мѣрѣ, такъ мнѣ кажется, пока я еще въ кулисахъ и на сцену не вышелъ, — къ строгимъ приговорамъ другихъ судей, тѣмъ болѣе, что этотъ судъ будетъ что-то въ родѣ посмертнаго суда. Меня вполнѣ живаго онъ уже не застигнетъ. На долгомъ вѣку моемъ былъ я обстрѣлянъ и крупными похвалами и крупною бранью. Всего было довольно. Выдержалъ я испытаніе и *заговора молчанія*, который устроили противъ меня. Я былъ отпѣтъ: кругомъ могилы моей, въ которую меня живаго зарыли, глубокое молчаніе. Что же? Все ничего. Не раздобрѣлъ, не раздулся я отъ первыхъ, не похудѣлъ — отъ другихъ. Натура одарила меня большою живучестью и тѣлесною и внутреннею. Это можетъ-быть досадно противникамъ моимъ. Прошу у нихъ въ томъ прощенія, но дѣлать мнѣ нечего. Я здоровъ своимъ здоровьемъ и боленъ своими болѣзнями. Чужіе не могутъ придать мнѣ здоровья, не могутъ со стороны привить мнѣ и недуги. Злокачественныя повѣтрія и наитія безсильны надо мною.

Какъ бы то ни было, вотъ являюсь я весь на лицо. Былъ старый чиновникъ; онъ прошелъ долголѣтнее служеніе и получилъ заслуженные имъ знаки отличія. Но онъ не носилъ на себѣ этихъ знаковъ, не развѣшивалъ ихъ на шеѣ и груди своей. Онъ держалъ ихъ за образомъ, предъ которымъ теплилась неугасимая лампада. Онъ берегъ эти кресты на день погребенія своего. Безъ суевѣрія и страха, сдается иногда и мнѣ, что я выступаю съ литературными регаліями своими на прощаніе съ авторскою жизнію и со всякою другою. Эти регаліи улягутся на подушкахъ, которыя будутъ сопровождать мой гробъ. Миръ имъ и мнѣ!.. Скажу, что́ Карамзинъ сказалъ въ надгробной надписи, въ 1792 году, въ годъ рожденія моего; это также живая старина:

Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра.

Я вѣрую въ утро и воскресеніе мертвыхъ, слѣдовательно, и въ свое.

I.

Заговоривъ о себѣ немножко, хочется поговорить еще болѣе. Чернила соблазнительны. Они имѣютъ нѣчто общее съ виномъ, чтобы не сказать съ кровью. Пьяница можетъ на нѣкоторое время наложить на себя трезвое пощенье; но попадись на языкъ его капля вина, онъ снова предается запою. Такъ первая капля крови дѣйствуетъ на нѣкоторыхъ звѣрей, къ сожалѣнію, и на нѣкоторыхъ людей. Эта капля пробуждаетъ свойственную имъ кровожадность. Не даромъ говорилъ Фридрихъ Великій, что въ каждомъ человѣкѣ таится тигръ. Ему вѣрить можно. Онъ, въ свое время, былъ и великій проливатель крови и великій проливатель чернилъ. Радуюсь, что судьба поставила меня въ возможность подражать ему только въ послѣднемъ отношеніи.

Вотъ въ чемъ дѣло. Полное изданіе сочиненій писателя есть, такъ-сказать, и выставка жизни его. Къ выставкамъ прилагаются обыкновенно указатели и пояснительные каталоги. Такъ хочется поступить и мнѣ. Къ выставкѣ моей считаю не лишнимъ приложить нѣкоторыя отмѣтки и комментаріи. Это будетъ родъ авторской исповѣди: смѣсь свидѣтельства о рожденіи, литературнаго формулярнаго списка и предсмертнаго духовнаго завѣщанія. Самъ не знаю, что́ изъ всего этого выйдетъ. Но что-нибудь да выйдетъ. Дамъ волю памяти своей и старческой болтливости.

II.

Съ тѣхъ поръ, что помню себя, во мнѣ проявлялись и копошились какіе-то безсознательные зародыши литературные и авторскіе. Напримѣръ, во время оно, *Московскія Вѣдомости* выходили два раза въ недѣлю, по средамъ и субботамъ. Я всегда караулилъ появленіе ихъ въ домѣ нашемъ и съ жадностію кидался на нихъ. Но искалъ я не политическихъ извѣстій, а стихотвореній, которыя въ нихъ изрѣдка печатались.

Болѣе всего привлекали меня объявленія книгопродавцевъ о выходящихъ книгахъ. Читалъ я эти объявленія съ любопытствомъ и благоговѣніемъ, тѣмъ болѣе, что объявленія писались тогда витіевато и кудряво. Бывали еще объявленія отъ переводчиковъ, которые предостерегали совмѣстниковъ своихъ, чтобы они не брались за переводъ такого-то романа, потому что онъ уже переводится и скоро поступитъ въ продажу: эти объявленія заставляли трепетать мое сердце. Я завидывалъ счастливцамъ, которые переводятъ. Должно сознаться, что не одни книжныя оповѣщенія обращали дѣтское вниманіе мое. Въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* зачитывался я и прейсъ-курантовъ виноторговцевъ, особенно нравились мнѣ поэтическія прозванія нѣкоторыхъ винъ, напримѣръ, Lacryma-Christi и другія, равно благозвучныя. Тутъ, можетъ-быть, пробуждалась и звенѣла моя поэтическая струна, а можетъ-быть просто, но все-таки поэтически, отзывалось предвкусіе, или предчувствіе, что нѣкогда буду и я съ пріятелями моими, Денисомъ Давыдовымъ и графомъ Михаиломъ Вьельгорскимъ, неравнодушнымъ цѣнителемъ благороднаго сока виноградныхъ кистей. За давностію времени, не берусь рѣшить, кто тогда бралъ верхъ надо мною: Аполлонъ или Вакхъ. Помнится мнѣ, что еще прежде находилъ я удовольствіе и даже наслажденіе въ первоначальномъ чтеніи по складамъ. Сочетаніе азбучныхъ буквъ въ одинъ звукъ ласкало мой музыкальный слухъ. Вообще, дѣтская память моя очень чутка. За послѣдующіе годы она слабѣе и безотвѣтнѣе. Помню, какъ дядька мой, Lapierre, сѣкалъ меня, четырехъ-или пятилѣтняго мальчика, бритвеннымъ ремнемъ въ Нижегородскомъ генералъ-губернаторскомъ домѣ. Лѣтъ тридцать спустя, если не болѣе, заходилъ я въ этотъ домъ, и, кажется, узнавалъ комнату, въ которой совершалась экзекуція надо мною, и припоминалъ ее вовсе безъ злопамятства. Да, милостивые государи, меня сѣкли ремнемъ, и послѣ нѣсколько разъ сѣкали розгами, однажды, и собственными руками отца моего, за персикъ, который я тайно присвоилъ себѣ и съѣлъ. Впрочемъ, не за лакомство свое былъ я наказанъ, а за ложь, то-есть за то, что не хотѣлъ признаться въ проступкѣ своемъ. Мнѣ было тогда лѣтъ восемь или девять.

Не помню, плакалъ ли я подъ розгами, но помню слезы на глазахъ отца. Сознаюсь въ томъ и убѣжденъ я, что эти наказанія нисколько не унизили характера моего. О наказаніяхъ много нынѣ толкуютъ, но не доходятъ до того заключенія, что почти всѣ наказанія свойства болѣе или менѣе физическаго или тѣлеснаго. Содержаніе въ тюрьмѣ, ограниченіе пищи, приневоливаніе къ работамъ: развѣ все это нравственныя наказанія? Нѣтъ, это тѣ же розги, бичующія тѣло. Странныя понятія и умозаключенія нашихъ филантроповъ. Они допускаютъ нравственныя наказанія: униженіе, пристыженіе самолюбія и достоинства человѣка, гласное, публичное посрамленіе, ошельмованіе человѣка; но крѣпко стоятъ за неприкосновенность тѣла: спины его и другихъ частей. Но развѣ тѣло почетнѣе и выше нравственныхъ и духовныхъ свойствъ человѣка? Сколько несостоятельности, неблагоразумія, противорѣчій въ человѣческихъ понятіяхъ и соображеніяхъ! Какъ много суемыслія и суесловія въ иныхъ *принципахъ*, въ такъ-называемыхъ системахъ и ученіяхъ. Въ учебныхъ заведеніяхъ средняго разряда тѣлесныя наказанія торжественно отмѣнены. Это событіе празднуютъ, какъ погашеніе огней инквизиціи въ Испаніи, или взятіе и разрушеніе Бастиліи въ Парижѣ. Не спорю, что, можетъ-быть, бывали, даже и положительно бывали, злоупотребленія въ правѣ и обычаѣ подвергать учениковъ тѣлеснымъ наказаніямъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что эти злоупотребленія бывали рѣдки: бывали прискорбнымъ исключеніемъ, а не общимъ правиломъ. Впрочемъ, вспыльчивый, заносчивый, раздражительный, несправедливый учитель и наставникъ могутъ и невооруженные розгами пагубно дѣйствовать на учениковъ, ввѣренныхъ заботливости ихъ. Могутъ они оскорблять ихъ и зарождать въ нихъ чувства непокорства и злобы одними обидными словами, однимъ суровымъ и безпощаднымъ обращеніемъ съ этимъ чуткимъ, впечатлительнымъ и часто злопамятнымъ возрастомъ. Но за то нынѣ, при новыхъ порядкахъ, за шалость, которая, въ доброе старое время, вызвала бы на шалуна домашнюю, семейную, патріархальную расправу, въ увѣренности, по русской поговоркѣ, что до свадьбы заживетъ, нынѣ, вмѣсто розогъ, и за неимѣ-

ніемъ другихъ подъ руками средствъ, отрока-шалуна выгоняютъ и исключаютъ изъ заведенія, то-есть разомъ губятъ его настоящее и будущее его. Родители, отдавая дѣтей своихъ въ училища, въ правѣ предполагать, что эти заведенія не только учебныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ воспитательныя и образовательныя. Они, такъ-сказать, передаютъ начальству заведенія обязанности и права свои въ отношеніи къ своимъ дѣтямъ. Какой добросовѣстный и благоразумный, не говорю уже чадолюбивый и нѣжный, отецъ рѣшится за шалость, и даже за проступокъ, выгнать сына своего изъ родительскаго дома и бросить его на улицу? Такимъ поступкомъ доказалъ бы онъ, что не умѣетъ быть отцемъ и не достоинъ быть отцемъ. На то и дѣти и отроки, на то и обязательное попеченіе о нихъ, чтобы мѣрами нѣжной и неусыпной наблюдательности и строгаго взысканія развивать въ отрочествѣ зародыши и отрасли всего хорошаго и отсѣкать—безъ каламбура—худые и пагубные отпрыски и наросты. Само собою разумѣется, что о жестокости въ наказаніяхъ здѣсь и рѣчи быть не можетъ. Такая жестокость, явно уличенная, должна быть строго преслѣдуема и караема закономъ, какъ въ домашнемъ, такъ и во внѣдомашнемъ воспитаніи, подобно тому, какъ взыскивается закономъ за всякое умышленное насильство, или увѣчье, нанесенное другому. Въ краткое и, откровенно сознаю, почти безполезное прехожденіе мое по министерству просвѣщенія, я всегда, по возможности, протестовалъ противъ подобныхъ изгнаній изъ учебныхъ заведеній. Чтобы не приписывали мнѣ болѣе того, что́ я дѣйствительно думаю, нужнымъ считаю договорить, что вовсе не выставляю себя присяжнымъ защитникомъ розогъ. Не полагаю, что въ нихъ заключается единственно спасительное пособіе воспитанія; но также не полагаю, чтобы совершенная отмѣна ихъ была вполнѣ плодотворная и радикальная мѣра. Разумѣется, послѣ отмѣны ихъ, мудрено и, можетъ-быть, опасно возвратиться къ нимъ. Но человѣческій родъ такъ созданъ, что для многихъ и во всѣхъ возрастахъ страхъ наказанія нуженъ. Если достаточно было бы благодѣтельной силы слова, чтобы человѣка вполнѣ пріучить къ одному добру и отучить отъ всякаго зла,

то, кажется, лучше евангелія уже ничего придумать нельзя. Но и оно не всѣхъ направляетъ и не всѣхъ исправляетъ, а потому позволю себѣ сказать въ заключеніе, что педагогіи и нынѣ не слѣдуетъ, по этому вопросу, отдохнуть на лаврахъ своихъ и притупившихся розгахъ. Сей вопросъ, какъ говорится, остается пока еще открытымъ. Многое можно сказать *за* и многое *противъ*.

Вообще, въ дѣтствѣ моемъ учился я лѣниво и разсѣянно. Во мнѣ не было никакого прилежанія и послѣ мало было усидчивости. Въ умѣ моемъ нѣтъ свойства устойчивости. Мой отецъ, вѣроятно, замѣтившій этотъ умственный недостатокъ, хотѣлъ одолѣть его и подчинить дисциплинѣ математическаго ученія. Хотѣлъ угомонить меня, такъ-сказать выпрямить и отрезвить въ умственной гимнастикѣ цифръ. Но усилія его были напрасны. Я не поддавался. Математика въ дѣтствѣ и отрочествѣ моемъ была мнѣ пугаломъ. Позднѣе, осталась она для меня тарабарскою грамотою. Не смотря на то, многіе изъ зрѣлыхъ годовъ жизни моей провелъ я по вѣдомству цифирному: то по дѣламъ внѣшней торговли, то по управленію государственнымъ заемнымъ банкомъ; по счастію, ни тутъ, ни тамъ при мнѣ обмолвки въ итогахъ не было. Богъ охраняетъ невинность. Такія встрѣчаются въ жизни противорѣчія и несоотвѣтственности. Родитель мой хотѣлъ сдѣлать изъ меня математика, судьба сдѣлала меня стихотворцемъ, не говорю: поэтомъ, ради страха іудейскаго и изъ уваженія къ критикамъ моимъ, которые заключили, что я не совсѣмъ поэтъ, или совсѣмъ не поэтъ. Кажется, они тоже говорятъ и о Дмитріевѣ. Это меня утѣшаетъ. Кстати, о немъ. Онъ, бывало, говорилъ, шутя, что Аполлонъ внушилъ мнѣ страсть къ стихамъ на зло отцу моему и въ отмщеніе однофамильцу нашему, екатерининскому кн. Вяземскому, за то, что онъ преслѣдовалъ Державина. Отца огорчала моя разсѣянность или *развлекательность*: она была еще сильнѣе лѣни моей. Впрочемъ, это была, можетъ-быть, одна внѣшняя лѣнь, которая закрывала мою внутреннюю дѣятельность. Отецъ упрекалъ меня, что когда я возьму книгу въ руки, то начну читать ее безъ разбора, то съ середины, то съ конца, и по-

этому безъ толка и безъ пользы. Замѣчаніе его должно быть справедливо, потому что и позднѣе читалъ я болѣе урывками. Въ жизни моей я очень многое прочелъ, но мало дочиталъ. И нынѣ у меня нерѣдко двѣ-три книги перебиваютъ одна другую. Вообще, я довольно смѣтливъ: изъ нѣсколькихъ страницъ постигаю сущность книги, и часто отрываюсь отъ пищи, не дождавшись насыщенія. Такъ можно обращаться съ романами, особенно съ нашими, и вообще съ книгами легкаго содержанія. Съ другими книгами подобное обращеніе невыгодно. Но я всегда предпочитаю занятіе труду. Это также—погрѣшность и недостатокъ. Безъ труда ни до чего положительно и обстоятельно не дойдешь. Есть древняя поговорка: „Смертный, скользи, а не напирай“. Эта поговорка эпикурейская. Болѣе строгая и глубокая мудрость, напротивъ, предписываетъ: напирай! Постоянный напоръ одолѣваетъ препятствія, а на каждомъ пути, предстоящемъ человѣку, препятствія встрѣчаются. Вообще, могу сказать о школярномъ возрастѣ своемъ и о послѣдовавшихъ возрастахъ, что я зналъ и знаю многое, чего можно было бы и не знать, а многое не знаю, что̀ знать необходимо. Если не ошибаюсь, этотъ недостатокъ правильной экономіи, эта неурядица нерѣдко встрѣчаются въ общей нынѣшней образованности. Предметы знанія до безконечности умногосложились, а едва ли трудолюбіе усилилось соразмѣрно съ ними.

Въ дѣтствѣ моемъ, вѣроятно, былъ я не *серьёзное* дитя, а скорѣе нѣсколько угрюмое. Ловкости, удальства, рѣзвости во мнѣ не было. Старикъ Pingot, нашъ танцмейстеръ, говаривалъ, что я мѣшокъ. Не помню, чтобы я когда-нибудь съ увлеченіемъ предавался дѣтскимъ играмъ. Братьевъ у меня не было, слѣдовательно, въ домѣ я былъ довольно одинокъ. Дядькѣ моему, Никитѣ, который впослѣдствіи сдѣлался ужаснымъ пьяницей и забавлялъ Жуковскаго, любилъ я передавать осколки изъ разговоровъ, подслушанныхъ мною у отца моего. Вѣроятно, ни дядька, ни я не понимали толково и хорошо этихъ выдержекъ. Но, можетъ-быть, и тутъ уже прорывались нѣкоторые намеки на свойственную мнѣ наблюдательность и на развитіе

способностей моихъ въ упражненіяхъ литературнаго сыщика и общежитейскаго сплетника.

Отецъ былъ со мною взыскателенъ и строгъ. Я болѣе боялся, нежели любилъ его. Любовь моя и уваженіе къ нему были, такъ-сказать, чувствомъ и плодомъ посмертнымъ. Я былъ вообще неуступчивъ и парадоксаленъ. Однажды замѣтили мнѣ за обѣдомъ, что я съѣлъ много хлѣба и много выпилъ воды. На это возразилъ я, что остаются еще при мнѣ крохи хлѣба и что графинъ не совершенно опустѣлъ. Отецъ приказалъ оставить для завтрашняго дня на прокормленіе и потребленіе мое то, что̀ называлъ я остатками. Былъ я довольно трусливъ, и, вѣроятно, уже и тогда нервическаго сложенія. Отецъ хотѣлъ побѣдить во мнѣ и этотъ недостатокъ. Меня заставляли одного барахтаться въ Остафьевскомъ пруду, съ тѣмъ, чтобы выучился я плавать. Лѣтомъ, въ темную ночь, посылали меня одного въ рощу. Разумѣется, на всякій случай, слѣдили за мною, но тогда я этого не зналъ.

Между тѣмъ, отношенія мои къ отцу не всегда бывали такъ натянуты и строги. Помню, что онъ часто смѣялся моимъ дѣтскимъ устнымъ выходкамъ. Вѣроятно, были и онѣ проблески нѣкоторой стороны будущаго авторства моего. Рѣчь моя была иногда довольно бойка и оригинальна. Помню, что изъ многочисленныхъ посѣтителей дома нашего, умнѣйшіе, напримѣръ, князь Бѣлосельскій, Нелединскій, графъ Левъ Разумовскій, князь Яковъ Лобановъ, обращались ко мнѣ, вызывая на какую-нибудь шутку или дѣтскую остроту. Выше сказалъ я, что учился плохо въ дѣтской комнатѣ; но за то рано началъ я практическое ученіе въ салонѣ нашемъ: мѣтко вслушивался я въ разговоры, которые раздавались вокругъ меня. Въ этомъ отношеніи домъ нашъ былъ для меня живою школою. Разумѣется, многаго изъ разговоровъ не понималъ я, иное понималъ криво. Но все же кое-что схватывалъ. Такимъ образомъ мой умъ могъ развиться довольно рано, хотя и не совсѣмъ правильно.

Также рано началъ я писать стихи и, здѣсь можно сказать, совсѣмъ неправильно. Первоначальные стихи мои были Французскіе. Видно, что эта способность моя была гласно призна-

ваема и дома. При подаркѣ на новый годъ карманной книжки отцу съ тремя портретами нашими вызвали меня приложить стихи къ этому поднесенію. Замѣтимъ мимоходомъ, что эти портреты писаны были графомъ Кзавье де Месромъ, извѣстнымъ послѣ авторомъ „Путешествія кругомъ комнаты моей“, „Сибирячки“ и другихъ сочиненій, исполненныхъ дарованія и оригинальной прелести. Тогда жилъ онъ въ Москвѣ эмигрантомъ и занимался живописью для снисканія средствъ къ существованію.

Въ 1805 году написалъ я Французскіе стихи на смерть Нельсона. Нечего и говорить, что все это было болѣе или менѣе безграмотно. Но червякъ стихотворства уже шевелился во мнѣ. Правильно, или, по-крайней-мѣрѣ, правильнѣе сталъ я писать гораздо позднѣе. Едва ли не со времени сближенія моего съ Жуковскимъ. Послѣ слышалъ я отъ прежнихъ учителей своихъ, что я казался совершенно тупымъ и будто отсутствующимъ при преподаваніи ихъ; но если когда-нибудь, въ урокѣ или въ книгѣ, приводились стихи или рѣчь заходила о чемъ-то баснословномъ и поэтическомъ, то вниманіе мое внезапно просыпалось и сосредоточивалось. Лицо мое просіяетъ, и я становлюсь совершенно другимъ мальчикомъ.

Впервые слышанныя мною оды Ломоносова приводили меня въ упоеніе. Не вникалъ я въ ихъ смыслъ, но съ трепетомъ заслушивался я стройныхъ и звучныхъ ихъ волнъ. Отъ Державина былъ я безъ ума. Коротко знакомый Карамзину, Ив. Сем. Набоковъ, газетный цензоръ при Московскомъ Почтамтѣ, былъ часто жертвою моей державиноманіи. При удобномъ случаѣ, то и дѣло отпускалъ я ему строфы изъ поэмъ Державина. Разъ онъ не вытерпѣлъ и сказалъ мнѣ: вы удивительно напоминаете мнѣ пріятеля моего, который ужасно надоѣдалъ мнѣ Державиномъ. Монологи и сцены изъ трагедій Расина и Вольтера, которые мнѣ давали выучивать наизусть, были для меня и прежде не уроками, а наслажденіемъ. И теперь еще слышится мнѣ, какъ декламировалъ я тираду изъ Альзиры: „Mânes de mon amant“ и прочее.

Но не одни князья поэзіи: Ломоносовъ, Державинъ, Расинъ,

Вольтеръ, покорили меня могуществу своему. Сознаюсь, что бывалъ я въ плѣну и у князя Шаликова, съ которымъ, впрочемъ, были мы и послѣ хорошими пріятелями. Была въ отрочествѣ моемъ пора, когда вкусилъ я отъ *Плодовъ свободныхъ чувствованій;* подъ этимъ названіемъ изданы были въ свѣтъ молодыя сочиненія Шаликова, собраніе разныхъ сантиментальныхъ и пастушескихъ статей. Однажды съ профессоромъ Рейсомъ, у котораго я жилъ по назначенію отца моего, ходили мы на Воробьевы-Горы. Тутъ встрѣтился я съ крестьяниномъ, и подъ сантиментальнымъ наитіемъ Шаликова началъ я говорить крестьянину о прелестяхъ природы, о счастіи жить на материнскомъ лонѣ ея и такъ далѣе. Собесѣдникъ мой, не вкусившій плодовъ, которыми я обкушался, пучилъ глаза свои на меня и ничего не отвѣчалъ. Наконецъ, спросилъ я его: доволенъ ли онъ участью своею? Отвѣчалъ: доволенъ. Спросилъ я его: не хотѣлъ ли бы онъ быть бариномъ? Отвѣчалъ онъ: нѣтъ, барство мнѣ не нужно. Тутъ я не выдержалъ: вынулъ изъ кармана пяти-рублевую синюю ассигнацію, единственный капиталъ, которымъ я владѣлъ въ то время, и отдалъ ее крестьянину. Долго радовался я впечатлѣнію, которое оставила во мнѣ эта прогулка à la Chalikof. Была у меня полоса Сумароковская; это было время военное: захотѣлось мнѣ испытать силы мои на лиричиской трубѣ, но не по слѣдамъ Ломоносова, а Сумарокова. Вотъ и началъ я:

Воспой, о, Муза, пѣснь высоку
И въ струны лиры ударяй,
Воспой враговъ ты суматоху
И славу Россовъ возглашай.

Я очень дорожилъ словомъ *суматоха.* Мнѣ казалось, что тутъ есть какой-то отзывъ своевольной и, такъ-сказать, фамиліарной поэзіи Сумарокова въ противоположность съ поэзіею Ломоносова, нѣсколько чопорною и оффиціальною; а, можетъ быть, и просто увлекала меня нѣкоторая аналогія въ звукахъ: Сумароковъ, суматоха. Впрочемъ, я и нынѣ не отрекаюсь отъ Сумарокова. Почитаю его однимъ изъ умнѣйшихъ и живѣйшихъ писателей нашихъ. Пушкинъ говаривалъ, что онъ вѣрнѣе зналъ Русскій языкъ и свободнѣе владѣлъ имъ, чѣмъ Ломоносовъ.

Если рѣчь дошла до исповѣди въ грѣхахъ юности или, правильнѣе, отрочества моего, то нужно упомянуть, что первая эпиграмма моя, или будто эпиграмма, пала на долю Мерзлякова. И вотъ по какому поводу. При опредѣленіи моемъ въ домъ профессора Рейса (зять извѣстнаго и домоваго врача нашего Керестури) приглашены были для преподаванія мнѣ наукъ лучшіе профессорà блестящаго періода Московскаго Университета: Буле, Рейнгардтъ и другіе. Въ числѣ ихъ долженъ былъ быть и Мерзляковъ. Нѣмецкіе профессорà добросовѣстно и аккуратно проливали на меня лучи познаній своихъ. Одинъ Мерзляковъ оставался при обѣщаніяхъ. Наконецъ, отправили меня къ нему, чтобы развѣдать о причинѣ упорнаго отсутствія его. Не засталъ я его дома. Мало знакомый тогда съ Русскими эпистолярными приличіями, оставилъ я ему записку, которая такъ начиналась: Господинъ Мерзляковъ, прошу васъ etc. На другой день, университетскій сторожъ принесъ мнѣ на грязномъ лоскуткѣ бумаги записку, приблизительно такого содержанія: „Господинъ Вяземскій, я не школьный учитель, готовый ходить въ домъ къ какому-нибудь Нѣмцу, чтобы давать вамъ уроки“. Записка огласилась. Нѣмецкіе профессорà взволновались. Кажется, даже сдѣланъ былъ выговоръ Мерзлякову отъ имени Михаила Никитича Муравьева, тогдашняго куратора Университета Московскаго. Съ моей стороны амбиція была тоже затронута, и вотъ чѣмъ она разразилась. Скажемъ напередъ, что Мерзляковъ въ то время подписывалъ стихотворенія свои, печатаемыя въ *Вѣстникѣ Европы*, слѣдующими буквами *Мрзк*, или чѣмъ-то подобнымъ.

Разговоръ.

Ты, знаешь ли, мой другъ, кто *мерзкій* сочинитель?—
Какіе пустяки! Онъ школьный лишь учитель.—
Да, кто-жъ тебѣ сіе сказалъ?—
Въ письмѣ онъ самъ мнѣ написалъ.

Эпиграмма безграмотная! Но она имѣла большой успѣхъ въ кругу Нѣмецкой профессуры. А товарищъ мой по ученію, какой-то Челищевъ—не знаю, что́ съ нимъ сдѣлалось — добрый малый, но вовсе не эпиграмматическій, сказалъ мнѣ, что я собаку съѣлъ. Замѣтимъ мимоходомъ, хотя и не безъ хвастовства,

что Жуковскій сказалъ мнѣ однажды, разумѣется, гораздо позднѣе, что я съѣлъ цѣлую свору собакъ. Впрочемъ, какова ни есть моя эпиграмма, она была мой первый шагъ, mon premier coup de feu, на поприщѣ, на которомъ я впослѣдствіи перестрѣливался болѣе или менѣе удачно.

Однажды навсегда, обязанъ я объяснить читателю, что въ разсказахъ моихъ не всегда держусь хронологическаго порядка. Хронологія — наука чиселъ, а я, какъ уже извѣстно, плохой счетоводецъ. Выбрасываю изъ мѣшка, что̀ попадется. Подбираю воспоминанія свои болѣе по мастямъ. Если будетъ у меня біографъ, пусть онъ потрудится сводить и группировать года мои, какъ слѣдуетъ. А работать на него и за него не намѣренъ. Иной умъ плотно переплетенъ въ одну книгу: страницы въ строгомъ порядкѣ слѣдуютъ одна за другою. Другіе умы худо переплетены, сшиты на живую нитку, страницы перемѣшаны. Мой умъ состоитъ изъ летучихъ листковъ.

Теперь прошу читателя поворотить нѣсколько обратно. Въ дѣтской, или отроческой жизни моей совершился крутой поворотъ.

Было уже сказано, что мой отецъ былъ вообще недоволенъ мною, особенно ученіемъ моимъ. Не ему въ укоръ, не себѣ въ оправданіе, а для соблюденія истины, скажу, что мое ученіе, ни въ какомъ случаѣ, не могло быть успѣшно, потому что оно не было правильно. Отецъ былъ человѣкъ большого ума и высокой, по тому времени, образованности. Когда воспоминаю о немъ, почти всегда вижу его въ вольтеровскомъ креслѣ съ книгою въ рукѣ.

Само-собою разумѣется, что онъ хотѣлъ и изъ меня сдѣлать человѣка просвѣщеннаго. Не знаю, какъ и чѣмъ объяснить себѣ, но выборы наставниковъ, гувернеровъ, учителей моихъ были вообще неудачны. Не въ деньгахъ было дѣло. Отецъ имѣлъ порядочное состояніе и денегъ на воспитаніе дѣтей своихъ жалѣть бы не сталъ. Много перебывало при мнѣ Французовъ, Нѣмцевъ, Англичанъ; но ни одинъ изъ нихъ не былъ способенъ пріучить меня къ ученію, а это главное въ дѣлѣ первоначальнаго воспитанія. О Русскихъ наставникахъ и думать было нечего.

Ихъ не было,—не знаю, много ли ихъ теперь. Надобно было ловить иностранцевъ на удачу. Припоминается мнѣ одинъ дядька, Нѣмецъ, который долженъ былъ наблюдать за мною и учить меня Нѣмецкому языку. Тогда въ Москвѣ, въ Охотномъ ряду, былъ большой трактиръ, извѣстный подъ именемъ Цареградскій. Это было, по нынѣшнемъ понятіямъ, родъ кофейной, куда стекались иностранцы, въ особенности учителя, родъ биржи, рынка, куда приходили нанимать домашнихъ учителей. Мой Нѣмецъ выговаривалъ себѣ, между прочими условіями, позволеніе отлучаться вечеромъ часа на два. Эти часы были посвящены цареградскому сборному мѣсту. Возвращался онъ оттуда всегда болѣе или менѣе на-веселѣ. Отецъ, окруженный пріятелями и посѣтителями и увлеченный живостью разговора, того замѣтить не могъ. Но дѣти чутки, и вообще наставниковъ своихъ не любятъ. Кто-то изъ домашнихъ посѣтителей спросилъ меня: какъ доволенъ я новымъ наставникомъ своимъ? Il cultive volontiers la vigne du Seigneur,—отвѣчалъ я. Вѣроятно подслушалъ я это выраженіе гдѣ-нибудь на лету и употребилъ его кстати. Мой отвѣтъ имѣлъ большой успѣхъ. Однажды менторъ мой возвратился грузнѣе обыкновеннаго. Я подошелъ къ нему, и спросилъ: какъ сказать по-нѣмецки — вонять.—Stinken. А зачѣмъ спрашиваете вы это?—продолжалъ онъ.—Чтобы сказать вамъ: Sie stinken nach vino.—Неправильны были слова мои, но попали они въ цѣль. На дерзость мою дядька жаловался отцу. Мнѣ было крѣпкое родительское головомытье, но и ментора выгнали изъ дома.

Всѣ эти обстоятельства вразумили родителя моего, что домашнее, одиночное воспитаніе для меня не годится. Въ Москвѣ учебныхъ общественныхъ заведеній въ почетѣ не было. Не знаю, какъ и чрезъ кого, отецъ вошелъ въ сношенія съ іезуитскимъ заведеніемъ въ Петербургѣ. Однажды, это было лѣтомъ, въ селѣ нашемъ Остафьевѣ, отецъ вызываетъ меня къ себѣ. Нашелъ я его на террассѣ, выдающейся въ садъ. Передъ нимъ былъ столъ, на столѣ бумага, чернильница и перья. Довольно сурово, но видимо и грустно озабоченный, приказалъ онъ мнѣ сѣсть и писать подъ диктовку его. Диктовалъ онъ на Французскомъ

языкѣ. Въ импровизаціи своей—онъ мастеръ былъ говорить и большой діалектикъ — изложилъ онъ картину моего воспитанія, не отвѣчающаго желаніямъ его; безпощадно вычислялъ всѣ недостатки и погрѣшности мои. Обвинительный актъ ничего не пропустилъ и былъ полновѣсенъ. Между прочимъ отецъ упоминалъ, какъ доволенъ онъ дочерьми своими, которыя утѣшаютъ и радуютъ старость его, тогда, какъ я.....

Тутъ умиленіе и слезы не дали ему возможности продолжать. Онъ отпустилъ меня, и приказалъ мнѣ переписать набѣло продиктованное имъ.

Скажу откровенно. Я не былъ растроганъ этою сценою. Вѣроятно, казалось мнѣ, что судъ и приговоръ, надо мною произнесенные, были слишкомъ строги. Я какъ-будто чувствовалъ, что не я одинъ виновать въ неудовлетворительныхъ послѣдствіяхъ воспитанія моего. Тогда былъ при мнѣ наставникомъ и преподавателемъ Французъ Дандилли, и, кажется, съ нѣкоторыми притязаніями на родственное свойство съ извѣстнымъ духовнымъ писателемъ Arnaud d'Andilly. Но, какъ бы то ни было, ни въ нравственномъ, ни въ ученомъ и учебномъ складѣ своемъ не отвѣчалъ онъ требованіямъ и условіямъ званія своего. Онъ былъ не глупый Французъ, добродушный, уживчивый, очень веселый, забавный краснобай; въ домѣ нашемъ былъ онъ всѣми любимъ. Послѣ того завелъ онъ въ Москвѣ Французскую книжную лавку. До конца жизни его оставался я съ нимъ въ короткихъ и пріятельскихъ сношеніяхъ. Гораздо позднѣе прочтеніе этой бумаги пробуждало во мнѣ умиленіе и сожалѣніе, что я не въ радость былъ отцу моему.

Вскорѣ послѣ наказной граматы, отецъ мой, не смотря на лѣта свои, немощи и особенно домосѣдныя привычки, самъ отвезъ меня въ Петербургъ. Я былъ помѣщенъ въ іезуитскій пансіонъ. Послѣ предварительнаго и легкаго испытанія опредѣленъ былъ я во второй классъ, то-есть средній. Въ этомъ классѣ товарищи были всѣ, болѣе или менѣе, ровесниками моими. Это было по ученію. Но вскорѣ отношенія и сношенія мои связались гораздо тѣснѣе съ воспитанниками старшаго класса. Всѣ были они старше меня; иные опереживали меня четырьмя и пятью годами.

Они возвысили меня до себя и обходились со мною, какъ съ ровнею. Тогда это меня радовало, но я не сознавался и самолюбіе мое не обольщалось. Но теперь не могу не заключить, что, стало-быть, въ то время я чего-нибудь да уже стоилъ. Стало-быть, въ характерѣ моемъ, въ умѣ были до нѣкоторой степени развиты привлекательныя свойства, которыя сближали меня съ старшимъ поколѣніемъ. Нынѣ съ умиленіемъ приношу дань благодарности этимъ товарищамъ, которые призрѣли меня. Но едва ли не надъ однѣми могилами раздается голосъ моей признательности. Смерть всѣхъ ихъ перебрала. По-крайней-мѣрѣ, не знаю, гдѣ отыскать мнѣ живаго товарища. Но память о нихъ и о той счастливой порѣ жизни еще жива во мнѣ.

Вызовемъ нѣкоторыя имена изъ этой приснопамятной для меня дружины, изъ этого разсадника, въ которомъ развивались и созрѣвали будущія силы. Юшковъ, уже и тогда ваятель, или рѣзчикъ, но изъ бумаги и изъ картъ, будущій охотникъ до лошадей и знатокъ; онъ искусно и изящно вырѣзывалъ статныхъ и породистыхъ лошадей, которымъ любовались мы и даже промышляли, пуская ихъ между собою въ продажу и обмѣну. Челищевъ, смуглый, черноволосо-кудрявый, котораго прозвали мы цыганомъ. Пріятная симпатическая личность. Брусиловъ, будущій герой многихъ не писанныхъ, но осуществившихся романовъ. Энгельгардтъ, Обресковъ, Сѣверинъ, Смирновъ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ встрѣчалъ я послѣ по пути жизни и всегда сходились мы, какъ нѣкогда бывшіе товарищи, бывшіе рекрутскіе однокашники. Съ одними разрознила насъ смерть, съ другими — жизнь. Съ однимъ Сѣвериным отроческое товарищество, по благопріятному стеченію обстоятельствъ, обратилось въ крѣпкое и до конца неизмѣнное дружество. Въ пансіонѣ онъ прекрасно учился и былъ поведенія образцоваго. Одаренный отличными способностями, онъ и тогда уже обѣщалъ быть правильнымъ, осторожнымъ и оглядливымъ дипломатомъ. Энгельгардтъ,— онъ впослѣдствіи хорошо и всенародно былъ знакомъ Петербургу. Расточительный богачъ, не пренебрегающій веселіями жизни, крупный игрокъ, впрочемъ, кажется, на вѣку своемъ болѣе проигравшій, нежели выигравшій, построитель въ Петербургѣ дома,

сбивающагося немножко на Парижскій Пале-Рояль, со своими публичными увеселеніями, кофейнями, ресторанами. Построеніе этого дома было событіемъ въ общественной жизни столицы. Пушкинъ очень любилъ Энгельгардта за то, что онъ охотно игралъ въ карты, и за то, что очень удачно игралъ словами. Острыя выходки и забавные куплеты его ходили по городу: и въ пансіонѣ еще промышлялъ онъ этимъ, между прочимъ, и на мой счетъ, какъ говорится. Тотчасъ по водвореніи моемъ привѣтствовалъ онъ меня слѣдующимъ куплетомъ:

Mon Prince,
De quelle province?
—Coucou,
De Moscou.

Можно представить себѣ, съ какимъ единогласіемъ весь пансіонскій людъ подхватилъ этотъ куплетъ. Мнѣ прохода не давали: преслѣдовали меня, встрѣчали и провожали этою импровизаціею. Одно время воспитанники забавлялись пусканіемъ мыльныхъ пузырей. Сѣверинъ былъ всегда довольно худощавъ, а тогда и ростомъ малъ. Онъ проходилъ по двору, когда слеталъ одинъ изъ этихъ пузырей. „Посторонись"! закричалъ ему кто-то со второго этажа. Энгельгартъ не пропустилъ случая и сказалъ:

О, день, счастливый день, въ который
Котенокъ смерти избѣжалъ,
Когда пузырь полетъ свой скорый
На малой точкѣ основалъ.

Сѣверинъ и въ пансіонѣ прозванъ былъ котенкомъ, какъ-бы въ предсказаніе того, что въ Арзамасѣ будетъ онъ значиться *Рѣзвый Котъ*. Позднѣе Энгельгардтъ забавно и удачно пародировалъ строфу Онѣгина о знаменитой танцовщицѣ Истоминой. Рѣчь идетъ объ извѣстномъ картежникѣ:

Тщедушный и полувоздушный,
Тузу козырному послушный etc.

Алексѣй Обресковъ, старшій сынъ генерала Михаила Алексѣевича. Судя по впечатлѣніямъ моимъ и дальнимъ воспоми-

наніямъ, заключаю, что онъ носилъ въ себѣ залоги блестящаго будущаго. Въ натурѣ его было что-то благородное, мыслящее и степенное. Но этимъ задаткамъ не дано было вполнѣ развиться и созрѣть. Не много лѣтъ, по выходѣ изъ пансіона, былъ онъ смертельно раненъ на приступѣ Рущука. Кажется, былъ онъ адъютантомъ при молодомъ предводителѣ войскъ нашихъ, графѣ Каменскомъ, котораго также преждевременная смерть похитила съ поприща богатаго многими надеждами, не обратившимися въ событія. Мнѣ разсказывали, что, умирая отъ ранъ своихъ, Обресковъ полу-шутя, полу-грустно, часто твердилъ: ну, милый Алексѣй Михайлычъ, какъ думаешь, останешься ли ты живъ, или нѣтъ? Жизнь еще мало имъ испытанная, жизнь только-что разцвѣтающая и не дожившая до терній, разумѣется, улыбалась ему и обольщала его. Въ шуточной предсмертной бесѣдѣ его съ самимъ собою отзывается и звучитъ нота силы характера и себялюбивой скорби.

Другой товарищъ нашъ, Смирновъ, встрѣтилъ также молодую смерть на этомъ злополучномъ приступѣ. Милый образъ его возбуждаетъ во мнѣ особенно сочувственное и умилительное воспоминаніе. Все было въ немъ привлекательно: красивая наружность, выразительные глаза, въ лицѣ свѣжесть и румянецъ цвѣтущей молодости, стройный, статный ростъ, золотистаго оттѣнка волосы. Внутреннія качества превышали внѣшнія: любезный нравъ, радушная откровенность, чистая и возвышенная душа, цѣломудріе и какое-то нравственное благоуханіе вѣяло отъ него. Онъ, безъ сомнѣнія, былъ чистѣйшее существо изъ многолюднаго нашего кружка. Былъ онъ веселаго настроенія, но и мечтателенъ съ поэтическимъ оттѣнкомъ. Онъ влюбленъ былъ въ поэзію Оссіана, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ кавалергардскій мундиръ. Любимою мечтою его, задушевнымъ желаніемъ было опредѣлиться въ этотъ полкъ тотчасъ по выходѣ изъ пансіона. Съ глазами зависти смотрѣлъ онъ на молодаго, красиваго Чернышева, впослѣдствіи князя и военнаго министра, котораго встрѣчали мы въ Аничковской церкви, куда ходили мы по воскресеньямъ и праздникамъ. Смирновъ имѣлъ склонность къ ри-

сованію. Въ свободные отъ уроковъ часы любилъ онъ рисовать сцены изъ оссіановскихъ поэмъ. Но Фингалы и другіе герои, плывшіе въ облакахъ съ арфою въ рукѣ, были всегда и обязательно облечены въ полную кавалергардскую амуницію. Онъ съ перваго раза полюбилъ меня нѣжною и руководительною любовію старшаго брата. Я также полюбилъ его съ нѣжностію, но и подчиненностію. Наставленія, предостереженія его носили отпечатокъ чистой нравственности, заботливости и дружества. Изъ него, безъ сомнѣнія, вышелъ бы замѣчательный человѣкъ, образецъ всего чистаго и прекраснаго, въ сферѣ нравственной и житейской дѣятельности. Собственно для меня былъ бы онъ другимъ Жуковскимъ. Лучшей и вѣрнѣйшей похвалы, сердечнѣйшихъ поминокъ о немъ придумать не могу, какъ сближеніемъ имени его съ именемъ для меня дорогимъ и незабвеннымъ.

Въ этой средѣ избранныхъ товарищей умъ мой и вообще настроеніе мое развивались и созрѣвали не по годамъ, можетъ быть, въ нѣкоторомъ отношеніи, даже слишкомъ рано. Но это, кажется, такъ въ Русской натурѣ: или безплодіе, или скороспѣлки. Литтература, особенно Русская, была не чужда этому кружку. Пушкина еще не было, Жуковскаго еще почти не было, Крылова также. Державинъ, Карамзинъ, Дмитріевъ были нашими любимыми руководителями и просвѣтителями. Я былъ еще профанъ, или новичокъ-послушникъ въ этой области. Многіе изъ товарищей знали наизусть лучшія строфы Державина, басни, а еще болѣе сказки Дмитріева. Все это пробуждало мои литературныя наклонности. Внѣшніе голоса доходили также до нашихъ монастырскихъ келій. По воскресеньямъ и большимъ праздникамъ воспитанники отпускались къ роднымъ и къ лицамъ, извѣстнымъ начальству нашему. У меня въ Петербургѣ близкихъ родственниковъ не было. По большой части оставался я, подобно другимъ безроднымъ товарищамъ, дома. Въ утѣшеніе водили насъ въ близкій Лѣтній-Садъ. Лѣтомъ, ректоръ, патеръ Чижъ, который особенно любилъ и какъ-то отличалъ меня, иногда бралъ меня и на дачу, въ семейство Голландскаго купца, который имѣлъ магазинъ въ домѣ принадлежавшемъ Римской

церкви. Тамъ, кромѣ особаго и лакомаго угощенія, забавлялся я игрою въ кегли. Вечеромъ, когда возвращались домой счастливцы, которые провели день въ семейномъ кругу, или въ большомъ свѣтѣ, вѣстямъ и разсказамъ не было конца. Къ нимъ я жадно прислушивался. Зародыши будущаго мірянина и свѣтскаго человѣка пробуждались во мнѣ. Это также было нѣчто въ родѣ школы житейской и литтераттурной. Дѣти и отроки вообще чутки и зорки. Напримѣръ, мы изъ оконъ подмѣтили, что въ извѣстный часъ, почти ежедневно, Императоръ проѣзжалъ верхомъ по переулку вдоль дома нашего. На встрѣчу, какъ по заведенному порядку, выѣзжала карета. И лошадь Государя и карета, въ которой сидѣла красивая дама, останавливались другъ предъ другомъ. По видимому, на нѣсколько минутъ, завязывался разговоръ. Разумѣется, все это подглядывали мы осторожно и тайкомъ. Тогда не были еще въ ходу историческіе романы. Вальтеръ-Скотъ не проложилъ имъ еще пути въ литтературѣ. Но мы, какъ-то самоучкою, дошли до понятія, что могутъ быть историческіе и державные романы.

Здѣсь прощусь съ товарищами веселаго возраста жизни моей. Мы вмѣстѣ разцвѣтали. Такая пора оставляетъ по себѣ въ сердечной памяти глубоко грустное, но и сладостное впечатлѣніе. Скажу съ Гёте и Жуковскимъ:

Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ!
А съ благодарностію: были.

Простившись съ друзьями, не могу воздержаться отъ сердечной потребности помянуть также добрымъ словомъ и теплое гнѣздо, которое нѣкогда насъ собрало и пріютило. И здѣсь, вѣроятно, тѣшу я себя одного, да и то съ какимъ-то самоотверженіемъ. Здѣсь вступаю на жгучую почву, но я давно опаленъ и обстрѣленъ. Огня не боюсь. Знаю, что въ настоящее время іезуиты не въ чести, не только на Западѣ, но и у насъ, вѣроятно болѣе изъ подражанія. Мы довольно склонны развертывать *зонтики* свои (на нашемъ богатомъ языкѣ нѣтъ, между прочимъ, слова *parapluie*, *Regenschirm*), когда идетъ дождь, напримѣръ, въ Парижѣ. Пословица говоритъ: лежачаго не бьютъ.

Кажется, тѣмъ паче не слѣдовало бы бить отсутствующаго, или даже не бывалаго, а мы все-таки бьемъ по пустому мѣсту. Не пускаюсь въ отысканіе и въ изслѣдованіе іезуитскихъ дѣйствій и вліяній на Римскомъ церковномъ Западѣ. Это не мое дѣло. Но спрошу: гдѣ у насъ эти пугала, эти опасные и грозные іезуиты, которые, какъ тѣни и призраки, пробѣгаютъ еще по страницамъ печати нашей? Гдѣ, за рѣдкими, совершенно личными исключеніями, искать ихъ въ послѣднемъ столѣтіи исторіи нашей? Гдѣ вредныя для государственнаго объединенія нашего обращенія, или совращенія съ пути православія единовѣрцевъ нашихъ? Когда и были они, то много ли ихъ? Скажемъ: за глаза нѣсколько десятковъ, считая въ нихъ и женщинъ. Стóитъ ли изъ этого горячиться и бить въ набатъ, какъ при пожарѣ, или нашествіи непріятеля? Стóитъ ли говорить и писать объ этомъ? Это капля въ морѣ, или капля, выцѣженная изъ моря. А сколько пролито было чернилъ ради этой капли. Въ числѣ ихъ были и умныя и бойкія, но на какой конецъ? Мудрено объяснить. Не вступаюсь за отщепенцевъ, не берусь оправдывать ихъ. Готовъ я согласиться, что нѣкоторые отреклись отъ Церкви по легкомыслію, по невѣдѣнію сущности Церкви нашей; другіе, если можно употребить подобное выраженіе въ такомъ случаѣ, обратились по модѣ. Знаю женщинъ, которые оримлянились, когда было повѣтріе на обращеніе, и возвратились въ лоно православной церкви, когда повѣтріе и мода миновались!

Но въ ихъ числѣ есть и люди, которые поступили по совѣсти, особенно изъ тѣхъ, которые послѣ посвятили себя духовной и монашеской жизни. Есть и такіе въ средѣ отпадшихъ братьевъ нашихъ. Религіозная совѣсть имѣетъ свои тайны, которыя легко и необдуманно оцѣнивать и въ особенности порочить нельзя. Во всякомъ случаѣ не дѣло христіански-евангельское закидывать каменьями и отпадшихъ и блуждающихъ братьевъ. Молитесь за нихъ, если вамъ ихъ жаль, но не поносите ихъ. Остроумія и перуновъ вашихъ не расточайте на нихъ.

Вообще нельзя не замѣтить, что у насъ бываютъ охотники создавать предъ собою и предъ обществомъ чудовищныя стра-

шилища, чтобы доставить себѣ удовольствіе ратовать противъ нихъ и протыкать ихъ своими спасительными перьями. Эта способность пугать и напугивать, бываетъ иногда очень забавна, но бываетъ часто и вредна. Въ такомъ настроеніи духа противорѣчія неизбѣжны. Высокомѣріе и малодушіе, трусливость и задорливость сталкиваются на каждомъ шагу. То ставятъ Россію такъ высоко, что она внѣ всѣхъ возможныхъ покушеній на нее, то уже такъ низко, что она, тщедушная, разлетится въ прахъ, при малѣйшемъ враждебномъ дуновеніи. Мы уже не говоримъ, что врага шапками закидаемъ, но еще думаемъ, что можемъ Европу закидать словами. Въ политикѣ и въ литературѣ анахронизмы приводятъ къ ошибочнымъ заключеніямъ. Пожалуй, найдутся у насъ публицисты, которые начнутъ пугать насъ набѣгами Печенѣговъ. По мнѣ іезуиты у насъ тѣ же Печенѣги.

Но, послѣ долгаго отступленія, пора возвратиться мнѣ къ своимъ собственнымъ іезуитамъ. Эти іезуиты, начиная отъ ректора, патера Чижа, были—по крайней мѣрѣ, въ мое, или наше время—просвѣщенные, внимательные и добросовѣстные наставники. Уровень преподаванія ихъ былъ возвышенъ. Желавшіе учиться хорошо и основательно имѣли всѣ способы къ тому и хорошо обучились; примѣромъ служитъ, между прочимъ, Сѣверинъ. Обращеніе наставниковъ съ воспитанниками было не излишне строгое: болѣе родительское, семейное. Допускалась нѣкоторая свобода мнѣній и рѣчи. Однажды кто-то сказалъ, во время класса, что изъ всѣхъ іезуитовъ любитъ онъ наиболѣе Грессета. Извѣстно, что этотъ Французскій поэтъ принадлежалъ іезуитскому ордену и вышелъ изъ него. Шутка остряка была и принята шуткою. Меня товарищи также вызывали на подобныя выходки. „Вяземскій, отпусти bon mot“,—говаривали мнѣ. Моихъ тогдашнихъ bons mots я, по совѣсти, не помню. Но упоминаю о томъ мимоходомъ: видно, и тогда уже промышлялъ я этою *устною литературою*, которую такъ любезно приписывалъ мнѣ графъ Орловъ-Давыдовъ, въ привѣтствіи своемъ на пятидесяти-лѣтнемъ моемъ юбилеѣ. Въ числѣ воспитанниковъ былъ я далеко не изъ лучшихъ; но, не знаю почему, былъ однимъ изъ числа любимѣйшихъ духовнымъ начальствомъ. Со

всѣмъ тѣмъ могу сказать утвердительно и добросовѣстно, что никогда не слыхалъ я ни слова, никогда не замѣчалъ малѣйшаго намека, которые могли бы указать, что меня или другихъ желали переманить на свою сторону. Никогда не было попытки внушить, что Римская Церковь выше и душеспасительнѣй Православной. А умъ мой и тогда былъ уже настолько догадливъ, что онъ понялъ бы самые извилистые и хитрые подступы. Никакого различія не было въ обращеніи съ воспитанниками обоихъ исповѣданій. Паписты не пользовались предъ нами никакими *прерогативами* и льготами. Въ костелъ насъ не водили. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ бывали мы въ Русской церкви. Великимъ постомъ мы говѣли, какъ слѣдуетъ. Правда, въ теченіе года держались мы не Русскихъ постныхъ дней, то-есть не середы и пятницы, а Римскихъ. По пятницамъ и субботамъ угощали насъ католическимъ пощеніемъ: говядины не было за общею трапезою. Но эта желудочная пропаганда, кажется, не могла имѣть большаго вліянія на умы и религіозныя чувства наши. Такъ было въ мое время. Не отвѣчаю за то, что́ могло быть послѣ. Говорили позднѣе, что іезуиты завербовали въ свою вѣру молодого воспитанника князя Голицына, и къ тому же племянника князя Александра Николаевича, оберъ-прокурора святѣйшаго синода. Если оно такъ, то нельзя не сознаться, что пресловутая іезуитская хитрость и пронырливость на этотъ разъ ужасно опростоволосилась. Выборъ ихъ былъ очень неудаченъ. Какъ бы то ни было, это совращеніе, дѣйствительное или мнимое, послужило отчасти паденію и изгнанію іезуитскаго ордена изъ Россіи. Не тѣмъ будь онъ помянутъ, пріятель нашъ, Александръ Тургеневъ, былъ однимъ изъ дѣятельныхъ орудій сего почти государственнаго переворота, de ce coup d'état à la Pombal. Изгнаніе ихъ, или похищеніе въ ночное время, сопровождалось довольно крутыми, и вовсе ненужными полицейскими мѣрами. Кроткое правленіе императора Александра I отступило въ этомъ случаѣ отъ *легальности*, а чѣмъ необходимѣе бываютъ мѣры строгости, тѣмъ болѣе при исполненіи оныхъ требуется бдительное и точное соблюденіе *легальности*, то-есть законности. Поспѣшность насилія, заносчивая страстность не совмѣстимы

съ закономъ. Не смотря на дружбу свою къ Тургеневу, Карамзинъ не одобрялъ вообще ни этой мѣры, ни пріемовъ, съ которыми она совершилась. Консервативный Карамзинъ былъ въ этомъ случаѣ либеральнѣе пріятеля своего, либерала Тургенева. По выходѣ изъ пансіона былъ я въ перепискѣ съ патеромъ Чижемъ.

Этимъ заключается періодъ отрочества моего. Здѣсь разстаюсь и съ іезуитами. Гораздо позднѣе встрѣчался я на Востокѣ съ нѣкоторыми личностями, принадлежавшими ордену. Всегда удивлялся я ихъ дѣятельности и самоотверженію. Разбросанные по-одиночкѣ, въ мѣстахъ пустынныхъ, въ Арабскихъ бѣдныхъ селеніяхъ, преподаватели Евангелія и грамотности, бодро и плодотворно носили они свой крестъ и совершали трудный подвигъ. Римская церковь можетъ быть властолюбива; но этихъ отдѣльныхъ миссіонеровъ и апостоловъ христіанства обвинять въ властолюбіи нельзя. Они самоотверженные и безкорыстные послушники. Забавно же обвинять ихъ въ томъ, что преподаютъ они Римское законоученіе, а не православное. Между тѣмъ, найдутся люди, которые ставятъ имъ и это въ преступленіе, и за это ненавидятъ ихъ. Не забываютъ ли они въ пылу православія своего, что евангеліе писано для всѣхъ народовъ, для всѣхъ христіанъ, а не въ пользу того или другого вѣроисповѣданія и прихода.

V.

Изъ учебнаго паломничества возвратился я въ Москву, въ родительскій домъ — еще отрокомъ по возрасту, но почти уже молодымъ человѣкомъ по выправкѣ и развитію. Должно прибавить, что изъ іезуитскаго пансіона перешелъ я, не на долгое время, въ пансіонъ, учрежденный въ Петербургѣ при новообразованномъ педагогическомъ институтѣ. Это, кажется, было созданіе Ник. Ник. Новосильцова. Директоромъ заведенія былъ Энгельбахъ. Тамъ встрѣтился я съ нѣкоторыми товарищами, также перебѣжчиками изъ подъ іезуитскаго крова. Не хочу и не могу сказать ничего худаго о моемъ тамъ пребываніи; но

не могу сказать и ничего особенно хорошаго. Учебный и умственный уровень заведенія былъ вообще ниже іезуитскаго, какъ по преподавателямъ, такъ и въ отношеніи къ ученикамъ Помню только одного учителя Французскаго языка, Брошье. Онъ умѣлъ, какъ Французъ, придавать урокамъ своимъ оживленіе и разнообразіе: онъ былъ съ нами разговорчивъ. Для одного изъ такихъ уроковъ перевелъ я статью Карамзина подъ именемъ *Деревня*. Въ одномъ мѣстѣ говоритъ онъ, что предпочитаетъ картины природы картинамъ великихъ живописцевъ. — „Если такъ,— сказалъ мнѣ Брошье,—и если у родственника вашего есть такія картины, то попросите его мнѣ ихъ отдать: я ихъ предпочитаю природѣ". Въ 1806 г. Карамзинъ прислалъ мнѣ изъ Москвы, уже какъ питомцу музъ, стихотвореніе свое: *Пѣснь воиновъ*. Эта присылка меня очень возвысила въ глазахъ моихъ товарищей. „Ces vers sont-ils bien ronflants?» — спросилъ меня Брошье. Тутъ высказался и Французъ и литераторъ и щекотливый Французъ-патріотъ. Гораздо позднѣе этотъ Брошье былъ хорошо извѣстенъ Петербургу, особенно посѣщавшимъ графа Алексѣя Ѳедоровича Орлова, у котораго онъ былъ близкимъ и домашнимъ человѣкомъ: вѣроятно также по пансіонскимъ преданіямъ учебнаго заведенія аббата Николя.

Въ новой моей ученической средѣ, я также не по чину и не по возрасту вращался съ поколѣніемъ меня опередившимъ. Не знаю, какъ это случилось, но я познакомился и сблизился съ нѣкоторыми изъ педагогическихъ студентовъ. Мы жили съ ними на одномъ дворѣ, но совершенно отдѣльно. Въ памяти моей сохранился одинъ изъ нихъ, по имени *Бобриковъ*, или что-то на это похожее. Помнится мнѣ, принадлежалъ онъ, хотя и съ побочной стороны, семейству графа Бобринскаго. Онъ познакомилъ меня съ стихотвореніями Французскаго поэта, Парни, котораго элегіи впослѣдствіи были такъ вѣрно и такъ нѣжно переданы Батюшковымъ на Русскомъ языкѣ. Помню, что по этому поводу прозвалъ я бѣднаго Батюшкова, въ шуточномъ посланіи:

Пѣвецъ чужихъ Элеоноръ.

Домой возвратился я благополучно; хотя со времени отсут-

ствія моего отецъ не очень имѣлъ поводъ утѣшать себя вѣстями объ успѣхахъ моихъ по наукамъ и о моемъ поведеніи, принятъ былъ я имъ ласково, и вообще семействомъ нѣжно и радостно. Упомянулъ я о поведеніи своемъ: благодаря Бога, ничего особенно порочнаго не было; но были шалости и предосудительныя уклоненія. Въ пребываніи моемъ во второмъ пансіонѣ, пользовался я большою и чрезмѣрною свободою въ вакантные дни: ходилъ я одинъ въ театръ, въ маскарады. По преданію, а не по памяти, знаю, что однажды въ театрѣ я очень шумѣлъ и бурлилъ, — изъ чего и для чего, сказать не умѣю. Но пріятельница отца моего Екат. Влад. Апраксина подмѣтила это изъ ложи своей и донесла отцу. Можетъ-быть, вслѣдствіе этого, и вызвали меня обратно въ Москву.

Какъ извѣстно, родительскій домъ былъ однимъ изъ гостепріимнѣйшихъ. Гости его принадлежали болѣе или менѣе къ разряду людей образованныхъ и *разговорчивыхъ*, въ смыслѣ и значеніи разговора дѣльнаго, просвѣщеннаго и пріятнаго. Подобные дома вывелись или выводятся не только у насъ, но вообще и во всей Европѣ. Жаль: такіе дома были практическою и дополнительною школою для молодежи. Въ этой атмосферѣ было много образовательной жизни и силы, много было и литературнаго. Худо вѣрую въ литературу, которая рождается и сосредоточивается въ самой себѣ, — внѣ большихъ житейскихъ теченій. Что ни говори о такъ-называемыхъ *салонахъ*, но они бываютъ нерѣдко произрастительными и плодотворными почвами. Блестящая и многознаменательная Французская литература послѣдней половины 18-го столѣтія разцвѣла и созрѣла на этой почвѣ. Какъ бы то ни было, въ подобной умственной средѣ понятія и наклонности мои еще болѣе развились. Въ домѣ отцовскомъ женскій элементъ господствовалъ наравнѣ съ мужскимъ. Тутъ, въ сферѣ умственнаго соревнованія, проглядывало между двумя полами истинное *равноправіе*, которое женщины ищутъ нынѣ въ химическихъ лабораторіяхъ, въ фельдшерскихъ и анатомическихъ театрахъ.

Разумѣется, женскій элементъ, который нашелъ я въ домѣ нашемъ, не праздно отозвался во мнѣ и въ молодомъ и впе-

чатлительномъ сердцѣ моемъ. Впрочемъ, по домашнимъ преданіямъ, рано началъ я быть Сердечкинымъ: именно *Сердечкинымъ* — въ смыслѣ болѣе платонической, нежели матеріальной любви. Такъ вообще было со мною и послѣ, и всегда. Но вотъ дѣтская легенда моя. Когда ѣхали мы въ Нижній Новгородъ, куда отецъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ, не задолго до кончины Императрицы, мы на дорогѣ гдѣ-то и у кого-то остановились переночевать. Въ домѣ была дочка, которая, такъ гласитъ преданіе, — очень мнѣ понравилась и за которою я весь вечеръ ухаживалъ. Было мнѣ тогда года четыре. На другой день, когда семейство наше собралось въ дальнѣйшій путь, ищутъ меня, а меня нѣтъ. Наконецъ отыскиваютъ гдѣ-то подъ диваномъ, куда залѣзъ и запрятался я, чтобы не разставаться съ маленькимъ моимъ кумирчикомъ. Не ясно помню этотъ романическій эпизодъ, но домашніе удостовѣряли въ правдивости его. Кстати скажешь: se non è vero, è ben trovato. По системѣ вѣроятностей и правдоподобій, и судя a posteriori, готовъ я согласиться, что оно такъ и было. Послѣ такихъ раннихъ и съ продолженіями впредь романическихъ приключеній на дѣлѣ, какъ не пришло мнѣ никогда въ голову написать вымышленный романъ? Подите, объясните. Впрочемъ, я очень взыскателенъ и не легко удовлетворяемъ по части романовъ. На всемъ вѣку своемъ едва ли шесть прочиталъ я съ полнымъ удовольствіемъ и никогда не признавалъ въ себѣ силъ и достаточнаго дарованія, чтобы пополнить это число седьмымъ. Удачно и вполнѣ удовлетворительно, то есть упоительно, написанный романъ, есть, по мнѣ, самое увлекательное и потрясающее чтеніе. Это почти событіе въ жизни. Съ подобнымъ романомъ сживаешься, не только во время чтенія, но живешь имъ долго и послѣ чтенія. Романы второстепенные, второй руки, плоды одной дѣятельной и *рутинной* посредственности, эти плоды могутъ быть болѣе или менѣе лакомы, судя по вкусамъ; но съ дерева не срываю ихъ и за столомъ до нихъ не дотрогиваюсь.

Со вступленіемъ Карамзина въ семейство наше—Русскій литературный оттѣнокъ смѣшался въ домѣ нашемъ съ Французскимъ колоритомъ, который до него преодолѣвалъ. По возвра-

щеніи изъ пансіона, нашелъ я у насъ Дмитріева, Василія Львовича Пушкина, юношу Жуковскаго и другихъ писателей. Пушкинъ, еще до отъѣзда своего, уже отдавшій перомъ Дмитріева отчетъ въ путевыхъ впечатлѣніяхъ своихъ, только что возвратился тогда изъ Парижа. Парижемъ отъ него такъ и вѣяло. Одѣтъ онъ былъ съ Парижской иголочки съ головы до ногъ, Прическа á la Titus, углаженная, умащенная древнимъ масломъ, huile antique. Въ простодушномъ самохвальствѣ давалъ онъ дамамъ обнюхивать голову свою. Не умѣю опредѣлить: смотрѣлъ ли я на него съ благоговѣніемъ и завистью, или съ оттѣнкомъ насмѣшливости. Вѣроятно, было и то и другое. Но могъ ли я думать тогда, что, спустя нѣсколько годовъ, будемъ мы на *ты* и въ самой короткой дружеской связи? Дмитріевъ говаривалъ о немъ, что онъ кончитъ тѣмъ, что будетъ дружень съ одними грудными младенцами, потому что чѣмъ болѣе старѣетъ, тѣмъ все болѣе сближается съ новѣйшими поколѣніями. Грѣшно было бы мнѣ поминать его слегка, а паче того насмѣшливо. Онъ былъ пріятный, вовсе не дюжинный стихотворецъ. Добръ онъ былъ до безконечности, до смѣшнаго; но этотъ смѣхъ ему не въ укоръ. Дмитріевъ вѣрно изобразилъ его въ шутливомъ стихотвореніи своемъ, говоря за него: *я право добръ, готовъ сердечно обнять весь свѣтъ* [1]). Меня любилъ онъ съ особенною нѣжностію, могу сказать, съ балующею слабостью. Зять его, Солнцевъ, говорилъ, что сердечныя привязанности его дѣлятся на три степени: первая — сестра его Анна Львовна, вторая — Вяземскій, третья — однобортный фракъ, который выкроилъ онъ изъ стараго сюртука, по новомодному покрою фрака, привезеннаго въ Москву Павломъ Ржевскимъ.

Не знаю, почему въ этотъ списокъ просится одинъ Машковъ, маленькій, горбатый. Казалось мнѣ, что отецъ очень охотно разговаривалъ съ нимъ; но въ моихъ глазахъ, вѣроятно, горбъ его былъ главнымъ attraction. Впрочемъ, помнится мнѣ, что онъ былъ дядя поэта Майкова. Однако можетъ-быть и ошибаюсь.

Въ ряду литтературной молодежи, былъ тутъ и новичекъ

---

[1]) Таковъ смыслъ; самыхъ стиховъ въ точности не припомню.

котораго отличили отецъ мой и Карамзинъ. Онъ даже запросто обѣдывалъ у насъ: въ то время это было исключеніе. Въ старину обѣдывали семейно, а ужинали въ гостиныхъ съ гостями. Ужинъ былъ завершеніе, увѣнчаніе заботливаго дня; послѣужинный разговоръ былъ свободнѣе и могъ быть продолжительнѣе разговора послѣобѣденнаго. Теперь съѣзжаются за пять минутъ до обѣда и обыкновенно разъѣзжаются послѣ кофе. Выгоды и прелести общежитія и разговорчивости отъ этого страдаютъ. Имени новичка нашего въ точности не помню, чуть не Бошнякъ-ли? можетъ быть, потомокъ Саратовскаго коменданта, съ которымъ возился и боролся Державинъ во время пугачевщины. Какъ бы то ни было, онъ занимался естественными науками, въ особенности монографіею паука. Вѣроятно въ нынѣшнее время, занимался бы онъ и потрошеніемъ лягушекъ. Закончу смотръ и перекличку свою замѣткою довольно забавною, замѣткою совершенно семейною и домашнею. Сестра моя, впослѣдствіи жена князя Алексѣя Григорьевича Щербатова,— Жуковскій посвятилъ памяти ея нѣсколько трогательныхъ стиховъ въ *Пѣвцѣ въ станѣ Русскихъ воиновъ*, — сестра моя, старшая меня тремя годами, и я были вовсе не довольны водвореніемъ Карамзина въ наше семейство. Въ насъ таилась глухая оппозиція противъ этого брака: дѣтскія сочувствія наши были на сторонѣ армейскаго маіора, помнится, Струкова, который былъ несчастнымъ соперникомъ Карамзина. Онъ былъ къ намъ внимателенъ и ласковъ; вѣроятно онъ заискивалъ нашъ союзъ цѣною субсидій: гостинцами и конфектами. Карамзинъ не обращалъ вниманія на союзниковъ. Забавно, что когда бракъ былъ уже рѣшенъ, мы съ сестрою изливали грусть свою стихами самого Карамзина. Вечеромъ ходили мы по длинному коридору и вполголоса, съ сжатымъ сердцемъ и слезами на глазахъ, отъ лица Струкова, мурлыкали:

Кто могъ любить такъ страстно,
Какъ я любилъ тебя?
Но я вздыхалъ напрасно,
Томилъ, крушилъ себя.

Увы! насильно милымъ
Не будешь никому...

Такимъ образомъ вооружились мы противъ Карамзина собственнымъ его оружіемъ. Но у насъ, дѣтей, велись съ нимъ и другіе счеты, и по другой причинѣ грызлись у насъ зубы на него: именно зубы. Въ тѣ рѣдкіе вечера, когда салоны наши не переполнялись посѣтителями, а было два-три человѣка, иногда и никого, отецъ оставлялъ насъ, дѣтей, ужинать съ собою, обыкновенно въ одиннадцатомъ часу. Понятно, что эти дни дорого цѣнились нами. Не знаю, по какому случаю и по какимъ соображеніямъ, Карамзинъ бывалъ гостемъ нашимъ именно въ эти исключительные дни. Отецъ былъ великій устный слѣдователь по вопросамъ метафизическимъ и политическимъ; сказывали мнѣ, бывалъ онъ иногда и очень парадоксальный, но и блестящій спорщикъ. Бесѣды и пренія его съ Карамзинымъ длились безъ конца. Въ ожиданіи вожделѣннаго ужина мы дремали въ сосѣдней комнатѣ, а ужинъ былъ все отлагаемъ позднѣе и позднѣе. Князь Яковъ Ивановичъ Лобановъ говаривалъ, что когда отецъ мой, въ жару спора, нанижетъ себѣ на пальцы нѣсколько соленыхъ кренделькoвъ, которые подавались закускою при водкѣ, то бѣда: ужинъ непремѣнно успѣетъ остыть. Онъ же говорилъ: къ Вяземскому на ужинъ никогда не опоздаешь; поваръ его только въ полночь ходитъ закупать провизію. Эти домашніе запоздалые ужины худо располагали насъ къ Карамзину. Мы дѣтскимъ чутьемъ угадывали, что отецъ не разговаривался бы такъ долго съ маіоромъ Струковымъ. По этому гувернеръ мой, Французъ *Дандилли*, прозвалъ Карамзина: monsieur minuit et demi; долго въ дѣтской нашей ходилъ онъ подъ этимъ прозвищемъ. Впрочемъ, кажется, онъ нѣсколько задобрилъ меня, подаривъ первые часы, которыми пришлось мнѣ щеголять. Для молодаго человѣка всего нужнѣе умѣть узнать время,—сказалъ онъ, вручая мнѣ свой подарокъ.

VI.

Съ водвореніемъ Карамзина въ наше семейство, письменныя наклонности мои долго не пользовались поощреніемъ его. Я былъ между двухъ огней: отецъ хотѣлъ видѣть во мнѣ математика; Карамзинъ боялся увидѣть во мнѣ плохаго стихотворца. Онъ часто пугалъ меня этою участью. Берегитесь, говаривалъ онъ: нѣтъ никого жалче и смѣшнѣе худаго писачки и риѳмоплета. Первые опыты мои таилъ я отъ него, какъ и другіе проказы грѣшной юности моей. Уже позднѣе, и именно въ 1816 году, примирился онъ съ метроманіею моею. Александръ Тургеневъ давалъ въ Петербургѣ вечеръ въ честь его. Всѣ Арзамазцы были на лицо: были литтераторы и другаго лагеря. Хозяинъ вызвалъ меня прочесть кое-что изъ моихъ стихотвореній. Выслушавъ ихъ, Карамзинъ сказалъ мнѣ: „Теперь уже не буду отклонять васъ отъ стихотворства. Пишите съ Богомъ“. На этомъ вечерѣ познакомился я съ Крыловымъ. Онъ также былъ одинъ изъ благопривѣтливыхъ слушателей и просилъ меня повторить чтеніе одного изъ стихотвореній, которое наиболѣе понравилось ему. Эти два знака отличія, полученные мною на полѣ битвы, порадовали меня и польстили самолюбію моему. Они же порѣшили и, такъ сказать, узаконили участь мою. О, радость! о, радость! о, восторгъ! и я, и я піитъ!—могъ сказать я съ простодушнымъ Василіемъ Львовичемъ. Жребій брошенъ. Съ того дня призналъ я и себя сочинителемъ. И пошла писать! — то есть: пиши пропало! скажетъ одинъ изъ моихъ строгихъ критиковъ.— Можетъ быть, оно и такъ, но есть еще другая поговорка: что напишешь перомъ, не вырубишь и топоромъ. И вотъ почему, въ добрый или худой часъ,—все едино, появляюсь я на печатной скамьѣ подсудимаго предъ судилищемъ почтеннѣйшей публики.

VII.

Жуковскій, мой благосклонный, но, когда нужно, и строгій судья, сказалъ, что могу присвоить себѣ стихъ Буало:

Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose.

Кажется, можно приблизительно перевести на Русскій языкъ сей стихъ слѣдующимъ образомъ:

И стихъ мой, такъ иль сякъ, а что-нибудь да скажетъ.

Нечего и говорить, что ни Жуковскій не величалъ меня, ни я себя не величаю знаменитымъ Французскимъ сатирикомъ. Но я думаю, что опредѣленіе Жуковскаго довольно вѣрно. Оно мнѣ въ похвалу и въ укоръ. Заявляю здѣсь сказанное мною однажды навсегда. Нынѣ сужу себя и говорю о себѣ, какъ о постороннемъ. И въ самомъ дѣлѣ, не въ сторонѣ ли я отъ самого себя послѣ всего такъ долго пережитаго мною? Было кѣмъ-то сказано, что человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ долженъ быть самъ врачемъ своимъ, то-есть знать сложеніе свое, темпераментъ свой, знать, въ гигіеническомъ отношеніи, что можетъ быть ему полезно, что вредно. Тоже можно примѣнить и къ нравственному распознаванію себя. Въ нѣкоторомъ возрастѣ человѣкъ лучшій свой судія, если, впрочемъ, не одержимъ онъ неизлѣчимою болѣзнью самообольщенія. Человѣкъ уже на покоѣ, или на послѣднемъ поворотѣ жизни, долженъ и можетъ смотрѣть безъ лицепріятія на дѣла своихъ *давно минувшихъ лѣтъ*. Эти дѣла для него уже *преданья старины глубокой*. Онъ вслушивается въ нихъ, а пересочинить ихъ не можетъ.

Возвратимся къ сказанному Жуковскимъ. Весь вопросъ здѣсь заключается въ томъ, чего болѣе: du bien ou du mal, болѣе ли сказано *такъ*, или болѣе *сякъ*. Но я плохой математикъ: итоговъ выводить не буду. Предоставляю этотъ трудъ журнальнымъ бухгалтерамъ. Самъ же скажу, что должно быть довольно того и другаго. Въ стихахъ и въ прозѣ у меня много неровностей—и нельзя имъ не быть. Я никогда не писалъ прилежно, постоянно; никогда не изучалъ я систематически языка нашего.

Какъ пѣвцы-самоучки, писалъ я болѣе по слуху. Писалъ я болѣе урывками, подъ вдохновеніемъ или подъ осязаніемъ мысли и чувства. Писалъ я, когда что-нибудь внутреннее или внѣшнее за-живо задирало меня, когда мнѣ именно хотѣлось *сказать* или *высказать* что-нибудь, такъ или сякъ, опять все равно. Натура моя довольно живучая и произрастительная, но не трудолюбивая; напротивъ, трудъ пугаетъ ее, она сжимается подъ давленіемъ его. А что ни говори, трудъ есть родникъ, двигатель всякаго положительнаго успѣха и возможнаго усовершенствованія. Безъ терпѣнія, труда быть не можетъ. Бюффонъ сказалъ и доказалъ, что терпѣніе есть одно изъ главныхъ свойствъ генія. Если такъ, то какъ далекъ я, Боже мой, отъ геніальности. У меня литература была всегда животрепещущею склонностью, болѣе зазывомъ, нежели призваніемъ. Если и было это призваніе, то охотно сознаюсь, что я не выдержалъ, не вполнѣ оправдалъ его. Никогда, или такъ рѣдко, что не стоитъ упоминать того, не велъ я жизни литературной, какъ вели ее, -на примѣръ, Жуковскій, Пушкинъ. О Карамзинѣ уже не говорю: онъ былъ воплощенный трудъ, воплощенное терпѣніе. Я болѣе предавался теченію жизни: сперва молодости, съ увлеченіями ея; позднѣе болѣе или менѣе сухимъ обязанностямъ службы, личнымъ заботамъ, горькимъ испытаніямъ жизни, частымъ и вынужденнымъ странничествамъ. Къ тому же, нечего таить, какая-то врожденная безпечность, просто лѣнь, никогда не допускали пера быть постоянною принадлежностью руки моей. А перо взыскательно: оно требуетъ прилежнаго ухода за собою; безъ этого оно непослушно и ртачливо. При этомъ пріятели мои еще дивились, что могъ я столько написать при своей развлеченной жизни, могли бы они сказать и отвлеченной; много изъ жизни моей пошло и на внутреннія, созерцательныя и мечтательныя думы. Много прожилъ я жизнью одинокою, жизнью про себя. Знаю, языкъ мой не всегда правиленъ; не довольно внимательно и строго покоряюсь законамъ его. Увлекаюсь не желаніемъ, а скорѣе безсознательною потребностью сказать иначе, чѣмъ сказали бы другіе. Это можетъ быть достоинствомъ, но можетъ быть и погрѣшностью, быть силою, но и немощью.

Александръ Тургеневъ, въ одномъ письмѣ своемъ изъ напечатанныхъ по смерти его, очень невыгодно и съ какою-то досадою отзывается объ этомъ наѣздничествѣ пера моего. Въ укоризнѣ его есть доля правды; но Тургеневъ въ литературѣ принадлежалъ *пуританской* школѣ, которой между нами главнымъ представителемъ былъ Блудовъ. Сознаюсь, я отъ нѣкоторыхъ неологизмовъ въ словахъ и въ слогѣ не прочь. Разнообразіе и разнозвучіе, въ мѣру и съ чутьемъ, нужны и цѣну свою имѣютъ. Также и Карамзинъ, въ письмѣ къ Дмитріеву, говоритъ, что должно выдрать бы мнѣ уши за переводъ мой рѣчи, произнесенной императоромъ Александромъ на Варшавскомъ сеймѣ; разумѣется, обвиненіе падаетъ на неправильность языка. Здѣсь есть нѣкоторый поводъ къ оправданію. Не вся рѣчь переведена мною. Новосильцовъ, около полночи, прислалъ въ канцелярію Французскій подлинникъ для немедленнаго перевода его на Русскій языкъ. Многія слова политическаго значенія, выраженія чисто-конституціонныя были нововведеніями въ Русскомъ изложеніи. Надобно было надъ нѣкоторыми призадумываться. Для скорости, мы разобрали рѣчь по клочкамъ и раздѣлили ихъ между собою, чиновниками канцеляріи. Каждый переводилъ, какъ умѣлъ. Но я остался какъ-то оффиціальнымъ и отвѣтственнымъ переводчикомъ рѣчи. Государь былъ переводомъ доволенъ; помню, что на обѣдѣ у князя Заіончека Государь милостиво благодарилъ меня за переводъ. Кстати скажу, что и послѣ былъ я въ канцеляріи Новосильцова главнымъ дѣйствующимъ лицомъ по редакціонной Русской части. Были труды гораздо важнѣе перевода сеймовой рѣчи. Въ канцеляріи былъ у насъ юристъ и публицистъ, французъ Deschamps. Ему Новосильцовъ передавалъ соображенія и мысли свои: французъ, набившій руку себѣ во Франціи въ изготовленіи и редакціи подобныхъ проектовъ, писалъ ихъ, такъ-сказать, прямо набѣло. Переливка этихъ работъ въ Русскія формы наложена была на меня. Въ одинъ изъ пріѣздовъ моихъ въ Петербургъ изъ Варшавы императоръ удостоилъ меня особенною послѣобѣденною аудіенціею въ Каменноостровскомъ дворцѣ. Съ полчаса, если не болѣе, изволилъ говорить онъ о трудахъ нашихъ по канце-

ляріи Новосильцова, о воззрѣніяхъ своихъ на Польшу и на другія политическія событія и соображенія.

Тутъ косвенно были, или по крайней мѣрѣ такъ казалось мнѣ, маленькіе, не буквально выраженные, но понятные намеки на противоположныя мысли Карамзина. Напримѣръ, Государемъ было сказано: „Quelques uns pensent, que les désordres dont nous sommes parfois témoins, sont inhérents aux idées libérales: tandis qu'ils ne sont que des abus de ces idées et de ces principes". Государь говорилъ также о предположеніяхъ своихъ въ отношеніи къ будущему государственному устройству Россіи. Говорилъ онъ все время по французски: рѣчь его была стройна, плавна и отличалась изящностью и ясностью; день, ознаменованный этимъ разговоромъ, остается историческимъ днемъ въ жизни моей. Переводъ словъ: *constitution* и *libéral* — словами: *государственное уложеніе* и *законносвободный*, принадлежатъ самому Государю. При концѣ аудіенціи могъ я, между прочимъ, убѣдиться въ умѣніи Государя, или, лучше сказать, въ прирожденной ему способности, часто малозначущимъ словомъ польстить человѣку и порадовать его личною и привѣтливою внимательностью.

Я пріѣхалъ изъ Варшавы чрезъ Ригу. Песчаная, утомительная, продолжительная ѣзда отъ Митавы вывела меня изъ терпѣнія. Я былъ золъ на себя и на дорогу, которую выбралъ. Въ Ригѣ хотѣли обратить вниманіе мое на картину города, Двины, моста, сплошь, какъ перилами, окаймленнаго коммерческими судами. Но я ничего ни слышать, ни видѣть не хотѣлъ; въ отмщеніе Митавскимъ пескамъ, я крѣпко зажмурилъ глаза: такъ и проѣхалъ. Видно, Карамзинъ разсказалъ Государю эту выходку эксцентрическую. Отпуская меня, Императоръ, съ своею ласковою и выразительною улыбкою, спросилъ меня: а что, вы и теперь поѣдете на Ригу?

Забылъ я сказать, что Новосильцовъ имѣлъ намѣреніе отправить меня прямо къ Государю съ изготовленною работою нашею, для объясненій по редакціи, если Государь потребовалъ бы ихъ. Но канцелярскія интриги этому помѣшали. Уже позднѣе, и то совершенно случайно, довелось мнѣ имѣть вышеупомянутую бе-

сѣду, для меня достопамятную. Но нѣтъ медали, у которой не было бы своей обратной стороны. Гдѣ-нибудь и когда-нибудь, если Богъ дастъ, разскажу, какъ благоволительное обращеніе Государя со мною, ни по лѣтамъ моимъ, ни по оффиціальному служебному положенію моему, не имѣвшимъ на то права, обратилось позднѣе въ неудовольствіе на меня.

Впрочемъ, скажу заранѣе, что тутъ было много моей вины, то есть недосмотрительности, неосторожности, а еще болѣе виноваты были въ томъ постороннія вліянія и неблагопріятныя обстоятельства. Государь не могъ поступить иначе: онъ долженъ былъ вызвать меня изъ Варшавы; но въ то же время велѣлъ онъ сказать мнѣ чрезъ Карамзина, что всякая другая служба остается для меня вполнѣ открытою.

VIII.

Вышесказанное мною вообще относится до пребыванія моего въ Варшавѣ и до нѣкоторыхъ обстоятельствъ, вытекающихъ изъ этого пребыванія. Хочется мнѣ нѣсколько остановиться на этомъ и опредѣлить Варшавскій періодъ жизни моей, тѣмъ болѣе, что онъ имѣлъ довольно важное вліяніе и на многіе послѣдовавшіе за нимъ годы. Къ тому же, не былъ онъ чуждъ и литературной дѣятельности моей. По распущеніи Московскаго ополченія, оставался я въ Москвѣ въ службѣ, не въ службѣ, въ отставкѣ, не въ отставкѣ, а причисленнымъ по прежнему къ межевой канцеляріи, или, вѣрнѣе сказать, не отчисленнымъ отъ нея. Начальникъ сей канцеляріи, сенаторъ Обресковъ, при которомъ я служилъ, умеръ въ 1814 году. Время было не до канцелярскихъ строгихъ порядковъ и взысканій; но я не думалъ выяснить свое служебное положеніе: ни служба, ни начальство не заботились обо мнѣ. Наступилъ 1817 годъ. Пріѣхалъ въ Москву генералъ, Мих. Мих. Бороздинъ, въ свое время блестящій воинъ на поляхъ сраженій и равно блестящее лице въ салонахъ обѣихъ столицъ. Въ дѣтствѣ моемъ заглядывался я на него, и любовался красивою и мужественною наружностью и

отличающейся отъ другихъ изящною и щегольскою осанкою. Онъ былъ одинъ изъ ближайшихъ пріятелей отца моего, который шутя прозвалъ его Неаполитанскимъ королемъ, по поводу предводительства его Русскими войсками въ Неаполѣ въ царствованіе Императора Павла. Замѣтимъ уже кстати и мимоходомъ, что отецъ прозвалъ вмѣстѣ съ нимъ Польскимъ королемъ и извѣстнаго въ царствованіе Екатерины II Корсакова, который очень дорожилъ орденомъ Польскаго Бѣлаго Орла и никогда не снималъ его съ себя. Отецъ мой говаривалъ, что ему очень пріятно и лестно играть у себя дома въ бостонъ съ двумя величествами. По пріѣздѣ въ Москву Бороздинъ отыскалъ меня и очень обласкалъ, какъ сына пріятеля своего. Онъ дружески укорялъ меня въ тунеядствѣ моемъ и говорилъ, что въ молодыхъ лѣтахъ сыну Андрея Ивановича стыдно бить баклуши и быть какимъ-то Митрофанушкою, недорослемъ въ обществѣ. Къ тому же времени пріѣхалъ изъ Варшавы и Новосильцовъ, вызванный Государемъ, который тогда со всѣмъ Дворомъ имѣлъ пребываніе въ Москвѣ. Бороздинъ былъ пріятелемъ и Новосильцова. Вѣроятно, говорилъ онъ ему обо мнѣ; однажды пригласилъ онъ меня обѣдать съ Новосильцовымъ, представилъ и, такъ сказать, безъ особенныхъ предварительныхъ объясненій со мною, передалъ меня ему на руки. Новосильцовъ благосклонно принялъ меня: участь моя была рѣшена, если не противъ воли моей, то такъ-сказать почти мимо воли моей, но однако же не безъ признательности къ участію, принятому во мнѣ старымъ пріятелемъ отца. При разставаніи моемъ съ Москвою и беззаботною жизнію моею написалъ я стихотвореніе: «Прощаніе съ халатомъ», которое было тогда же напечатано въ журналѣ *Сынъ Отечества* и имѣло нѣкоторый успѣхъ. До Варшавы зналъ я почти одну Москву: въ Петербургъ наѣзжалъ я только на короткое время, за границею же не бывалъ. Варшава, тогда блестящая, не только *мирная*, но и празднующая перерожденіе свое, повѣяла на меня незнакомымъ, новымъ воздухомъ. Я скоро и легко аклиматизировался, да иначе и быть не могло. Починъ мой въ Варшавѣ былъ самый благопріятный. Въ Новосильцовѣ нашелъ я начальника, котораго лучше и придумать

нельзя, начальника, чуждаго всякаго начальствованія. Съ первыхъ дней пріѣзда моего, я сдѣлался у него домашнимъ; въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, до дня отъѣзда моего, эти отношенія ни на одинъ день, ни на одну минуту не измѣнялись. Даже и послѣ, когда увѣдомлялъ онъ меня, по Высочайшему повелѣнію, что не долженъ и не могу я возвращаться въ Варшаву, оффиціальное письмо его запечатлѣно было чувствомъ благорасположенія его ко мнѣ. Государь, въ тоже самое время пріѣхавшій изъ Москвы для открытія перваго Польскаго сейма, былъ ко мнѣ отмѣнно внимателенъ и милостивъ. Онъ даже изволилъ удостоить жену и меня своимъ августѣйшимъ посѣщеніемъ. Правда, сказали мнѣ тогда, что царское посѣщеніе относится вообще къ хозяйкѣ дома, а не къ хозяину, который, какъ отцы при крестинахъ дѣтей своихъ, долженъ блистать отсутствіемъ своимъ; но безсознательное нарушеніе мое придворнаго этикета и приличія сошло благополучно. Государь былъ очень веселъ и разговорчивъ. Между прочимъ изволилъ онъ спросить меня: прочелъ ли я исторію Карамзина, которая только что вышла въ печати. На мой отвѣтъ, что еще не успѣлъ я прочесть, Государь, съ видомъ какого-то самодовольства, сказалъ мнѣ: «А я прочелъ ее съ начала до конца». Еще до Варшавы Государь явилъ намъ знакъ благоволенія своего. Дорогою, гдѣ-то въ Царствѣ Польскомъ, обогналъ онъ насъ, узналъ, велѣлъ коляскѣ своей остановиться и вышелъ изъ нея, на встрѣчу къ намъ, также вышедшимъ изъ кареты. Государь былъ бодръ, свѣжъ и тщательно и красиво убранъ и одѣтъ, какъ будто бы выходилъ изъ уборной комнаты своей въ Зимнемъ дворцѣ. Я ѣхалъ больной, чуть ли не въ халатѣ, не мытый, не бритый, неряшливый. Дорогою, передъ тѣмъ, пролежалъ я, больной простудою и колотьемъ въ боку и въ груди, въ какомъ-то мѣстечкѣ; въ немъ не было никакихъ пособій и помощи: ни доктора, ни хорошей воды, ни бѣлаго хлѣба, ни уксуса. Какъ-то уже дня три, или четыре спустя, гродненскій губернаторъ, узнавъ о болѣзни моей, прислалъ намъ бѣлый хлѣбъ, лимоны и другіе припасы и снадобья. На другой день пріѣзда нашего въ Варшаву Государь изволилъ прислать намъ фельдъегеря освѣдомиться о здоровьи

моемъ. Онъ же увѣдомилъ и Новосильцова, что новый чиновникъ его ѣдетъ къ нему больной. Для людей, опасающихся начинать и предпринимать что-нибудь въ понедѣльникъ, замѣчу, что мой примѣръ можетъ подкрѣпить ихъ суевѣрье. Въ Москвѣ все было уже готово къ нашему отъѣзду въ Варшаву. Но теща моя, П. Ю. Кологривова, давала балъ въ воскресенье, въ честь Государя и царской фамиліи. Неловко было уѣхать до бала. А между тѣмъ скорый отъѣздъ Государя и предварительный отъѣздъ свиты его угрожали намъ препятствіями и частыми и долгими остановками по почтовому тракту. Я самъ питаю нѣкоторое почтительное отвращеніе въ отношеніи къ понедѣльнику. Такимъ образомъ дѣтей нашихъ отправилъ я впередъ въ воскресенье, чтобы застраховать ихъ отъ худаго паитія понедѣльничнаго глаза, а самъ предалъ себя на волю Божію и рѣшилъ, что мы выѣдемъ тотчасъ послѣ бала, то-есть на разсвѣтѣ понедѣльника. Такъ и было. Этотъ крутой переворотъ изъ бальныхъ платьевъ въ дорожныя, изъ блеска многолюднаго праздника въ дорожную повозку внушилъ мнѣ тутъ же стихотвореніе, *Ухабъ*, которое, помнится, напечатано въ *Сынѣ Отечества*. Начинается оно такъ:

Надъ кѣмъ судьбина не шутила,
И кто проказъ ея не рабъ?
Слѣпая приговоръ скрѣпила,
И съ бала я попалъ въ ухабъ.
Въ ухабѣ, сидя какъ въ берлогѣ,
Я на досугѣ разсуждалъ.
И въ жизни, какъ и на дорогѣ,
Ухабовъ много насчиталъ.

Далѣе не помню.

Но возвратимся къ зловѣщему понедѣльнику. Не только крѣпко захворалъ я дорогою, но въ Несвижѣ, гдѣ ночевали мы, насъ совершенно обокрали: платья, нѣсколько тысячъ рублей, лежавшихъ въ мѣшкѣ, и разные другіе предметы дорожные, или хозяйственные, которые везли мы въ Варшаву, все было до чиста прибрано и похищено. Чтобы имѣть возможность ѣхать далѣе, жена должна была заложить, для вырученія нѣкоторой суммы, разныя свои кольца, серьги и цѣнныя вещи. По сча-

стію, догналъ насъ И. С. Тимирязевъ,—тогда адъютантъ великаго князя Константина Павловича, и сжалясь надъ бѣдствіемъ нашимъ, ссудилъ насъ двумя тысячами рублей. Avis au lecteur. Вотъ что значитъ пускаться въ путь въ понедѣльникъ.

Пріѣздъ Государя въ Варшаву еще болѣе оживилъ ее. Поляки впечатлительны: на нихъ сильно и горячо отражаются и радость, и горе; свита Императора была многолюдна и блистательна: князь Волконскій, графъ Уваровъ, Милорадовичъ, Остерманъ, князь Меншиковъ, генералъ Потемкинъ, любимецъ Семеновскаго полка и гвардіи, графъ Чернышовъ и многія другія, болѣе или менѣе извѣстныя, военныя лица; по части гражданской графъ Каподистріа съ двумя своими правыми руками: графомъ Матушевичемъ и Сѣверинымъ; государственный секретарь Марченко съ Арзамасцемъ Жихаревымъ. Всѣ съѣхались, болѣе или менѣе, доброжелательными и вѣжливыми гостями; даже и не совершенно сочувствующіе возрожденію Польши увлекались новостью и блестящею обстановкою зрѣлища. Предъ ними, какъ и предо всѣми, ставилась и разыгрывалась новая драма. На военныхъ же особенно отсвѣчивались славные дни недавнихъ побѣдъ и вступленія въ Парижъ Побѣдителя.

IX.

Но пора спуститься съ временнаго подножія человѣка полуполитическаго, куда попалъ я, на смиренный участокъ, которымъ надѣленъ я въ области литтературной.

Странное дѣло: очень люблю и высоко цѣню пѣвучесть чужихъ стиховъ, а самъ въ стихахъ своихъ нисколько не гонюсь за этою пѣвучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. Въ стихѣ моемъ хочу сказать то, что̀ сказать хочу: о ушахъ ближняго не забочусь и не помышляю. Не помышляю и о томъ, что многое не ладитъ со стихами: стихи, или поэзія всего не выдерживаютъ. Коровы бываютъ и очень красивыя: но сѣдло имъ нейдетъ. Мысль, стихомъ осѣдланная, можетъ никуда не годиться. Мое упрямство, мое насильствованіе придаютъ иногда

стихамъ моимъ прозаическую вялость, иногда вычурность. Когда Вьельгорскій просилъ у меня стиховъ, чтобы положить ихъ на музыку, онъ всегда прибавлялъ: только, ради Бога, не умничай; мысли мнѣ не нужны, мысли на ноты не перекладываются. Вьельгорскій именно въ цѣль попалъ. Въ стихахъ моихъ я нерѣдко умствую и умничаю. Между тѣмъ полагаю, что если есть и должна быть поэзія звуковъ и красокъ, то можетъ быть и поэзія мысли. Всѣ эти свойства, или недостатки побудили Пушкина, въ тайныхъ замѣткахъ своихъ, обвинить меня въ *какофоніи*: ужъ не слишкомъ-ли? Вотъ отмѣтка его: „Читалъ сегодня посланіе кн. Вяземскаго (видно онъ сердитъ, что величаетъ меня княжествомъ) къ Жуковскому (напечатанное въ Сынѣ Отечества 1821 года). Смѣлость, сила, умъ и рѣзкость; но что за звуки! *Кому былъ Фебъ изъ Русскихъ ласковъ*, — неожиданная риѳма *Херасковъ* не примиряетъ меня съ такой *какофоніей*“ [1]).

Воля Пушкина, за благозвучность стиховъ своихъ не стою, но и нынѣ не слышу *какофоніи* въ помянутыхъ стихахъ. А вотъ въ чемъ дѣло: Пушкина разсердилъ и огорчилъ я другимъ стихомъ изъ этого посланія, а именно тѣмъ, въ которомъ говорю, что *языкъ нашъ риѳмами бѣденъ*. — Какъ хватило въ тебѣ духа, сказалъ онъ мнѣ, сдѣлать такое признаніе? Оскорбленіе Русскому языку принималъ онъ за оскорбленіе, лично ему нанесенное. Въ нѣкоторомъ отношеніи былъ онъ правъ, какъ одинъ изъ высшихъ представителей, если не высшій, этого языка: оно такъ. Но правъ и я. Въ доказательство, укажу на самого Пушкина и на Жуковскаго, которые позднѣе все болѣе и болѣе стали писать бѣлыми стихами. Русская риѳма и у этихъ богачей обносилась и затерлась. Впрочемъ, не сержусь на Пушкина за посмертный приговоръ. Гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость; Пушкинъ порочитъ *звуки* мои, но щедро восхваляетъ меня за другія свойства: не остаюсь въ накладѣ.

Малоозвучность и другіе недостатки стиха моего могутъ объясниться слѣдующимъ. Я никогда не пишу стиховъ моихъ,

---

[1]) *Прим.* Хочу-ль сказать, къ кому былъ Фебъ изъ Русскихъ ласковъ?
Державинъ рвется въ стихъ, а втащится Херасковъ.
Это переводъ стиховъ Буало: La raison dit Virgile et la rime Quinault.

а сказываю ихъ въ прогулкахъ моихъ; это не вполнѣ *импровизація*, а что-то подобное тому, импровизація съ урывками, съ остановками. Въ этой пассивной стихотворческой гимнастикѣ бываютъ промахи и неправильныя движенія. Послѣ выпрямлю ихъ, говорю себѣ, — и иду далѣе, а когда окончательно кладу надуманное на бумагу, бываетъ уже поздно; поправить, выпрямить не удается: поправить лѣнь да и жаръ простылъ. Мало заботясь о нихъ, отпускаю стихи мои на Божій свѣтъ, какъ родились они, съ своими хорошими примѣтами, если таковыя есть, съ своими калѣчностями, когда таковыя окажутся.

Что говорю о стихахъ своихъ, могу вообще сказать и о прозѣ своей. И тутъ и тамъ замѣтенъ недостатокъ отдѣлки, оконченности. Не продаю товара лицомъ. Не обдѣлываю товара, а выдаю его сырьемъ, какъ Богъ послалъ.

Скажу и здѣсь: если Карамзинъ и Пушкинъ бывали ко мнѣ строги, то порою бывали и милостивы. Они нерѣдко сочувствовали плодамъ пера моего, драли меня за уши, но гладили и по головкѣ, одобряли, поощряли меня. Тоже скажу о Дмитріевѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ, Баратынскомъ, Дашковѣ, Блудовѣ. Могу сказать, что я избалованъ былъ, какъ строгими замѣчаніями ихъ, такъ и похвальными отзывами. Въ самой строгой критикѣ, когда она основательна и смѣтлива, можетъ быть слышна нота сочувствія.

X.

Повѣрятъ ли мнѣ, или нѣтъ, но утверждаю, что собственно для публики я никогда не писалъ. Когда я съ перомъ въ рукѣ, она мнѣ и въ голову не приходитъ. Впрочемъ, публика дѣлится на два разряда, а именно читающихъ и читателей. Тутъ почти таже разница, что между пишущими и писателями. Нечего и говорить, что въ томъ и другомъ случаѣ большинство на сторонѣ первыхъ. Признаюсь, во многомъ я не прочь отъ меньшинства; разумѣется и числительная сила большинства имѣетъ достоинство свое. Напримѣръ, гораздо выгоднѣе имѣть при себѣ

тысячу рублей, нежели десять. Но едва ли не будетъ пріятнѣе имѣть за себя десять умныхъ людей, нежели тысячу глупцовъ. Впрочемъ, о вкусахъ спорить нечего. Я и не спорю.

При такомъ настроеніи моемъ, само собою разумѣется, что я никогда не подъискивался, не старался угождать прихотямъ и увлеченіямъ читающей публики. Не ставилъ себѣ въ обязанность задобривать ее. Въ этомъ отношеніи за мною никакого художества, никакого *сочинительства* не бывало. Преимущественно писалъ я всегда для себя, а потомъ уже для тѣснаго кружка избранныхъ; въ нихъ не послѣднее мѣсто занимали мои избранницы. Критикой и похвалами ихъ бывалъ я равно доволенъ. Первою я часто пользовался съ повиновеніемъ; часто, а не всегда, другими радовался, а иногда гордился. На критику печатную обращалъ я вообще мало вниманія, съ нею не совѣтовался, ей не вѣрилъ. Это невѣріе крѣпко держится во мнѣ и нынѣ. Впрочемъ, настоящей критики, за рѣдкими исключеніями, у насъ не было; нѣтъ ея и теперь. Теперь еще менѣе, нежели прежде. Каченовскіе, Сенковскіе, Булгарины далеко не были свѣтилами критики; но все же была въ нихъ нѣкоторая литературная основа. Они кое-чему обучились, кое-что прочитали.

Въ старину, то-есть въ нашу молодость, выраженіе: *залихватской*, *залихватское* было въ общемъ употребленіи, преимущественно въ простонародіи и на офицерскомъ языкѣ. Нынѣ оно сдѣлалось заштатнымъ, какъ иные города, нѣкогда цвѣтущіе и довольно многолюдные. Слово свое время выжило, но сущность его осталась. Она легко можетъ быть примѣняема къ литературѣ, и особенно къ критикѣ. — „Да ты самъ тому виноватъ,—сказалъ бы мнѣ Александръ Тургеневъ,—ты самъ далъ тому примѣръ въ *Телеграфѣ*“. — Можетъ быть, скажу я. Но извѣстно, что послѣдователи худаго примѣра всегда еще ухудшаютъ его. Шалопайство пера гуляетъ по страницамъ журналовъ. Правда, есть и глубокомысленная, или головоломная критика, но попробуй ее — и провалишься.

Иной, напримѣръ, ничему не учился, сдѣлался самоучкою невѣжества своего. Но въ умѣ, въ замашкахъ мысли его была какая-то бойкость и Русская смѣтливость; онъ кое-что уга-

дывалъ. Но оставленное имъ по себѣ потомство наслѣдовало отъ него одно обширное невѣдѣніе; блестящія же качества его ускользнули отъ наслѣдниковъ. Вліяніе ложной школы, ложнаго авторитета утверждается въ обществѣ съ неимовѣрною скоростью и крѣпостью, какъ вліяніе прилипчивой болѣзни. У насъ, напримѣръ, встрѣчаешь людей не безъ ума, не безъ дарованія и общей европейской образованности, которые, не запинаясь, не заикаясь, ставятъ имъ подобнаго литературнаго выскочку рядомъ съ именемъ Пушкина, а можетъ быть еще готовы признать превосходство перваго надъ послѣднимъ, по благотворному вліянію, которое тотъ и другой оказали на ходъ литературы нашей. Что прикажете дѣлать въ виду подобной ереси? Впрочемъ, плоды ея очевидны и поразительны.

Сказанное мною—не сѣтованія оскорбленнаго самолюбія, не придирки злопамятства. На моемъ долгомъ вѣку всего было довольно. И я жилъ въ счастливой Аркадіи, и меня хвалили, и мнѣ кланялись журналы, и меня называли печатно *остроумнѣйшимъ писателемъ*. И мало-ли еще какія бывали величанія. Меня и очень бранили. Все это дѣло житейское и бывалое. Скажу и я съ Пушкинымъ:

E sempre bene, господа!

Отъ журнальныхъ похвалъ не раздувался я; отъ браней не худѣлъ. Позднѣе настала пора *заговора молчанія*. Критически печать меня заживо похоронила; не потрудилась даже выставить надгробную надпись. Что же, почему и этому не быть? Мертвые срама не имутъ.

Les absents n'ont pas toujours tort, сказалъ я когда-то: mais ce sont les présents qui ont souvent tort. Особенно въ такую глухую пору, когда между отсутствующими числятся: Дмитріевъ, Батюшковъ, Жуковскій, Баратынскій и нѣкоторые другіе; когда Карамзинъ и Пушкинъ едва-ли уже не откланиваются предъ читающею публикою. Да, Господи Боже мой! какъ былъ бы я глупъ, если не умѣлъ бы цѣнить свое достохвальное исключеніе; могу только сказать съ смиреніемъ и благодарностью, что не по заслугамъ моимъ такая честь мнѣ оказывается.

Для полноты автобіографическихъ замѣтокъ, считаю не лиш-

нимъ сказать и слѣдующее. Стороною доходили до меня слухи, что въ нѣкоторой залихватской печати хожу я подъ разными прозвищами забавными и насмѣшливыми. Честью удостовѣряю, что эти выстрѣлы въ меня остались промахами для меня. Не имѣлъ я и не имѣю понятія о нихъ. Мнѣ даже прислали за границу для показа одну подобную статью. Такъ и лежитъ она у меня по сію пору недочитанная. Любопытство мое притупилось. Въ старину любилъ я гарцовать въ чистомъ полѣ, предъ непріятелями своими, нынѣ и эта охота отпала; да и прежде не самолюбіе дѣйствовало во мнѣ, а какая-то задорливость. Баратынскій говаривалъ о мнѣ, что въ моихъ полемическихъ стычкахъ напоминаю я ему старыхъ нашихъ баръ, напримѣръ, Алексѣя Орлова, который любилъ выходить съ чернью на кулачной бой.

Если еще и нынѣ случается мнѣ тряхнуть стариною, то, право, не въ защиту свою, а просто отъ того, что приходится не въ терпежъ, когда наши политическіе *репортеры* слишкомъ зарапортуются, или наши питомцы *сороковыхъ годовъ*, какая-то эгира, внесенная въ нашу литературную хронологію, слишкомъ заговорятся. Да, пожалуй, найдутся добрые люди, которые скажутъ, что въ словахъ моихъ сквозятъ сѣтованія литературнаго крѣпостника, жалѣющаго о блаженныхъ временахъ цензуры. Нисколько. Хотя довольно долго промышлялъ я дѣлами цензуры, хотя въ проѣздъ мой чрезъ Берлинъ одна изъ нашихъ заграничныхъ непризнаваемыхъ (méconnue) знаменитостей, проходя мимо меня, и пробормотала про себя: „вотъ идетъ наша Русская цензура“, но я до цензуры не безусловный охотникъ. Не безусловный поклонникъ и безусловныхъ льготъ свободной печати. Впрочемъ, желаю имъ здравствовать и процвѣтать, но съ тѣмъ, чтобъ этотъ цвѣтъ приносилъ зрѣлые и здоровые плоды. Не слѣдуетъ забывать, что льготы, дарованныя печати, не всегда еще открываютъ путь истиннымъ успѣхамъ литературы. Бываетъ и такъ, что онѣ только развязываютъ руки самонадѣяннымъ посредственностямъ.

За границею получаю нѣсколько Русскихъ газетъ и журналовъ, но, признаюсь, мало читаю ихъ, а выписываю для очистки совѣсти. Жизнь такъ коротка, а мой остатокъ и такъ

еще окороченъ, что берегу время свое на чтеніе болѣе полезное и пріятное. Можетъ быть, вслѣдствіе того я и виноватъ предъ журналами и газетами нашими и пропускаю безсознательно многія сокровища, которыя въ нихъ таятся. Но на ловца звѣрь бѣжитъ: какъ то попадаю я чаще на слѣдъ краснаго звѣря политической или литературной безтактности, незнанія первыхъ элементарныхъ правилъ литературнаго благоприличія; скажемъ откровенно однимъ словомъ, на глупость, или на безсовѣстную неправду.

Нѣтъ сомнѣнія, что и нынѣ есть въ литературѣ нашей почетныя личности, которыя уважаю и мнѣніемъ которыхъ дорожу. Вполнѣ признаю и цѣню ихъ судъ, всегда готовъ совѣтоваться съ ними и покоряться совѣтамъ ихъ. Но не менѣе того, я какъ-то одинокъ въ современной литературѣ нашей. Нѣтъ уже прежнихъ спутниковъ моихъ, ровесниковъ, такъ сказать, единовѣрцевъ. Нѣтъ того полнаго сочувствія, которое развилось и окрѣпло на родной почвѣ товарищества, общихъ привычекъ, понятій, склонностей, направленій. Теперь, когда напишу что-нибудь, чѣмъ я самъ доволенъ и что кажется мнѣ удачно, не чувствую потребности, увлеченія прочесть сгоряча написанное мною друзьямъ моимъ. Этихъ друзей уже нѣтъ. Мнѣ, и радуясь собою, грустно радоваться одиноко. Не могу бѣжать къ Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, чтобы подѣлиться съ ними свѣжимъ, только-что созрѣвшимъ, только-что сорваннымъ съ вѣтки плодомъ моей мысли, моего вдохновенія. Оцѣнка ихъ была бы и моею окончательною оцѣнкою; одобреніе ихъ было бы освященіемъ моей радости. Это одиночество, можетъ быть, и есть поводъ къ нѣкоторому охлажденію къ самому себѣ, и, можетъ быть, къ малому сочувствію, и часто равнодушію къ тому, что у насъ пишется.

XI.

Выше было уже сказано, что я вообще писалъ не усидчиво, а болѣе урывками. Въ литературной жизни моей были только два періода довольно постоянной дѣятельности, а именно, когда

я участвовалъ въ изданіи журнала *Телеграфъ* и когда писалъ біографію фонъ-Визина. Обѣ дѣятельности были почти случайныя. Одна обязана холерѣ, другая вотъ какимъ обстоятельствамъ. Полевой былъ въ то время еще литераторомъ in partibus infidelium. Едва ли не противъ меня были обращены первыя дѣйствія его. По крайней мѣрѣ ему приписывали довольно бранное посланіе на имя мое, напечатанное въ *Вѣстникѣ Европы*, въ отвѣтъ на мое извѣстное, и также не слишкомъ вѣжливое, посланіе къ Каченовскому. Какъ бы то ни было, Полевой со мной познакомился и бывалъ у меня по утрамъ. Однажды засталъ онъ у меня графа Михаила Вьельгорскаго. Рѣчь зашла о журналистикѣ. Вьельгорскій спросилъ Полеваго, что онъ дѣлаетъ теперь. — Да покамѣсть ничего, — отвѣчалъ онъ. Зачѣмъ не примитесь вы издавать журналъ? продолжалъ графъ. Тотъ благоразумно отнѣкивался за недостаткомъ средствъ и другихъ приготовительныхъ пособій. Юноша былъ тогда скроменъ и застѣнчивъ. Вьельгорскій настаивалъ и преслѣдовалъ мысль свою; онъ указалъ на меня, что я и пріятели мои не откажутся содѣйствовать ему въ предпріятіи его, и такъ далѣе;—дѣло было рѣшено. Вотъ какъ, въ кабинетѣ дома моего, въ Чернышевомъ переулкѣ, зачато было дитя, которое послѣ надѣлало много шума на бѣломъ свѣтѣ. Я закабалилъ себя *Телеграфу*. Почти въ одно время закабалилъ себя Пушкинъ *Московскому Вѣстнику*. Но онъ скоро вышелъ изъ кабалы, а я втерся и въѣлся въ свою всѣми помышленіями и всѣмъ тѣломъ. Журнальная дѣятельность была по мнѣ. Пушкинъ и Мицкѣвичъ увѣряли, что я рожденъ памфлетеромъ, открылось бы только поприще. Иная книжка *Телеграфа* была на половину наполнена мною, или матеріалами, которые сообщалъ я въ журналъ.

Журналъ удался: отъ него пахло новизною. Многое изъ напечатаннаго въ немъ входитъ нынѣ въ собраніе сочиненій моихъ. Но, вѣроятно, не все. За давностью не упомню всего. Своихъ не познаше. Сначала медовые мѣсяцы сожитія моего съ Полевымъ шли благополучно, работа кипѣла. Не было недостатка въ досадѣ, зависти и брани прочихъ журналовъ. Все это было по мнѣ; все подстрекало, подбивало меня. Я стоялъ

на боевой стѣнѣ, стрѣлялъ изо всѣхъ орудій, партизанилъ, наѣздничалъ и подъ собственнымъ именемъ, и подъ разными заимствованными именами и буквами. *Журнальный сыщикъ* все ловилъ на лету. Потѣха, да и только. Но послѣ издатель началъ дѣлать попытки по своему усмотрѣнію: печаталъ статьи, изъявлялъ мнѣнія, которыя выходили совершенно въ разрѣзъ съ моими, прибавлю—не въ отношеніи политическомъ и либеральномъ,—нѣтъ, просто въ личномъ и чисто литературномъ. Мнѣ это не понравилось, и я отказался отъ сотрудничества. Впрочемъ, можетъ быть и Полевой радъ былъ моему отказу. Журналъ довольно окрѣпъ, участія моего было уже не нужно, а между тѣмъ, по условію, долженъ былъ я получать половину чистой выручки. Журналисту и человѣку коммерческому легко было расчесть, что лучше не дѣлить барыша, а вполнѣ оставить его за собою. Что же? Полевой былъ правъ, и я нисколько не виню его. Былъ правъ и я. Литературная совѣсть моя не уступчива, а щекотлива и брезглива. Не умѣетъ она мирволить и входить въ примирительныя сдѣлки. Жуковскій, а особенно Пушкинъ оказывали въ этомъ отношеніи болѣе снисходительности и терпимости. Я былъ и остался строгимъ пуританиномъ.

При переѣздѣ въ Петербургъ на житье принималъ я участіе въ литературной газетѣ Дельвига, позднѣе въ *Современникѣ* Пушкина. Но дѣятельность моя тутъ и тамъ далека была отъ прежней моей телеграфической дѣятельности.

Надъ Москвою въ 1831 г. грянула холера. Передъ тѣмъ проѣзжалъ я, или, говоря служебнымъ языкомъ, былъ откомандированъ въ Москву графомъ Канкринымъ для устройства первой промышленной выставки въ Москвѣ.

Появленіе холеры въ столицѣ застало меня въ подмосковной, въ селѣ Остафьевѣ. Часть семейства моего въ немъ жила. Нужно было, безъ отлагательства, рѣшиться на одну изъ двухъ предстоящихъ мѣръ: остаться въ деревнѣ, или сейчасъ перебраться съ дѣтьми въ городъ. Чрезъ нѣсколько часовъ Москва должна быть оцѣплена: по дорогамъ учреждены карантины. Въ Москвѣ уже гнѣздилась болѣзнь; но въ ней были всѣ врачебныя пособія и удобства, чтобъ по возможности бороться съ

нею. Въ деревнѣ ея не было, могла она и не быть. Но въ случаѣ вторженія мы были бы совершенно безоружны противъ врага. Отвѣтственность, лежавшая на мнѣ, какъ на отцѣ семейства, была тяжелая, и, признаюсь, не по силамъ моимъ. Вообще, я не человѣкъ скорыхъ и окончательныхъ рѣшеній. Въ борьбѣ съ жизнью я болѣе Фабій *Кунктаторъ*, болѣе свойства выжидательнаго. Здѣсь же отвиливать, мѣшкать было нечего. Я рѣшился оставаться въ деревнѣ. Богъ меня надоумилъ и благословилъ рѣшеніе мое. Первое время заточенія было тяжкое. Всегда ожидаю скорѣе худаго, нежели надѣюсь на хорошее. Мало по малу мы обжились въ своемъ карантинѣ. Для развлеченія моего, пришла мнѣ счастливая мысль. Давно задумалъ я заняться біографіею фонъ-Визина. Нѣсколько страницъ было уже написано; матеріаловъ подъ рукою было довольно. Вспомнилъ я о нихъ, принялся за работу, и она закипѣла. Подъ бокомъ у меня была библіотека обширная, иностранная и Русская. Она была для меня богатою житницею. За работу принялся я не съ пустыми руками: пересмотрѣлъ, перебралъ, перечиталъ многіе десятки книгъ историческихъ и литтературныхъ. Тутъ на опытѣ убѣдился я въ пользѣ и правдивости ученія, что *все во всемъ* (tout est dans tout). Все въ мірѣ, часто незамѣтно, но болѣе или менѣе связывается и держится между собою. Ни въ физическомъ, ни въ нравственно-человѣческомъ мірозданіи нѣтъ пустыхъ мѣстъ. Все послѣдовательно и соотвѣтственно занято. Нерѣдко одно слово, одно имя, одно малѣйшее событіе можетъ васъ увлечь въ разнообразныя и далекія изысканія. Такъ было и со мною. Много историческихъ сочиненій перебралъ я по поводу фонъ-Визина, прочиталъ я, или пробѣжалъ почти всю старую Русскую словесность, между прочимъ едва ли не всего Сумарокова. Прочиталъ я даже болѣе половины многотомнаго собранія *Россійскаго Θеатра*. Подвигъ, скажу, Геркулесовскій, болѣе—Бенедиктинскій. Иногда изъ цѣлой книги извлекалъ я двѣ-три строки, два-три слова, нужныя мнѣ для одной повѣрки, для одной замѣтки. Тредьяковскій и Фридерикъ Великій, въ своихъ историческихъ запискахъ, были мнѣ равно полезны. По возможности, все писанное мною было обдумано и провѣрено.

Терпѣніе и трудъ мой были вознаграждаемы сознаніемъ, что поступаю добросовѣстно. Никогда письменная работа, ни прежде, ни послѣ, не была для меня такъ увлекательна, какъ настоящая, на которую навела меня холера. Работалъ и писалъ я прилежно, усидчиво, по цѣлымъ часамъ до обѣда, вечеромъ за полночь.

Уже при послѣднихъ издыханіяхъ холеры навѣстилъ меня въ Остафьевѣ Пушкинъ. Разумѣется, не отпустилъ я его отъ себя безъ прочтенія всего написаннаго мною. Онъ слушалъ меня съ живымъ сочувствіемъ пріятеля, и судилъ о трудѣ моемъ съ авторитетомъ писателя опытнаго и критика меткаго, строгаго и свѣтлаго. Вообще болѣе хвалилъ онъ, нежели критиковалъ. Между прочимъ находилъ онъ, что я слишкомъ живо нападаю на фонъ-Визина за мнѣнія его о Французахъ, и слишкомъ горячо отстаиваю Французскихъ писателей. При всей просвѣщенной независимости ума Пушкина, въ немъ иногда пробивалась патріотическая щекотливость и ревность въ отношеніи суда его надъ чужестранными писателями. Этого чувства я не знаю. Какъ бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкинымъ, былъ для меня праздничнымъ днемъ. Скромный работникъ, получилъ я отъ мастера-хозяина одобреніе, то есть лучшую награду за свой трудъ.

Книга, написанная мною, долго пролежала у меня. Для полноты автобіографическаго очерка своего, скажу о ней еще нѣсколько словъ. Я уже замѣтилъ, что однажды написанное мною ни что иное, какъ отрѣзанный ломоть. Оно уже не входитъ въ составъ жизни моей, не живая часть меня. Отпадшіе листья не принадлежатъ уже дереву, которое породило и воскормило ихъ. Вотъ что вывело фонъ-Визина моего на бѣлый свѣтъ. Въ отсутствія, иногда довольно продолжительныя, директоровъ, я управлялъ департаментомъ внѣшней торговли; при немъ издавалась *Коммерческая газета* и была типографія. По старому ремеслу обращалъ я на нихъ особенное вниманіе. Управляющій типографіею былъ человѣкъ знающій свое дѣло и усердный къ нему. Онъ часто просилъ меня дать ему что-нибудь моего на станки его. Я вспомнилъ о спящей царевнѣ своей, то-есть о рукописи,

и отдалъ ее въ типографію. Фонъ-Визинъ былъ напечатанъ, помнится мнѣ, въ числѣ шести или осьми сотъ экземпляровъ. Отданы были они на руки книгопродавцамъ. Кажется, изданіе разошлось. На мою долю выручка пала, много сказать, экземпляровъ на сто, прочіе какъ-то улетучились. Habent sua fata libelli, особенно мои. Книга разошлась, но какъ-то молча. По крайней мѣрѣ не случалось мнѣ встрѣчать въ журналахъ общей оцѣнки ея, изслѣдованій по существу. Были однѣ случайныя отмѣтки о нѣкоторыхъ частностяхъ. Бывали изъ нея и заимствованія, но тоже не гласныя. Меня также обходили молча. А, казалось бы, книга открывала поле для критики мыслящей и дѣльной. Если не была она литературное событіе, то все же была любопытная и довольно серьёзная попытка. Впрочемъ, молчанію о ней были и свои законныя причины. Бранить книгу было какъ-то не ловко: брани мало поддавалась она. Не за что было ухватиться. Хвалить ее также не подобало. Въ это время литературные фонды мои значительно понизились на журнальной биржѣ, и не мои одни; другіе капитальные дома, не то что моя фирма средней руки, были мало по малу подорваны, и довѣріе къ нимъ было поколеблено. Видите ли въ чемъ дѣло: я тогда уже пересталъ слыть либераломъ, а по сознанію Бѣлинскаго, главнаго основателя, пророка и законодателя новаго вѣрованія, вся суть литературы заключается въ либерализмѣ. Мы, можетъ быть, по-своему и оставались либералами, но либерализмъ нашъ былъ стараго покроя. Нашъ заключался въ правилахъ и чувствахъ, а не въ жаргонѣ (jargon), то-есть не въ какомъ-то условномъ, искусственномъ, поддѣльномъ нарѣчіи. Какъ бы то ни было, обо мнѣ молчали.

Одинъ Гоголь открыто подалъ голосъ за меня, но и то не совсѣмъ удачно, то есть не въ мѣру. Гоголь, хотя и Малороссъ, то-есть человѣкъ осторожный и себѣ на умѣ, бывалъ подъ часъ чистокровный Великороссъ, то-есть кидался въ крайности:

О Россъ, о родъ великодушный,
О твердо-каменная грудь!

(*Державинъ*).

Мы любимъ идти на-проломъ и на-удалую. Запой есть не только особенно свойственная Русскому человѣку физическая болѣзнь, она и нравственная. Мы почти все дѣлаемъ запоемъ, и дурное и хорошее. Проспавшись и отрезвившись, мы не отвѣчаемъ за сказанное и сдѣланное нами въ припадкѣ своемъ. Такъ обыкновенно судятъ и присяжные засѣдатели въ уголовныхъ дѣлахъ, предаваемыхъ сужденію ихъ.

Вотъ слова Гоголя: „Изъ поэтовъ времени Пушкина отдѣлился князь Вяземскій. Хотя онъ началъ писать гораздо прежде Пушкина, но такъ какъ его полное развитіе было при немъ, то упомянемъ о немъ здѣсь. Въ князѣ Вяземскомъ — противоположность Языкову. Сколько въ томъ поражаетъ нищета мыслей, столько въ этомъ обиліе ихъ. Стихъ употребленъ у него, какъ первое попавшееся орудіе: никакой наружной отдѣлки его, никакого также сосредоточенія и округленія мысли, затѣмъ чтобы выставить ее читателю, какъ драгоцѣнность. Онъ не художникъ и не заботится обо всемъ этомъ. Его стихотворенія — импровизаціи, хотя для такихъ импровизацій нужно имѣть слишкомъ много всякихъ даровъ и слишкомъ приготовленную голову. Въ немъ собралось обиліе необыкновенное всѣхъ качествъ: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводовъ, чувство, умъ, остроуміе, веселость и даже грусть; каждое стихотвореніе его — пестрый фараонъ всего вмѣстѣ. Онъ не поэтъ по образованію: судьба, надѣливши его всѣми дарами, дала ему какъ бы въ придачу талантъ поэта, затѣмъ чтобы составить изъ него что-то полное. Въ его книгѣ, *Біографія фонъ-Визина*, обнаружилось еще виднѣе обиліе всѣхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ въ одно и тоже время политикъ, философъ, тонкій оцѣнщикъ и критикъ, положительный государственный человѣкъ и даже опытный вѣдатель практической стороны жизни, словомъ — всѣ тѣ качества, которыя долженъ заключать въ себѣ глубокій историкъ въ значеніи высшемъ, и еслибы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія фонъ-Визина, написано было все царствованіе Екатерины, то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго по достоинству историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа. Но отсутствіе большаго и полнаго труда есть

болѣзнь князя Вяземскаго, и это слышится въ самыхъ его стихотвореніяхъ. Въ нихъ замѣтно отсутствіе внутренняго гармоническаго согласованія въ частяхъ, слышенъ разладъ: слово не сочеталось со словомъ, стихъ со стихомъ, возлѣ крѣпкаго и твердаго стиха, какого нѣтъ ни у одного поэта, помѣщается другой, ничѣмъ на него не похожій; то вдругъ защемитъ онъ чѣмъ-то вырваннымъ живьемъ изъ самаго сердца, то вдругъ оттолкнетъ отъ себя звукомъ, почти чуждымъ сердцу; слышна несобранность въ себя, неполная жизнь своими силами; слышится на днѣ всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человѣка, одареннаго способностями разнообразными и очутившагося безъ такого дѣла, которое бы заняло всѣ до единой его способности, тяжелѣе участи послѣдняго бѣдняка. Только тотъ трудъ, который заставляетъ цѣликомъ всего человѣка обратиться къ себѣ и уйти въ себя, есть нашъ избавитель. На немъ только, какъ говоритъ поэтъ:

Душа прямится, крѣпнетъ воля,
И наша собственая доля
Опредѣляется виднѣй».
(Полн. собр. сочин. Н. В. Гоголя. Москва. 1862. III, стр. 459—461).

Уфъ! Задыхаюсь и изнемогаю и отъ похвалъ, которыя нагромоздилъ на меня Гоголь, и отъ протяжности періода, въ которомъ онъ, однимъ духомъ, сколотилъ всѣ эти похвалы. Вотъ куда слѣдовали бы точки и двоеточія, которыхъ требовалъ отъ меня Дмитріевъ. Выпискою нашею хотѣли мы указать на преувеличеніе, которымъ увлекался авторъ. Мы сердечно благодарны ему за лестный отзывъ его обо мнѣ и о трудѣ моемъ. Если сбавить и на половину все то, что́ имъ сказано, то и тогда еще будетъ съ меня избыточно довольно. Но разберемъ критически эти похвалы.

Во-первыхъ, какую можно опредѣлить равномѣрность между біографіею частнаго человѣка, и исторіею долгаго и славнаго царствованія великой государыни?

Во-вторыхъ, положимъ, что исторія, написанная мною, была бы удовлетворительна, почему ничего *подобнаго, по достоинству, историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа?* Вотъ

здѣсь наталкиваемся мы на Великороссійское самохвальство. Обыкновенно, въ смиреніи мы тише воды, ниже травы; въ высокомѣріи мы выше кедра ливанскаго.

Писать исторію, даже романъ, мнѣ никогда въ голову не приходило. Однажды, по кончинѣ Пушкина, Императоръ Николай, въ благоволительномъ разговорѣ со мною, спросилъ меня: не возьмусь ли я продолжать трудъ Пушкина относительно исторіи Петра Великаго? Съ благодарностью, но и съ сознаніемъ способностей и недостатковъ своихъ, отклонилъ я милостивое и лестное предложеніе.

Въ томъ же мѣстѣ, Гоголь послѣ большихъ похвалъ не скупится и на укоризны. Между прочимъ говоритъ онъ: „отсутствіе большаго и полнаго труда есть болѣзнь князя Вяземскаго“. Съ этимъ приговоромъ я совершенно согласенъ, но съ оговоркою. Полно, *болѣзнь* ли это?—развѣ недостатокъ. И когда сей недостатокъ сознаваемъ самимъ человѣкомъ, и глядя на другихъ, не затѣваетъ онъ труда выше силъ своихъ, то эта мнимая *болѣзнь* есть, напротивъ, признакъ *здоровья*, а *недостатокъ* есть сила *здравомыслія*. Лучше казаться больнымъ, а быть здоровымъ, нежели казаться здоровымъ, а на дѣлѣ оказаться больнымъ.

XII.

Теперь нѣсколько словъ о самомъ изданіи всего написаннаго мною въ прозѣ. О стихотвореніяхъ рѣчь впереди. Первый вопросъ заключается въ томъ: всего ли меня печатать, или только выборку изъ меня? Съ своей стороны я болѣе держался послѣдняго соображенія. Но благопріятели мои, которые приняли на себя трудъ собрать во-едино разбросанное стадо мое, порѣшили иначе. Покоряюсь волѣ ихъ. Изданіе нѣкоторыхъ стихотвореній моихъ подъ названіемъ „Въ дорогѣ и дома“ совершилось также безъ прямаго, или исключительнаго участія моего. Оно составлено по почину и главному распоряженію покойнаго Лонгинова. Я былъ тогда за границею, по болѣзни моей, и при-

знаюсь, оставался довольно равнодушенъ къ исходу этого предпріятія. Вполнѣ благодаренъ я ему за трудъ, добросовѣстно и съ умѣніемъ имъ исполненный; но скажу откровенно, что я не совершенно согласенъ съ нимъ относительно выбора его изъ моихъ стихотвореній. Инаго не внесъ бы я въ избранное собраніе, другое, какъ, напримѣръ (исчисляю ихъ по памяти): *Уныніе*, *Первый снѣгъ*, *Посланіе къ Денису Давыдову* и нѣкоторыя другія стихотворенія, по сочувствію моему, имѣли бы болѣе права на перепечатаніе, нежели другія, попавшіяся въ книгу.

О нынѣшнихъ добродѣющихъ издателяхъ моихъ скажу, что они, можетъ быть, и правы, издавая и предавая меня на судъ читателей цѣликомъ. Литературная жизнь писателя есть также своего рода жизнь человѣка. „Еже писахъ, писахъ“: что прожилъ, то прожилъ. Выходи на этотъ судъ, каковъ ты ни есть. Судья, то-есть читатель и критикъ, присудятъ сами, что́ должно тутъ пойти на правую сторону, что ошую; я же тутъ при рѣшеніи суда и приговорѣ остаюсь ни при чемъ. Впрочемъ, меня будутъ судить заднимъ числомъ, по большой части не меня настоящаго, а меня нѣкогда бывшаго. Со всѣмъ тѣмъ скажу откровенно и безъ лицепріятія, что собраніе сочиненій моихъ имѣетъ нѣкоторое законное основаніе, sa raison d'être. Я все-таки, хорошо или худо, былъ человѣкомъ литературнымъ, ничего изъ человѣчески-литературнаго не было мнѣ чуждо. Изъ классическаго образованія своего помню изреченіе: Homo sum...

Насъ на Руси немного. Пробѣловъ оставлять не подобаетъ. Какъ уже сказалъ я: въ природѣ пустыхъ мѣстъ нѣтъ, и все во всемъ, слѣдовательно есть мѣсто и мнѣ.

Кажется, довольно откровенно говорилъ я о своихъ писательскихъ недостаткахъ. Да позволено мнѣ будетъ быть присяжнымъ стряпчимъ за себя и выставить то, что́ признаю добрыми качествами своими.

Начну съ того, что́ отыскиваю въ себѣ собственное, коренное, родовое; ничего не перенималъ я, никому раболѣпно не слѣдовалъ. Скажу съ Французомъ: рюмка моя маленькая, но пью изъ своей рюмки, а что рюмка моя не порожняя, тому свидѣтель Пушкинъ. Онъ гдѣ-то сказалъ, что я одинъ изъ тѣхъ,

которые охотнѣе вызываютъ его на споръ. Слѣдовательно, есть во мнѣ чѣмъ отспориваться. Пушкинъ не наткнулся бы на пустое. Споры наши бывали большою частью литературные. Въ политическихъ вопросахъ мы вообще сходились: развѣ бывало иногда разномыслiе въ такъ-называемыхъ чисто Русскихъ вопросахъ. Онъ, хотя вовсе не славянофилъ, примыкалъ нерѣдко къ понятiямъ, сочувствiямъ, умозрѣнiямъ, особенно отвращенiямъ замкнутой въ самой себѣ Россiи и вообще держался понятiй международныхъ, узаконившихся у насъ вслѣдствiе преобразованiя древней Россiи въ новую, совершившагося по почину и богатырской волѣ и силѣ Петра. И мнѣ иногда хотѣлось сказать Пушкину съ Александромъ Тургеневымъ: „да съѣзди, голубчикъ, хоть въ Любекъ“.

Есть у меня свойство, которое можно назвать погрѣшностью, но можно назвать его и избыткомъ. Я держусь послѣдняго опредѣленiя. Въ статьяхъ моихъ, вообще во всемъ, что́ пишу, встрѣчается много вводныхъ подробностей, отступленiй отъ прямаго текста, замѣчается какая-то штучная, наборная, подборная, нерѣдко мозаическая работа. Я какъ будто боюсь не успѣть другой разъ высказать все, что́ у меня на умѣ: не вѣрую въ завтрашнiй день и спѣшу сегодня же высыпать весь мой мѣшокъ. Это, разумѣется, вредитъ общему построенiю и единству изложенiя моего; но за то оно придаетъ сытность содержанiю. Кормлю гостя моего разнородностью пищи, по крайней мѣрѣ не держу его на сухоядѣнiи.

Позволяю себѣ неологизмы, то есть прибавленiя къ словарю Россiйской Академiи; но по крайней мѣрѣ, какъ мнѣ кажется, вольности мои не произвольны, а вытекаютъ обыкновенно изъ самаго состава и наказа языка. Напримѣръ,—и за примѣромъ идти не далеко—за нѣсколько строкъ предъ симъ употребилъ я слово *сытность*, котораго нѣтъ въ нашихъ словаряхъ, даже у Даля, а этому слову слѣдуетъ быть, потому что есть слово *сытный*. *Сытость* имѣетъ другое значенiе: *сытность* можетъ произвести *сытость*—то-есть что-то въ родѣ пресыщенiя. Я полагаю, что почти всѣ прилагательныя наши могутъ быть преобразуемы въ существительныя нарицательныя. Почему изъ

слова *прекрасное* не сдѣлать намъ слово *прекрасность*, какъ мы изъ *будущее* вывели *будущность; прекрасность* выражаетъ свойство красоты. И такъ далѣе. Есть *неологизмы* и *чужесловія*, которые просятся въ нашъ языкъ или, скорѣе, на которые напрашивается нашъ языкъ. Смѣшно, изъ какого-то педантизма или патріотизма, не оказывать имъ гостепріимства; мы все полагаемъ, что нашъ языкъ очень богатъ;—согласенъ, но во многомъ онъ и оченъ бѣденъ. Разумѣется, хозяину должно умѣть выбирать гостей своихъ, а не растворять дверей настежь предъ всякимъ сбродомъ, какъ то бываетъ часто у нашихъ писателей.

Умъ мой былъ воспитанъ и образованъ во Французской школѣ. Я учился и другимъ иностраннымъ языкамъ, занимался по временамъ Нѣмецкою, Англійскою, Италіянскою литературою, но все это были, болѣе или менѣе, случайныя знакомства. Связь моя укрѣпилась съ одною Французскою литературою, особенно минувшаго столѣтія. Это, кажется, сильно отозвалось во мнѣ. Вообще я не полиглотъ, не Мезофанти, съ которымъ былъ я знакомъ въ Римѣ и который писалъ мнѣ русскіе стихи. Но при всемъ моемъ Французскомъ отпечаткѣ, сохранилъ или пріобрѣлъ я много и Русскаго закала. Простонародныя слова и выраженія попадались мнѣ подъ перо, и нерѣдко, кажется, довольно удачно. Впрочемъ, за простонародіемъ никогда и не гонялся, никогда не искалъ я образовать школу изъ него. Этотъ Русскій ключъ, который пробивался во мнѣ изъ-подъ Французской насыпи, можетъ быть, родовой, наслѣдственной. Родитель мой также былъ питомцемъ и представителемъ Французской образованности. Между тѣмъ, Жуковскій говорилъ мнѣ, что онъ всегда удивлялся ловкости и сноровкѣ, съ которою въ разговорѣ переводилъ онъ на Русскую рѣчь мысль, видимымъ образомъ, сложившуюся въ умѣ его по-французски. Впрочемъ, я много прочелъ Русскихъ книгъ. Когда Жуковскій готовилъ изданіе *Образцовыхъ сочиненій*, я много помогалъ ему и перерылъ цѣлую кипу Русскихъ книгъ, особенно стараго времени, если не древнихъ. Но, кажется, и въ самомъ умѣ моемъ есть какой-то Русскій сгибъ и складъ. Эта смѣсь

Французскаго съ Нижегородскимъ, надъ которою смѣялся Чацкій, имѣетъ, можетъ быть, свою и хорошую сторону.

Говоря выше о своихъ занятіяхъ филологическихъ, забылъ я сказать, что въ разныя времена первой молодости моей изучалъ я и Латинскій языкъ и Римскую литтературу, особенно Овидія и Горація. Въ старыхъ бумагахъ моихъ отыскиваю цѣлыя страницы, исписанныя мною на Латинскомъ языкѣ. Но латынь не далась мнѣ, не укрѣпилась за мною, какъ вообще не укрѣпляется она за нами, Русскими. У насъ нѣтъ ни исторической, ни народной почвы для латынства. Въ насъ на сѣверѣ нѣтъ ничего латынскаго, ничего того, что́ людямъ прирождено на западѣ и на югѣ. Разумѣется, не протестую противъ изученія классическихъ языковъ; хочу только примѣромъ своимъ отмѣтить, что, за весьма рѣдкими исключеніями, ученіе это легко испаряется изъ насъ, потому что оно мало примѣнимо къ дѣйствительности. Впрочемъ, былъ такой случай, что меня всенародно провозгласили и классикомъ. Разскажу его, въ надеждѣ, что онъ позабавитъ нѣкоторыхъ читателей, утомившихся моими частыми отступленіями. Однажды пріѣхалъ я въ свою костромскую вотчину, въ извѣстное въ краю торговое и промышленное село Красное. Въ воскресенье, по совершеніи обѣдни, священникъ сказалъ мнѣ въ церкви привѣтственную рѣчь. Говорилъ онъ съ жаромъ, народъ слушалъ съ благоговѣніемъ. Выхваляя мои гражданскія и помѣщичьи доблести, продолжалъ онъ, указывая на меня: „Вы не знаете еще какого барина Богъ вамъ далъ; такъ знайте же, православные братья: онъ Русскій Горацій, Русскій Катулъ, Русскій Марціалъ!“ При каждомъ изъ этихъ именъ, народъ отвѣшивалъ мнѣ низкіе поклоны и чуть ли не совершалъ знаменія креста. Можно себѣ представить, каково было слушать мнѣ и какую рожу дѣлалъ я при этой выставкѣ и пыткѣ.

Подъ конецъ—маленькая исповѣдь: перечитавъ написанное мною выше, вижу, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отзываюсь и сужу я иногда довольно и, можетъ быть, излишне рѣзко. Сознаюсь и каюсь. Каюсь-то каюсь, но не исправляюсь. Такъ бываетъ и со многими покаяніями. Настоящая статья, какъ уже

сказано, есть что-то въ родѣ отчета за минувшее мое: родъ предсмертнаго духовнаго завѣщанія. Предъ смертью лукавить грѣшно и смѣшно; ни въ мѣшкѣ, ни въ могилѣ шила не утаишь. Умолчанія и упущенія здѣсь неумѣстны; не хочу казаться хуже, чѣмъ я есть, но не хочу казаться и лучше; также не желаю никого оскорбить, но не желаю и задобривать. Человѣкъ, хотя нѣсколько принадлежащій общественной дѣятельности на томъ, или другомъ поприщѣ, подлежитъ съ своими хорошими и худыми качествами общественному суду: онъ его достояніе и собственность. До поры и до времени не каждый въ правѣ, не каждый имѣетъ уполномочіе касаться до этой собственности. Но самому можно распоряжаться собственностью своею, распоряжаться самимъ собою.

Былъ у меня пріятель, даже другъ: остались мы друзьями до конца; нынѣ уже нѣтъ его на свѣтѣ. Онъ жилъ за границею. Императоръ Николай бывалъ иногда недоволенъ грѣхами языка моего, и давалъ мнѣ это чувствовать. Пріятель мой зналъ это; между тѣмъ портретъ мой висѣлъ въ кабинетѣ его, который Государь долженъ былъ занять въ одну изъ своихъ заграничныхъ поѣздокъ. Какъ тутъ быть? Оставить ли обличительный портретъ какъ онъ есть, или, для большей осторожности, снять его на время со стѣны? Наконецъ, храбро и великодушно рѣшился онъ на первое. Позднѣе говорилъ онъ женѣ моей, что хотѣлъ оказать себя предъ Государемъ въ полной обстановкѣ своей, и выгодной и неблагопріятной. Подобно и я: оставляю на стѣнѣ портретъ мой, во весь ростъ; ничего не утаиваю изъ него, ничего въ немъ не поправляю. Какъ я есмь, какъ онъ есть, такъ и будетъ онъ друзьямъ и благоволителямъ на память, другимъ на судъ и порицаніе.

I.

ЗАПРОСЫ ГОСПОДИНУ ВАСИЛІЮ ЖУКОВСКОМУ ОТЪ СОВРЕМЕННИКОВЪ И ПОТОМКОВЪ.

1810.

Господинъ Василій Жуковскій,—зачѣмъ помѣстили вы свое предисловіе къ собранію русскихъ стихотвореній не въ первомъ, а во второмъ томѣ?

Зачѣмъ не напечатали вы прекраснаго перевода Мерзлякова Тиртеевыхъ одъ, а напечатали его пѣсню, гдѣ онъ говоритъ: *Сила страсти Бога сила!* пѣсню, которой долженъ бы стыдиться и Бланкъ? Отчего пьеса Шаликова подъ именемъ *Рощи* показалась вамъ пѣснію, и отъ чего мнимая эта пѣснь показалась вамъ хорошею?

Зачѣмъ не удостоили вы своимъ благоволеніемъ прекраснѣйшіе стихи Магницкаго на смерть Валеріана Зубова, и оду Державина, писанную къ нему же послѣ возвращенія изъ Персіи, а напротивъ, зачѣмъ удостоили вы какую-то Ѳеодицею, въ которой нѣтъ ничего, кромѣ бомбаста, стоять въ числѣ *русскихъ стихотвореній, взятыхъ изъ сочиненій лучшихъ стихотворцевъ?*

По какому непонятному капризу не хотѣли вы намъ показать лучшаго нашего перевода изъ Горація, то есть оды къ Венерѣ Востокова, а напечатали уродливѣйшій, то есть Боброва: „О ты, Бландузскій ключъ кипящій“? Отчего предпочли вы похвалу Зимѣ Шишкова, одѣ Востокова на Зиму, или потому, что въ первой стихи подобны слѣдующимъ: „О, какія тутъ дурныя есть личищи на игрищи“, а во второй подобны этимъ: „Отъ Ла-

доги на бѣлыхъ льдинахъ течетъ зима къ намъ по рѣкѣ, глава сей старицы въ сѣдинахъ, желѣзный скиптръ въ ея рукѣ?“

Чѣмъ прогнѣвились передъ вами *Дарованія*, ода Карамзина, и *Фантазія*, ода Востокова? А *Горы изящности* Востокова чѣмъ показались вамъ хуже стиховъ Капниста къ Державину? Вы намъ скажете, что названіе не имѣетъ смысла; хорошо, согласны, но за то сколько напечатали вы пьесъ, въ которыхъ все безсмысленно кромѣ названія, и тамъ и здѣсь обманъ, но признаться одинъ пріятнѣй другаго.

Хотѣлось бы очень намъ спросить у васъ, зачѣмъ не взяли вы ни одной пьесы ни изъ Кутузова, ни изъ Хвостова, но угадывая, что вы сказали бы намъ въ отвѣтъ: *надобно бы было ихъ прочесть*, мы молчимъ.

Позвольте спросить, отчего въ одномъ первомъ томѣ находимъ мы четырнадцать пьесъ Капниста, а только четыре Дмитріева? Но однакожь вы не совсѣмъ неправы, ибо въ четырехъ пьесахъ Дмитріева больше превосходныхъ стиховъ, чѣмъ во всѣхъ четырнадцати Капниста.

II.

ПИСЬМО КЪ К. Н. БАТЮШКОВУ.

1810.

Ты спрашиваешь у меня, любезный другъ, что́ у насъ новаго на Парнассѣ? По обыкновенію новостей много, а новаго ничего. Все такое же, какъ и старое. Право, безъ разныхъ именъ, стоящихъ на книгахъ, можно бы почесть всѣ эти новыя творенія произведеніями одного пера. Вялый слогъ, безчисленныя ошибки противъ правилъ языка, совершенная пустота въ мысляхъ, вотъ что́ можно сказать о бо́льшей части оригинальныхъ книгъ. Тотъ же вялый, а часто и грубый слогъ, тѣ же ошибки, исковерканіе мыслей, вотъ главные признаки ежедневно выходящихъ переводовъ. Послѣ того мнѣ было бы можно тутъ реляцію свою и кончить, но однакожъ боясь, чтобъ ты меня не упрекнулъ въ лѣни и не почелъ бы мои слова простою отговоркою, хочу вполнѣ удовлетворить твоему желанію и явными доказательствами оправдать смыслъ сказаннаго мною приговора.

Недавно принесли мнѣ новый вышедшій переводъ прекрасной трагедіи Кребильйона. Ты ужь вѣрно отгадалъ, что я говорю тебѣ о *Радамистѣ и Зенобіи*. Такъ точно! Переводъ этой трагедіи будетъ предметомъ нынѣшняго моего письма. Теперь господствующая страсть во всѣхъ нашихъ стихотворцахъ есть стязаться съ Вольтеромъ, съ Расиномъ и съ прочими драматическими знаменитыми творцами. Страсть похвальная, но весьма опасная! Надобно быть самому почти Расиномъ, чтобъ передать на русской языкъ всѣ несравненныя красоты Ифигеніи или

Андромахи, самому почти Вольтеромъ, чтобъ хорошо перевесть Меропу или Заиру. А у насъ такой трудъ почитаютъ за бездѣлицу. И ихъ переводятъ какъ какую-нибудь компческую оперу. Пять человѣкъ собираются, изъ бездѣлія, каждый беретъ себѣ по акту Заиры, кой-какъ переводитъ его, сшиваютъ лоскутья вмѣстѣ и вотъ вамъ французская трагедія, переложенная на русскіе нравы. Каждый изъ сотрудниковъ считаетъ себя за маленькаго Вольтера, или по крайней мѣрѣ за пятую часть его. И мы это видимъ въ нашемъ вѣкѣ! Ей-Богу! и жалко и смѣшно. Но дѣло не въ томъ; возвращаюсь къ своимъ овечкамъ. Взявшись говорить тебѣ о переводѣ Радамиста и Зенобіи, приступаю къ дѣлу. Тебѣ извѣстенъ подлинникъ, извѣстенъ планъ трагедіи, свирѣпый, а между тѣмъ и трогательный характеръ Радамиста, ты знаешь бѣдствія несчастной Зенобіи и, однимъ словомъ, тебѣ знакомы красоты сей трагедіи, заслуживающей мѣсто въ числѣ лучшихъ трагедій французскаго театра, вопреки мнѣнію славнаго французскаго сатирика, который во время послѣдней своей болѣзни, прослушавши чтеніе Радамиста, сказалъ: ахъ! Прадоны были солнцы въ сравненіи съ этими людьми! Но Вольтера замѣчаніе справедливо: Депрео сказалъ это потому, что былъ уже на смертномъ одрѣ, въ такомъ положеніи, въ которомъ дѣлаешься нечувствительнымъ къ красотамъ. И такъ, я не представлю тебѣ ни плана, ни хода, ни завязки трагедіи, а только нѣкоторые отрывки перевода для сличенія съ подлинникомъ.

Вспомни со мною первое явленіе втораго дѣйствія, когда Гіеронъ, прослушавъ отъ Радамиста разсказъ о всѣхъ его приключеніяхъ и узнавъ, что онъ пріѣхалъ ко двору отца своего въ видѣ римскаго посла, спрашиваетъ у него какою надеждою льстится онъ, принявъ такое намѣреніе. Отвѣтъ Радамиста прекраснъ у Кребильйона. Вотъ онъ въ переводѣ:

Не знаю, Гіеронъ, на что рѣшуся я. —
Не понимаю чѣмъ полна душа моя. —
То къ преступленію безъ склонности влекуся,
То добродѣтели невольно предаюся.
Въ волненьи чувствъ моихъ, могу-ль познать себя?
Игралище страстей! — порока не любя,
И къ добродѣтели любви не ощущаю. —
То совѣсти упрекъ, то мести гласъ внимаю —

Раскаюся... *но ахъ!...* и въ томъ мнѣ пользы нѣтъ. —
Противенъ самъ себѣ, *противенъ* мнѣ весь свѣтъ —
Душа растерзана во мнѣ страстей бореньемъ:
Любовью, злобою, — и жалостью и мщеньемъ —
Зенобіи лишенъ, и хощешь вопрошать,
Чего я въ мірѣ семъ могу еще желать?
Въ отчаяньи моемъ, свѣтъ солнца ненавижу;
Во всей природѣ я едино мщенье вижу;
Природѣ всей отмстить мой алчетъ злобный духъ. —
Какой свирѣпый ядъ снѣдаетъ сердце вдругъ?
Упреки совѣсти! — сколь вы во мнѣ ужасны!
Зачѣмъ пришелъ сюда? Куда стремлюсь несчастный?
Пришелъ здѣсь обрѣсти всѣхъ бѣдъ монхъ творца,
Вотще природа мнѣ являетъ въ немъ отца —
Здѣсь боги возвѣстятъ свой гнѣвъ ко мнѣ столь поздной;
Здѣсь роковой ударъ стрѣлы небесной, грозной,
Сверканьемъ молніи злодѣя поразитъ!
Главу преступную на части раздробитъ.—

Оставляю тебѣ самому дѣлать свои сужденія о риѳмахъ на *уся*, о концѣ полустишія *но ахъ!* и о другихъ подчеркнутыхъ мною мѣстахъ, а я только позволю себѣ сказать, что это все мнѣ кажется очень слабо и далеко отъ красоты французскихъ стиховъ:

Et que sais-je, Hiéron? furieux, incertain,
Criminel sans penchant, vertueux sans dessein,
Jouet infortuné de ma douleur extrême,
Dans l'état où je suis me connais-je moi même?
Mon coeur, de soins divers sans cesse combattu,
Ennemi du forfait, sans aimer la vertu,
D'un amour malheureux déplorable victime,
S'abandonne aux remords sans renoncer au crime,
Je cède au repentir, mais sans en profiter,
Et je ne me connais que pour me détester.

Какими здѣсь мастерскими красками изображено волненье встревоженной души. Сердце содрогается при каждомъ стихѣ. А въ переводѣ?—и въ переводѣ содрогается сердце. Но... отгадай самъ отъ чего. Ты не хуже и лучше меня можешь судить о красотѣ подлинника и недостаткахъ перевода. А мое дѣло исполнить данное обѣщаніе, то-есть представить нѣкоторые отрывки изъ перевода. Теперь прошу тебя обратить свое вниманіе на 5-е явленіе III-го дѣйствія, то-есть на сцену признанія между Радамистомъ и Зенобіею.

Она меня каждый разъ, что я ее читаю, приводитъ въ но-

вое восхищеніе. Какое положеніе Радамиста? Онъ узнаетъ супругу свою Зенобію, которой считалъ себя убійцею, видитъ ея къ себѣ состраданіе, вмѣсто заслуженной имъ отъ нея ненависти. Счастье, кажется, улыбается ему, но скоро потомъ ревность, господствующая страсть его, возмущаетъ вновь его чувства. Арзамъ, братъ его, не подозрѣвая, что Зенобія супруга Радамиста, влюбленъ въ нее, и брата своего считая римскимъ посломъ, умоляетъ его увести съ собою Зенобію, чтобъ укрыть ее отъ жестокости Фаразмена, отца двухъ братьевъ. Радамистъ знаетъ, что Арзамъ обожаетъ Зенобію, застаетъ ихъ вмѣстѣ, и полагаетъ, что и она платитъ ему такою же любовію. Какъ трогательны въ сценѣ свиданія слова Радамиста, когда онъ сверхъ возможнаго чаянія видитъ въ Зенобіи чувства жалости къ себѣ... Quoi, vous versez des pleurs? говоритъ онъ ей въ изумленіи. Для меня эти слова въ устахъ преступнаго Радамиста разительнѣе вопроса Орозмана: Zaïre, vous pleurez?—По дружбѣ извини меня, что я безпрестанно отступаю отъ цѣли, но, признаюсь, мнѣ такъ пріятно видѣть передъ собою французскаго Радамиста, что я о русскомъ вовсе и забываю. За то, съ этого часа даю тебѣ слово не упоминать болѣе о французскомъ, и для избѣжанія всякаго соблазна запираю его въ шкапъ. Стану тебѣ говорить объ одномъ переводѣ, но ужь послѣ ручаюсь тебѣ, что только кончу письмо свое, выпущу французскаго Кребильйона изъ тюрьмы, на мѣсто его посажу русскаго и тогда ужь ключъ кину въ рѣку.—Я хотѣлъ выписать нѣчто изъ 5-го явленія III-го дѣйствія. Радамистъ узнаетъ Зенобію, и говоритъ ей: *Се ты-ль?* (Замѣтимъ здѣсь мимоходомъ, что г-нъ переводчикъ слишкомъ, кажется, приверженъ къ слову *се*, которое несравненно приличнѣе проповѣди, чѣмъ трагедіи). Зенобія въ смущеніи обратно узнаетъ супруга своего и восклицаетъ: *Ты Радамистъ?* Вотъ отвѣтъ его:

Ужель меня ты не познала? —
Я извергъ тотъ, злодѣй, *кѣмъ ты во гробъ низпала.*
Ахъ! если бы теперь забыть ты возмогла
Мои преступныя, ужасныя дѣла!
О боги! кои мнѣ супругу возвратили,
Увы! почто меня злодѣйствомъ отягчили? —
Всещедры небеса! *чѣмъ могъ тронуть я васъ!*
Я зрю Зенобію... ея внимаю гласъ. —

Но гдѣ обрѣлъ ее?—во власти у тирана!
У лютаго отца?... О горесть *несказанна!*
Ты, жертва ревности и звѣрства моего!
Драгая жертва мнѣ... супруга твоего
Раскаянье грызетъ, *какъ гладный змѣй ужасный.*—
Ты слезы льешь?—

Ни одной красоты подлинника не удержано здѣсь. Мы видимъ одни пустыя восклицанія, стихи безъ всякой связи. Голосъ души ни мало не отзывается въ нихъ. Сверхъ того, переводчикъ заставляетъ Радамиста говорить нелѣпости. Правда, Радамистъ кинулъ супругу свою въ волны Араха, но, увидя ее послѣ, онъ уже не можетъ ей сказать: *Я тотъ, кѣмъ ты во гробъ низпала.* Во-первыхъ, рѣка — не гробъ, во-вторыхъ, не думаю, чтобъ на этомъ свѣтѣ кому-нибудь пришлось бы сдѣлать такое признаніе; признанія такого рода остаются развѣ для другого свѣта. Я привидѣніямъ не вѣрю. Далѣе: не боги отягчаютъ злодѣйствами, а люди сами отягчаются ими. Наконецъ, *несказанна* не можетъ служить рифмою слову *тирана.* Да и что это за слово *несказанная?* У насъ для выраженія подобной мысли есть слово несравненно лучшее *неизъяснимая.* Разсуди самъ, вѣдь неизъяснимое то, что́ изъяснить нельзя, несказанное только то, что́ не сказано, а не то, что сказать не можно.

Послѣдній стихъ заставляетъ насъ замѣтить, что вѣроятно г-нъ переводчикъ не долженъ быть весьма силенъ въ стопосложеніи. Онъ не расчелъ, что онъ только десятистопный.

Ты слезы льешь?
Зенобія.
Мнѣ слезъ не лить, несчастный.—

Я сперва подумалъ, что это ошибка типографическая, но многія другія такого рода попавшіяся мнѣ въ продолженіи трагедіи утвердили меня въ моемъ первомъ мнѣніи, развѣ можетъ быть г-нъ переводчикъ дѣлалъ это съ умысломъ для прелести разнообразія, и въ самомъ дѣлѣ очень разнообразно! Хочешь ли короткіе стихи. Вотъ изволь:

Мнѣ преданъ, онъ бѣгъ свершить поможетъ намъ—
. . . . . .
Есть мой супругъ, хотя бы цесарь самъ
. . . . . .
Увы! что́ значитъ то, что я... я самъ

Желаешь-ли длинныхъ стиховъ? Пожалуй, мы и въ томъ угодимъ:

Зачѣмъ ведутъ тебя? Что мнишь найти ты здѣсь? Смерть!

Этотъ стихъ имѣетъ двойную выгоду: если хочешь, принимай его за тринадцатистопный, если нѣтъ, то можешь сдѣлать изъ него одинъ двѣнадцатистопный бѣлый, а другой—одностопный *Смерть*, которому чудесною игрою судьбы служитъ рифмою не слово *стерть*, а *зрѣть*.

Между тѣмъ предваряю тебя, чтобъ ты въ послѣднемъ случаѣ не жалѣлъ о потерѣ тринадцатистопнаго стиха, а въ замѣну удовлетворю тебя стихами еще подлиннѣе. Напримѣръ:

Иль Риму услужа отмщу... *иль смертною косой.*

(Не правда ли, что незнающему подлинника можно подумать, что тамъ говорено не о faulx de la mort, а объ une louche mortelle?)

Вотъ еще тебѣ взрослый стихъ:

Пойдемъ, я безоруженъ, зри: могу-ль что предпріять?

Я могъ бы тебя, любезный другъ, попотчевать еще кой-чѣмъ, взятымъ изъ этой трагедіи; но будь совѣстенъ! Я и такъ ужь почти съ часъ пишу къ тебѣ письмо. Не требуй отъ меня, чтобъ я посвятилъ еще и другой на трагедію, въ которой не соблюдена даже и мѣра стиховъ, и въ которой въ добавокъ попадается безчисленное множество подобныхъ симъ:

Которыхъ (враговъ), Фаразманъ, отецъ мой, врагъ *лютѣйшій*
Избралъ орудьемъ быть моей кончины злѣйшей.

. . . . . .

Добрѣйшія сердца страсть вредна развратитъ
И низпровергнетъ ихъ въ пучину преступленья.

. . . . . .

Но передъ тѣмъ, какъ ты съ завѣсою ночною
Отсель предпримешь путь!

Предпринять путь съ завѣсою!

. . . . . .

Въ его душѣ всегда соборъ страстей бунтуетъ.

. . . . . .

Могла-ль супружества я чтить союзъ священный,
Когда ты премѣнилъ вѣнецъ въ колючи терны?

. . . . . .

Ты подозрѣнія *пустую тѣнь* одну
Уже готовъ почесть за злѣйшую вину.

Во-первыхъ, что значитъ *пустая тѣнь*? А сверхъ того г-нъ переводчикъ хотѣлъ тутъ сказать совсѣмъ не то. Какъ быть! Не всегда все дѣлается какъ задумаемъ.

Подозрѣніе можетъ поставиться за вину тому, который подозрѣваетъ, но тотъ, который предметомъ подозрѣнія, долженъ сказать подозрѣвающему: тебѣ довольно одной тѣни подозрѣнія, чтобы почесть за вину то, въ чемъ ни мало нѣтъ вины.

Ахъ! если-бъ Римъ возмогъ, встрѣчая тьмы смертей.

Риму нельзя ни тьмы, ни тьму, ни одной смерти встрѣтить.

. . . . . .

Нѣтъ! нѣтъ, надежды не имѣю,
Чтобъ гласъ природы въ немъ огнь мщенья заглушилъ!

Арзамъ, говорящій эти стихи, только-что не надѣется, а я, признаюсь въ глупости своей, я даже и не понимаю, какъ огонь можетъ заглушиться голосомъ.

Порядочныхъ стиховъ замѣтилъ я только два. Арзамъ, изчисляя всѣ муки, претерпѣнныя имъ послѣ ужаснаго его злодѣянія противъ Зенобіи, говоритъ, что къ бо́льшему страданію любовь:

Мнѣ невозвратную потерю представляла.
Ко праху хладному душа моя пылала!

Кончу здѣсь длинное свое письмо. Оно тебѣ наскучило, вѣрю,—ибо и мнѣ надоѣло писать его. Ты зѣваешь, проклинаешь меня—ни мало не удивляюсь; но опомнись, tu l'as voulu, George Dandin!

III.

ПИСЬМО СЪ ЛИПЕЦКИХЪ ВОДЪ.

1815.

Ты спрашиваешь у меня, любезный другъ, какъ показались мнѣ Липецкія воды. Что сказать тебѣ о нихъ? Воды какъ воды! И если главнымъ достоинствомъ воды, какъ и всѣми признано, есть совершенное отсутствіе вкуса, то Липецкія воды могутъ спорить о преимуществѣ со всѣми водами въ свѣтѣ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ произошла въ нихъ неожиданная перемѣна, поразившая всѣхъ здѣшнихъ натуралистовъ. Воды получили такую усыпительную силу, что стóило только подойти къ ихъ источнику, чтобы зѣвать, дремать и скоро заснуть богатырскимъ сномъ. Общество нынѣшнимъ лѣтомъ было здѣсь самое скучное, хотя и довольно многолюдное. Ты, можетъ быть, полюбопытствуешь узнать, изъ кого оно составлялось; спѣшу предупредить твое требованіе. Здѣсь была какая-то графиня Л***, которая хотѣла выдавать себя за особу лучшаго общества; сперва добродушные жители и повѣрили было ей, но, узнавши ее короче, увидѣли въ ней скучную болтунью, неудачную подражательницу Селимены Мольера, самозванку-кокетку, записавшуюся въ кокетки, вопреки природѣ, не одарившей ее ни прелестями, ни умомъ, нужными для успѣховъ въ мастерствѣ, ею избранномъ; „а всякое дѣло мастера боится“, говоритъ пословица благоразумная, которую не худо напоминать нѣкоторымъ людямъ. Былъ князь Х..., твореніе бездушное, не имѣющій собственной мысли, безъ сомнѣнія не сдѣлавшій никогда рѣшительнаго отвѣта, и ко-

тораго легко можно было бы озадачить нечаянно сдѣланнымъ вопросомъ: здоровы-ли вы? Ему въ пару и достойный другъ его, шатался здѣсь какой-то полковникъ П., которому натолковали, что онъ волочится за графинею и влюбленъ въ княжну О., пріѣхавшую въ Липецкъ со старою теткою. Простосердечный полковникъ на слово повѣрилъ доброхотамъ своимъ, и, мыкаясь отъ графини къ княжнѣ, а отъ княжны къ графинѣ во все время пребыванія своего на водахъ, не догадался спросить у себя, подлинно влюбленъ ли онъ, и въ кого, въ графиню или княжну? За нимъ въ числѣ такъ-названныхъ въ Липецкѣ вздыхателей графини, которые кажется надоѣдали ей не менѣе, какъ и намъ всѣмъ, тащился подагрикъ баронъ В., получившій въ наслѣдство отъ предковъ всю полновѣсную скуку всѣхъ нѣмецкихъ бароновъ; вертѣлся шумный повѣса У..., отставной гусаръ, сокровище, которое надобно было искать у Липецкихъ водъ, нестерпимый невѣжда.

„Растрепанный, въ пуху, въ картузѣ съ козырькомъ!“ безъ сомнѣнія не переступившій никогда въ столицахъ порога гостиной, и Ф..., водяный поэтъ. Сперва казалось намъ, что онъ дурачился изъ ума, но нельзя ему было обманывать насъ долгое время: вскорѣ упала личина, и мы угадали въ немъ глупца откровеннаго, лице схожее съ новымъ Стерномъ и достойное быть его единоутробнымъ братомъ. Но всѣ эти угодники скуки ничего передъ графомъ О..., напавшимъ на насъ, какъ снѣгъ на голову, терзающимъ русскій языкъ смѣшеніемъ французскихъ словъ, на удачу накиданныхъ, здравый смыслъ—нездравымъ обо всемъ сужденіемъ и благопристойность—забвеніемъ приличности и должнаго уваженія къ женщинамъ, позволивши себѣ осыпать ругательствами графиню, которая на первый разъ отмстила ему припадкомъ обморока, а наконецъ ночнымъ свиданіемъ. Чтобы довершить сію картину, представь себѣ горничную дѣвушку, перенесенную изъ дѣвичьей въ кругъ благородныхъ людей, но не оставившую въ ней ни холопскихъ привычекъ, ни подлаго языка отчизны своей; и какъ изъ-за рѣчей ея, украшенныхъ иногда заимственнымъ искуствомъ, выкрадывался голосъ ея первобытной природы, такъ и кисея не могла утаить ее отъ

прозорливыхъ глазъ, и изъ подъ платья, ей несроднаго, выглядывала, ей на зло, набойка, гораздо болѣе ей приличная. Такимъ образомъ, иногда на нѣкоторыхъ головахъ Мидасовы уши пробиваютъ вѣнки лавровые, сплетенные невѣжествомъ и принятые безстыдствомъ. Этой горничной дѣвушкѣ дано было однако же судьбою право вертѣть всѣмъ обществомъ; ты можешь послѣ этого судить объ его дѣйствіяхъ. Спачала смѣшно, но вскорѣ тягостно было видѣть намъ, какъ эти бездушныя куклы, бродящія передъ глазами, какъ тѣни въ чистилищѣ, ожидая чего-то и ничего не дождавшись, сходились не зная зачѣмъ и расходились не зная для чего. Долго обременяли они насъ своимъ присутствіемъ: на яву мучили безконечными разговорами и нескладными разсказами о ничтожныхъ сплетняхъ своихъ; во снѣ тяготили, какъ смутныя сновидѣнія. Наконецъ, догадавшись, что терпѣніе публики, уже слишкомъ ими испытанное, готово положить оружіе передъ неутомимою ихъ бодростью, взялись они за умъ, и, занявши праздныхъ зрителей ночными увеселеніями, при благотворномъ свѣтѣ плошекъ, исчезли, какъ домовые при первыхъ лучахъ восходящаго солнца. Не знаю, куда убрались они; но не завидую тѣмъ, которыхъ одолжатъ они своимъ посѣщеніемъ. Къ ихъ обществу причислить должно и одно лицо, пріѣхавшее къ Липецкимъ водамъ лечиться отъ болѣзни, съ которою грековъ познакомилъ Зоилъ, и которая, переходя изъ вѣка въ вѣкъ, изъ страны въ страну, очутилась на берегахъ Невы, и, заразивши многихъ, впилась со всею яростью своею въ несчастную жертву, изсушила его мозгъ и волосы, о которыхъ можно было сказать съ Эдипомъ:

«Ихъ изсушила грусть и вѣтеръ ихъ разнесъ».

Но опаливши мозгъ, всего распучила, вливши въ него весь свой ядъ, который вскорѣ однако же превратился въ немъ въ воду. Медики назвали его болѣзнь желчною горячкою. Какъ одержимый желчною горячкою, видѣлъ онъ всѣ предметы и людей не въ настоящей ихъ краскѣ, но въ той, которая ему была свойственна, и желтый цвѣтъ его лица отсвѣчивался, такъ-сказать, въ глазахъ его на лицахъ, ему представляющихся; съ другой стороны, водяная разлилась не только по его тѣлу, но размыла

и нравственныя способности, и произведенія его ума были болѣе смѣсью не воды, подлитой желчью, но желчи, разведенной водою. Смѣшно было видѣть, какъ въ роли остроумнаго наблюдателя, принятой имъ на водахъ, слѣдовалъ онъ за лицами, описанными тебѣ, щеголялъ ихъ умомъ, и такъ сочеталъ его съ своимъ, что мы часто не знали, надъ кѣмъ смѣемся болѣе, надъ нимъ или надъ ними. Въ пребываніи своемъ въ Липецкѣ затѣялъ онъ маскерадъ въ пользу разоренныхъ книгопродавцевъ, противъ которыхъ за себя и за братію свою считалъ себя виновнымъ.

Въ маскерадѣ вышелъ онъ въ первый разъ навьюченный шубами, или, если истинѣ пожертвовать должно благородствомъ выраженія, овчинными тулупами, которые онъ хотѣлъ однакожъ выдать за шубы нарядныя, и держа въ рукахъ толстую тетрадь, подошелъ къ изготовленному налою и сталъ читать вслухъ стихи, отъ которыхъ и на немъ, несмотря на тулупы, подъ которыми онъ сгибался, проступилъ холодный потъ; оставляю тебѣ догадываться, что дѣлалось тогда съ слушателями. Друзья усердные чтеца сначала шопотомъ, но видя, что онъ недѣйствителенъ, громогласными клятвами стали увѣрять, что ихъ другъ, читая за налоемъ забавные стихи, живо напоминаетъ Буало, извѣстнаго пѣснопѣвца налоя. Безпристрастные слушатели отвѣчали имъ признаніемъ, что ихъ другъ гораздо болѣе похожъ на читающаго дьячка. Во второй разъ нашъ чудакъ вышелъ переодѣтый Мольеромъ и чванился наемнымъ привѣтствіемъ своихъ друзей, не жалѣющихъ ни совѣсти, ни ладошей своихъ; но затѣйника скоро узнали по его полубарскимъ затѣямъ, и разительный и единодушный свистъ, побѣдившій ослабѣвшія рукоплесканія, проводилъ несчастнаго изъ залы: пристрастіе невѣжды можетъ торжествовать нѣкоторое время; но голосъ постояннаго вкуса рано или поздно долженъ заглушить нескладныя восклицанія празднующаго невѣжества и неистовые крики зависти, упоенной мгновенными успѣхами. Проживши нѣсколько времени на Липецкихъ водахъ, оставляю ихъ и, надѣюсь, навсегда.

Скукою, испытанною на нихъ, дорожилъ бы я, если могъ бы

почерпнуть въ цѣлебныхъ ихъ струяхъ забвеніе всѣхъ дурныхъ стиховъ, читанныхъ и слышанныхъ мною; всѣхъ скучныхъ и вялыхъ комедій, овладѣвшихъ сценою нашею, на зло Княжнину и фонъ-Визину, украсившихъ у насъ младенчество драматическаго искуства произведеніями, обѣщающими поставить насъ на ряду съ народами, возмужавшими уже въ искуствѣ; всѣхъ кудрявыхъ рѣчей, въ которыхъ неучи увѣщаютъ насъ языкомъ полу-русскимъ учиться по-русски; забвеніе всѣхъ одъ торжественныхъ, всѣхъ разсужденій, писанныхъ тайкомъ отъ разсудка, подъ надзоромъ обветшалаго невѣжества и посѣдѣвшаго пристрастія, и вмѣстѣ съ забвеніемъ почерпнуть въ нихъ и благоразумную твердость, непоколебимую отъ ударовъ бѣснующейся зависти, и мудрое хладнокровіе, отвѣчающее молчаніемъ презрѣнія на пустословіе, вѣтромъ разносимое, шутовскихъ лилипутовъ, храбрящихся у подошвы Парнаса и не внимающихъ приговору Феба, гласящаго имъ съ высоты его черезъ уста любимѣйшаго изъ своихъ наперсниковъ:

Гагары! въ прозѣ и въ стихахъ!
Возитесь, какъ хотите;
Но право, истинный талантъ не помрачите:
Удѣлъ его—сіять въ вѣкахъ!

А вашъ удѣлъ, мои бѣдныя гагары, сказалъ бы я, еслибъ смѣлъ дополнить своими словами рѣчи бога, переданныя намъ его священнымъ жрецомъ; но погодите немного: можетъ быть, и сами узнаете вы скоро, чего вы по справедливости достойны были. Инымъ людямъ дано право еще заживо праздновать свое безсмертіе, другимъ заживо оплакивать свою смерть.

Настоящее время было свидѣтелемъ разительныхъ побѣдъ: политическій порядокъ утвердился на развалинахъ самовластнаго неустройства; почему не надѣяться намъ, что и торжествующій вкусъ совершитъ вскорѣ ваше погребеніе и, сооружая свой престолъ на бумажныхъ могилахъ вашихъ, не возгласитъ въ услышаніе и радость вселенны: миръ усопшимъ гагарамъ! Миръ усопшимъ гагарамъ!

Въ ожиданіи сего празднества обнимаю тебя и въ заключеніе долгаго моего письма дамъ тебѣ короткій и дружескій совѣтъ: бѣги Липецкихъ водъ!

IV.

О ДЕРЖАВИНѢ.

1816.

Угасло одно изъ свѣтилъ поэзіи нашей, лучезарнѣйшее свѣтило ея! Державина нѣтъ! Смерть похитила въ немъ у музъ почтеннаго ихъ Нестора, у отечества — мужа знаменитаго, прешедшаго со славою и пользою поприще долгой жизни, — у ближнихъ и друзей — добродушнаго старца, украшеннаго семейственными добродѣтелями. Пускай другіе слѣдуютъ за нимъ на пути гражданской службы, застаютъ его простымъ рядовымъ на часахъ въ день восшествія на престолъ Екатерины II, и потомъ съ удивленіемъ увидятъ его любимцемъ, статсъ-секретаремъ и пѣвцомъ Екатерины Великой: мы кинемъ взглядъ на его поприще литературное.

Утратою великихъ людей, сею горестною цѣною покупается прискорбное право говорить о нихъ свободно. Съ одной стороны недоброжелательство не упрекнетъ критика лестію; съ другой — страхъ оскорбить раздражительное самолюбіе не увлечетъ его за границу надлежащихъ похвалъ.

Державинъ, какъ другой Ломоносовъ, создалъ самъ себя. Судьба не уравняла пути, по которому онъ долженъ былъ достигнуть до первыхъ степеней государственнаго человѣка и вершины славы піитической. — Первые порывы піитическаго таланта ознаменовались въ гвардейскомъ сержантѣ. Послѣ того оды, написанныя при горѣ *Читалагаѣ* и напечатанныя въ 1777 году, изъ которыхъ многія переправленныя явились послѣ въ

свѣтъ подъ другими названіями, показали малому тогда числу любителей поэзіи достойнаго наслѣдника лиры Ломоносова, а прозорливому взгляду просвѣщенныхъ судей—и будущаго побѣдителя сего творца и образователя русской поэзіи.

Свѣтильникъ наукъ въ первые годы его молодости не озарялъ передъ нимъ міра, въ которомъ тогда единственнымъ вождемъ и истолкователемъ его таинствъ былъ ему вдохновенный геній его, душа пылкая и умъ прозорливый и наблюдательный. Первыми его учителями въ стихотворствѣ были, кажется, Ломоносовъ и Петровъ. У перваго онъ научился звучности языка піитическаго и живописи поэзіи; у другого похитилъ онъ тайну заключать живую, или глубокую мысль въ живомъ и рѣзкомъ стихѣ—тайну, совершенно неизвѣстную Ломоносову.

Въ скоромъ времени Державинъ сравнился съ наставниками, и, конечно, превзошелъ Петрова. Не долго, однако же, слѣдовалъ онъ по дорогѣ, проложенной его предшественниками. Своенравный геній его, испытавшій богатство и свойство языка почти новаго, пробилъ себѣ путь особенный, на которомъ не было ему вожатаго и не будетъ достойнаго послѣдователя. Безъ сомнѣнія, если многія изъ одъ Державина могутъ раздѣлиться на опредѣленные роды: *Пиндарическій*, *Гораціянскій*, *Анакреонтическій*, то многія по всей справедливости должны назваться *Державинскими*. И строгій законодатель вкуса и правилъ не усомнится прибавить новую статью къ своей піитикѣ. Какая словесность древнихъ или новѣйшихъ народовъ могла служить ему образцомъ для одъ: *Фелица*, *Изображеніе Фелицы*, *Видѣніе Мурзы*, *Осень во время осады Очакова*, *Счастіе*, *На походы въ Персію*, *Вельможа* и пр.? Не говорю уже объ одѣ *На смерть Мещерскаго* или *Къ первому сосѣду*, гдѣ, конечно, нашъ поэтъ, слѣдуя Горацію, одѣлъ глубокія истины и философію прелестію поэзіи, но кисть и краски занялъ онъ не у римскаго поэта. Не говорю уже о *Водопадѣ*, гдѣ все дышитъ дикою и ужасною красотою, гдѣ поэзія побѣдила живопись, но гдѣ, къ сожалѣнію, не видно единства въ расположеніи и примѣтно, что поэтъ (какъ точно, говорятъ, и было) составилъ свою поэму въ разныя времена и изъ разныхъ частей. Пьесы вышеназванныя и нѣкоторыя дру-

гія можно назвать рудниками поэзіи, сокровищемъ опаснымъ, до котораго на свою гибель дотронется рука легкомысленнаго послѣдователя. Изъ всѣхъ поэтовъ, извѣстныхъ въ ученомъ мірѣ, можетъ быть, Державинъ болѣе всѣхъ отличился оригинальностію, и потому родъ его долженъ остаться неприкосновеннымъ. Природа образовала его геній въ особенномъ сосудѣ— и бросила сосудъ. Державину подражать не можно, то-есть Державйну въ красотахъ его. Подражатели его заимствуютъ одни пороки, но ни одной красоты, ни одной мысли, ни одного счастливаго выраженія изъ могущественной и упрямой руки генія не исторгнутъ. Но если Державинъ, какъ создатель рода, до него неизвѣстнаго, сорвалъ вѣчнозеленую пальму поэзіи, то и по творческимъ подражаніямъ онъ можетъ занять мѣсто наряду съ величайшими поэтами. Сомнѣваюсь, чтобъ Анакреонъ превзошелъ нашего пѣвца въ прелести и простотѣ стихотвореній, освященныхъ его именемъ; развѣ, можетъ быть, по достоинству слога, о которомъ одни современники его могли судить безошибочно, но, конечно, не по прелести живописи, затѣйливой игривости и свѣжести воображенія. Я забываю Анакреона, читая *Хариты*, *Русскую пляску*; вижу передъ собою Державина, сего единственнаго пѣвца, возлелѣявшаго среди печальныхъ снѣговъ Сѣвера огненныя розы поэзіи,—розы, соперницы цвѣтовъ, нѣкогда благоухавшихъ подъ счастливымъ небомъ Аттики. Въ самомъ подражаніи его нѣтъ ничего рабскаго, заимственнаго. Читая Державина и Анакреона, вы скажете конечно: ихъ души были сродны. Державинъ при дворѣ роскошнаго Ипарха говорилъ бы языкомъ мудреца Ѳеоскаго; если-бъ Анакреонъ родился на берегахъ Невы, то употребилъ бы всѣ краски Державина для составленія сихъ малыхъ, но безцѣнныхъ картинъ, дышущихъ сладострастіемъ и нѣгою. Горацій, перенесенный судьбою изъ влажнаго Тибура или отъ роскошныхъ водъ Баіи, Горацій, желая поразить мыслію о смерти кипящее радостію и всегда легковѣрное въ счастіи сердце, не сказалъ ли бы какъ нашъ Поэтъ:

Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ,
Гдѣ пиршествъ раздавались клики,
Надгробные тамъ воютъ лики,
И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ.....

95884

И счастливецъ содрогнулся бы при сихъ словахъ, подобно какъ отъ тѣхъ стиховъ, въ которыхъ Горацій напоминаетъ роскошному Римлянину, что изъ всѣхъ растеній, украшающихъ его садъ, послѣдуетъ за нимъ одинъ печальный кипарисъ, въ печальную обитель тѣней.

Въ теченіе трехъ царствованій раздавались пѣсни Державина. Но блестящій вѣкъ Екатерины, сей піитическій вѣкъ славы Россіи (котораго Державинъ, казалось, былъ посреди насъ живымъ и краснорѣчивымъ памятникомъ), былъ лучшею эпохою и его славы. Онъ засталъ его въ полномъ цвѣтѣ мужества и силы. Настоящіе дни, обильные грозными бурями и величайшими подвигами народнаго мужества, были свидѣтелями заката его генія, удрученнаго лѣтами. Но подвиги сыновъ Суворова часто пробуждали отъ сна его пѣснопѣвца, и извлекали изъ лиры, уже охладѣвшей, звуки, достойные минувшихъ дней. Двѣ или три изъ піэсъ, написанныхъ Державинымъ въ послѣдніе три года, можно назвать прощальною пѣснію умирающаго лебедя.

Часто Державинъ, увлеченный своенравіемъ смѣлаго генія, посреди лирическихъ восторговъ пламенѣлъ негодованіемъ Ювенала, и струны *Пиндарической* лиры метали укоризны въ порокъ, пробуждая трепетомъ раскаянія преступное упоеніе развратныхъ любимцевъ счастія. Нѣкоторыя изъ одъ его, какъ напр. *Вельможа*, могутъ по справедливости назваться *лирическими сатирами*.

Первый томъ его стихотвореній, кромѣ піитическаго достоинства, имѣетъ для насъ и другую привлекательную сторону. Онъ одинъ живописуетъ глазамъ нашимъ картину Двора великой Монархини, родитъ въ сердцахъ нашихъ драгоцѣнныя воспоминанія и сохраняетъ для внуковъ нѣкоторыя черты лицъ, игравшихъ значительныя роли въ семъ періодѣ, столь обильномъ чудесными происшествіями. По этой причинѣ встрѣчаются въ Державинѣ мѣста темныя, сомнительныя для насъ, еще не столь отдаленныхъ отъ времени, въ которомъ они писаны, и къ которымъ потомство совершенно потеряетъ ключъ. Державинъ написалъ поясненія на два первые тома; они хранятся въ рукахъ мужа почтеннаго *)

*) Митрополита Кіевскаго Евгенія, бывшаго въ 1816 г. Архіепископомъ Псковскимъ и Порховскимъ.

знающаго имъ цѣну. Можно надѣяться, что сей ревнитель Русской Словесности, которая обязана ему многими полезными трудами, со временемъ употребитъ съ пользою драгоцѣнность, ввѣренную ему Державинымъ.

Иные сравнивали Державина съ Ломоносовымъ; но что̀ между ними общаго? Одно: тотъ и другой писали оды. Родъ, избранный ими, иногда одинаковъ, но духъ поэзіи ихъ различенъ. Ломоносовъ въ стихахъ своихъ болѣе ораторъ, Державинъ всегда и вездѣ поэтъ. И тотъ и другой бываютъ иногда на равной высотѣ; но первый восходитъ постепенно и съ примѣтнымъ трудомъ, другой быстро и непримѣтно на нее возлетаетъ. Ломоносовъ въ хорошихъ строфахъ своихъ плыветъ величавымъ лебедемъ; Державинъ паритъ смѣлымъ орломъ. Одинъ плѣняетъ насъ стройностію и тишиною движеній; другой поражаетъ насъ неожиданными порывами: то возносится къ солнцу и устремляетъ на него зоркій и постоянный взглядъ, то огромными и распущенными крылами разсѣкаетъ облако, и скрываясь въ немъ, какъ бы съ умысломъ, является изумленнымъ нашимъ глазамъ въ новой и возрожденной красотѣ. Ломоносова читатель неподвиженъ; Державинъ увлекаетъ, уноситъ его всегда за собою. Державинъ пѣвецъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ! Ломоносовъ пѣвецъ Россійскаго Двора. Горацій не дожилъ бы до нашего времени, если бы изъ его твореній сохранились однѣ похвалы Августу. Можетъ быть, тогда и вовсе не читали бы его, или читали бы въ Латинскихъ классахъ университетовъ и училищъ, и кругъ славы величайшаго изъ поэтовъ-философовъ былъ бы весьма ограниченъ. Піитическій геній Державина возлагаетъ дани на всю природу—и вся природа ему покорна. Геній Ломоносова довольствовался нѣкоторыми данями, и мы негодуемъ на его умѣренность. Вся природа говоритъ сердцу и воображенію творца *Водопада* піитическимъ и таинственнымъ языкомъ, и мы слышимъ отголоски сего языка. Ломоносовъ былъ, кажется, невнимателенъ къ ея вдохновеніямъ. Державинъ смотрѣлъ на природу быстрымъ и свѣтозарнымъ взоромъ поэта-живописца; Ломоносовъ медленнымъ взглядомъ наблюдателя. Піитическая природа Державина есть природа живая, тотъ же въ ней пламень,

тѣ же краски, тоже движеніе. Въ Ломоносовѣ видны слѣды труда и тщательная отдѣлка холоднаго искусства. Однимъ словомъ, все что человѣчество имѣетъ священнѣйшаго, что человѣкъ имѣетъ благороднѣйшаго—доблесть сердечная, состраданіе, праведное негодованіе и презрѣніе къ пороку, глубокія мысли о безсмертіи и Создателѣ, печальныя чувства при видѣ слабости и страданій человѣчества, сердечныя воспоминанія юности, родины, великихъ дѣяній предковъ и современниковъ, всѣ сокровища души, ума и сердца обогатили воображеніе величайшаго изъ поэтовъ—Державина.

Будемъ справедливы и признáемся, что достоинство его, какъ поэта, многимъ превышаетъ достоинство его предшественника, но что не менѣе того труды и подвиги Ломоносова—труды и подвиги исполинскіе. Если Державинъ обязанъ природѣ своимъ геніемъ, мы обязаны Ломоносову тѣмъ, что геній Державинъ, не имѣя нужды бороться съ предлежащими трудностями языка, могъ явиться на поприщѣ его достойномъ. Будемъ дивиться красотѣ изваянія Петра Великаго, искусству художника; но будемъ благоговѣть и предъ трудами, побѣдившими самую природу и вызвавшими изъ нѣдръ земли огромное подножіе, служащее статуѣ достойною подпорою и украшеніемъ.

Желательно, чтобы искусная рука, водимая вкусомъ и безпристрастіемъ, собрала избранныя творенія Державина. Съ сею книжкою могли бы мы смѣло предстать предъ славнѣйшими лириками всѣхъ вѣковъ, всѣхъ народовъ, не опасаясь побѣдителя.

Образъ Державина, сей образъ, озаренный пламенникомъ генія, сохраненъ намъ знаменитымъ живописцемъ Тончи. Живописецъ-поэтъ изловилъ и, если смѣю сказать, приковалъ къ холсту божественныя искры вдохновенія, сіяющія на піитическомъ лицѣ сѣвернаго барда. Геній живописца прозорливымъ, вдохновеннымъ взглядомъ постигъ печать генія поэзіи, темную для слѣпой толпы. Картина, изображающая Державина въ царствѣ зимы, останется навсегда драгоцѣннымъ памятникомъ, какъ для искусства, такъ и для ближнихъ, оплакивающихъ великаго и добродушнаго старца. Молодой поэтъ, постигшій пламенною душою красоты знаменитаго лирика, будетъ хранить образъ его

въ уединенномъ своемъ святилищѣ. Сей безмолвный памятникъ, краснорѣчивыми воспоминаніями, повѣдаетъ ему славу Державина и будетъ завѣщать ему блестящій его примѣръ. Юный питомецъ музъ не будетъ подражать ему въ слогѣ; но подобно ему, питая душу однимъ изящнымъ, однимъ тѣмъ, что достойно музъ, усилитъ рождающійся талантъ и дастъ ему новыя крылья.

Разборчивая и строгая критика изречетъ со временемъ свой рѣшительный приговоръ достоинству Державина, и въ горнилѣ своемъ очиститъ золото отъ чуждой примѣси. Но мы, еще живо пораженные утратою великаго мужа, въ первыя минуты горести, осыплемъ цвѣтами признательности свѣжую могилу пѣснопѣвца, котораго память не остынетъ въ сердцахъ ближнихъ его, а мѣсто, можетъ быть, еще на долгое время останется праздднымъ на нашемъ Парнассѣ!

V.

О СОБРАНІИ РУССКИХЪ НАРОДНЫХЪ ПѢСНЕЙ.

1817.

Господинъ Гётце, извѣстный ученой публикѣ прекраснымъ переводомъ на Нѣмецкій языкъ лиро-эпическаго гимна Державина на изгнаніе Французовъ изъ Россіи въ 1812 году, занимается нынѣ сочиненіемъ о народномъ Русскомъ стихотворствѣ. Онъ перевелъ на Нѣмецкій языкъ собраніе Русскихъ народныхъ пѣсенъ и намѣренъ напечатать оное съ подлинникомъ и замѣчаніями подъ заглавіемъ: Stimmen des russischen Volks. Во вступленіи къ своему сочиненію разсматриваетъ онъ важность народныхъ пѣсенъ вообще и Русскихъ въ особенности, руководствуясь мнѣніями знаменитаго Гердера о семъ предметѣ. Онъ разбираетъ сіи стихотворенія въ отношеніи филологическомъ и историческомъ, и старается изъ нихъ вывести заключенія о характерѣ и образѣ мыслей Русскаго народа. Для сего надлежало ему разбирать пѣсни всякаго рода и во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ охотнѣе всего занимался пѣснями старинными, но не выпускалъ изъ виду и тѣхъ, которыя хотя имѣютъ признаки новыхъ временъ, но отличаются національнымъ или особеннымъ характеромъ. Разумѣется, что новѣйшія сочиненія въ семъ родѣ не могли войти въ составъ сего собранія. Г. Гётце надѣется услужить и любителямъ исторіи, сообщивъ имъ въ сихъ заключеніяхъ опытъ характеристики народа Русскаго въ умственномъ отношеніи. Онъ проситъ убѣдительно всѣхъ собирателей и любителей старинныхъ Русскихъ стихотвореній сообщать ему тѣ

изъ нихъ, которыхъ нѣтъ еще въ печати, посредствомъ издателей *Русскаго Инвалида* и *Сына Отечества*, равно какъ и всякія примѣчанія и мнѣнія о семъ предметѣ.

Желательно, чтобъ г. Гётце снискалъ одобреніе и вспоможеніе въ семъ предпріятіи, имѣющемъ цѣлью народную славу Русскихъ, и, при благосклонномъ пособіи почитателей всего отечественнаго, успѣлъ обнародывать въ Россіи и во всей просвѣщенной Европѣ рѣдкія и неизвѣстныя донынѣ народныя стихотворенія, въ богатствѣ и изяществѣ которыхъ Русскіе не уступаютъ ни одному изъ другихъ народовъ.

VI.

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ В. А. ОЗЕРОВА.

1817.

Давно ли музы отечества оплакивали смерть посѣдѣвшаго въ славѣ любимца своего, Державина? и нынѣ еще поражены онѣ новымъ ударомъ, не менѣе для нихъ чувствительнымъ! По крайней мѣрѣ Державинъ совершилъ свое поприще и заплатилъ послѣднюю дань природѣ въ тѣ лѣта, въ которыя человѣкъ перенесъ уже важнѣйшую утрату—утрату всего того, что́, такъ сказать, живаго было въ жизни. Наслѣдство, оставленное имъ потомству, плодъ трудовъ долгихъ и безмятежныхъ лѣтъ, должны служить утѣшеніемъ въ горестной потерѣ. Судьба и люди, едва ли не въ первый разъ, постоянно благопріятствовали генію въ лицѣ Державина—и онъ, доживши до глубокой старости, простился съ жизнію, какъ съ прекраснымъ вечерѣющимъ днемъ. Зависть не дотрогивалась оскорбительною рукою до поэтическихъ лавровъ его, и по крайней мѣрѣ въ глазахъ поэта и современниковъ, скрывая свое негодованіе, казалось, измѣнила древней враждѣ ко всему тому, что́ ознаменовано печатію величія. Примѣръ едва ли не единственный въ лѣтописяхъ славы! Но, оплакивая Озерова, мы должны сѣтовать какъ о преждевременной смерти, такъ и о самой жизни его, игралищѣ враждующей судьбы и людей, коихъ злоба бываетъ еще изобрѣтательнѣе и постояннѣе. Смерть положила предѣлъ днямъ Озерова на 47 году отъ рожденія; но бѣдствія и зависть, пробужденная рукоплесканіями, уже за нѣсколько лѣтъ передъ

тѣмъ поставили преграду успѣхамъ его, похитивъ у отечества надежды, за исполненіе которыхъ достаточными поруками были прежніе труды Озерова, начавшаго новую эпоху въ исторіи трагическаго нашего театра. Странная и горестная истина! Участь великихъ мужей, коихъ слава бываетъ собственностію народа, зависитъ часто отъ малаго числа людей, а иногда отъ одного только лица. Не отъ того ли, что благодарность скудна въ способахъ изъясняться, особенно же медленна; а зависть, напротивъ, богата въ средствахъ, догадлива и никогда не дремлетъ? И часто первая прерываетъ свое преступное молчаніе тогда только, когда поздній голосъ ея тщетно уже раздаться можетъ надъ прахомъ сердца нѣжнаго, потухшаго въ унынiи и ожидавшаго благотворнаго ея взыванія, какъ новой жизнеподательницы новыхъ силъ и надеждъ! Напротивъ же, первая побѣда есть для послѣдней рѣшительный знакъ къ дѣйствію: неутомимо преслѣдуетъ она отъ успѣха къ успѣху довѣрчиваго любимца славы, какъ жадный заимодавецъ, заставляя его разплачиваться при каждомъ новомъ правѣ, пріобрѣтенномъ на уваженіе отечества, и такимъ образомъ, гоняясь до конца за жертвою своею, падаетъ безсильная при надгробномъ камнѣ, сей священной преградѣ, безсмертіемъ поставленной ея ненасытной враждѣ. Счастливъ обреченный славою на гоненіе, воинъ ли онъ, гражданинъ ли, или питомецъ музъ, когда душа его, облеченная спасительною твердостію и крѣпкая собственными своими силами, служитъ только тщетно цѣлію стрѣлъ для непріязни, скользящихъ по ней и слѣдовъ неоставляющихъ! Но горе тому, кто съ дарованіемъ получилъ отъ природы и душу чувствительную, ввѣрившую свои наслажденія и горести самовластію чуждаго произвола! Горькими слезами заплатитъ онъ за рукоплесканія, мгновенно похищенныя у вѣтренной толпы, сегодня ослѣпленной, а завтра смотрящей съ убійственнымъ равнодушіемъ на бореніе любимца своего съ злобою враговъ. Должно еще замѣтить, что успѣхи драматическіе болѣе и продолжительнѣе прочихъ подстрекаютъ зависть. Эпическое, или лирическое твореніе, славимое при началѣ и дѣйствующее только на часть публики, теряетъ со временемъ свою гласность и наконецъ

становится собственностію малаго числа читателей. Хорошая трагедія, или комедія, налагая дань на все общество, не старѣетъ никогда. Каждое представленіе, возобновляя удовольствіе публики, разтравляетъ раны зависти, которая не столько врагъ достоинствамъ, сколько успѣхамъ. Вольтеръ, вооружившій противу себя толпу враговъ, но умѣвшій всегда съ равнымъ искусствомъ вести какъ оборонительную, такъ и наступательную войну, жалуясь однажды на непріятности, имъ претерпѣваемыя, говорилъ въ письмѣ: „если я еще напишу трагедію, то куда мнѣ дѣваться?“

Озеровъ умалчивалъ о своихъ неудовольствіяхъ, и одаренный сердцемъ чувствительнымъ къ обидамъ, не умѣлъ ни презирать вражды, ни бороться съ нею, и наконецъ оставилъ столицу и поприще славы своей.

Заслуги Озерова, преобразователя Русской трагедіи, которыя можно, не опредѣляя достоинства обоихъ писателей, сравнить съ заслугами Карамзина, образователя прозаическаго языка, обращаютъ на себя благодарное и любопытное вниманіе просвѣщенныхъ друзей словесности. Оба оставили между собою и предшественниками своими великое разстояніе. Судя по твореніямъ, которыя застали они, нельзя не признать, что ими вдругъ подвигнулось искусство, и если бы не при насъ случилось сіе важное преобразованіе, трудно было бы повѣрить, что оно не приготовлено было твореніями, отъ насъ утраченными. Но для нѣкоторыхъ людей сей Геркулесовскій подвигъ не существуетъ. Они постоянно коснѣютъ при мнѣніяхъ прошедшаго вѣка. Просвѣщеніе, грядущее исполинскими шагами, усовершенствовавшее науки, обогатившее казну человѣческихъ понятій, преобразовавшее самыя государства, до нихъ не коснулось. Просвѣщеніе прошло мимо ихъ, и они его не замѣтили. Обремененные съ излишествомъ старыми понятіями и не умѣя даже ими владѣть, какъ безпечный наслѣдникъ, который не только что не думаетъ о новыхъ пріобрѣтеніяхъ, но съ трудомъ справляется и съ тѣмъ, что̀ ему досталось, они негодуютъ на новую жатву, собранную тайкомъ отъ нихъ трудолюбивыми и щедрыми благотворителями. Успѣхи разума и искусства не подвигаются для

сихъ людей неподвижныхъ. Оставшись на стезѣ просвѣщенія, современнаго ихъ младенчеству, они напоминаютъ Эдипа, который, будучи утомленъ дорогою, садится на камень и говоритъ: *Мой вѣкъ на камнѣ кончу семъ.* Ихъ разумъ, достигшій ветхости при постоянномъ ребячествѣ, и представляющій картину развалинъ недостроеннаго зданія, не измѣняя первымъ урокамъ, удивляется, что смѣютъ писать трагедіи послѣ Сумарокова, и, довольствуясь повѣствованіями Елагина, ужасается святотатства смѣльчака, дерзающаго готовить Русскую исторію.— Пускай докапчиваютъ они тяжелый сонъ жизни своей на вѣковомъ камнѣ подъ усыпительнымъ надзоромъ невѣжества и предразсудковъ: мы обратимся къ Озерову, который писалъ не для ихъ вѣка.

Къ сожалѣнію, я не могу, говоря о заслугахъ Озерова, какъ автора, остановить на немъ вниманіе читателей, какъ на человѣкѣ: я не зналъ его лично. Но, впрочемъ, если бы свидѣтельство друзей его и не утвердило меня въ увѣреніи о прекрасномъ сердцѣ его, то я убѣдился бы въ немъ истиною и словами Карамзина, который говоритъ, что автору надобно имѣть доброе и нѣжное сердце, если онъ хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей. Не знаю также и подробностей жизни Поэта, столь всегда любопытныхъ и занимательныхъ, когда онѣ относятся къ лицу, достойному нашего вниманія. Мы любимъ заставать въ тишинѣ домашней жизни человѣка, привлекающаго взоръ нашъ на поприщѣ большаго свѣта и, такъ сказать, повѣрять, сличать его съ самимъ собою. У насъ писателей знаютъ только по однѣмъ ихъ книгамъ, и извѣстія о нихъ ничто иное, какъ послужные списки. Хорошо другу умершаго писателя обращать вниманіе потомства на знаки благоволенія, полученные покойникомъ отъ начальниковъ, когда творенія его не свидѣтельствуютъ о благоволеніи къ нему Аполлона. Но когда можно говорить о качествахъ души, о домашнихъ добродѣтеляхъ человѣка, извѣстнаго намъ по одной его славѣ, то, умалчивая о чинахъ его, припомня съ Княжнинымъ, что *Рафаэль не бывалъ коллежскимъ ассессоромъ*, лучше опредѣлимъ его права не на адресъ-кален-

дарь, но на любовь гражданъ, уже платящихъ дань уваженія умственнымъ его способностямъ.

Соберу однако же всѣ извѣстія о немъ, которыя дошли до меня, и если не могу начертать полнаго образа, то означу хотя легкія черты характера или души Озерова, по словамъ одного родственника его, которому не нужно было родства, чтобы быть ему другомъ [1]).

Озеровъ получилъ воспитаніе въ кадетскомъ корпусѣ, хорошее по тогдашнимъ понятіямъ, недостаточное для человѣка, готовящагося быть писателемъ. Французскій языкъ и Французская словесность были единственными сокровищами, открытыми его взору. Первыми его учителями и образцами въ языкѣ были Княжнинъ и Болтинъ: уже гораздо послѣ того познакомился онъ съ истинными образователями Русской прозы и Русскихъ стиховъ. Въ уединеніи тихой жизни узналъ онъ Державина, Дмитріева и Карамзина, почувствовалъ имъ цѣну и по нимъ учился. Рожденный съ пылкими страстями, съ воображеніемъ романическимъ, онъ не могъ противиться волшебной прелести любви, и привязанность къ одной женщинѣ, достойной владычествовать въ его сердцѣ, рѣшила судьбу почти всей его жизни. Для нее онъ жилъ нѣсколько лѣтъ, почти всѣ лѣта своей молодости; съ нею питался восторгами платонической страсти; часто предчувствовалъ счастіе, но не былъ счастливъ: ибо любезная ему женщина была замужняя и добродѣтельная. Для нее онъ игралъ во Французскихъ трагедіяхъ, читалъ романы и писалъ Французскіе стихи. По счастію, онъ измѣнилъ со временемъ Французскому языку; но сохранилъ вкусъ къ чтенію романовъ и въ зрѣлыхъ лѣтахъ и послѣ потери любимой женщины, какъ бы для того, чтобы участіемъ въ вымышленныхъ несчастіяхъ любви напоминать себѣ тѣ страданія нѣжности, къ коимъ сердце его привыкло.

Нѣтъ сомнѣнія, что чтеніе романовъ дало его поэзіи цвѣтъ романизма, замѣтный почти во всѣхъ его произведеніяхъ, и

---

[1]) Графа Дмитрія Николаевича Блудова: здѣсь приводятся почти вполнѣ собственныя слова его.

удивительно, какъ съ такимъ расположеніемъ не искалъ онъ для содержанія трагедій своихъ повѣстей изъ рыцарскихъ вѣковъ.

Долговременная сердечная связь имѣла также вліяніе и на характеръ нашего трагика. Давно говорятъ, что любовники похожи на дѣтей, а Озеровъ сохранилъ что-то дѣтское и во всѣхъ отношеніяхъ жизни. Онъ, какъ младенецъ, былъ добродушенъ, своенравенъ и забывчивъ; то подозрителенъ, то легковѣренъ и къ людямъ, и къ надеждамъ. Иногда самолюбіе доводило его до малодушія; иногда отъ излишняго смиренія онъ впадалъ въ отчаяніе. Главнымъ свойствомъ его сердца была любовь къ друзьямъ; онъ часто дѣлался ихъ невольникомъ, видѣлъ, чувствовалъ ими; но готовъ былъ разсердиться за малѣйшую неосторожность, и также не могъ устоять противъ малѣйшаго знака любви. Смерть милой ему женщины удалила его на время отъ свѣта, который въ глазахъ его украшался ею, и отъ словесности, которая сначала была для него не болѣе, какъ забава. При образованіи природномъ долго не могъ онъ искать наслажденій и счастія въ трудахъ ума, искавъ ихъ единственно въ мечтахъ сердца. Пробужденіе отъ сладостныхъ сновидѣній было развитіемъ давно таившихся его способностей. Слѣдующая черта дастъ ясное понятіе о нѣжности и щекотливости благородной души его.—Онъ служилъ по гражданской части и имѣлъ успѣхи по службѣ, но мало радовался ими. Однажды его начальники спросили: „не нужно ли сдѣлать перемѣны въ его департаментѣ“? Озеровъ счелъ этотъ вопросъ за совѣтъ идти въ отставку и тотчасъ вышелъ.

Приступая къ разсмотрѣнію произведеній Озерова, скажемъ нѣчто о Русскомъ театрѣ.

Драматическое искусство у насъ еще въ колыбели. Не смотря на нѣсколько трагическихъ и комическихъ сценъ, мелькающихъ въ маломъ числѣ драматическихъ твореній, изъ коихъ всякое болѣе или менѣе ознаменовано общею печатію отверженія, наложенною на нашъ театръ рукою Таліи и Мельпомены, кажется можемъ сказать рѣшительно, что до сего времени мы не имѣли еще ни одной оригинальной комедіи въ стихахъ и до Озерова не видали трагедіи.

Сумарокову, сему писателю, хотѣвшему съ жадностію обнять всѣ отрасли ученой славы, и у котораго нельзя отнять ни ума, ни дарованія, предназначено было судьбою проложить у насъ пути къ разнымъ родамъ сочиненій, но самому не достигнуть ни одной цѣли. Какъ Моисей, онъ навелъ другихъ на Обѣтованную землю, но самъ не вступилъ въ ея границы. Ослѣпленные современники вѣнчали неутомимаго писателя похвалами, добродушное потомство довольствуется быть отголоскомъ старины, не налагая на себя тяжелаго труда быть дѣйствующимъ судіею славы Сумарокова, и такимъ образомъ творецъ Русскаго театра, хотя и не лишенный почести сего имени, уже почти не имѣетъ мѣста на Русскомъ театрѣ. Можетъ быть и совсѣмъ поглотила бы его бездна забвенія, если бы не приходило на мысль благочестивымъ и суевѣрнымъ поклонникамъ старины, предпочитающимъ всегда славу усопшихъ славѣ живыхъ, ставить намъ, безъ зазрѣнія совѣсти, въ образецъ басенъ на Русскомъ языкѣ басни Сумарокова и въ образецъ трагическаго слога напыщенные и холодные порывы притворнаго изступленія Димитрія Самозванца. Должно замѣтить однако же, что въ трагедіяхъ Сумароковъ также выше комедій своихъ, какъ Княжнинъ въ комедіяхъ выше трагедій Сумарокова и своихъ собственныхъ.

Княжнинъ первый положилъ твердое основаніе какъ трагическому, такъ и комическому слогу. Лучшая комедія въ стихахъ на нашемъ театрѣ есть неоспоримо *Хвастунъ*, хотя и въ пей критика найдетъ много недостатковъ, и вкусъ не всѣ стихи освятилъ своею печатью. Но за то сколько сценъ истинно комическихъ, являющихъ блестящія дарованія автора! Сколько счастливыхъ стиховъ, вошедшихъ непримѣтно въ пословицы! Сколько цѣлыхъ мѣстъ, свидѣтельствующихъ, такъ сказать, о зрѣлости слога Княжнина! Въ доказательство тому замѣтимъ, что дурной стихъ, площадное и непристойное выраженіе, оскорбляя вашъ слухъ, поражаетъ васъ въ *Хвастунѣ* также, какъ хорошій и удачный стихъ пробуждаетъ васъ въ другой комедіи. *Утѣшенная Вдова* до сего времени можетъ служить у насъ образцовою по достоинству прозаическаго и комическаго

слога, тонкой насмѣшки и веселости. Въ *Чудакахъ* блистаетъ тоже дарованіе и еще болѣе комической веселости. Въ другихъ его комедіяхъ вездѣ разсыпаны искры дарованія и соль остроумныхъ шутокъ, выкупающихъ погрѣшности плановъ его и несходство въ списываніи лицъ.

Княжнинъ, какъ трагикъ, заслуживаетъ болѣе укоризнъ, не имѣя блестящихъ достоинствъ, вознаграждающихъ за ошибки его въ комедіяхъ. Языкъ въ послѣднихъ всегда кажется естественнымъ: языкъ въ его трагедіяхъ всегда принужденъ и холоденъ. Въ *Дидонѣ* видимъ не любовницу, въ *Росславѣ* не пламеннаго друга отечества. О *Росславѣ* можно замѣтить, что имя *хвастуна* ему приличнѣе, нежели дѣйствительному *Хвастуну*. *Верхолетъ* болѣе лжецъ и обманщикъ: *Росславъ* есть трагическій хвастунъ. Княжнинъ, сказываютъ, признавался, что *Росславъ* написанъ имъ по желанію собрать въ одно всѣ черты высокаго, разсыпанныя во Французскихъ трагедіяхъ. Одно это желаніе, признанное, или умолченное — все равно, но главное въ трагедіи его—можетъ служить ему обвиненіемъ. Въ отвѣтахъ *Росслава* слышенъ всегда авторъ; въ словахъ: *я здѣсь не въ первый разъ*, внятенъ сердечный голосъ негодующаго Фингала. Я часто слыхалъ рукоплесканія, заслуживаемыя стихами трагедій Княжнина; но, признаюсь, не видалъ никогда въ глазахъ зрителей краснорѣчиваго свидѣтельства участія, принимаемаго сердцемъ ихъ въ бѣдствіяхъ его героевъ или героинь; не видалъ слезъ, невольной и лучшей дани, приносимой трагическому дарованію отъ разтревоженныхъ чувствъ состраданія или страха обманутаго воображенія. Должно сказать, что погрѣшности въ трагедіяхъ Сумарокова и Княжнина не могутъ быть оправданы временемъ. Въ то время, какъ они писали, сокровища иностранныхъ театровъ совершенно были имъ открыты; не говорю о древнихъ источникахъ, которые тогда, какъ и самый языкъ древнихъ, были забыты. Въ трагедіяхъ того и другаго встрѣчаемъ мы нерѣдко частныя подражанія Корнелю, Расину и Вольтеру. Можно похитить блестящую мысль, счастливое выраженіе; но жаръ души, но тайна господствовать надъ чувствами другихъ сердецъ не похищается, и нельзя ей

научиться отъ правилъ Піитики. Главный недостатокъ Княжнина происходитъ отъ свойствъ души его. Онъ не рожденъ трагикомъ.

О трагедіяхъ послѣдователей его, покоящихся послѣ однодневной жизни въ *Россійскомъ Театрѣ*, нечего и упоминать. Не стану говорить и о трагедіяхъ, въ новѣйшее время перенесенныхъ съ иностранныхъ театровъ на нашъ усердными переводчиками, о сихъ несчастныхъ эмигрантахъ (разумѣется не безъ изключенія), жалкихъ и разительныхъ свидѣтельствахъ измѣненія судьбы человѣческой, сохранившихъ у насъ одно прежнее имя, но оставившихъ на отечественной землѣ и богатство свое и славу отцовъ!

Кажется, рѣшительно можно сказать, что у насъ не было трагедій, и величество Мельпомены не царствовало на трагической сценѣ. Актеры подъ пышными именами выходили передъ зрителями, говорили стихи, иногда хорошіе, чаще дурные; зрители рукоплескали, чаще зѣвали; но и рукоплесканія ихъ были данію звучности стиховъ, блестящему выраженію, сильнымъ изреченіямъ, сохраненію нѣкоторыхъ условій искусства, но тайна трагедіи не была еще постигнута. Явился Озеровъ — и Мельпомена приняла владычество свое надъ душами. Мы услышали голосъ ея, повелѣвающій сердцу, играющій чувствами, сей голосъ — столь краснорѣчивый въ Расинѣ и Вольтерѣ. Въ первый разъ увидѣли мы на сценѣ не актеровъ, пожалованныхъ по произволу автора въ Греческихъ, Римскихъ или Русскихъ героевъ и представляющихъ намъ галлерею портретовъ почти на одно лице, которое узнавать надобно было по надписи.

Но прежде, нежели представимъ Озерова на Русской сценѣ, на степени его достойномъ, взглянемъ на первые труды, предшествовавшіе *Эдипу*, коимъ началась новая эпоха въ исторіи театра и словесности нашей.

Первый шагъ Озерова въ области поэзіи былъ переводъ изъ Колардо Героиды *Элоизы къ Абеларду*. Въ краткомъ предисловіи, напечатанномъ при переводѣ, увѣдомляетъ онъ читателей, что предлагаетъ имъ первый опытъ свой въ стихахъ и извиняется въ смѣлости состязаться съ счастливымъ соперни-

комъ, утвердившимъ во Франціи свою славу переводомъ изъ Попа письма, извѣстнаго любителямъ словесности; онъ признается, что чтеніе стиховъ Колардо родило въ немъ вдохновеніе Аполлона и воспламенило воображеніе, нетронутое до того волшебнымъ жезломъ поэзіи. „Читая Колардо“, говоритъ Озеровъ, „я былъ восхищенъ. Мнѣ открылся путь Парнасскій и я почувствовалъ вдохновеніе Аполлона, о которомъ прежде и мысли не имѣлъ“. Такъ добродушный Лафонтенъ, до конца жизни непровѣдавшій тайны славы своей, тайны темной для однихъ его глазъ, обязанъ былъ чтенію оды Малерба открытіемъ своего дарованія. Поставить переводъ наряду съ подлинникомъ — невозможно; но не признать въ переводчикѣ Колардо грядущаго поэта было бы несправедливо. Многіе стихи, не смотря на тогдашнее несовершенство нашего стихотворческаго языка, могли бы украсить и въ теперешнее время лучшее изъ нашихъ стихотвореній. Вообще разсказъ и порывы страсти удачнѣе прочаго сохранены переводчикомъ, еще непосвященнымъ, но втайнѣ обреченнымъ любимцемъ Мельпомены. Его прочія мелкія стихотворенія не свидѣтельствуютъ о поэтическомъ дарованіи, развернувшемся въ трагедіяхъ; а лирическія пѣсни доказываютъ, что Озеровъ не былъ лирикомъ.

Смерть Олега Древлянскаго, представленная въ 1798 году на Петербургскомъ театрѣ, была первою трагедіею Озерова, и первою и послѣднею данію, заплаченною имъ вѣку Сумарокова и Княжнина. Вспомня, что предшественниками *Федры* были *Александръ* и *Враждующіе братья*, дань, принесенная Расиномъ вѣку Ротру и Корнеля, удивимся ли тому, что *Олегъ* не предвѣщалъ *Эдипа* и *Поликсены*? Рѣдко случается, чтобы дарованіе съ перваго шага стало на ту дорогу, которую оно прокладываетъ себѣ возмужавшими силами: обыкновенно, оно тащится нѣсколько времени по слѣдамъ предшественниковъ, а тамъ уже вдругъ освобождается отъ ига суевѣрнаго подражанія, и, уклонясь на неиспытанный путь, открываетъ новое поприще для новыхъ послѣдователей. Въ планѣ трагедіи: *Смерть Олега*, въ самомъ составѣ стиха, видны погрѣшности Княжнина, неискупленныя красотами, ему принадлежащими. Красо-

тамъ подражать не можно; ихъ нельзя ни похитить, ни присвоить. Напротивъ того, недостатки писателей переходятъ изъ рукъ въ руки во владѣніе рабскихъ его подражателей. Расинъ, побѣдившій Корнеля, когда пересталъ брать его себѣ въ примѣръ, былъ ниже его, когда хотѣлъ сравниться съ нимъ. Озеровъ, усовершенствовавшій искусство Княжнина, былъ дурнымъ его ученикомъ, когда искалъ славы его соперничества. Къ счастію Озерова, публика, которой сужденія не всегда безошибочны, по какому-то предчувствію не попалась въ обманъ, и, справедливо отвергнувъ трагедію Озерова, не ослѣпила его соблазномъ успѣха. Счастливый пріемъ *Олега*, усыпивъ геній трагика, можетъ быть — убилъ бы *Эдипа*. Чрезъ нѣсколько лѣтъ сочинитель, скрывавшійся отъ глазъ свѣта, явился снова на трагической сценѣ; но вооруженный новыми силами, обѣщавшими ему побѣду. Бѣдствія Эдипа и семейства его, это неисчерпаемое сокровище. Трагедіи, наслѣдство, переданное вѣкамъ древними трагиками, не были еще присвоены Русскою сценою. Сія добыча, достойная Озерова, ожидала его. Софоклъ въ *Эдипѣ царѣ* имѣлъ многихъ послѣдователей; у однихъ Французовъ есть около десяти подражателей. *Эдипъ въ Колонскомъ предмѣстіи* рѣже переносимъ былъ на новѣйшій театръ. Озеровъ, избравши его, основался на Софоклѣ, пользуясь и другими французскими подражаніями: *Эдипомъ у Адмета*, трагедіею Дюсиса, который, неизвѣстно почему, соединилъ въ одну двѣ отдѣльныя трагедіи и тѣмъ самымъ разъединилъ участіе, которое должно быть сосредоточено. Есть еще Французская опера: *Эдипъ въ Колонскомъ предмѣстіи*, одно изъ счастливѣйшихъ подражаній древнему театру. Содержаніе *Эдипа* извѣстно. Сія прекрасная трагедія, зрѣлое и жизни исполненное произведеніе маститаго старца, почитается однимъ изъ лучшихъ памятниковъ древности. Софоклъ, обвиняемый сыномъ въ несостояніи править имѣніемъ по старости лѣтъ и упадку разсудка, прочелъ для оправданія своего передъ судьями *Эдипа въ Колонскомъ предмѣстіи*, оконченнаго имъ въ самое то время. Восхищенные судьи отослали со стыдомъ обвинителей и съ торжествомъ проводили Софокла до дома. Сія трагедія, освѣтившая

вечеръ славы Греческаго пѣвца, озарила утро славы нашего трагика и была зарею новаго дня на Русскомъ театрѣ. Но, вѣроятно, современники наши хладнокровнѣе древнихъ въ своихъ сужденіяхъ, и едва ли голосъ клеветы для слуха ихъ не доступнѣе голоса дарованія. Сравнивать подлинникъ съ подражаніемъ не должно. Древніе въ трагедіяхъ своихъ имѣютъ великое преимущество надъ нами. Трагедія Греческая заимствовала свою силу отъ всего, что было священно для Греческаго сердца. Слава предковъ и современныхъ гражданъ, народные преданія и обычаи, таинства религіи, торжественные обряды богослуженія, были, такъ-сказать, сокровищемъ Греческихъ трагиковъ. Мы можемъ постигать красоту ихъ искусства, но, и постигнувъ ее, будемъ единственно холодными зрителями дѣйствія, а не участниками онаго. Смерть Эдипа, залогъ благоденствія Аѳинъ, можетъ ли производить надъ зрителями чуждыми то дѣйствіе, которое имѣла она на Аѳинскомъ театрѣ? До какого же совершенства должны были достигнуть древніе трагики, чтобы внушить и намъ, отдаленнымъ отъ нихъ вѣками, а еще болѣе совершенною противоположностію понятій и чувствъ, то уваженіе, которое имѣемъ къ ихъ твореніямъ! И если позволено здѣсь уподобленіе, то нельзя ли сравнить Греческую трагедію, въ отношеніи къ намъ, съ прекраснымъ портретомъ, написаннымъ кистью Рембрандта, и который мы цѣнимъ по одному искусству живописи, но которымъ прежній его обладатель дорожилъ еще болѣе по вѣрному и живому изображенію человѣка, близкаго его сердцу.

Вѣрнѣйшее подражаніе древнимъ трагикамъ, согласно съ правилами, которыя они завѣщали намъ своимъ примѣромъ, было бы не подражать имъ; можно рѣшительно сказать, что они никогда не избрали бы для своихъ твореній содержанія, совершенно чуждаго народу своему и образу его мыслей. Эпопея, принадлежащая къ повѣствовательному роду, можетъ переносить насъ подъ чуждое небо и живописать воображенію картины, которыя тѣмъ болѣе удовлетворяютъ любопытству нашему, чѣмъ новѣе и неизвѣстнѣе онѣ для насъ. Но трагедія, которая творитъ изъ насъ не холодныхъ слушателей отдален-

наго повѣствованія, а, обманывая насъ, дѣлаетъ созерцателями и участниками дѣйствія, не должна ли, чтобы совершенно овладѣть вниманіемъ души нашей, представлять намъ лица знакомыя и пробуждающія въ насъ великія и священныя воспоминанія? И придерживаясь перваго сравненія съ живописью, для лучшаго объясненія мысли моей, я уподобилъ бы эпопею картинѣ, изображающей глазамъ нашимъ природу, хотя и чуждую, но всегда величественную и всегда сродную намъ по общимъ отношеніямъ къ человѣку; а трагедію картинѣ семейственной, которой живѣйшія права на сердце наше основаны на отношеніяхъ частныхъ. Обратимся къ Озерову.

Онъ, какъ благоразумный художникъ, воспиталъ дарованіе свое въ Греческой школѣ и зналъ, что для театра нашего, еще въ младенчествѣ, полезны могутъ быть и правила, и самые примѣры наставниковъ, коихъ искусство возрасло до зрѣлости трудами ихъ генія и не устарѣло съ вѣками. Къ тому же, отнимая отъ Эдипа и все то, что, такъ сказать, теряется для глазъ нашихъ, его несчастіе, благородная твердость, нѣжная любовь дочери его, имѣютъ еще довольно правъ на состраданіе души, и повѣсть Эдипа останется всегда богатымъ и счастливымъ наслѣдствомъ древнихъ, которымъ успѣшно могутъ пользоваться и новѣйшіе трагики. Озеровъ въ составленіи своей трагедіи отступалъ и отъ Софокла, и отъ подражателей его, иногда съ успѣхомъ, иногда и нѣтъ. Первое дѣйствіе Софокла перенесено имъ во второе, вѣроятно для того, чтобы познакомить зрителей съ судьбою и отношеніями сыновей его къ нему и, такъ сказать, изложить историческое содержаніе трагедіи: сія предосторожность, излишняя на театрѣ Аѳинскомъ, могла показаться законною на нашемъ. Характеръ Тезея обнаруживается ясно: пріемъ Креона и отвѣты на просьбу о союзѣ Тезея представляютъ благородство и справедливость царя, друга и благотворителя своихъ подданныхъ. Красота и звучное великолѣпіе стиховъ замѣняютъ сухость и холодность перваго дѣйствія, не открывающаго глазамъ главныхъ лицъ и рѣшительнаго содержанія трагедіи. Софоклъ, при самомъ началѣ, возбуждаетъ въ зрителяхъ состраданіе къ несчастному царю-изгнаннику и

уваженіе къ дочери, раздѣляющей нищету и бѣдствіе отца. Трагедію Озерова можно начать со втораго дѣйствія и ущербъ будетъ на сторонѣ одного поэта, а не трагика. Но за то второе дѣйствіе вполнѣ награждаетъ за излишнее, можетъ быть, ожиданіе его. Оно выдержано до конца и ознаменовано высокою простотою, столь плѣнительною въ Греческихъ трагикахъ. Вѣрные и строгіе почитатели сохраненія древней истины могутъ съ нѣкоторою справедливостію замѣтить, что Эдипъ, привлеченный таинственною судьбою къ храму Эвменидъ, и въ пророческомъ духѣ чающій найти подъ сѣнію убѣжище и конецъ странническимъ бѣдствіямъ, не долженъ былъ впадать въ ужасное изступленіе, которымъ онъ объятъ, узнавъ отъ дочери, что они находятся близъ храма богинь мести. Замѣтятъ также и то, что во все продолженіе трагедіи Эдипъ не облеченъ покровомъ священной таинственности, которымъ онъ прикрывается у Софокла отъ взоровъ толпы, до самой смерти, такъ сказать, разгадывающей въ глазахъ земли великую загадку его жизни, обреченной небомъ на невольныя преступленія и постоянныя бѣдствія. Характеръ Креона также не почерпнутъ изъ Греческаго источника, или по крайней мѣрѣ не имѣетъ печати, ему сродной. Злодѣи, гордящіеся своими преступленіями и съ отвратительнымъ чистосердечіемъ судящіе себя безпристрастно, какъ судіи посторонніе, не находятся ни въ природѣ, ни въ произведеніяхъ геніевъ, ей подражавшихъ; но рождаются отъ безпечности или безсилія трагиковъ, которые, не умѣя или не желая дать себѣ труда живописать разительною и твердою кистію характеръ предполагаемый, заставляютъ его называть себя по имени своему, когда искусство требуетъ, чтобы оно отгадано было зрителями. Сей родъ изображенія есть одинъ изъ главнѣйшихъ пороковъ Русской трагедіи и торжествуетъ въ *Димитріи Самозванцѣ*. До сей поры онъ еще сохраняется на нашемъ театрѣ. Въ первомъ явленіи третьяго дѣйствія *Эдипа*, Креонъ съ излишнею искренностію сообщаетъ Нарцессу исповѣдь свою, хотя и весьма поэтическую, но приносящую болѣе чести стихотворцу, нежели трагику.

Характеръ Полиника начертанъ мастерскою рукою. Въ са-

момъ раскаяніи его прорываются движенія злобы и ненависти къ брату, и зритель въ Полиникѣ, оплакивающемъ преступленія свои у ногъ отца, и готовящемся жертвовать жизнію за него и сестру, угадываетъ еще мятежнаго, необузданнаго и непримиримаго брата Этеоклова. Антигона Озерова совершенная Антигона. Такова она у Софокла, такова и въ природѣ. Ни на одно мгновеніе, ни въ одномъ движеніи, ни въ одномъ словѣ не измѣняетъ она себѣ. Плѣнительный образецъ дочерней любви, трогательное сочетаніе нѣжности и твердости, чувствительности и благороднаго презрѣнія къ бѣдствіямъ; однимъ словомъ, счастливое соединеніе всѣхъ женскихъ добродѣтелей. Въ первый разъ услышали мы на сценѣ голосъ женскій. Антигонѣ не авторъ подсказываетъ, но сердце ея. Замѣтимъ здѣсь, что Озеровъ съ вѣрнѣйшимъ успѣхомъ ловилъ сходство женскихъ лицъ; кисть его при изображеніи ихъ была разборчивѣе въ краскахъ, точнѣе въ оттѣнкахъ и тщательнѣе въ отдѣлкѣ. Взгляните на Антигону, Моину, Ксенію, Гекубу и Поликсену: каждый изъ списковъ ихъ носитъ на себѣ печать истины и нѣкоторымъ образомъ свидѣтельствуетъ о пристрастіи къ себѣ автора, такъ сказать любовавшагося трудомъ своимъ. Можетъ быть, почерпнулъ онъ сію вѣрность изображенія въ нѣжномъ образованіи души своей, отражавшей съ бо́льшею живостію и ясностію женскія добродѣтели; можетъ быть, заимствовалъ онъ ее отъ частаго обращенія съ женщинами, очищающими какъ вкусъ нашъ, такъ и самыя чувства. Но обратимся къ Эдипу, который, къ сожалѣнію, перестаетъ быть Эдипомъ въ пятомъ актѣ. Озеровъ въ окончаніи своей трагедіи совершенно отсталъ отъ Софокла, и такъ сказать срываетъ съ Эдипа священную печать таинственнаго попеченія о немъ боговъ, чудныхъ къ нему въ гоненіи и милости. Нашъ трагикъ измѣнилъ прекрасному концу Греческаго Эдипа, освященнаго передъ смертію и уже не хилаго слѣпца, имѣющаго нужду въ подпорѣ смертныхъ; но слѣпца, руководимаго промысломъ боговъ и твердою стопою идущаго къ могилѣ, назначенной ему отъ нихъ наградою за долгія страданія и пристанищемъ послѣ житейскихъ треволненій. Сей прекрасной кончинѣ предпочелъ онъ холодную смерть

Креона въ угожденіе ложному правилу, проповѣданному намъ новѣйшими трагиками, что нравственная цѣль трагедіи должна быть казнь порока и торжество добродѣтели. Но трагикъ не есть уголовный судья. Обязанность его и всякаго писателя есть согрѣвать любовію къ добродѣтели и воспалять ненавистію къ пороку, а не заботиться о жребіи и приговорѣ Провидѣнія. Великіе трагики и изъ новѣйшихъ чувствовали сію истину, и Вольтеръ, поражая Зопира и щадя Магомета, не былъ ни гонителемъ добродѣтели, ни льстецомъ порока. Озеровъ, какъ сказываютъ, сперва и хотѣлъ перенести въ свою трагедію прекрасный конецъ Софокловой; но одинъ актеръ, въ школѣ Сумарокова воспитанный, испугалъ его, предсказывая, что публика дурно приметъ конецъ, столь противный общимъ понятіямъ о цѣли драматическихъ твореній, и родилъ въ немъ мысль развязать свою трагедію смертію Креона. Озеровъ принялъ его совѣтъ и лишилъ себя и насъ счастливаго, можетъ быть, единственнаго случая познакомиться съ сверхъестественными окончаніями древняго театра. Такимъ образомъ вкоренѣлые предразсудки и уполномоченные представители ихъ въ обществѣ заграждаютъ произвольными препятствіями путь генію, еще не довольно возмужавшему, чтобы съ постоянною смѣлостію презрѣть ихъ въ полетѣ своемъ. Если иногда въ Эдипѣ Озеровъ былъ ослушнымъ ученикомъ древнихъ наставниковъ, то по крайней мѣрѣ съ блистательнымъ успѣхомъ оказался онъ достойнымъ воспитанникомъ, а часто и счастливымъ соперникомъ новѣйшихъ образцовъ. *Эдипъ въ Аѳинахъ* будетъ занимать всегда одно изъ почетныхъ мѣстъ на новѣйшемъ театрѣ, въ отношеніи къ твореніямъ современной словесности чуждыхъ народовъ, а въ отношеніи къ нашей поставилъ онъ Озерова наряду съ величайшими нашими поэтами, и на степень первѣйшаго нашего трагика. Въ первый разъ сія трагедія была играна на Петербургскомъ театрѣ въ 1804 году, и вскорѣ послѣ того напечатана при посвященіи, писанномъ прозою, къ Державину, который отвѣчалъ ему стихами, уже отзывающимися старостію поэта и нестоющими прозы Озеровой. Публика, руководимая на этотъ разъ вкусомъ, приняла новую трагедію съ живымъ удо-

вольствіемъ. Журналы тогдашняго времени подтвердили ея одобреніе, и между поэтами, привѣтствовавшими успѣхъ новаго трагика, былъ и другой пѣвецъ вѣка Екатерины—Капнистъ. *Эдипъ въ Аѳинахъ* представленъ также на театрѣ Эрмитажа, и авторъ имѣлъ удовольствіе слышать отъ Государя похвалу и одобреніе своимъ трудамъ. Въ одномъ изъ современныхъ періодическихъ изданій сказано было, что нѣкоторыми любителями отечественной словесности было положено собрать подписку для выбитія золотой медали въ честь Автора *Эдипа*. Мудрено ли, что сердце чувствительное, питающееся одобреніями и довѣрчивое къ надеждамъ, поддалось усладительнымъ приманкамъ улыбающагося успѣха и въ безпечномъ очарованіи своемъ, внимательное къ одному голосу похвалы, не замѣчало скрытнаго ропота зависти? Осторожность не плѣняется успѣхами, и проницательнымъ взглядомъ различаетъ свойства похвалъ и искренность хвалителей; но пламенная и простая душа предается обману и поздно узнаетъ, что слава вплетаетъ терніе въ вѣнцы, которыми надѣляетъ она своихъ любимцевъ.

Изъ благословенной Эллады, цвѣтущаго отечества изящнаго и искусствъ, муза Озерова перенесла его подъ суровое и туманное небо, прославленное однообразными, но сильными и сладостными для души пѣснями—сѣвернаго Гомера! Пѣвецъ Греческій открываетъ богатый рудникъ трагикамъ: Оссіанъ не столь щедрою рукою разсыпаетъ свои сокровища. Воображеніе Гомера богато, роскошно и разноцвѣтно, какъ вѣчная весна, царствующая на отеческихъ его поляхъ. Воображеніе Оссіана грустно, однообразно, какъ вѣчные снѣга его родины. У него одна мысль, одно чувство: любовь къ отечеству, и сія любовь согрѣваетъ его въ холодномъ царствѣ зимы и становится обильнымъ источникомъ его вдохновенія. Его герои—ратники; поприще ихъ славы—бранное поле; олтари—могилы храбрыхъ. Сѣверной поэзіи прилично искать источниковъ въ баснословныхъ преданіяхъ народа, имѣющаго нѣчто общее съ ея народомъ, когда разборчивая строгость не дозволяетъ ей дополнить своими вымыслами скудныя средства, открытыя отечественною исторіею. Сѣверный поэтъ переносится подъ небо, сходное съ его небомъ,

созерцаетъ природу, сродную его природѣ, встрѣчаетъ въ нравахъ сыновъ ея простоту, въ подвигахъ ихъ мужество, которыя раждаютъ въ немъ темное, но живое чувство убѣжденія, что предки его горѣли тѣмъ же мужествомъ, имѣли ту же простоту въ нравахъ, и что свойство сихъ однородныхъ дикихъ сыновъ сѣвера отлиты были природою въ общемъ льдистомъ сосудѣ. Самый языкъ нашъ представляетъ болѣе красотъ для живописанія сѣверной природы. Цвѣтъ поэзіи Оссіана можетъ быть удачнѣе, обильнаго въ оттѣнкахъ цвѣта поэзіи Гомеровой, перенесенъ на почву нашу. Нѣкоторые Русскіе переводы пѣсней сѣвернаго Барда подтверждаютъ сіе мнѣніе. Но ровное и, такъ сказать, одноцвѣтное поле его поэмъ обѣщаетъ ли богатую жатву для трагедіи, требующей дѣйствія сильныхъ страстей, безпрестаннаго ихъ боренія и великихъ послѣдствій? Не думаю. И посему-то *Фингалъ* Озерова можетъ скорѣе почесться великолѣпнымъ трагическимъ представленіемъ, нежели совершенною трагедіею. Не основываю мнѣнія моего на томъ, что содержаніе *Фингала* раздѣлено на три акта, а не на пять. Правило, основанное на предразсудкѣ, можетъ и должно всегда встрѣчать ослушниковъ въ тѣхъ, которыхъ голосъ дарованія ихъ вызываетъ изъ толпы. Большая часть трагедій выиграли бы потерею двухъ актовъ и почти всѣ исключительно потерею одного. Новѣйшіе, рабски слѣдуя древнимъ, приняли ихъ объемъ, забывая, что въ Греческихъ трагедіяхъ хоры всегда занимаютъ бо́льшее мѣсто и раздѣляютъ съ дѣйствіемъ вниманіе зрителей. Съ другой стороны, Греки не столь жадны были, какъ мы, и содержанія ихъ трагедіи едва-ли стало бы у насъ на два акта. Въ трагедіи *Фингалъ* одно только трагическое лице: Старнъ. Сынъ его Тоскаръ убитъ былъ Фингаломъ и всѣ чувства родительскія, нѣжная любовь къ сыну, сѣтованіе о немъ, соединились въ одно: въ желаніе мести. Фингалъ, побѣдитель и убійца Тоскара, влюбленъ въ его сестру Моину, которая отвѣчаетъ его страсти. Старнъ скрываетъ свое негодованіе отъ дочери, нераздѣляющей ненависти его къ побѣдителю сына, и, вмѣсто обѣщаннаго брачнаго торжества, хочетъ принести Фингала въ жертву мести своей, на холмѣ надгробномъ Тоскара. Вотъ одна

трагическая сторона поэмы Озеровой! Онъ съ искусствомъ умѣлъ противопоставить мрачному и злобному Старну, таящему во глубинѣ печальной души преступные замыслы, взаимную и простосердечную любовь двухъ чадъ природы, искренность Моины, благородство и довѣрчивость Фингала; онъ сочеталъ въ одной картинѣ свѣжія краски добродѣтельной страсти, владычествующей прелестью очарованія своего въ сердцахъ невинныхъ, съ мрачными красками угрюмой и кровожаднѣйшей мести, и хитрость злобной старости съ довѣрчивою смѣлостію добродѣтельной молодости. Какъ трагикъ, онъ воспользовался всѣми выгодами предметовъ, и чѣмъ бѣднѣе въ средствахъ, тѣмъ рѣшительнѣе и искуснѣе былъ онъ въ распоряженіи. Въ тѣсномъ кругу дѣйствія характеры Старна, Фингала и Моины являются во всѣхъ оттѣнкахъ. Какъ поэтъ, схватилъ онъ смѣлою рукою богатства сѣверной поэзіи, и разбросанныя сокровища соединилъ въ одно цѣлое. Трагедія *Фингалъ* — торжество сѣверной поэзіи и торжество Русскаго языка, богатаго живописью, смѣлостію и звучностію. Рѣчи Моины, утренній голосъ весны, пробуждающій сладостнымъ очарованіемъ тишину безмолвныхъ рощей; сѣтованіе мрачнаго Старна, унылый голосъ осени, бесѣдующей съ ночною бурею: съ нимъ говорятъ

И вѣтровъ страшный ревъ,
И моря грозный шумъ, и томный скрыпъ деревъ.

Въ *Фингалѣ* ничто не забыто, ни трагикомъ, ни поэтомъ. Тотъ и другой взялъ съ Оссіана полную дань. Счастливый преемникъ Озерова можетъ приняться послѣ него за Эдипа, частію сравняться съ нимъ, а частію и превзойти его; но едва ли дерзнетъ кто-нибудь по слѣдамъ его искать добычи въ поэмахъ Оссіана. Онъ найдетъ поле, уже пожатое и обнаженное рукою счастливою и искусною въ выборѣ. Представленіе *Фингала* говоритъ воображенію, сердцу и глазамъ зрителей. Тутъ все у мѣста: пѣніе бардовъ, хоры жрецовъ, сраженія. Всѣ сіи принадлежности, во многихъ трагедіяхъ часто излишнія, въ *Фингалѣ* нужныя — тѣсно связаны съ главнымъ содержаніемъ, и, такъ сказать, идутъ не за сочинителемъ, а за дѣйствующими лицами. Несправедливо будетъ сказать по нѣкоторымъ отноше-

піямъ, что Озерову скорѣе надлежало бы составить оперу изъ Фингала. Старнъ, господствующее и почти дѣйствующе лице въ трагедіи, начертанъ сильными красками и кистію рѣшительно трагическою. Въ трагедіи Старнъ уединяется; въ оперѣ онъ совершенно отдѣлился бы отъ общей картины и разрушилъ согласіе единства. *Фингалъ* представленъ былъ въ первый разъ на Петербургскомъ театрѣ въ началѣ декабря 1805 года и напечатанъ съ посвященіемъ Алексѣю Николаевичу Оленину, по словамъ сочинителя, присовѣтовавшему ему

Народовъ сѣверныхъ Ахилла описать.

Въ обыкновенныхъ посвященіяхъ находится притворное униженіе отъ лица посвящающаго и притворная лесть къ лицу покровителя. Въ двѣнадцати стихахъ Озерова есть поэзія и чувство. Заслуженныя похвалы сочинителю трагедіи, по представленіи ея, не умалились отъ напечатанія. Новые лавры вплетены были признательностію въ вѣнецъ сочинителя *Эдипа*: новыя тернія готовились ему рукою зависти. Въ 1807 году, когда взоры Россіи устремлены были на борьбу храбрыхъ сыновъ ея съ силою грознаго врага, готовившаго цѣпи рабства Европѣ, Озеровъ въ трагедіи: *Димитрій Донской* напомнилъ согражданамъ своимъ о великой эпохѣ древней славы Россіи, когда на Задонскихъ поляхъ нанесенъ былъ сильный ударъ власти Мамая, кичливаго противника Русской свободы. Озеровъ возвратилъ трагедіи истинное ея достоинство: питать гордость народную священными воспоминаніями и вызывать изъ древности подвиги великихъ героевъ, благотворителей современникамъ, служащихъ образцемъ для потомства. Историческія трагедіи, или по крайней мѣрѣ трагедіи, основанныя на вымышленной повѣсти, вставленной въ историческую раму, должны всегда имѣть преимущество предъ другими. Но имѣетъ ли право трагикъ облекать по своему лица, заимствованныя имъ изъ исторіи, и можетъ ли удовольствоваться тѣмъ, что̀ предлагаетъ ему исторія? Древніе позволяли себѣ измѣнять хронологической истинѣ исторіи, смѣшанной у нихъ всегда почти съ баснословными преданіями, не менѣе уважаемыми. Мнѣ кажется, что и новѣйшіе трагики могутъ отступать отъ частной исторической

истины, съ тѣмъ только, чтобы быть ей вѣрнымъ въ общемъ смыслѣ. Трагику, напримѣръ, позволено измѣнять исторіи въ подробностяхъ и по желанію своему переносить героя за двадцать лѣтъ впередъ или назадъ въ его жизни, забывать о семейственныхъ связяхъ его; но характеръ историческій героя долженъ быть для него святынею, до которой не можетъ онъ дотрогиваться своенравною рукою. Трагикъ, представившій намъ тирана благотворителемъ своихъ подданныхъ, или друга свободы рабомъ пресмыкающимся, равно виновенъ передъ исторіею и передъ трагедіею. Но Озеровъ, представившій Димитрія любовникомъ Ксеніи въ день битвы Донской, когда онъ въ исторіи является уже супругомъ великой княгини Евдокіи, пользовался свободою, законною принадлежностію искусства. Счастливъ былъ бы Озеровъ, если бы довольствовался сею трагическою вольностію; но увлеченный романическимъ воображеніемъ, онъ нанесъ преступную руку на самый историческій характеръ Димитрія и унизилъ героя, чтобы возвысить любовника. Не только въ Димитріи, но едва ли во всей отечественной исторіи найдется образецъ списка, представленнаго намъ Озеровымъ. Его Димитрій, и въ самыхъ благородныхъ движеніяхъ души своей и въ самомъ подвигѣ славы, напоминаетъ намъ не Великаго Князя Московскаго, но болѣе полуденнаго рыцаря среднихъ вѣковъ. Позволю себѣ и болѣе обвинить Озерова: невѣрный блюститель истины въ изображеніи историческаго Димитрія, не избѣгаетъ онъ справедливой укоризны и за Димитрія, созданнаго его воображеніемъ. Предупреждая, такъ сказать, обвиненія критики, трагикъ влагаетъ въ уста Бренскаго, Бѣлозерскаго, Смоленскаго и самой Ксеніи, рѣшительный приговоръ осужденія поступкамъ Димитрія, законнымъ во всякое другое время, но преступнымъ въ день боя, когда отечество, требуя жертвы его страсти и обиженнаго самолюбія, ожидаетъ отъ него своего освобожденія. Не унижается ли достоинство Димитрія, когда Ксенія, не менѣе его страстная, находитъ довольно мужества въ душѣ, чтобы заглушить голосъ любви, и произвольною жертвою не укоряетъ ли она его въ постыдномъ малодушіи? Кончина Бренскаго, на смерть посланнаго Димитріемъ, не есть ли ужас-

нѣйшая и неоспоримая укоризна ему? Самый соперникъ Димитрія не исторгаетъ ли невольную дань уваженія, отказываясь отъ руки Ксеніи, и не долженъ ли признаться каждый зритель вмѣстѣ съ Димитріемъ, что онъ превзошелъ его? Между тѣмъ въ этомъ самомъ обвиненіи не найдемъ ли мы убѣдительнѣйшаго доказательства искусства трагика, который, будучи какъ бы въ распрѣ съ самимъ собою, поперемѣнно водитъ Димитрія отъ стыда къ торжеству, невольно привязываетъ насъ къ его участи и, побѣждая сердце на зло разсудка, заставляетъ осуждать его слабости и принимать въ нихъ живѣйшее и господствующее участіе. Можетъ быть, въ семъ случаѣ трагикъ многимъ обязанъ поэту. Роли Димитрія и Ксеніи писаны съ начала до конца рукою истиннаго поэта. Говоритъ ли онъ о храбрости, о благородной любви къ отечеству? Въ рѣчахъ его отзываются звуки мужественнаго голоса Корнеля. Сѣтуетъ ли нѣжная любовь? Трогательные звуки чувствительной души Расина доходятъ до глубины сердца. Великолѣпное начало трагедіи напоминаетъ красоту первыхъ явленій „*Танкреда*“ и „*Брута.*“ Оно украшено историческими воспоминаніями, частными и мѣстными подробностями, придающими картинѣ особенную прелесть на Русской сценѣ. Отвѣтъ Димитрія послу есть одинъ изъ краснорѣчивѣйшихъ отрывковъ нашей поэзіи. Второе дѣйствіе, открывающееся прекраснымъ явленіемъ Ксеніи, полно движенія, теплоты и съ начала до конца не задерживается и не остываетъ ни на одно мгновеніе. Разсказъ въ пятомъ дѣйствіи отличается необыкновенною описательною красотою и можетъ служить образцемъ въ этомъ родѣ. По бо́льшей части подобные разсказы охлаждаютъ дѣйствіе и могутъ назваться узаконенными погрѣшностями новѣйшихъ трагедій; но здѣсь онъ замѣняетъ дѣйствіе и имѣетъ особенную красоту, основанную на положеніи несчастной Ксеніи (которая желаетъ узнать о жребіи битвы, сопряженномъ съ жребіемъ Димитрія, но не смѣетъ явно открывать участіе, принимаемое ею) и на таинственности незнакомаго воина, рѣшившаго побѣду. Явленіе раненаго Димитрія прекрасно. Священныя раны его, искупившія свободу отечества, грозящая утрата жизни, совершившаяся утрата всѣхъ надеждъ

души его, краснорѣчивая сила несчастія: все говоритъ въ его пользу. Онъ рѣшитель побѣды; но слава не льститъ сердцу, убитому въ живѣйшихъ чувствахъ. Димитрій побѣдитель и несчастливецъ миритъ съ собою и противниковъ своихъ, оскорбленныхъ его упорствомъ, и зрителей, строгихъ судей его поступковъ необдуманныхъ. Вообще трагедія, кромѣ ея драматическаго достоинства, согрѣта какою-то поэтическою любовію къ отечеству, которая отражается съ живостью и силою въ Русскихъ сердцахъ, и которой напрасно будемъ искать въ твореніяхъ Сумарокова, Княжнина и самого Хераскова, пѣснопѣвца Россіи. Она и при началѣ своемъ имѣла разительное отношеніе къ современнымъ обстоятельствамъ; но послѣ событій 1812 года, которыя нѣкоторымъ образомъ предсказаны во многихъ стихахъ *Димитрія*, еще болѣе становится на нашемъ театрѣ народною трагедіею. Здѣсь невольно сливается съ воспоминаніемъ о ней воспоминаніе и другой трагедіи, которой творецъ и дарованіемъ и преждевременною смертію, пресѣкшею при самомъ развитіи надежды прекрасной жизни, раздѣляетъ съ Озеровымъ дань нашихъ слезъ и уваженія. Трагедія *Пожарскій* [1]), если не изобилуетъ трагическими красотами *Димитрія*, то можетъ по крайней мѣрѣ по достоинству своему поэтическому занять, хотя и въ нѣкоторомъ разстояніи, первое по ней мѣсто.

Новое твореніе Озерова, принятое съ восторгомъ, было послѣднею эпохою его счастія и успѣховъ. Съ горестію подходимъ къ послѣднему памятнику его дарованія, свидѣтельствующему о зрѣлости таланта трагика и о печальной истинѣ, что чувствительное сердце рѣдко уживается со славою. Частныя неудовольствія, легкія можетъ быть для другаго, но нестерпимыя для нѣжной и благородной души, удалили Озерова въ деревню. Геній остается вѣренъ любимцу своему, забытому людьми, и покровительствуетъ гонимаго счастіемъ; но слабое сердце человѣческое живетъ и согрѣвается постороннимъ одобреніемъ: собственное для него не всегда удовлетворительно, и душа остываетъ при молчаніи равнодушія. И что̀ въ обольщеніяхъ отда-

[1]) Трагедія Крюковскаго.

ленной славы, если она не подательница настоящаго счастія? Въ тишинѣ деревни Озеровъ кончилъ въ 1809 году трагедію *Поликсену*, которая съ удовольствіемъ принята была публикою; но сдѣлалась, какъ сказываютъ, для автора источникомъ многихъ непріятностей, и чувствительное сердце поэта сохранило до гроба живую память о нанесенномъ оскорбленіи. Расинъ, обогатившій *Федрою* своихъ современниковъ, нашелъ въ нихъ пристрастныхъ и несправедливыхъ судей; Озеровъ испыталъ почти ту же участь, написавъ *Поликсену*, совершеннѣйшее произведеніе своего дарованія, и слѣдственно лучшую трагедію нашу. Не смотря на нѣкоторыя погрѣшности въ планѣ, *Поликсена* полнѣе и совершеннѣе въ цѣломъ прежнихъ трагедій Озерова. Характеры Пирра, Агамемнона, Гекубы, Поликсены, выдержаны до конца. Мастерство кисти Озерова, замѣченное прежде въ изображеніи женскихъ характеровъ, торжествуетъ здѣсь съ новымъ блескомъ. Согласно съ справедливымъ мнѣніемъ критика, по многимъ отношеніямъ столь богатаго средствами цѣнить достоинства Русской трагедіи и сличать ее съ ея образцами [1]), и я готовъ признавать лишнимъ лице Нестора, играющаго въ *Поликсенѣ* такую же безполезную роль, какую играетъ князь Бѣлозерскій въ „Димитріи“, съ тою только разницею, что Озеровъ щедрѣе надѣлилъ хорошими стихами Греческаго словоохотнаго старца. Однако же позволю себѣ сомнѣваться въ справедливости нѣкоторыхъ другихъ укоризнъ, сдѣланныхъ трагику, и осмѣлюсь оправдать его. Пирру прилично было требовать въ жертву именно Поликсену, а не Гекубу и не Кассандру, потому что цѣна жертвы возвышалась въ глазахъ сына правомъ ея свободы. Прахъ Ахилловъ не довольствовался бы почестію, если бъ жертвою была плѣнница; а Гекуба и Кассандра, не смотря на высокое рожденіе, подпали общему жребію. Одна Поликсена оставалась въ свободѣ: она одна могла быть достойною и исключительною наградою героя. Иную жертву Ахиллъ долженъ былъ бы дѣлить съ другимъ вождемъ

[1]) См. въ „Вѣстникѣ Европы“, разборъ *Поликсены*, написанный Мерзляковымъ.

и получить отъ его соизволенія. Надменному ли Пирру ходатайствовать за прахъ родителя и молить о снисходительности равнаго себѣ? Пойдемъ далѣе. Улиссъ требуетъ не награды за похищеніе Поликсены; но замѣны плѣнницы своей, освобождаемой Гекубы, которая только послѣ объявленія ей свободы идетъ въ ставку Агамемнонову, пользуясь правомъ, ей дарованнымъ. Кассандра не произвольно отлучается изъ стана Агамемнонова, но по приказанію его и съ тѣмъ, чтобы утѣшить скорбную мать: она это говоритъ и слова ея объясняютъ и оправдываютъ въ глазахъ зрителя нечаянный ея приходъ. Первыя три дѣйствія исполнены движенія и жизни. Споръ Пирра и Агамемнона выдержанъ съ большимъ искусствомъ; явленіе Гекубы съ Улиссомъ сильно и краснорѣчиво; бесѣды матери съ дочерью до высшей степени трогательны. Четвертый актъ есть дань принужденная самовластію обычая, опредѣлившаго трагедіи пять дѣйствій. Послѣдній силенъ трагическою занимательностію. Добровольная смерть Поликсены есть счастливая, хотя и романическая развязка, и слѣдующее за тѣмъ послѣднее явленіе, нимало не охлаждаетъ дѣйствія, произведеннаго смертію Поликсены. Кассандра, сестра несчастной жертвы неистовыхъ Грековъ, въ пророческомъ изступленіи предсказываетъ имъ ожидающія ихъ бѣдствія, и нѣкоторымъ образомъ миритъ зрителей съ жестокими богами, осудившими все ея семейство на безутѣшное страданіе. Въ послѣднихъ словахъ Нестора, заключающихъ трагедію, мы слышимъ отголосокъ души поэта. Обманувшійся во многихъ надеждахъ, растерзанный въ живѣйшихъ чувствахъ сердца, онъ взоромъ разочарованнымъ глядѣлъ на жизнь и съ удовольствіемъ думалъ о смерти, спокойномъ убѣжищѣ утомленныхъ странниковъ земли. Сіи стихи, послѣдніе изъ извѣстныхъ, оставшихся по немъ, какъ пѣснь лебедя, предсказывающая его кончину, скрываютъ тайное предчувствіе ужасной судьбы, омрачившей западъ жизни чувствительнаго поэта. Въ деревнѣ началъ онъ *Медею* и написалъ уже три дѣйствія; но что̀ съ ними сдѣлалось, неизвѣстно. Сказываютъ, что въ припадкѣ унынія кинулъ онъ ихъ въ огонь. Еще были у него заготовлены два плана новыхъ трагедій: *Вельгарда Варяга му-*

ченика при Владимірѣ и *Осады Дамаса*. Въ послѣдней намѣревался онъ подражать одной Англійской трагедіи. Судьба и люди не дозволили ему обогатить нашъ театръ и усовершенствовать трагическое искусство, нѣкоторымъ образомъ родившееся и умершее съ нимъ. Излишнимъ кажется доказывать, что ни Княжнинъ, ни Сумароковъ не были его образцами, и смѣшно напоминать, что произведенія, послѣдовавшія за его трагедіями, не имѣютъ никакого съ ними сходства. Лучшія изъ первыхъ и послѣднихъ слѣплены съ одного образца и могутъ почесться мертвыми подражаніями Французской классической трагедіи, въ которыхъ иногда кое-какъ сохранены узаконенныя условія, проповѣдуемыя драматическими піитиками. Трагедіи Озерова занимаютъ между ними средину, и въ самыхъ погрѣшностяхъ своихъ представляютъ намъ отступленія отъ правилъ, исполненныя жизни и носящія *свой* образъ. Онѣ уже нѣсколько принадлежатъ къ новѣйшему драматическому роду, такъ-называемому *романтическому*, который принятъ Нѣмцами отъ Испанцевъ и Англичанъ. Оцѣняя достоинство Озерова, какъ трагика, справедливость принуждаетъ насъ замѣтить, что трагику на равной степени совершенства съ другими писателями должно всегда бороться съ бо́льшими препятствіями для достиженія своей цѣли, а тѣмъ болѣе у насъ, гдѣ и самый языкъ, еще несмягченный употребленіемъ, столь часто упорствуетъ противъ усилій писателя. Занимающійся инымъ родомъ словесности одерживаетъ свои побѣды въ единоборствѣ съ частнымъ читателемъ. Драматическій писатель дѣйствуетъ противъ многочисленной силы, и если иногда можетъ слабѣть въ частныхъ пораженіяхъ, то по крайней мѣрѣ долженъ необходимо въ цѣломъ одержать рѣшительную побѣду. Удовлетворивъ строгому и взыскательному вкусу публики, часто своенравной и недоброжелательной, онъ есть полководецъ, выигравшій генеральное сраженіе противъ непріятелей, оспоривавшихъ ему каждый шагъ побѣды. Успѣхъ его, съ одной стороны пробуждающій страданіе зависти, съ другой имѣетъ еще нужду утвердиться полнѣйшимъ одобреніемъ безпристрастныхъ и просвѣщенныхъ судей, истинныхъ цѣнителей трудностей его подвига. Такимъ образомъ, какъ трагикъ,

Озеровъ неоспоримо стоитъ въ лѣтописи отечественной словесности побѣдителемъ своихъ предшественниковъ и опаснымъ соперникомъ для послѣдователей. Какъ поэтъ, имѣетъ онъ преимущества, такъ сказать, ему особенно принадлежащія. Озеровъ трагикъ можетъ и долженъ служить образцемъ на театрѣ нашемъ. Какъ поэтъ, хотя и неоспоримо утвердившійся на чредѣ первѣйшихъ нашихъ поэтовъ, не можетъ и не долженъ онъ быть образцовымъ. Въ самыхъ красотахъ слога онъ болѣе счастливъ, нежели правиленъ. Одаривъ Русскій языкъ богатствомъ, до него еще безъизвѣстнымъ, не щадитъ онъ его во многихъ случаяхъ. Часто намекаетъ тамъ, гдѣ нужно выразить, и какъ-то медлитъ тамъ, гдѣ надобно быть быстрымъ. Часто употребляетъ онъ во зло присвоенную Русскимъ языкомъ переноску словъ, и сбиваясь въ истинномъ ихъ значеніи, довольствуется словомъ близкимъ къ настоящему. Нѣтъ въ стихахъ его той свободы, той мягкости, которая заставляетъ читателя забывать о трудѣ стихотворства, и вѣроятно въ составѣ его стиха сохранились слѣды первыхъ его учителей. Почеркъ дѣтства измѣняется съ лѣтами, но не можетъ совершенно преобразоваться, и суровость языка временъ Княжнина глухо отзывается еще въ поэмахъ Озерова. Но за то, гдѣ говоритъ сердце, какая сила краснорѣчивая! Какая истина и вѣрность въ звукахъ чувствительной души! Какая увлекательная прелесть въ порывахъ мечтательнаго воображенія! Какое глубокое уныніе, измѣняющее сердцу, непріученному къ жизни счастіемъ! Гдѣ болѣе найдемъ мы живыхъ красотъ въ описательномъ родѣ, какъ не въ его трагедіяхъ? Гдѣ болѣе примѣровъ искусства пользоваться подробностями и вставлять ихъ въ общую картину съ сохраненіемъ единства и притомъ съ разнообразіемъ? *Димитрій Донской* усѣянъ историческими воспоминаніями, мѣстными подробностями. *Фингалъ* есть нѣкоторымъ образомъ пантеонъ сѣверной поэзіи; въ *Поликсенѣ* взята обильная дань съ *Иліады*. Съ этой стороны Озеровъ у насъ заслуживаетъ особенное одобреніе, тѣмъ болѣе, что онъ ни въ одномъ изъ нашихъ поэтовъ не нашелъ тому примѣра. Не всегда въ устройствѣ цѣлой картины должно искать свидѣтельства о геніи живописца: часто

одна черта, непримѣтная для глазъ непросвѣщенныхъ, открываетъ тайну прозорливому взгляду опытнаго наблюдателя. Не смотря на прозаическіе и жесткіе стихи, разбросанные въ его трагедіяхъ, вообще стихи его звучны и полны. Едва ли не у него должно искать лучшихъ нашихъ Александрійскихъ стиховъ, особенно въ *Поликсенѣ*.

Исчисля заслуги Озерова, принесенныя Русскому театру, благодарность заставляетъ упомянуть и о томъ, что онъ произведеніями своими образовалъ актрису, которая на сценѣ нашей первая постигла тайну трагическаго искусства. Если Французы обязаны были Расину за Шаммеле, безъ сомнѣнія и мы должны благодарить Озерова за Семенову. Великій трагикъ творитъ великихъ актеровъ. Озеровъ создалъ Ксенію и Моину; Семенова поняла поэта и оживотворила идеалы его воображенія.

Приписка. Прошло болѣе пятидесяти лѣтъ съ того времени, когда написана была мною статья о жизни и сочиненіяхъ Озерова. Столько-же прошло времени, что я не читалъ ее. Помнилось мнѣ, что писалъ я объ Озеровѣ, но что̀ писалъ и какъ писалъ — было мнѣ совершенно загадочно. Странное чувство пробуждается въ насъ при встрѣчѣ съ когда-то близкимъ человѣкомъ послѣ долгой разлуки, а еще страннѣе чувство при встрѣчѣ съ самимъ собою послѣ продолжительнаго отсутствія. Не принадлежу къ разряду заботливыхъ и нѣжно-чадолюбивыхъ литературныхъ родителей. Иногда еще питаю бо́льшее или меньшее пристрастіе къ своимъ новорожденнымъ дѣтямъ. Какъ-то еще нѣжничаю и няньчусь съ ними, пока молоко, то-есть чернила, не засохло на ихъ губахъ. Но когда они подрастутъ и отпустятъ усы себѣ, я становлюсь къ нимъ совершенно, чуть ли не жестокосердо равнодушенъ. Такимъ образомъ могу сказать, что я снова ознакомился съ статьею своею разсудительно и безпристрастно. Не скажу, чтобы я безъ памяти обрадовался себѣ: но, признаюсь откровенно, что я и не устыдился себя. Пушкинъ сказалъ о найденномъ имъ гдѣ-то на Кавказѣ *измаранномъ спискѣ Кавказскаго Пленника*: „признаюсь, перечелъ его съ большимъ удо-

вольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено вѣрно". Не смѣю и не могу примѣнить къ себѣ вполнѣ такія слова. *Кавказскій Пѣвецъ* все-таки созданіе, а мое изученіе Озерова не болѣе какъ критическая попытка. Какъ бы то ни было, скажу и о себѣ: слабо, неполно, но многое *угадано*, и *выражено* если не совсѣмъ *вѣрно*, то иногда довольно удачно и ново. Не знаю, не ошибаюсь-ли, но мнѣ и нынѣ кажется, что форма и обработка моей біографической статьи должны были имѣть въ свое время отпечатокъ и какой-то запахъ новизны. По крайней мѣрѣ, въ нашей словесности, не имѣлъ я предъ собою образца, за которымъ могъ бы слѣдовать—развѣ статья Карамзина о Богдановичѣ нѣсколько подходила къ цѣли, мною себѣ предназначенной. Съ самыхъ молодыхъ лѣтъ моихъ, едва-ли не съ дѣтскихъ, любимымъ чтеніемъ моимъ были біографическіе очерки, литтературно-біографическія академическія рѣчи, которыми Французы такъ богаты и въ которыхъ достигаютъ они до блестящихъ успѣховъ. Ввести жизнь въ литтературу и литтературу въ жизнь, казалось мнѣ всегда привлекательною и желанною задачею. Мнѣ сдается, что и въ первомъ опытѣ моемъ проложены уже нѣкоторые шаги по этой дорогѣ. Таково, кажется, было и впечатлѣніе читателей того времени. Журнальные отзывы — правда, тогда было менѣе журналовъ — были для меня очень благопривѣтливы и лестны. Даже люди вовсе нелитературные, или мало литературные прочитали меня со вниманіемъ, или, по крайней-мѣрѣ, съ любопытствомъ. Помню, между прочими заявленіями, полученное мною изъ Тульчина письмо умнаго Павла Дмитріевича Киселева. Статья моя пробудила въ немъ вниманіе къ Русской литтературѣ. Все это, конечно, не доказываетъ, что статья моя очень хороша: но я и не стараюсь это доказать. Довольствуюсь тѣмъ, что эти отзывы и что общее, или, по крайности, достаточно распространившееся впечатлѣніе даютъ статьѣ моей нѣкоторое законное мѣсто въ литтературной лѣтописи нашей. Это остатокъ и свидѣтельство стараго сооруженія, стараго лагеря, которые и послѣ многихъ столѣтій могутъ обратить на себя изучительное вниманіе новѣйшихъ археологовъ. Отрывки изъ

статьи моей удостоились чести занять страничку въ литературныхъ учебникахъ нашихъ и въ другихъ сборникахъ. Кажется, съ этой же статьи нѣкоторые изъ критиковъ и такъ-называемыхъ *беллетристовъ* нашихъ начали тихомолкомъ ощипывать меня: то есть пересаживать на свои грядки скудныя сѣмяна, кое-гдѣ и кое-какъ собранныя на почвѣ моей. Говорю это безъ всякаго злопамятства и никому не въ укоръ, а такъ пришлось оно къ слову, чтобы вѣрнѣе и полнѣе опредѣлить значеніе статьи моей.

Она предлагается нынѣ въ своемъ первобытномъ видѣ, за исключеніемъ развѣ десятка словъ, замѣненныхъ другими, и поправки опечатокъ, вкравшихся въ первое изданіе. Сущность ея осталась неприкосновенною. Литературныя сужденія, признаваемыя мною и нынѣ правильными, хотя они и не согласуются съ новымъ направленіемъ, не требуютъ исправленія; другія, отъ которыхъ могъ бы я теперь отступиться, или которыя желалъ бы я нѣсколько измѣнить, или очистить, не столько важны въ настоящее время, чтобы далъ я себѣ трудъ заново принарядиться. Какимъ я былъ, такимъ являюсь и послѣ испытаній полустолѣтія.

А нечего говорить, было бы за что̀ приняться при появленіи на судъ нынѣшнихъ читателей. Мои недостатки мнѣ самому бросаются въ глаза. Есть кое-гдѣ неправильность въ языкѣ: какая-то напряженность, излишняя искусственность въ выраженіи, вслѣдствіе короткаго знакомства моего съ Французскими образцами стараго времени; длина, растянутость нѣкоторыхъ періодовъ: погрѣшность, отъ которой, кажется, и нынѣ я еще не совершенно исправился. Ив. Ив. Дмитріевъ часто говаривалъ мнѣ: да ставьте болѣе точекъ и двоеточій; а у меня мысли какъ-то зацѣплялись одна за другую и тянули канитель до-нельзя. Еще одна погрѣшность или грѣхъ первородный. Винюсь предъ читателями: я какъ будто не довѣряю смышлености ихъ: повторяю мысль свою, дополняю ее, или дроблю, и тѣмъ самымъ лишаю ее сочности, первобытной свѣжести и силы. Вьельгорскій находилъ въ почеркѣ моемъ сходство съ почеркомъ Шатобріана и извлекалъ изъ того, что есть нѣкоторое сходство и въ лит-

тературныхъ свойствахъ, или пріемахъ: разумѣется, не въ степени и силѣ дарованія, а просто въ избыткѣ и расточительности *прилагательныхъ*. Съ другой стороны, безпристрастный читатель замѣтитъ, можетъ быть, въ статьѣ моей нѣкоторую стройность, сдержанность и умѣренность: что можетъ быть принято во вниманіе и возбудить снисхожденіе, особенно, если сообразить тогдашнее несовершеннолѣтіе таланта и неминуемые промахи перваго опыта.

Въ то время былъ я, какъ говорятъ Французы, *подъ прелестью* Озерова. Мнѣ казалось, что отъ него повѣяло чѣмъ-то новымъ и свѣжимъ, по крайней мѣрѣ въ области сценической поэзіи нашей. Не охладѣлъ я къ нему и нынѣ; но, разумѣется, сочувствія мои нѣсколько отрезвились и образумились. Впрочемъ и тогда, при всѣхъ похвалахъ ему и при невольномъ увлеченіи каждаго біографа отстаивать героя своего, или кліента, возвышать и раскрашивать хорошія качества его, и скрадывать погрѣшности его, я не щадилъ Озерова тамъ, гдѣ онъ казался мнѣ неправымъ и подлежащимъ осужденію. Считаю однакоже нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя оговорки.

Въ одномъ мѣстѣ говорю: „заслуги Озерова, преобразователя Русской трагедіи, которыя можно, не опредѣляя достоинства обоихъ писателей, сравнить съ заслугами Карамзина, образователя прозаическаго языка, обращаютъ на себя благодарное и любопытное вниманіе просвѣщенныхъ друзей словесности.“

Не остановлюсь на неумѣстномъ здѣсь словѣ *любопытное:* одно слово куда не идетъ. Но смыслъ всего періода ошибоченъ. При Карамзинѣ, не опасаясь обидѣть его, унизилъ я достоинство его и слишкомъ поднялъ Озерова. Заслуги ихъ сравнивать нельзя. Умъ и перо мое обмолвились.

Другая оговорка. У меня сказано: „Озеровъ трагикъ можетъ и долженъ служить образцомъ на театрѣ нашемъ“.

И тутъ шагнулъ я черезъ край. Нынѣ отрекаюсь отъ этихъ словъ. Скажу напротивъ: трагедія, какъ понималъ ее Озеровъ и какъ привелъ онъ пониманіе свое въ исполненіе, могла быть хороша въ свое время; нынѣ отжила она свой вѣкъ, слѣдовательно образцовою быть не должна и быть не можетъ. Литература

имѣетъ также свои жизненные, гражданскіе, чуть-ли не политическіе перевороты, особенно же драматическая литература. Сцена ея нѣчто въ родѣ народной площади. Сочувствія зрителей не привѣтствовали бы нынѣ трагедіи, написанной стихами, и болѣе изящными и сильными, нежели стихи Озерова. Духовныя потребности, стремленія, привычки, вкусы общества и зрителей измѣнились. Впрочемъ, желанія и указанія мои не оправдались; слѣдовательно, много о нихъ и говорить нечего. Озеровъ не имѣлъ у насъ достойныхъ его послѣдователей.

Трагедіи, писанныя у насъ по другому складу и въ другомъ направленіи, остаются пока рѣдкими исключеніями. Первое мѣсто между ними занимаетъ не только по старшинству, но и по достоинству драма Пушкина: *Борисъ Годуновъ*. За ними слѣдуютъ блестящія попытки Хомякова, и наконецъ драмы гр. Алексѣя Толстаго. Нельзя не повторить: повидимому драматическое искусство какъ-то лѣниво дается намъ. Оно не усвоивается, не даетъ многоплодія, не пускаетъ живыхъ и крѣпкихъ корней на литературной почвѣ нашей и даже новые образцы, о которыхъ мы говоримъ, болѣе удобны для чтенія, нежели для сценическаго представленія. Едва-ли не можно сказать, что и лучшіе актеры наши разучились разыгрывать старую трагедію, но не научились съ полнымъ пониманіемъ и живою истиною передавать новую. Такимъ образомъ трагедіи у насъ нѣтъ. А жаль, что не возобновляютъ, не *реставрируютъ*, хотя изрѣдка, трагедій Озерова, даже и Княжнина, неисключая и комедій его, разумѣется и Фонъ-Визина. Посмотрите, какіе поминки совершаются на Парижской сценѣ. На ней мѣсто есть живымъ и мертвымъ, или, лучше сказать: у нихъ мертвыхъ нѣтъ, а есть только временно отсутствующіе.

Пушкинъ Озерова не любилъ и онъ часто бывалъ источникомъ нашихъ живыхъ и горячихъ споровъ. Оба мы были неуступчивы и нѣсколько заносчивы. Я еще болѣе, нежели Пушкинъ. Онъ не признавалъ въ Озеровѣ никакого дарованія. Я, можетъ быть, дарованіе его преувеличивалъ. Со временемъ, вѣроятно, мы сошлись бы на полудорогѣ. Пушкинъ критиковалъ

въ Озеровѣ и трагика и стихотворца. Можетъ быть, уже и тогда таились въ душѣ его замыселъ и зародышъ творенія, въ которомъ обозначилось и сосредоточилось могущество дарованія его. Изображеніе Дмитрія Донскаго не могло удовлетворить понятіямъ живописца, который начерталъ образъ Бориса Годунова и образъ Дмитрія Самозванца. Сочетаніе вѣрности историка съ вымысломъ поэта, можетъ быть, уже и тогда теплилось и молча созрѣвало въ немъ. Пушкинъ стихотворецъ также не могъ быть доволенъ стихомъ Озерова. Уже и въ то молодое время стихъ Пушкина выражалъ мысль и чувство его не только изящно и поэтически благозвучно, но, можно сказать, и грамматически и педантически точно и вѣрно. Въ стихѣ Озерова нѣтъ той легкости и правильности: стихъ его иногда неповоротливъ; онъ непрозраченъ, нѣтъ въ немъ плавнаго теченія: встрѣчается шероховатость; замѣчается нерѣдко отсутствіе точности, или одна приблизительная точность, чего Пушкинъ терпѣть не могъ. Онъ имѣлъ полное право быть строго взыскательнымъ къ другимъ; я такого права не имѣлъ. Недостатки и погрѣшности Озерова были, можетъ быть, не въ дальномъ родствѣ и съ моими. Это могло быть безсознательнымъ побужденіемъ и корнемъ снисхожденія моего къ Озерову. Но, во всякомъ случаѣ, нѣсколько неправильныхъ стиховъ не могутъ отнять у другихъ хорошихъ стиховъ прелести и достоинства ихъ. Праведные за грѣшниковъ не отвѣчаютъ, а такихъ праведныхъ стиховъ у Озерова отыщется довольно.

Болѣе всего Пушкинъ не прощалъ мнѣ сказаннаго мною, что „трагедіи Озерова уже нѣсколько принадлежатъ къ драматическому роду, такъ называемому *романтическому*“.

Пушкинъ никакъ не хотѣлъ признать его романтикомъ. Въ нѣкоторомъ отношеніи былъ онъ правъ. Въ другомъ былъ и я не совсѣмъ виноватъ. Во-первыхъ, я его не рѣшительно провозглашаю романтикомъ, а говорю, что онъ *нѣсколько* сближается съ романтиками. Къ тому же, въ то время значеніе *романтизма* не было вполнѣ и положительно опредѣлено. Не опредѣлено оно и нынѣ. Подъ заголовкомъ романтизма можетъ пріютиться каждая художественная литтературная *новизна*, новые пріемы, но-

выя воззрѣнія, протестъ противъ обычаевъ, узаконеній, авторитета, всего того, что́ входило въ уложеніе такъ-называемаго классицизма,—вотъ и романтизмъ, если обнажить его отъ всѣхъ историческихъ, философическихъ умозрѣній и произвольныхъ генеалогическихъ, родовыхъ и племенныхъ соображеній, которыми силились облечь его. Толки о романтизмѣ пошли съ легкой руки Шлегеля и ученицы его г-жи Сталь, особенно въ книгѣ ея *о Германіи*. Эта книга, которая показалась Наполеону I политически-революціонною, была имъ запрещена; во всякомъ случаѣ, положила она начало литературной революціи во Франціи и въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. Всѣ бросились въ средніе вѣка, въ рыцарскія преданія и въ легенды, въ сумракъ готическаго зодчества, въ мистицизмъ и такъ далѣе. Какимъ-то общимъ движеніемъ, всѣ новокрещенцы новаго исповѣданія спѣшили отрекаться отъ Грековъ и Римлянъ, какъ отъ сатаны, а отъ литературы ихъ, какъ отъ дѣлъ его. У насъ не было ни среднихъ вѣковъ, ни рыцарей, ни готическихъ зданій съ ихъ сумракомъ и своеобразнымъ отпечаткомъ: Греки и Римляне, грѣхъ сказать, не тяготѣли надъ нами. Мы болѣе слыхали о нихъ, чѣмъ водились съ ними. Но романтическое движеніе, разумѣется, увлекло и насъ. Мы въ подобныхъ случаяхъ очень легки на подъёмъ. Тотчасъ образовались у насъ два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнѣе было то, что на лицо не было ни настоящихъ классиковъ, ни настоящихъ романтиковъ: были одни подставные и самозванцы. Грѣшный человѣкъ, увлекся и я тогда разлившимся и мутнымъ потокомъ. Пушкинъ остался тѣмъ что́ былъ: ни исключительно классикомъ, ни исключительно романтикомъ, а просто поэтомъ и творцомъ, возвышавшимся надъ литературною междоусобицею, которая въ сторонѣ отъ него суетилась, копошилась и почти бѣсновалась.

Если я ошибся, назвавъ Озерова романтикомъ, то былъ ближе къ истинѣ въ слѣдующихъ словахъ изъ статьи моей:

„Нѣтъ сомнѣнія, что чтеніе романовъ (выше было сказано, что онъ много ихъ читалъ) дало его поэзіи цвѣтъ романизма, замѣтный почти во всѣхъ его произведеніяхъ, и удивительно,

какъ съ такимъ расположеніемъ не искалъ онъ для содержанія трагедій своихъ повѣстей изъ рыцарскихъ вѣковъ".

Это мнѣніе удерживаю и нынѣ за собою, съ тою только оговоркою, что признавалъ я слова *романизмъ* и *романтизмъ* за слова совершенно однозначащія, а они только въ свойствѣ между собою.

Какъ бы то ни было, въ драматической поэзіи Озерова было много новаго и смѣлаго. Напримѣръ, стихи Эдипа:

Зри ноги ты мои, скитавшись, изъязвленны;
Зри руки, милостынь прошеньемъ утомленны;
Ты зри главу мою, лишенную волосъ —
Ихъ изсушила грусть и вѣтеръ ихъ разнесъ.

Нельзя поэтичнѣе выразить, что Эдипъ оплѣшивѣлъ, и есть нѣкоторая смѣлость въ упоминаніи о томъ, что онъ плѣшивъ.

Особенно нравились мнѣ, и, по воспоминаніямъ, нахожу и нынѣ прелесть въ слѣдующихъ стихахъ Фингала: часто приходятъ мнѣ они на память и твержу ихъ:

И тѣни въ облакахъ печальны и безмолвны,
Съ вечерней тишиной, при уклоненьи дня
По холмамъ странствуютъ, искавъ вотще меня.
Я удалился васъ, и оныхъ мѣстъ священныхъ,
За волны шумныя, въ страну иноплеменныхъ,
Куда меня влекла могущая любовь.
Но вы не сѣтуйте: она и вашу кровь,
Въ весенній возрастъ дней, какъ огнь, воспламеняла;
Улыбка красоты и васъ равно плѣняла.
Вы были счастливы; по я! . . . . . .

Этими стихами покушался я умилостивить Пушкина, но онъ не сдавался. Изъ всего Озерова затвердилъ онъ одно полустишіе: „я Бренскаго не вижу".

Во время одной изъ своихъ молодыхъ страстей, это было весною, онъ почти ежедневно встрѣчался въ Лѣтнемъ саду съ тогдашнимъ кумиромъ своимъ. Если же въ саду ея не было, онъ кидался ко мнѣ, или къ Плетневу, и жалобнымъ голосомъ восклицалъ:

„Гдѣ Бренскій?—Я Бренскаго не вижу".

Разумѣется, съ того времени и красавица пошла у насъ подъ прозваніемъ Бренской.

Любилъ я очень и слова Моины:

Въ пустынной тишинѣ, въ лѣсахъ, средн свободы,
Мы возрастаемъ здѣсь, какъ дочери природы,
И столькожъ искренны, сколь искренна она.
Итакъ, о государь, открыть тебѣ должна,
Что съ перваго тебя я возлюбила взгляда.
Къ герою страсть, души высокія отрада!
Гордяся чувствомъ симъ и радуясь ему,
Призналась въ томъ отцу, народу и всему,
Что въ отческой стрaпѣ чувствительность имѣетъ,
И праху матери, который въ гробѣ тлѣетъ —
Природѣ, словомъ, всей извѣстна страсть моя,
О коей небесамъ сказать готова я.
Повѣрь, Моина здѣсь не менѣе Фингала
Терзалась мыслію, разлукою страдала.
Какъ часто съ береговъ, или съ высокихъ горъ,
Я въ море синее мой простирала взоръ!
Тамъ, каждый валъ въ дали мнѣ пѣною своею
Казался парусомъ, надеждою моею.

Жуковскій особенно цѣнилъ два послѣдніе стиха; но за то ужасно сердился за два слѣдующіе, въ которыхъ валъ, опустясь къ глубокому песку, разливалъ по сердцу Моины тоску. Подобныя неровности и паденія, къ сожалѣнію, встрѣчаются въ Озеровѣ.

Мы говорили о романическомъ настроеніи Озерова. Имъ воодушевилъ онъ, не совсѣмъ исторически, и Димитрія Донскаго. Нашъ удѣльный князь перерождается въ рыцаря Танкреда. Слѣдующіе стихи напоминаютъ стихи Танкреда, въ трагедіи Вольтера: Conservez ma devise: elle est chère à mon coeur etc.

Вотъ цѣпь, которая груди моей касалась;
Вручи ее княжнѣ. Когда она являлась
Или очамъ моимъ, иль мысли лишь моей,
Грудь билась пламенно подъ скромной цѣпью сей.
Залогомъ ей отдай, когда меня не стапетъ,
Какъ сердце ужь мое и биться перестанетъ.
Но коль Димитрія оплачетъ хоть слезой,
Ту радость принеси на гробъ печальный мой.

Въ трагедіи *Поликсена* Озеровъ вступилъ, или возвратился на классическую Греческую почву. Она отрезвила его, дала ему болѣе стройное и спокойное направленіе. Даже стихъ его выпрямился, возмужалъ: нерѣдко отличается онъ аттическимъ

благообразіемъ. Особенно хорошо выдержана роль самой Поликсены. Въ ней много женственной прелести. Это послѣднее твореніе автора, во всякомъ случаѣ, доказываетъ, что если полнаго, зрѣлаго трагика въ Озеровѣ еще не было, то трагикъ въ немъ созрѣвалъ. Въ томъ, что̀ онъ совершилъ, таилась надежда того, что̀ онъ могъ бы совершить, если ранняя и печальная смерть не поразили бы его посреди блестящаго и многообѣщающаго поприща.

1876.

VII.

О ПИСЬМѢ ЕКАТЕРИНЫ II КЪ СУМАРОКОВУ.

1818.

Въ любопытной перепискѣ извѣстнаго барона Гримма, въ Парижѣ напечатанной въ 1812 году, находится письмо Екатерины къ трагику Сумарокову. Не могу совершенно убѣдиться въ его достовѣрности и въ томъ, извѣстно-ли оно въ Россіи или нѣтъ, но съ одной стороны, находя на немъ печать если не истины, то по крайней мѣрѣ вѣроятія, а съ другой, зная по опыту, что мы часто похожи на безпечныхъ хозяевъ, кои отъ сосѣдей узнаютъ, что дѣлается у нихъ дома, рѣшился перевести его изъ помянутой книги. — Вижу самъ, что, переводя на Русскій языкъ вѣроятно Русскій подлинникъ, я иду по слѣдамъ того добраго Нѣмца, который, по дружбѣ къ Французамъ, подарилъ ихъ своимъ Французскимъ переводомъ Фенелонова Телемака, съ коимъ познакомился онъ на Нѣмецкомъ языкѣ. Но если удалось ему попасть на безпечныхъ хозяевъ, то безполезно-ли истратилъ онъ свои труды? Вотъ и мое утѣшеніе: инымъ, быть можетъ, напомню, а другихъ увѣдомлю о письмѣ, которое достойно занимать одно изъ первѣйшихъ мѣстъ между грамотами въ архивѣ республики Русской словесности. Не умѣю придумать великолѣпнѣйшаго и поучительнѣйшаго зрѣлища, какъ примѣръ владыки народа, съ престола братски подающаго руку писателямъ, образователямъ народовъ. И въ семъ священномъ зрѣлищѣ Екатерина играетъ первое лицо. Возьмите ея переписку съ избраннѣйшими писателями ея вѣка. Великій Фриде-

рихъ былъ самъ Французскій авторъ, и ласками своими, быть можетъ, хотѣлъ подкупить необходимое для него одобреніе старшинъ Французской словесности: но Екатерина *Великій*, по счастливому выраженію принца де-Линь, была безкорыстнѣе въ своихъ сношеніяхъ. И если (я не боюсь унизить ея симъ предположеніемъ), если славолюбіе и управляло иногда ея дружбою, то и сіе славолюбіе, основанное на благородномъ побужденіи дорожить уваженіемъ людей превосходныхъ, достойно похвалы и почтенія. Въ царяхъ же, коимъ, по несчастію, столь легко и простительно пріучиться презирать общее современное мнѣніе, такое славолюбіе есть высочайшая добродѣтель. Многіе возопіютъ противъ меня, потому что я говорю не въ *сегодняшнемъ духѣ*; но я увѣренъ, что переписка Екатерины съ Вольтеромъ, Даламбертомъ и другими философами ея вѣка займетъ въ глазахъ справедливаго потомства не послѣдніе листы въ исторіи ея блестящей жизни. Лучшими успѣхами своими на поприщѣ ума обязаны мы движенію, данному ею; оглянемся безъ предубѣжденія: гдѣ и что были бы мы, если вычесть изъ гражданственнаго и политическаго бытія Россіи тридцать четыре года ея дѣятельнаго царствованія? Какъ желательно, чтобы у насъ собрали, такъ сказать, частные памятники ума и великодушія Екатерины! Въ другихъ краснорѣчивыхъ памятникахъ ея славы искалъ бы я государя; въ сихъ скромныхъ, но не менѣе краснорѣчивыхъ для вниманія наблюдателей, искалъ бы я человѣка. Они утвердили бы иныхъ въ справедливой народной гордости, а другихъ, можетъ быть, со временемъ увѣрили бы, что они напрасно опираются въ любви своей къ отечеству на враждѣ къ просвѣщенію и образованности, считая ихъ чуждыми и пагубными для насъ новизнами. Но обратимся къ барону Гримму; вотъ что онъ говоритъ въ письмѣ къ Мармонтелю:

„Русскій поэтъ, сочинитель многихъ трагедій, Сумароковъ, въ бытность свою въ Москвѣ, поссорился съ первою актрисою столичнаго театра; такіе случаи бываютъ въ Москвѣ, какъ и въ Парижѣ. Однажды Московскій градоначальникъ назначилъ представленіе трагедіи Сумарокова; но поэтъ не захотѣлъ этого, ибо помянутая актриса играла въ ней первое лицо. Такая при-

чина не убѣдила градоначальника отступиться отъ своего намѣренія, и раздраженный поэтъ забылся до того, что при подпятіи занавѣса взбѣжалъ на сцену, схватилъ первую актрису, уже убранную въ трагическіе доспѣхи, и бросилъ ее за кулисы. Такое нарушеніе общественнаго порядка не показалось ему достаточнымъ проступкомъ, и въ поэтическомъ своемъ изступленіи написалъ онъ нескромно и дерзко къ самой Императрицѣ сряду два письма, исполненныя жалобъ и ругательствъ противъ актрисы. Ручаюсь, что и Французскій поэтъ не могъ бы его въ этомъ случаѣ перещеголять".

„Сказочникъ Мармонтель, что думаешь о послѣдствіяхъ такой непростительной выходки? *Не мудрено догадаться! наглыя письма поэта Сумарокова не дошли до Императрицы: министръ, завѣдывающій поэтическимъ департаментомъ, ихъ прочелъ, и приказалъ, впредь до повелѣнія, засадить господина поэта въ темницу, гдѣ вѣроятно онъ и теперь еще сидитъ*".

„Къ чорту историческая сказка и сказочникъ историческій! такія развязки хороши въ государствахъ, прославленныхъ за кротость и учтивость нравовъ; но государственная образованность въ Россіи далека еще отъ такого совершенства. Ея Императорское Величество получила оба письма поэта, и давши свои повелѣнія въ Архипелагъ, въ Молдавію, въ Крымъ, въ Грузію и на берега Чернаго моря, успѣла написать и слѣдующій отвѣтъ:

„Александръ Петровичъ! Я весьма удивилась письму вашему отъ 28 января, а еще болѣе письму 1 февраля. Оба, какъ кажется, заключаютъ въ себѣ жалобы на актрису, которая виновата только въ томъ, что исполнила приказаніе графа Салтыкова. Фельдмаршалъ желалъ видѣть представленіе вашей трагедіи; это вамъ дѣлаетъ честь. Вамъ надлежало бы согласиться съ желаніями особы, по мѣсту своему, первой въ Москвѣ; но если разсудилось и приказать, чтобы трагедія ваша была представлена, то должно было безъ сопротивленія исполнить ея волю. Я думаю, что вы лучше другихъ знаете, какого почтенія достойны люди, служившіе со славою, и коихъ голова покрыта сѣдинами: и потому совѣтую вамъ впредь избѣгать подобныхъ

ссоръ. Такимъ образомъ сохраните вы спокойствіе души, нужное вамъ для вашихъ трудовъ и мнѣ всегда пріятнѣе будетъ видѣть страсти, изображенныя вами въ драматическихъ твореніяхъ, чѣмъ читать ихъ въ вашихъ письмахъ. Впрочемъ, остаюсь вамъ доброжелательная".

„Совѣтую всякому министру, завѣдывающему департаментомъ ссылочныхъ грамотъ (Lettres de cachet), списать это письмо, дабы оно могло служить ему формою для переписки съ поэтами и со всѣми другими, имѣющими право быть рода раздражительнаго, то есть право быть по званію дѣтьми и сумазбродами. Послѣ такого письма, безсмертіе заслуживающаго не менѣе другихъ памятниковъ мудрости и славы, ознаменовавшей нынѣшнее царствованіе въ Россіи, боюсь еще болѣе утвердиться въ грѣшной мысли, что умъ нигдѣ не портитъ, даже и на престолѣ".

Въ другомъ мѣстѣ баронъ Гриммъ, приводя извѣстный отвѣтъ Вольтера къ Сумарокову, прибавляетъ:

„Пускай г. Сумароковъ заставляетъ писать себѣ письма первѣйшихъ людей своего вѣка; но не получитъ онъ никогда такого, которое достойно было бы войти въ сравненіе съ письмомъ, коимъ удостоенъ онъ былъ отъ своей августѣйшей государыни. Сіе письмо обнаруживаетъ душу великую, столь простую и превосходную на первой земной степени, что я его свято буду хранить въ числѣ прекраснѣйшихъ дѣлъ царствованія Екатерины II. Въ первый разъ съ того времени, какъ существуютъ правительства, государственная власть признаетъ въ подданномъ сѣдины и заслуги, отечеству оказанныя, почтеннѣе представительнаго званія, ею на него возложеннаго; въ первый разъ Царица обширнѣйшей имперіи въ Европѣ не стыдится обратить къ здравому смыслу, съ добротою истинно материнскою, голову поэта, пользующагося правомъ иногда отъ него отклоняться, но у коего такое право было бы во всякомъ иномъ мѣстѣ оспорено посредствомъ правильныхъ или неправильныхъ *ссылочныхъ грамотъ*".

VIII.

О НОВЫХЪ ПИСЬМАХЪ ВОЛЬТЕРА.

1819.

Издатель одного изъ Европейскихъ журналовъ, или правильнѣе изъ журналовъ, издаваемыхъ въ Европѣ (потому что иная книга, не смотря на свое Европейское заглавіе, настоящій выходецъ, или вѣстникъ Азіи), извѣщая о появленіи двухъ-сотъ пятидесяти неизвѣстныхъ писемъ Вольтера и понятной радости *Французской Минервы*, при неожиданномъ подаркѣ такого рода, сжалъ свое мнѣніе и негодованіе въ краткомъ, но выразительномъ вопросительномъ знакѣ, на который по настоящему отвѣчать нечего. И если издатель довольствовался бы симъ утонченнымъ усиліемъ генія, то каждому просвѣщенному читателю пришлось бы при семъ вопросительномъ знакѣ поставить отъ себя невольный знакъ удивленія и закрыть книгу; но издатель разными орудіями хотѣлъ напасть на Вольтера и прибавилъ еще нѣсколько замѣчаній, кои дополняютъ смыслъ глубокомысленнаго знака и вмѣстѣ съ нимъ составляютъ цѣлое, совершенно въ частяхъ согласное. Напримѣръ, говоря о письмѣ, которое по словамъ его напечатано *для пробы* во *Французской Минервѣ* (какъ будто письма пробуютъ?), замѣчаетъ: *Фернейскій мудрецъ балагуритъ по своему обычаю о терпимости.* Не знаю, чему болѣе здѣсь удивляться: непристойности-ли выраженія, или мысли, я готовъ сказать, чувства! Краснорѣчивый защитникъ Калласовъ балагуритъ о терпимости! Если Вольтеръ

въ иномъ отношеніи и подлежитъ укоризнамъ, то безъ сомнѣнія правила терпимости, проповѣданныя имъ словомъ и дѣломъ, должны передъ строгимъ зерцаломъ справедливости искупить многія его заблужденія. Было время, что мы Русскіе хвалились терпимостію и справедливо: младшіе братья Европейскимъ народамъ, мы по многимъ отраслямъ гражданской образованности должны еще у нихъ учиться; но въ семъ отношеніи смѣло можемъ сказать, что Европейскія правительства должны терпимости учиться у нашего. Остроумный племянникъ Мецената и друга Ломоносова, въ извѣстномъ своемъ посланіи къ *Нинонѣ Ленкло* говоритъ съ справедливою гордостью:

Un Calas, un Labarre eut vécu parmi nous.

Правъ ли я, или нѣтъ, не знаю; но мнѣ кажется, что Русскіе, исповѣдающіе такой образъ мыслей, приносятъ отечеству своему болѣе чести, чѣмъ эти запоздалые, ополчающіеся противъ успѣховъ человѣческаго разума, эти отступники духа времени, который шагаетъ черезъ нихъ въ неодолимомъ своемъ стремленіи. Далѣе, приводя похвалы, высказанныя Вольтеру писателями *Минервы*, издатель помянутаго журнала, безъ сомнѣнія на этотъ разъ не *Минервою* вдохновенный, отъ себя прибавляетъ: *ничто не можетъ быть глупье похвалъ, подлымъ пристрастіемъ провозглашаемыхъ.* Трудно тому вѣрить, что нашелся человѣкъ, который видитъ глупость въ похвалахъ, приписываемыхъ Вольтеру, и подлость въ пристрастіи согражданъ его къ нему. Впрочемъ, всякой видитъ по своему: можетъ быть, и у насъ отыщется проницательный дальновидѣцъ, который откроетъ пристрастіе въ приверженности просвѣщенныхъ нашихъ согражданъ къ Карамзину, свидѣтельствующему передъ Европою объ успѣхахъ ума въ Россіи. Нелѣпыя ругательства Дефонтеновъ, Фреронова, Лабомелевъ, Нопотовъ и другихъ могутъ по крайней мѣрѣ оправданы быть обиженнымъ самолюбіемъ, разсчетами корысти, или ослѣпленіемъ зависти; но гдѣ найти оправданіе для нашего современника, который охотою идетъ оспаривать у Вольтера славу, уже на незыблемомъ основаніи утвержденную судомъ народовъ и потомства. Тамъ на невѣжествѣ отражался по крайней мѣрѣ пламень личной ненависти: здѣсь оно сіяетъ во всемъ своемъ

мракѣ. Тамъ грѣшила совѣсть: а здѣсь грѣшитъ разсудокъ, и въ этомъ случаѣ едва ли не скорѣе можно отпустить грѣхи совѣсти! Но, впрочемъ, всѣ эти сообщники обширнаго и существующаго искони заговора *посредственности* противъ *превосходства* держатся крѣпко за руки, минуя пространство вѣковъ и отдаленія. Въ каждомъ изъ нихъ, кромѣ полнаго запаса всѣхъ наличныхъ предразсудковъ настоящаго, хранится неистлѣвшій пепелъ всѣхъ предразсудковъ прошедшаго и дремлетъ въ ожиданіи сѣмя всѣхъ предразсудковъ и предубѣжденій будущаго. Въ политикѣ, наукахъ, искусствахъ, словесности вы всегда найдете ихъ поперегъ дороги истины: они въ безумной отвагѣ силились заслонить небеса отъ Коперника и Невтона, повѣрепныхъ небесныхъ тайнъ; на встрѣчу къ Расину, грядущему въ храмъ безсмертія съ Федрою, они подвигли Прадона; они тѣ *недоброжелатели*, отъ коихъ Ломоносовъ, какъ видно изъ письма къ Шувалову, *не имѣлъ покоя*; образъ представительнаго правительства и способы взаимнаго ученія въ нихъ имѣютъ нынѣ ревностнѣйшихъ поносителей. Троньте одного изъ нихъ, и они всѣ отзовутся въ обширномъ и неразрывномъ кругѣ своемъ. Переставьте одного въ другое столѣтіе, въ другой край земли: языкъ его, оружіе, образъ нападенія измѣнится, но онъ не измѣнитъ никогда клятвѣ древней вражды своей и послѣдствія будутъ одинаковы. На лицѣ инаго, и не проницая въ таинства ученія Лафаттера, можно увѣрительно прочесть, что смотря по времени и мѣсту былъ бы онъ Зоиломъ Гомера, Дефонтеномъ Вольтера, щепетильнымъ придирщикомъ Карамзина.

Конечно, иные люди пользуются правомъ все говорить безъ возраженія. Рѣчь инаго входитъ въ одно ухо и выходитъ въ другое. Писанное инымъ, или вовсе не читается, или тутъ же при чтеніи стирается въ памяти мягкою губкою забвенія. Сколько витійства раздалось и утихло въ пустынѣ. Не кстати-ли будетъ и искать здѣсь причины тому, что *росказни Лужницкаго старца* остаются безъ отвѣта. Онъ, можетъ быть, почитаетъ молчаніе слушателей своихъ уваженіемъ къ нему и легко, быть можетъ, ошибается въ томъ. Не молчатъ ли они скорѣе изъ уваженія къ себѣ и писателю, коего честь не требуетъ

защитниковъ, а благородное хладнокровіе оковываетъ молчаніемъ презрѣнія уста того, который, въ справедливомъ, но необдуманномъ негодованіи, порывался бы отвѣчать на вызовы темныхъ противниковъ. Подставьте непроницаемыя латы ударамъ безумца: вы ласкаете его безуміе, онъ не заботится о пользѣ ихъ, но веселится и гордится ихъ шумомъ. Отойдите, и удары его, теряющіеся тихомолкомъ въ воздухѣ, на минуту позабавятъ зрителей и скоро утомятъ его безплодную ярость. Но если сіи правила пристойности и благоразумія запрещаютъ входить съ иными противниками въ борьбу за личность современника, то тамъ, гдѣ идетъ дѣло не столько о человѣкѣ, какъ о мнѣніи, долгъ каждаго ревнителя просвѣщенія есть отмстить за истину, оскорбленную проповѣдниками ложныхъ понятій, говорящими съ пыльныхъ каѳедръ языкомъ умолкнувшихъ столѣтій. Сіе побужденіе вложило мнѣ перо и водило моею рукою при начертаніи сихъ строкъ.

Первыя 83 изъ сихъ нынѣ изданныхъ писемъ Вольтера писаны къ Бертрану, бывшему въ 1744 году проповѣдникомъ въ Бернѣ и совѣтникомъ при королѣ Станиславѣ. Бертранъ многими сочиненіями по части естественной исторіи и физики заслужилъ отличное уваженіе отъ современниковъ своихъ и былъ членомъ разныхъ академій, въ то время, по словамъ издателей писемъ, когда почесть сія не была наградою незначущаго достоинства, какъ нынѣ, и академіи заимствовали свой блескъ отъ достоинства писателей, въ нихъ засѣдающихъ. Другія письма писаны къ Даржансону, Дарженталю, Шувалову, Лану, Монкрифу, Неккеру и другимъ. Всѣ болѣе, или менѣе носятъ отпечатокъ Вольтера: лучше ихъ похвалить не возможно: въ сей похвалѣ содержится и увѣреніе, что чтеніе ихъ равно занимательно быть можетъ для всякихъ читателей. Умъ Вольтера не принадлежитъ, какъ умъ иныхъ писателей, исключительно своему отечеству: онъ и всемірный, и единственный. И самые противники его во многихъ мнѣніяхъ должны, если они безпристрастны, гордиться имъ по человѣчеству. Дѣятельность Вольтера, разнообразность его занятій, превосходство въ многихъ изъ нихъ и живость во всѣхъ, за кои онъ принимался, были и

вѣроятно будутъ безпримѣрнымъ явленіемъ въ лѣтописяхъ ума человѣческаго. Полководцы Александра раздѣлили между собою по немъ его наслѣдство; Вольтеръ, который смѣлою рукою завоевываетъ владѣнія своихъ предшественниковъ, не могъ однакоже оставить по себѣ достойнаго наслѣдника власти своей, и скиптръ его по смерти распался на части и нынѣ отдѣльно, и то съ помраченнымъ сіяніемъ, сверкаетъ во многихъ рукахъ. Труды, оставленные имъ, мудрено измѣрить частною человѣческою жизнью; иной академіи на сложномъ своемъ вѣку не придется оставить по себѣ и четвертой доли его памятниковъ. Письма къ Шувалову писаны были въ то время, какъ Вольтеръ занимался сочиненіемъ исторіи Петра Великаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ готовилъ онъ также изданіе *Театра* Корнеля, и потому въ одномъ письмѣ говоритъ ему: *я далъ величайшему изъ Петровъ преимущество надъ нашимъ великимъ Петромъ Корнелемъ, какъ и вамъ въ сердцѣ моемъ надъ всѣми меценатами въ Европѣ.* Прусской король недоволенъ былъ тѣмъ, что Вольтеръ взялся описывать дѣянія Петра Великаго и смѣялся надъ нимъ, что онъ занимается исторіею *медвѣдей и волковъ.* Вольтеръ объ этомъ пишетъ къ Шувалову: *я знаю хорошо, кто эти волки; и если могъ бы надѣяться, что августѣйшая пастушка, которая съ кротостію пасетъ прекрасныя стада, будетъ довольна тѣмъ, что я дѣлаю для ея родителя, то легко утѣшился бы въ утратѣ покровительства одного изъ самыхъ большихъ волковъ нашего свѣта.*

Часто ошибочное правописаніе, сходно съ подлинниками сохраненное въ печатаніи первыхъ пятидесяти изъ сихъ писемъ, свидѣтельствуетъ, съ какою бѣглостью и небрежностью писывалъ Вольтеръ. Любопытно еще видѣть въ нихъ означенныя мѣста, кои, при изданіи нѣкоторыхъ изъ сихъ писемъ въ 1812 году, были выкинуты пужливою и нелѣпою цензурою тогдашняго деспотическаго правленія. Выпишемъ нѣсколько изъ нихъ:

Мы начинаемъ держаться системъ Англичанъ, („но надобно выучиться бы и бить ихъ на морѣ“).

Мнѣ кажется, что Саломонъ („Мандринъ“) господствуетъ въ Саксоніи, какъ и въ Берлинѣ.

(„Безумцы служатъ царямъ, а мудрецы наслаждаются драгоцѣннымъ спокойствіемъ“).

(„Германія будетъ верхъ дномъ поставлена, Парижъ очень мраченъ“).

(„Называютъ рѣшительными побѣдами дѣла, кои ничто иное, какъ посредственныя удачи. Поютъ Тебе Бога хвалимъ, когда едва запѣть можно [1]) *De profundis.* Увеличиваютъ намъ маленькіе успѣхи и обременяютъ насъ большими налогами“).

Варшава.

---

[1]) Сіе техническое выраженіе по части Библейскаго Общества; прошу покорнѣйше секретаря опаго ссудить меня имъ: боюсь неудачи; всякое дѣло мастера боится.

IX.

ОБЪ ИЗДАНІИ СТИХОТВОРЕНІЙ В. Л. ПУШКИНА.

1821.

Стихотворенія В. Л. Пушкина давно уже извѣстны любителямъ Русской поэзіи. Первые опыты его принадлежатъ эпохѣ преобразованія, введеннаго въ нашъ языкъ твореніями Карамзина и Дмитріева, которые освободили его отъ тяжкихъ оковъ, на него наложенныхъ неудачными послѣдователями Ломоносова, Петрова и Державина, и отъ сухой принужденности и черствaго однообразія, придапныхъ ему слишкомъ удачными подражателями Сумарокова. Небольшія стихотворенія его, напечатанныя еще въ 1790 г., носили уже легкій отпечатокъ того вкуса, той свободности стихосложенія, чистоты и правильности языка, которыя содѣлались послѣ отличительными свойствами свѣтской и общежительной музы нашего стихотворца. Непринужденный разсказъ его басень, посланія, писанныя слогомъ исправнымъ и обогащенныя стихами, въ коихъ мысли ясно и естественно расположены, и многія другія мелкія произведенія, отличающіяся отдѣлкою искусства и тѣмъ усовершенствованіемъ вкуса, которое заемлется отъ навыка общества и тѣмъ самымъ пріучастъ общество къ чтенію отечественныхъ произведеній, должны почесться истинными заслугами, имъ оказанными Русской словесности.

Сіи плоды досуга и многихъ годовъ безмятежныхъ, счастливо посвященныхъ утѣхамъ дружбы и мирнымъ удовольствіямъ,

доставляемымъ намъ любовію къ изящному и благороднымъ склонностямъ образованнаго ума, ставятъ нашего поэта въ избранное число тѣхъ поклонниковъ музъ, которыхъ стихотворныя занятія сдѣлались вмѣстѣ и лучшимъ наслажденіемъ ихъ жизни и неоспоримымъ правомъ на благосклонность и уваженіе просвѣщенныхъ соотечественниковъ. Нынѣ (и здѣсь нѣтъ *обычной* оговорки авторскаго честолюбія, прикрывающаго личиною мнимой покорности требованіямъ дружбы собственную неукротимую жажду извѣстности), въ строгомъ смыслѣ истины, по просьбѣ пріятелей своихъ и желанію нѣкоторыхъ первостепенныхъ литераторовъ нашихъ, собралъ онъ произведенія свои, разбросанныя по разнымъ повременнымъ изданіямъ, исправивъ и пріобщивъ къ нимъ нѣкоторыя еще не напечатанныя, издаетъ ихъ особою книгою. Всѣ сіи стихотворенія раздѣлены на три части: въ *первой* содержатся посланія, во *второй* басни и сказки, а въ *третьей* разныя небольшія пьесы, не относящіяся къ роду прежнихъ.

X.

О КАВКАЗСКОМЪ ПЛѢННИКѢ, ПОВѢСТИ СОЧ. А. ПУШКИНА

1822.

Неволя была, кажется, музою вдохновительницею нашего времени. *Шильонскій Узникъ* [1]) и *Кавказскій Плѣнникъ*, слѣдуя одинъ за другимъ, пѣніемъ унылымъ, но вразумительнымъ сердцу, прервали долгое молчаніе, царствовавшее на Парнассѣ нашемъ. Недавно сожалѣли мы о рѣдкомъ явленіи прозаическихъ твореній, но едва ли и стихотворческія произведенія не также рѣдко мелькаютъ на поприщѣ пустынной нашей словесности. Мы богаты именами поэтовъ, но бѣдны твореніями. Эпоха, ознаменованная дѣятельностью Хераскова, Державина, Дмитріева, Карамзина, была гораздо плодороднѣе нашей. Слава ихъ не пресѣкалась долгими промежутками, но росла постепенно и безпрерывно. Нынѣ уже не существуетъ постоянныхъ сношеній между современными поэтами и читателями: разумѣется, говоримъ единственно о сношеніяхъ, основанныхъ на взаимности, а не о тѣхъ насильственныхъ и одинокихъ сношеніяхъ поэта, упорно осаждающаго публику посылками, отъ коихъ она непреклонно отказывается. Явленіе упомянутыхъ произведеній, коими обязаны мы лучшимъ поэтамъ нашего времени, означаетъ еще другое: успѣхи посреди насъ поэзіи романтической. На страхъ оскорбить присяжныхъ приверженцевъ старой Парнасской династіи, рѣшились мы употребить названіе, еще для многихъ у насъ дикое и почитаемое за хищническое

[1]) Въ переводѣ Жуковскаго.

и беззаконное. Мы согласны: отвергайте названіе, но признайте существованіе. Нельзя не почесть за непоколебимую истину, что литература, какъ и все человѣческое, подвержена измѣненіямъ; они многимъ изъ насъ могутъ быть не по сердцу, но отрицать ихъ невозможно, или безразсудно. И нынѣ, кажется, настала эпоха подобнаго преобразованія. Но вы, милостивые государи, называете новый родъ чудовищнымъ потому, что почтеннѣйшій Аристотель съ преемниками вамъ ничего о немъ не говорили. Прекрасно! Такимъ образомъ и ботаникъ долженъ почесть уродливымъ растеніе, найденное на неизвѣстной почвѣ, потому, что Линней не означилъ его примѣтъ; такимъ образомъ и географъ признавать не долженъ существованія острововъ, открытыхъ великодушною и просвѣщенною щедростію Румянцова, потому что о нихъ не упомянуто въ землеописаніяхъ, изданныхъ за годъ до открытія. Такое разсужденіе могло бъ быть основательнымъ, если бъ природа и геній, на смѣхъ вашимъ законамъ и границамъ, не слѣдовали въ твореніяхъ своихъ однимъ вдохновеніямъ смѣлой независимости и не сбивали ежедневно съ мѣста вашихъ Геркулесовыхъ столповъ. Жалкая неудача! Вы водружаете ихъ съ такою важностію и съ такимъ напряженіемъ, а они разметываютъ ихъ съ такою легкостью и небрежностью! Во Франціи еще понять можно причины войны, объявленной такъ-называемому романтическому роду, и признать права его противниковъ. Народная гордость, одна и безъ союза предубѣжденій, которыя всегда стоятъ за бывалое, должна ополчиться на защиту славы, утвержденной отечественными писателями и угрожаемой нынѣ нашествіемъ чужеземныхъ. Такъ-называемые классики говорятъ: „за чѣмъ принимать намъ законы отъ Шекспировъ, Байроновъ, Шиллеровъ, когда мы имѣли своихъ Расиновъ, Вольтеровъ, Лагарповъ, которые сами были законодателями иностранныхъ словеспостей и даровали языку нашему преимущество быть языкомъ образованнаго свѣта“?—Но мы о чемъ хлопочемъ, кого отстаиваемъ? Имѣемъ ли мы литературу отечественную, уже пустившую глубокіе корни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До сей поры малое число хорошихъ писателей

успѣли только дать нѣкоторый образъ нашему языку; но образъ литературы нашей еще не означился, не прорѣзался.—Признаемся со смиреніемъ, но и съ надеждою: есть языкъ Русскій, но нѣтъ еще словесности, достойнаго выраженія народа могучаго и мужественнаго! Что кинуло нашъ театръ на узкую дорогу Французской драматургіи? слабые и неудачные сколки Сумарокова съ правильныхъ, но блѣдныхъ подлинниковъ Французской Мельпомены. Кромѣ Княжнина и Озерова, какое дарованіе отличное запечатлѣло направленіе, данное Сумароковымъ? Для каждаго, не ограниченнаго предубѣжденіемъ, очевидно, что нашъ единственный трагикъ, если не формами, то, по крайней мѣрѣ, духомъ своей поэзіи, совершенно отчуждался отъ Французской школы. — Поприще нашей литературы такъ еще просторно, что, не сбивая ни кого съ мѣста, можно предположить себѣ цѣль, и безпрепятственно къ ней подвигаться. Намъ нужны опыты, покушенія: опасны намъ не утраты, а опасенъ застой. И о чемъ сожалѣютъ тѣлохранители писателей заслуженныхъ, которые въ самомъ дѣлѣ достойны были бы сожалѣнія, когда бы слава ихъ опиралась единственно на подобныхъ защитникахъ? Не смотря на то, что пора торжественныхъ одъ миновалась, польза, принесенная Ломоносовымъ и въ одномъ стихотворномъ отношеніи, не утратила правъ на уваженіе и признательность. Достоинства хорошихъ писателей не затмятся ни раболѣпными и вялыми послѣдователями, ни отважными и пылкими указателями новыхъ путей.

Авторъ повѣсти *Кавказскій Плѣнникъ* (по примѣру Байрона въ *Child-Harold*) хотѣлъ передать читателю впечатлѣнія, дѣйствовавшія на него въ путешествіи. Описательная поэма, описательное посланіе придаютъ невольно утомительное однообразіе разсказу. Авторъ на сценѣ представляетъ всегда какое-то принужденное и холодное лицо: между имъ и читателемъ выгоднѣе для взаимной пользы имѣть посредника. Пушкинъ, созерцая высоты поэтическаго Кавказа, пораженъ былъ поэзіею природы дикой, величественной, поэзіею нравовъ и обыкновеній народа грубаго, но смѣлаго, воинственнаго, красиваго, и, какъ поэтъ, не могъ пребыть въ молчаніи, когда все

говорило воображенію его, душѣ и чувствованіямъ языкомъ новымъ и сильнымъ. Содержаніе настоящей повѣсти просто и, можетъ быть, слишкомъ естественно: для читателя ея много занимательнаго въ описаніи, но мало въ дѣйствіи. Жаль, что авторъ не приложилъ болѣе изобрѣтенія въ драматической части своей поэмы: она была-бы полнѣе и оживленнѣе. Характеръ Плѣнника новъ въ поэзіи нашей, но сознаться должно, что онъ не всегда выдержанъ и, такъ сказать, не твердою рукою дорисованъ;—впрочемъ, достоинство его не умаляется отъ нѣкотораго сходства съ героемъ Байрона. Британскій поэтъ не одному воображенію обязанъ характеромъ, приданнымъ его герою. Не входя въ изслѣдованіе мнѣнія почти общаго, что Байронъ себя списывалъ въ изображеніи *Child-Harold*, утвердить можно, что подобныя лица часто встрѣчаются взору наблюдателя въ нынѣшнемъ положеніи общества. Преизбытокъ силы, жизни внутренней, которая въ честолюбивыхъ потребностяхъ своихъ не можетъ удовольствоваться уступками внѣшней жизни, щедрой для однихъ умѣренныхъ желаній такъ-называемаго благоразумія; необходимыя послѣдствія подобной распри: волненіе безъ цѣли, дѣятельность, пожирающая, неприкладываемая къ существенному, упованія, никогда не совершаемыя и вѣчно возникающія съ новымъ стремленіемъ—должны неминуемо посѣять въ душѣ тотъ неистребимый зародышъ скуки, приторности, пресыщенія, которыя знаменуютъ характеръ *Child-Harold*, *Кавказскаго Плѣнника* и имъ подобныхъ. Впрочемъ, повторяемъ: сей характеръ изображенъ во всей полнотѣ въ одномъ произведеніи Байрона: у нашего поэта онъ только означенъ слегка; мы почти должны угадывать намѣреніе автора, и мысленно пополнять недоконченное въ его твореніи. Не лишнее однако же притомъ замѣтить, что въ самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ знакомитъ насъ съ характеромъ своего героя, встрѣчаются пропуски, которые, можетъ быть, и утаиваютъ отъ насъ многія черты, необходимыя для совершеннѣйшаго изображенія. Сдѣлаемъ еще одно замѣчаніе: авторъ представляетъ героя своего равнодушнымъ, охлажденнымъ, но не безчеловѣчнымъ, и мы съ неудовольствіемъ видимъ, что онъ, избавленный отъ плѣна ру-

кою страстной Черкешенки, которая послѣ этого подвига приноситъ на жертву жизнь, уже для нея безъ цѣли и съ коею разорвала она послѣднюю связь, не посвящаетъ памяти ея ни одной признательной мысли, ни одного сострадательнаго чувствованія.

Прощальнымъ взоромъ
Объемлетъ онъ въ послѣдній разъ
Пустой аулъ съ его заборомъ,
Поля, гдѣ плѣнный стадо пасъ,
Стремнины, гдѣ влачилъ оковы,
Ручей, гдѣ въ полдень отдыхалъ,
Когда въ горахъ Черкесъ суровый
Свободы пѣсню запѣвалъ.

Стихи хорошіе, но не соотвѣтствующіе естественному ожиданію читателя, коего живое участіе въ несчастномъ жребіи Черкешенки служитъ осужденіемъ забвенію Плѣнника и автора.

Лицо Черкешенки совершенно поэтическое. Въ ней есть какая-то неопредѣлительность и очаровательность. Явленіе ея, конецъ ея—все представляется тайною. Мы знаемъ о ней только одно, что она любила — и довольны. И подлинно: жребій, добродѣтели, страданія, радости женщины, обязанности ея не могутъ ли заключаться всѣ въ этомъ чувствѣ? По моему мнѣнію, женщина, которая любила, совершила на землѣ свое предназначеніе и жила въ полномъ значеніи этого слова. Спѣшу пояснить строгимъ толкователямъ, что и слово любить пріемлется здѣсь въ чистомъ, нравственномъ и строгомъ значеніи своемъ. Кстати о строгихъ толкователяхъ, или, правильнѣе, перетолкователяхъ, замѣтимъ, что, можетъ быть, они поморщатся и отъ новаго произведенія поэта пылкаго и кипящаго жизнію. Пускай ихъ мертвая оледенѣлость не уживается съ горячностью дарованія во цвѣтѣ юности и силы, но мы, съ своей стороны, уговаривать будемъ поэта слѣдовать независимымъ вдохновеніямъ своей поэтической Эгеріи, въ полномъ увѣреніи, что бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у насъ въ потворствѣ, умѣетъ и безъ помощи посторонней удерживать писателей въ предѣлахъ позволеннаго. — Впрочемъ увѣщаніе наше излишне, какъ истинной чести двуличной быть нельзя, такъ и дарованіе возвышенное двуязычнымъ быть не можетъ.

Въ непреклонной и благородной независимости, оно умѣло бы предпочесть молчаніе языку заказному, выраженію обоюдному и холодному мнѣній неубѣдительныхъ, ибо источникъ ихъ не есть внутреннее убѣжденіе.

Все, что̀ принадлежитъ до живописи въ настоящей повѣсти, превосходно. Авторъ наблюдалъ, какъ поэтъ, и передаетъ читателю свои наблюденія въ самыхъ поэтическихъ краскахъ. Поэзія въ этомъ отношеніи не исключаетъ вѣрности а, напротивъ, придаетъ ее описанію: ничего нѣтъ лживѣе мертваго и, такъ сказать, буквальнаго изображенія того, что́ исполнено жизни и души. Въ подражательныхъ твореніяхъ искусства чѣмъ болѣе обмана, тѣмъ болѣе истины. Стихосложеніе въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ* отличное. Можно, кажется, сказать утвердительно, что въ цѣлой повѣсти нѣтъ ни одного вялаго, нестройнаго стиха. Все дышетъ свѣжестью, все кипитъ живостью необыкновенною. Авторъ ея, и въ раннихъ опытахъ еще отроческаго дарованія, уже поражалъ насъ силою и мастерствомъ своего языка стихотворнаго; впослѣдствіи подвигался онъ быстро отъ усовершенствованія къ усовершенствованію, и нынѣ являетъ намъ степень зрѣлости совершенной. Съ жадною поспѣшностію и признательностію вписываемъ въ книгу литературныхъ упованій обѣщаніе поэта разсказать „Мстислава древній поединокъ“. Слишкомъ долго поэзія Русская чуждалась природныхъ своихъ источниковъ, и — почерпала въ постороннихъ родникахъ жизнь заемную, въ коей оказывалось одно искусство, но не отзывалось чувству біеніе чего-то роднаго и близкаго. Ожидая съ нетерпѣніемъ давно обѣщанной поэмы *Владиміра* [1]), который и послѣ Хераскова еще нуждается въ достойномъ себя пѣснопѣвцѣ, желаемъ, чтобы молодой поэтъ, столь удачно слѣдующій за знаменитымъ предшественникомъ въ искусствѣ создать и присвоить себѣ языкъ стихотворный, не заставилъ насъ, какъ и онъ, жаловаться на давно просроченныя обязательства.

---

[1]) Жуковскій намѣревался написать эту поэму.

XI.

О БІОГРАФИЧЕСКОМЪ ПОХВАЛЬНОМЪ СЛОВѢ Г-ЖѢ СТАЛЬ-ГОЛЬСТЕЙНЪ [1])

1822.

Прозаическія сочиненія со дня на день становятся у насъ рѣже и рѣже. Проза наша сдѣлалась какимъ-то тяжебнымъ языкомъ въ литературѣ. Многіе за прозу только съ тѣмъ и принимаются, чтобы поговорить о себѣ, о своихъ правахъ на общее вниманіе, совершать память по стихотвореніямъ давно забытымъ публикою незлопамятною, увѣрять ее, что напрасно она этихъ стиховъ не затвердила (а что *стишки по чести хороши*), что напрасно не признаетъ она авторомъ того, который выше себя не признаетъ никакого автора; однимъ словомъ: многіе пишутъ прозою однѣ апелляціи на общее мнѣніе, которое обыкновенно остается при первомъ своемъ приговорѣ, и не увлекается бурными порывами надменности необыкновенной, ходатайствующей за дарованіе весьма обыкновенное. Мы въ этомъ отношеніи сдѣлали большіе обратные успѣхи противъ того времени словесности, которое можетъ у насъ почитаться младенчествующимъ въ разсужденіи усовершенствованія языка. Въ прежніе годы менѣе говорили о себѣ, но, хорошо или худо, болѣе о предметахъ достойныхъ общаго вниманія. Розысканіе и объясненіе причинъ, отъ коихъ словесность наша отстаетъ,

---

1) Похвальное слово писано П. Габбе, который служилъ въ гвардейскомъ Литовскомъ полку въ Варшавѣ.

и какъ будто чуждается главнаго направленія умовъ остепенившихся и болѣе прежняго склонныхъ къ размышленіямъ, можетъ быть весьма любопытнымъ: этотъ трудъ обнаружилъ бы многія полезныя истины, скрывающіяся теперь подъ спудомъ. Тѣмъ болѣе сочиненіе, одушевленное занимательностію Европейскою, и имѣющее цѣлію воздать дань признательности и уваженія къ писательницѣ знаменитой и едва ли не первое мѣсто занимавшей посреди современниковъ, есть явленіе утѣшительное и заслуживающее поощрительное вниманіе. Еще новое пріобрѣтаетъ оно право на уваженіе наше, когда узнаемъ, что настоящимъ сочиненіемъ обязаны мы досугамъ молодаго офицера, умѣющаго, при тяжкихъ повинностяхъ дѣятельности воинской, удѣлять часы на полезные труды дѣятельности умственной и душевной.

Біографическое похвальное слово г-жѣ Сталь-Гольстейнъ можетъ служить пріятнымъ чтеніемъ для людей, требующихъ отъ книги впечатлѣній на мысли и чувства. Одинъ выборъ предмета уже означаетъ намъ мыслящаго писателя: чтеніе утверждаетъ насъ въ справедливости нашего предположенія. Вольтеръ сожалѣетъ о людяхъ, не имѣющихъ *ума своихъ лѣтъ*, но люди, не имѣющіе *ума своего вѣка*, еще болѣе жалки и смѣшны. Сочинитель *Біографическаго похвальнаго слова* чувствовалъ, что право на вниманіе не покупается теперь цѣною нѣсколькихъ литературныхъ пустоцвѣтовъ, призрѣнныхъ гостепріимствомъ журналовъ, но становится наградою за труды полезные и имѣющіе, такъ сказать, внутренній видъ. Нынѣ можно стихами безобразными и противуестественными, и самолюбіемъ имъ равнымъ, добиться до славы Тредьяковскаго и видѣть въ смѣхѣ современниковъ вѣрное поручительство грядущаго смѣха потомства, но нельзя, подобно маркизу Вильету, или князю Хованскому, получить право гражданства въ области словесности за пару пріятныхъ страничекъ. Вѣнцы репейниковъ также язвительны и неизмѣнны, какъ прежде; но вѣночки искусственные розъ скоро линяютъ и обрываются.

Г-жа Сталь первая изъ женщинъ писала мужественнымъ перомъ, и, не довольствуясь очаровывать воображеніе и рас-

трогивать сердце, она хотѣла владычествовать надъ разсудкомъ и успѣла похитить господство, обыкновенно отказываемое писателямъ ея пола. „Однимъ изъ незабвенныхъ феноменовъ нашего времени, говоритъ біографъ, было появленіе на поприщѣ писателей жены, великой своимъ геніемъ, прекрасной своею душею"! И безъ сомнѣнія они *незабвенны:* слѣды, ею проложенные, глубоко врѣзались на почвѣ Французской литтературы, и вліяніе ея на умы и души современниковъ принадлежитъ исторіи.

Въ жизни великаго писателя творенія его бываютъ обыкновенно главнымъ дѣйствіемъ: дѣянія примыкаютъ къ нимъ и составляютъ цѣлое, которое тогда только бываетъ изящно и совершенно, когда правила исповѣдуемыя согласны съ правилами исполняемыми, и когда *слово* бываетъ заодно съ *дѣломъ.* Соблюденіе сего условія было свято исполняемо авторомъ *Обозрѣнія революціи.* Вся жизнь ея была краснорѣчивымъ дополненіемъ къ краснорѣчивымъ твореніямъ. Біографъ останавливаетъ наше вниманіе на каждомъ ея произведеніи, и указываетъ въ нихъ постепенно вмѣстѣ съ тѣмъ исполинское развитіе дарованія, еще въ юныхъ лѣтахъ разсѣяній и обольщеній уже возмужавшаго къ размышленію и глубокомыслію. Характеристики ея сочиненій кратки, но разительны, живы и вѣрны. „Главная цѣль онаго, говоритъ біографъ о твореніи *Германія*, научить Французовъ терпимости въ отношеніи къ мнѣніямъ философическимъ и литтературнымъ, какъ писатели прошедшаго вѣка обращали оную къ различію вѣроисповѣданій". — Въ сужденіи о книгѣ *Обозрѣніе Французской революціи* замѣчаетъ онъ весьма справедливо искусство г-жи Сталь отгадывать душу описываемаго человѣка. „Часто по одному слову, говоритъ онъ, по одному движенію заставляетъ г-жа Сталь отгадывать душу описываемаго человѣка. Кто, прочтя ея творсніе, не согласится, что Мирабо не доставало добродѣтели, Наполеону великодушія"?—Искусство ея въ этомъ отношеніи столь превосходно, что Прадтъ, въ книгѣ: *Европа и Америка*, рѣшительно утверждаетъ, что, кромѣ г-жи Сталь, никто не былъ бы въ состояніи написать вѣрный и полный портретъ Наполеона. На-

мять о личныхъ неудовольствіяхъ не затмила бы въ глазахъ ея свѣтильника истины и безпристрастія. „Отдѣленная (говоритъ Прадтъ) отъ человѣка, на косго, казалось ей, была она въ правѣ жаловаться, въ присутствіи исторіи и потомства, не менѣе о своей, сколько о славѣ подлинника своего заботливая, она въ изображеніи своемъ допустила бы только тѣ краски и черты, кои сама исторія допустить и извинить можетъ! Она отстранила бы первые памятники, оставленные намъ болѣе горестію ея, чѣмъ разсудкомъ (Прадтъ говоритъ здѣсь о десятилѣтнемъ изгнаніи). Освободясь такимъ образомъ отъ препонъ, налагаемыхъ человѣчествомъ и на разумъ возвышенный, геній ея увеличился бы въ присутствіи генія ей предстоявшаго: тогда развернула бы она все свое богатство, и можетъ быть отъ усилій своихъ нашла бы въ себѣ руду блестящую и новую, которая осталась утраченною для нея самой и для свѣта“.

Біографъ возстаетъ противъ критикъ, которыя и хвалятъ и охуждаютъ въ одно время. „Мнѣ кажется, продолжаетъ онъ, надлежитъ спросить себя съ искренностію: какое дѣйствіе производитъ на мою душу такая книга, такая картина, такая музыка? Если оно благодѣтельно, то къ чему паходить въ немъ ошибки? Цѣлое васъ плѣняетъ, и вы столь неблагодарны, что отыскиваете недостатки въ частяхъ его“. Признаюсь, не могу раздѣлить оптимизмъ нашего біографа. Мнѣ кажется, что, не измѣнивъ благодарности, и, напротивъ того, долгъ благодарности исполняя, можно съ чувствомъ благонамѣреннымъ замѣтить автору хорошей книги погрѣшности, которыя въ нее вкрались. Ослѣпленная снисходительность посторонняя такъ же пагубна, какъ и собственное слѣпое самолюбіе. Замѣчанія справедливыя, предлагаемыя автору въ предостереженіе, полезны какъ для него, такъ и для самаго искусства. Однѣ придирки раздражительной посредственности и надменности ничтожной не приносятъ въ словесности никакой пользы и заслуживаютъ одно презрѣніе. И такъ, вопреки мнѣнію біографа, позволяю себѣ замѣтить ему, что въ его книгѣ встрѣчаются иногда выраженія надутыя и неправильныя. Слогъ его, мѣстами, носитъ доказательства, что авторъ не только прилежно учился красотамъ

своего подлинника, но слѣдуетъ и самымъ его погрѣшностямъ. Еще сожалѣть должно, что біографъ не болѣе распространилъ свое сочиненіе: иныя черты его списка едва только означены, другія въ немъ и вовсе пропущены. Многихъ авторовъ укорить можно въ томъ, что они заговариваются: его, что онъ многаго не договариваетъ. *Умъ любитъ просторъ*, говоритъ Русская пословица. Источники, изъ коихъ могъ біографъ почерпать свѣдѣнія о жизни г-жи Сталь, предлагали ему богатыя средства: г-жа Некеръ-де-Сосюръ въ *Опытѣ о характерѣ и твореніяхъ ея* и Реньо въ книгѣ: *Духъ г-жи Сталь* могли служить ему надежными путеводителями.

XII.

О ДВУХЪ СТАТЬЯХЪ НАПЕЧАТАННЫХЪ ВЪ ВѢСТНИКѢ ЕВРОПЫ.

1822.

Начинаю съ надеждою, что читатели мои не побужденіямъ личнымъ припишутъ участіе, пріемлемое мною въ спорѣ, коему могъ бы я остаться совершенно чуждымъ; но вотъ что въ моемъ мнѣніи даетъ мнѣ право на сію надежду: *Вѣстникъ Европы*, съ тѣхъ поръ какъ онъ *составляемъ* г. Каченовскимъ, сдѣлался, какъ бы для оправданія сего выраженія, составомъ *оскорбленій, изливаемыхъ щедрою рукою на имена*, почтеннѣйшія въ области литтературы нашей. Ученый Буле, коего Европейская знаменитость служила украшеніемъ Московскому университету, былъ въ семъ журналѣ *нагло* выставленъ *на посмѣяніе*, конечно не ему обратившееся *въ безславіе*. Дмитріевъ, Карамзинъ, Жуковскій поочередно *расплачивались* въ немъ за уваженіе, пріобрѣтенное ими отъ просвѣщенныхъ соотечественниковъ. Внесенный, не по заслугамъ моимъ, въ сей списокъ *почетной опалы*, долженъ я по крайней мѣрѣ признаться, что мнѣ не отказано въ утѣшеніи благороднаго сотоварищества, и такое утѣшеніе принимаю съ благодарностію. Къ тому же прибавить можно, что если бы и въ самомъ дѣлѣ оскорбленія *Вѣстника Европы* были оскорбительны, то не мнѣ бы, оставляющему ихъ безъ уваженія, приличпо было хвалиться твердостію и великодушіемъ. *Мое посланіе* Каченовскому, вѣроятно уже забытое нынѣ большею частію публики, но можетъ быть еще одному изъ читателей моихъ

памятное, даетъ мнѣ возможность ждать еще долго *совершенной отплаты и безпечно жить на чужой счетъ*. Могло бы встрѣтиться еще и другое предупрежденіе не въ пользу моего безпристрастія; но и его опровергнуть не трудно. Понимаю, что связи мои съ писателемъ, коего возвышенная слава служитъ любимою цѣлію *холостымъ зарядамъ Вѣстника Европы*, могутъ иныхъ заставить думать, что мое участіе въ этой литтературной распрѣ не совсѣмъ чуждо пристрастія. Но съ другой стороны, какъ полагать, что человѣкъ, презирающій за себя всѣ *личныя* (правда, ничтожныя) *оскорбленія*, не будетъ умѣть презрѣть ихъ за человѣка, который отъ всѣхъ потаенныхъ покушеній безсильной и неловкой *злости* огражденъ признательностію отечества и уваженіемъ Европы? Нѣтъ! не хочу вѣрить, чтобы люди благомыслящіе остановились на такомъ подозрѣніи; они не назовутъ меня неумѣстнымъ защитникомъ писателя, который не имѣетъ нужды въ посторонней защитѣ и всегда отвѣчалъ едиными трудами долговѣчными на поденныя и однодневныя скороспѣлки *критики* неосновательной и *пристрастной*. Путь сего писателя означенъ блестящею браздою въ области словесности нашей. Нравственность его такъ-же извѣстна, какъ и его дарованія. Возвышенный духомъ, правилами и образованностію, умѣлъ онъ дойти до цѣли благородной безъ состязанія и *уловокъ*, часто унижавшихъ и знаменитѣйшихъ побѣдителей. Примѣръ его долженъ быть поучителенъ для тѣхъ, которые умѣютъ его постигнуть. Смѣло обнажаю свое мнѣніе предъ свѣтомъ; ибо знаю, что оно уже заранѣе оправдано голосомъ просвѣщеннаго большинства и что во мнѣ чувство привязанности сливается съ возвышеннымъ чувствомъ гордости народной. Нѣтъ! если при всѣхъ причинахъ, осуждающихъ меня на молчаніе, я прерываю оное, то единственно отъ невольнаго движенія негодованія, которое увлекаетъ насъ на защиту истины, *нагло* искажаемой умствованіями и предразсудками *присяжныхъ лжеучителей*. Пользуясь *апатіею* нашего общественнаго мнѣнія, наносятъ они ему *безнаказанные* удары и торжествуютъ про себя побѣду, никѣмъ неоспориваемую. Не безполезно, кажется, призывать иногда къ суду общественному сихъ мнимыхъ торжествователей и дѣлать безпристраст-

ную оцѣнку *трофеямъ*, слишкомъ легко добываемымъ. На этотъ разъ осмѣливаюсь взять на себя сію обязанность. Послѣ сего длиннаго и вынужденнаго обстоятельствами предисловія, приступлю къ дѣлу.

Статьи, помѣщенныя въ 13, 14 и 19 №№ *Вѣстника Европы*, на страницахъ 23—39 и 183—203, заслуживаютъ по многимъ отношеніямъ особенное вниманіе.—Въ нашей словесности, гдѣ писатели на перечетъ, гдѣ извѣстны пріемы, *замашки* и такъ сказать почеркъ каждаго, нетрудно угадать сочинителя по слогу, хотя подъ сочиненіемъ его и нѣтъ подписи. Хочу по крайней мѣрѣ передъ публикою похвастаться догадливостію и спѣшу *скорпе, пока не провѣдали* [1]), открыть ей, что упомянутыя статьи писаны Лужницкимъ старцемъ. А кто этотъ Лужницкій старецъ, о томъ знаетъ тотъ, кому извѣстна редакція *Вѣстника Европы*. Странно, что сей неизвѣстный знакомецъ, *оскорбляя* живыхъ писателей, и между прочими г. Греча, отражающаго его открыто, упорствуетъ не объявлять своего имени и хочетъ еще увѣрить публику, что онъ изъ уваженія къ ней не называетъ себя [2]). Забавное уваженіе!

Статьи, напечатанныя въ означенныхъ №№ *Вѣстника Европы*, могутъ раздѣлиться на два разряда. Одна часть замѣчаній относится вообще къ нашей литературѣ; другая собственно къ книгѣ г-на Греча. Придержимся и мы сего раздѣленія.

Можно было надѣяться, что распря за нашъ языкъ давно прекращена. Нѣкоторые изъ противоборцевъ остались, можетъ быть, тайно при своемъ мнѣніи; но господствующее и такъ сказать народное литтературное *исповѣданіе* было у всѣхъ одинаково, за исключеніемъ, разумѣется, различія дарованій. Г. неизвѣстному знакомцу, или Г. М. И., захотѣлось изъ подъ пепла

---

[1]) Названіе одной Русской комедіи.

[2]) Если бы сей критикъ довольствовался однимъ ученымъ и дѣльнымъ разборомъ, то могъ бы онъ, конечно, изъ скромности остаться въ неизвѣстности; но въ статьяхъ своихъ *явно задѣваетъ онъ и нравственныя свойства* автора критикуемой книги, *упрекая его* въ *недостаткѣ хладнокровія*, шутя надъ *извѣстною его скромностію*, и потому непремѣнно долженъ онъ или назвать себя, или рѣшиться за неимѣніемъ другаго имени понесть то, которое обыкновенно приписывается сочинителямъ *безъимянной брани*.

потухшихъ распрей вынесть пламя *древней вражды*. Будемъ надѣяться, что отъ покушеній его онъ одинъ только обожжется, но не вспыхнетъ новая продолжительная брань. Онъ не во́время взялся за это дѣло. Нашъ вѣкъ требуетъ мыслей, а не схоластическаго пренія о словахъ. Дань уваженія писателю заслуженному принесена была высшимъ святилищемъ народнаго просвѣщенія въ глазахъ внимательной Россіи. Торжественный примѣръ благороднаго праводушія могъ бы, кажется, образумить и пристыдить упорнѣйшее ослѣпленіе; но на иныхъ людей всякой изящный примѣръ безсиленъ, всякое словесное убѣжденіе недѣйствительно. *Запоздалые во всемъ*, они, прицѣпившись къ одному мнѣнію, держатся за него и тогда, когда оно уже пало и отброшено даже тѣми, которые его нѣкогда поддерживали и тѣмъ придавали ему нѣкоторую заимствованную возвышенность.

Излишне было бы входить въ разысканіе, какимъ образомъ пишетъ нынѣ образованная Россія и ближе ли подходитъ сей языкъ къ тому, который употреблялъ Ломоносовъ, или къ тому, коего Карамзинъ далъ и даетъ намъ образцы. Гдѣ есть очевидность, тутъ не нужны разысканія. Остановимся на мнѣніи, выставленномъ г. критикомъ, что Ломоносовъ и Карамзинъ, первый въ предварительномъ образованіи, другой въ рѣшительномъ образованіи языка слѣдовали путями совершенно противоположными. Чѣмъ онъ это доказываетъ? Двумя выписками изъ обоихъ писателей, другъ другу нимало не противорѣчущими. Ломоносовъ совѣтуетъ писателю читать церковныя книги и говоритъ, между прочимъ, что отъ того къ общей и собственной пользѣ *воспослѣдуетъ, что будетъ всякъ умѣть разбирать высокія слова отъ подлыхъ и употреблять ихъ въ приличныхъ мѣстахъ по достоинству предлагаемой матеріи, наблюдая равность слога*. Карамзинъ рѣшительно говоритъ, что въ чтеніи церковныхъ книгъ и свѣтскихъ можно собрать матеріальное или словесное богатство языка. Не ясно ли изъ сего слѣдуетъ, что и онъ почитаетъ церковныя книги частію того сокровища, изъ коего долженъ почерпать Русскій писатель. Если онъ предлагаетъ ему еще и другія средства къ обогащенію, о коихъ не упоминаетъ Ломоносовъ (но коихъ между тѣмъ нигдѣ и не от-

вергаетъ): то единственно потому, что цѣль одного и другаго была совершенно различна въ составленіи разсужденій, изъ конхъ заимствованы приведенныя слова. Ломоносовъ писалъ о пользѣ книгъ церковныхъ, и долженъ былъ ограничиться предметомъ имъ избраннымъ. Карамзинъ, предлагая болѣе нравственное нежели дидактическое разсужденіе о томъ, что́ нужно автору, долженъ былъ неминуемо распространить свои мысли и не могъ, *слѣдуя благоразумію*, довольствоваться совѣтомъ только читать церковныя книги. Далѣе онъ говоритъ, что „*кандидатъ авторства*, недовольный книгами, долженъ закрыть ихъ и слушать вокругъ себя разговоры, чтобы *совершеннѣе узнать языкъ*“. Выраженіе: „закрыть книги“ не можетъ, по совѣсти, быть никѣмъ принято даже и въ буквальномъ смыслѣ за совѣтъ вовсе не читать ихъ, ибо тутъ же сказано, что въ книгахъ онъ найдетъ словесное богатство языка, слѣдственно такое, безъ коего авторъ обойтись не можетъ. Узнать языкъ *совершеннѣе*— значитъ познакомиться съ нимъ короче, узнать его полнѣе, подробнѣе, и безъ сомнѣнія Ломоносовъ не совѣтывалъ никогда знать языкъ только отчасти и съ одной стороны. Г-нъ М. И видно и самъ въ своемъ *возраженіи на отвѣтъ* спохватился, чувствуя истинное значеніе слова *совершеннѣе*: онъ, вмѣсто того, заставляетъ Карамзина сказать, *чтобы лучше знать языкъ*. Жаль что такія *уловки* не всегда удаются! Г. критику недостаточно было перетолковывать превратнымъ образомъ мысли Карамзина и, для вѣрнѣйшаго искаженія, придавать ему свои слова; онъ хотѣлъ еще сдѣлать его отвѣтчикомъ за мнѣнія покойнаго Макарова [1]). Макаровъ былъ безъ сомнѣнія писатель образованный и журналистъ остроумный; но совсѣмъ тѣмъ между имъ и Карамзинымъ нѣтъ никакой круговой поруки. Критикъ неосновательно говоритъ, что „Макаровъ пояснилъ еще болѣе мысль своего наставника“. Карамзинъ не болѣе былъ наставникомъ Макарова, какъ и всѣхъ прочихъ Русскихъ писателей, за исключеніемъ весьма малаго числа упорныхъ приверженцовъ къ старинѣ, ни болѣе наставникомъ Макарова, какъ и Каче-

[1]) Макаровъ—издатель журнала «Московскій Меркурій» въ Москвѣ, въ началѣ столѣтія.

повскаго: различіе состоитъ въ искусствѣ писать, а не въ языкѣ, употребленномъ ими. Романъ *Тереза и Фалдони*, напечатанный съ эпиграфомъ изъ Карамзина и съ предисловіемъ отъ переводившаго, заключающимъ въ себѣ похвалы *Русскому путешественнику*, явно писанъ тѣмъ языкомъ, который нынѣ вздумали называть новѣйшимъ, и если въ *Разсужденіи о старомъ и новомъ слогѣ* не встрѣчаемъ въ примѣрахъ чепухи (по выраженію автора) выписокъ изъ упомянутаго романа, то вѣроятно только по той причинѣ, что *Разсужденіе* напечатано въ 1803 году, а переводъ г. Каченовскаго въ 1804. Сіе послѣднее обстоятельство доказываетъ между прочимъ, что убѣжденіе сочинителя *Разсужденія* возвратиться къ языку Ломоносова не весьма было убѣдительно надъ ревностнымъ приверженцемъ новой школы [1]).

Равно несчастливъ и неосновательнъ г-нъ М. И., когда старается, вопреки очевидности, опровергнуть справедливое мнѣніе г-на Греча, что „языкъ нашъ, пользуясь въ поэзіи и высокомъ краснорѣчіи свободою древнихъ, можетъ въ дидактиче-

---

[1]) Въ предисловіи своемъ г-нъ переводчикъ говоритъ: «Смѣло можно сказать, что Тереза послѣ новой Елопзы, послѣ Вертера займетъ первое мѣсто въ библіотекѣ и сердцѣ чувствительнаго читателя». И подлинно смѣло! Признаюсь, жалокъ будетъ тотъ читатель, который, не смотря на свою *чувствительность*, не почувствуетъ различія между краснорѣчивыми и глубокомысленными твореніями *поучительныхъ* живописцевъ страстей человѣческихъ и дюжиннымъ романомъ почти неизвѣстнаго Леонара. Въ самомъ переводѣ найдете вы много выраженій, напоминающихъ намъ слогъ *утѣхъ меланхоліи* и подобныхъ тому книгъ, подвергнувшихся строгимъ приговорамъ сочинителя *Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ*. Послушайте! «Моя система не испортитъ прежней моей морали, эта несравненная дѣвица симпатически влила въ насъ чувство своего энтузіазма — сердце и голова ее начинали горячиться—невинное блаженіе—руки мои машинально поднялись къ небу—часы наши были-бъ унизаны бисеромъ счастія—я свелъ знакомство съ собакою» и проч. и проч.—Правда, что тутъ для одного разнообразія найдете выраженія, отличающіяся и другими красками; на примѣръ: любовникъ скрывается въ пустыню какъ «левъ рыкая—дѣвки, обладающія нѣжнымъ сердцемъ, цѣпляются на шею первому удальцу—пока ты изъ своего сердца не выкинешь нахала» и проч.— Слова: *будущность, безчинно, симпатія, интересанъ, дщерь, токмо* (которыя, по выраженію Французскому, *воютъ отъ того, что вмѣстѣ*) выкупаютъ пріятною нестротою своею скучное однообразіе самого содержанія. — Присоединясь къ обвинителямъ г. Греча, позволю и я себѣ упрекнуть его, что онъ, по непростительной оплошности, забылъ упомянуть въ своей книгѣ о переводѣ, заслуживающемъ имѣть почетное мѣсто въ кабинетѣ испытателей Русской словесности. Не отъ этого ли забвенія и зажглись перуны, стремящіеся на него изъ *Вѣстника Европы*? Достойное наказаніе преступной забывчивости.

ской прозѣ слѣдовать словосочиненію Французскому и Англійскому". Кто только читалъ со вниманіемъ творенія нашихъ лучшихъ писателей, тотъ убѣжденъ въ этой, по мнѣнію нашему, очевидной истинѣ. Конечно, есть и у насъ, какъ заключаетъ справедливо г. Давыдовъ въ умномъ разсужденіи своемъ *О порядкѣ словъ*, нѣкоторое необходимое соблюденіе правилъ въ свободномъ словосочиненіи нашемъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что искусному переводчику можно въ переводѣ древняго писателя слѣдовать довольно вѣрно его смѣлымъ оборотамъ, а въ переводѣ, напримѣръ, Англійскаго строго придерживаться буквально философскаго порядка Англійской прозы, какъ показываетъ намъ тому примѣръ г. Давыдовъ въ упоминаемомъ Опытѣ. Вижу ясно какъ извѣстный знакомецъ любовался сближеніемъ именъ Тредьяковскаго и Карамзина.

Grand et sublime effort d'une imaginative
Qui ne le cède point à personne qui vive.
L'Etourdi, Comédie de Molière, Acte III, sc. V.

Поздравляю его съ такимъ усиліемъ воображенія, если онъ имъ радуется; но жалѣю, что доказательство его въ семъ случаѣ, какъ и въ прочихъ, ничего не доказываетъ. Можно бъ было, угадывая умыселъ критика, оставить слова его безъ строгаго изслѣдованія и притвориться, что принимаемъ ихъ за простосердечное выраженіе искренняго его мнѣнія. — Противники *неизвѣстнаго рыцаря* имѣютъ ту выгоду, сражаясь съ нимъ, что могутъ по произволу дѣйствовать противъ него стрѣлами шутки или орудіями истины и разсужденія. Побѣда равно ихъ ожидаетъ. „Тайну писать какъ говорить [1]), по словамъ г-на М. И.,

[1]) Заблужденія и кривыя заключенія г-на М. И. такъ многочисленны, что нѣтъ человѣческой возможности слѣдовать за нимъ по пятамъ и уличать его на каждомъ шагу. Замѣтимъ здѣсь только мимоходомъ, что никто опричь его не сказывалъ, что тайна дарованій Карамзина заключалась въ томъ, чтобы *писать* какъ говорятъ. Впрочемъ повторяемъ, никто за мнѣнія Макарова отвѣтчикомъ быть не обязанъ. Если бы онъ былъ въ живыхъ, то вѣроятно умѣлъ бы удовлетворительно отвѣчать самъ за себя г-ну М. И. Стихи, приведенные далѣе, также пейдутъ къ дѣлу. Они выписаны изъ острой шутки любезнаго поэта; шуткою почитать ихъ и должно, а не аксіомою, на которую бы можно было ссылаться въ дидактическомъ разсужденіи; къ тому же и тамъ сказано: и кто пишетъ такъ какъ говоритъ; а не говорятъ, то-есть, кто и правильно пишетъ, и правильно говоритъ.

давно проповѣдывалъ Тредьяковскій". Положимъ такъ; но тайны въ литературѣ, какъ и во многихъ другихъ отрасляхъ, приносятъ честь и пользу не *Сфинксамъ*, хранящимъ ихъ про себя; но Эдипамъ, умѣющимъ оныя разгадывать. На поприщѣ литературнаго дѣйствія, болѣе нежели во всякомъ другомъ, намѣренія безъ исполненія остаются тщетными и пропадаютъ безплодно. Тредьяковскій, какъ умный и образованный Европейскимъ воспитаніемъ человѣкъ (въ этомъ никто ему не отказываетъ), могъ знать для своего времени чего желать языку; но, какъ писатель безъ дарованія и искусства, не могъ ничего сдѣлать въ его пользу. Тредьяковскій хотѣлъ проложить новую дорогу; но, не имѣя вожатыми себѣ ни вкуса, ни авторскаго дарованія, путался въ своихъ поискахъ, погибъ и не имѣлъ даже бѣдственной чести погубить съ собою ни одного послѣдователя. Карамзинъ нигдѣ не выдавалъ себя за указателя новаго пути; но внимательный къ потребностямъ языка, отставшаго отъ образованности народной, возвелъ его трудами своими на степень, ей соотвѣтственную, и одною силою примѣра повлекъ за собою и ученыхъ, и свѣтскихъ, и государственныхъ писателей, и самое общество. Довершимъ опроверженіе словъ г-на М. И. короткимъ отступленіемъ, которое однакожъ не уклоняется отъ настоящаго предмета. Г. Каченовскій выдаетъ себя и нѣкоторыми почитается за проповѣдника классическаго ученія. Но если классическія свѣдѣнія со временемъ еще болѣе распространятся у насъ, если явится новый Лагарпъ, который наставленіемъ и примѣромъ утвердитъ классическое ученіе, то неужели можно будетъ сказать, что сіе благодѣтельное направленіе дано г. Каченовскимъ и что тайна слѣдовать образцамъ классическимъ была ему извѣстна? Нѣсколько словъ, сказанныхъ въ пользу мертвыхъ, и то можетъ быть съ однимъ желаніемъ *уязвить* живыхъ, будутъ недостаточны для присвоенія ему этой чести. Необольстимый судъ потомства потребуетъ твореній въ доказательство, и съ чѣмъ предстанетъ предъ зерцало нашъ классическій писатель? Предстанетъ ли онъ съ романомъ *Тереза и Фальдони*, съ Библіотекою повѣстей и анекдотовъ, съ холоднымъ и бездушнымъ переводомъ нѣкоторыхъ поэмъ Бейрона,

въ коемъ пересушена сухая Французская проза [1]); предстанетъ ли съ Разсужденіемъ о похвальныхъ словахъ Ломоносова, содержащемъ много выписокъ и мало мыслей и въ коемъ сочинитель, говоря о витіи нашемъ, какъ о заразѣ, потопѣ, или другомъ Божіемъ гнѣвѣ—торжественно объявляетъ, что „Всеблагое Провидѣніе, по недовѣдомымъ судьбамъ своимъ, иногда являетъ міру людей великихъ“ [2]), или сравниваетъ его изложеніе правилъ объ употребленіи словъ съ упадшимъ съ дерева яблокомъ, вразумившимъ „Невтона къ объясненію притягательной силы въ системѣ всемірной„; предстанетъ ли съ сухими извлеченіями изъ Шлецерова Нестора, которыя онъ назвалъ своимъ сочиненіемъ; — съ журналомъ, который, *похитивъ* имя Вѣстника Европы, не имѣетъ ничего Европейскаго и распространяетъ вкусъ къ классическому ученію сообщеніемъ публикѣ стиховъ подобныхъ *Союзу поэтовъ*, Французскихъ загадокъ, которыя въ ребячествѣ затвердили мы отъ старыхъ своихъ дядекъ, сообщеніемъ *Прозаической Галиматьи* [3]), не знаю почему такъ названной — не въ примѣръ другимъ—какъ будто она выродокъ, отличенный такимъ заглавіемъ.

„Не знаю, что значитъ, на новомъ, легкомъ, пріятномъ Русскомъ языкѣ образцовое сочиненіе“, говоритъ г-нъ М. И. въ припадкѣ великодушнаго смиренія. Какъ не повѣрить такому безпритворному признанію? Послѣдуя *полемической* тактикѣ, употребленной имъ противъ г-на Греча, имѣетъ всякій полное право сказать послѣ того, что г-нъ М. И. знаетъ только, что есть образцовое сочиненіе на старомъ, тяжеломъ, непріятномъ Русскомъ языкѣ. Воздадимъ однакожъ каждому принадлежащее!

[1]) Французскій переводъ Бейрона не дуренъ; но что за неволя переводить Англійскаго поэта и еще своеправнаго и смѣлаго Бейрона съ Французской прозы робкой и стѣсненной? И притомъ къ чему въ Русскій переводъ вводить Французскіе и Польскіе обороты? «Міръ начиналъ улыбаться къ сей нещастной области—и съ самой высоты даже до береговъ».

[2]) Что тутъ недовѣдомаго? можно было бы сказать, напримѣръ, что Провидѣніе *по недовѣдомымъ судьбамъ* являетъ иногда міру людей, ничтожныхъ средствами, но высокомѣрныхъ мыслію о себѣ, наборщиковъ словъ, дерзающихъ судить надменно о писателяхъ знаменитыхъ; но въ рожденіи Ломоносова и другихъ великихъ людей видимъ ясное и естественное исполненіе благодѣтельныхъ мѣръ пекущагося о насъ Провидѣнія.

[2]) Смотри 19 № Вѣстника Европы.

Прозорливый критикъ открылъ, что Исторія Государства Россійскаго писана лучшимъ слогомъ нежели Бѣдная Лиза. Можетъ быть иной строгій замѣчатель и замѣтитъ, что свѣдущему критику нельзя было безъ оговорки ставить никакой сравнительной степени между слогомъ сказочнымъ и историческимъ; но мы воздержимся отъ подобной взыскательности. Скажемъ напротивъ, что хотя можетъ быть внезапная мысль подала ему случай къ сему важному открытію подобно какъ упадшее съ дерева яблоко вразумило Невтона; но все оно должно быть почтено достаточною виною къ прославленію его безсмертнаго имени [1]). И подлинно, кто кромѣ Невтона могъ отъ упадшаго яблока постигнуть тайну, сокрытую до него природою отъ непросвѣщенныхъ глазъ простолюдиновъ, и кромѣ г-на М. И. заключить о преимуществѣ Исторіи Государства Россійскаго надъ Бѣдною Лизою, потому, что въ первой сочинитель пишетъ *помѣстный* вмѣсто *феодальный*, *исправа* вмѣсто *полиція?* Обратимся теперь къ тому, что г-нъ М. И. говоритъ о самомъ *Опытѣ краткой Исторіи Русской Литтературы.*

Нѣтъ сомнѣнія, что въ книгѣ г-на Греча должны встрѣтиться ошибки и гораздо важнѣе тѣхъ, къ коимъ придирается мелочная критика; но главное обвиненіе ее совершенно несправедливо. Отъ него требуютъ отвѣта, почему сочиненіе его не есть твореніе Сисмонди! Отвѣтъ не затруднителенъ. Русскій сочинитель назвалъ свой трудъ *Опытомъ* и Опытомъ краткой Исторіи Русской Литтературы (а не *краткимъ опытомъ*, какъ говоритъ г-нъ М. И.). Женевскій ученый далъ своему творенію обширное общее названіе *О литтературѣ полуденной Европы.* Одно заглавіе доказываетъ, что въ планахъ обоихъ твореній никакого сходства быть не можетъ. Прочтите предисловіе того и другаго автора и еще болѣе увѣритесь, что сравнивать ихъ книги невозможно. Одинъ говоритъ: „я чувствую и знаю, сколь исторія сія недостаточна; вижу, что она есть еще не исторія, а только собраніе *нѣкоторыхъ нужныхъ для исторіи матеріаловъ*“ и проч. Другой, отдавая отчетъ въ правилахъ, которыхъ онъ держался въ составленіи книги своей, прибавляетъ, что онъ „хотѣлъ въ нѣ-

[1]) Разсужденіе о похвальныхъ словахъ Ломоносова.

которомъ смыслѣ написать исторію ума человѣческаго, показать, что оный въ ходѣ своемъ у народовъ разныхъ слѣдовалъ почти однообразному порядку и былъ подверженъ однообразнымъ измѣненіямъ". За чѣмъ же читаете вы книги, и особливо какъ дозволяете себѣ печатать о нихъ сужденія, когда отъ чтенія остаются въ васъ одни сбивчивыя понятія, когда вы не умѣете или не хотите сообразить намѣренія одного писателя съ намѣреніемъ другаго? Замѣтимъ еще новую разительную черту, отличающую одну книгу отъ другой. Одна писана соотечественникомъ для соотечественниковъ о литературѣ народной; другая для иностранцевъ о литературахъ иностранныхъ. И положеніе, и средство, и цѣль двухъ авторовъ совершенно различны. Г. Гречъ изложилъ въ предисловіи планъ своей книги. Исполненіе отвѣчаетъ ли плану? Вотъ что разсматривать должно. Вызывайте его къ отчету на мѣстоположеніи имъ избранномъ, нападая по силамъ и способностямъ вашимъ; но не ищите его тамъ, гдѣ его нѣтъ, гдѣ не думалъ и не могъ онъ быть и куда поставило его одно своенравное воображеніе ваше. Опроверженіе словъ г. Греча, что книга его есть у насъ первый опытъ въ своемъ родѣ, также неосновательно. Словарь Новикова, едва начатый Пантеонъ Карамзина, Словарь преосвященнаго Евгенія — все одни словари біографическіе и слѣдственно Опытъ исторіи можетъ справедливо быть названъ первымъ опытомъ въ своемъ родѣ. Г-нъ М. И. говоритъ, что книги вышеупомянутыя *отличаются отъ книги г. Греча только расположеніемъ и наружнымъ видомъ*. Смиряясь предъ замысловатостію послѣдней шутки, спрошу, можно ли не шутя требовать, чтобы въ историческомъ сочиненіи, относящемся до одного предмета, и было иное различіе, какъ то, которое заключается въ расположеніи? Событія и лица готовы: главное дѣло историка состоитъ въ расположеніи. Если бы упадшее яблоко не пріучило насъ къ нечаяннымъ открытіямъ, то показалось бы намъ также непонятно, почему слова г. Греча, „что литературою языка или народа называются всѣ его произведенія въ словесности, то-есть творенія писанныя на семъ языкѣ стихами и прозою", заставили г-на М. И. „подумать самаго въ себѣ, что исторія литературы обязана пока-

зать не одни заглавія сихъ твореній, но содержаніе и достоинство оныхъ". Г. М. И., конечно, могъ имѣть это понятіе, которое отчасти справедливо; но по естественному порядку мыслей нѣтъ ни малѣйшаго повода извлечь второе опредѣленіе изъ перваго. Въ несогласіи мнѣнія г. Греча и г. М. И. о Подшиваловѣ, кажется, также незатруднительно будетъ безпристрастному свидѣтелю избрать справедливое. Мнѣніе перваго оправдывается уваженіемъ ученыхъ людей къ заслугамъ литтератора почтеннаго. Предсѣдатель Общества Любителей Россійской Словесности при Московскомъ университетѣ сказалъ о Подшиваловѣ: „онъ умѣлъ и мыслить здраво и мысли свои выражать чисто и ясно". Г. Давыдовъ подтвердилъ сей похвальный отзывъ. Мнѣніе г-на М. И. основано на одной его памяти худой и нещастливой, говорю: нещастливой, ибо, сохраняя бережно ошибки иныхъ писателей, забываетъ онъ о достоинствѣ и заслугахъ писателей, пользующихся любовію и уваженіемъ признательныхъ согражданъ.

Здѣсь прекращается обязанность, которую исполнялъ я охотно. Я свободно обнажалъ свои чувства и мысли потому, что почиталъ себя въ правѣ говорить искренно и открыто. Перестрѣлки обиняками и намеками хороши, когда истина отказываетъ намъ въ орудіи; но увѣренный въ правотѣ своей и чистотѣ побужденій вызываетъ противника въ чистое поле. Выписка изъ Латинской комедіи, служащая эпиграфомъ къ 14-й книжкѣ Вѣстника Европы, весьма благоразумна и приведена, можетъ быть, тутъ кстати [1]). Кто избѣгаетъ излишества, тотъ поступаетъ разсчетливо. Но признаюсь, предпочитаю часто неумѣренность въ изъявленіи истины праводушной осторожнымъ намекамъ умѣренности двуличной. Благомыслящимъ читателямъ предоставляю впрочемъ рѣшить, гдѣ болѣе лишняго: въ томъ ли, что говорилъ я начисто, или въ томъ, что сказалъ не договаривая г-нъ М. И.

---

[1]) Id arbitror
Adprime in vita esse utile, ne quid nimis. Ter.

XIII.

GRAMMAIRE ITALIENNE SIMPLIFIÉE ET REDUITE A 24 LEÇONS PAR Mr. M. F. VALERIO.

1822.

(Итальянская Грамматика, подведенная подъ простыя правила и изложенная въ 24 урокахъ, соч. М. Ф. Валеріо). Москва, 1822, въ тип. А. Семена, въ 8 д. л., 271 стр.

О сей книгѣ получили мы слѣдующее извѣстіе: „Капитанъ Валеріо, съ честію служившій во Французскомъ войскѣ съ 1805 до 1821 года, отличенный похвальными свидѣтельствами начальства и ранами, лучшимъ украшеніемъ воина, былъ принужденъ, вслѣдствіе политическихъ происшествій и частныхъ неудачъ, искать пристанища въ Россіи. Нынѣ въ Москвѣ, занимаясь воспитаніемъ юношества, старается онъ въ трудахъ скромныхъ, но почтенныхъ, употребить въ пользу себѣ и другимъ жизнь, доселѣ проведенную въ довольствѣ и въ блестящемъ разсѣяніи военной славы. Переворотъ тяжкій и сносный лишь для тѣхъ, кои въ пріобрѣтеніи познаній запаслись достояніемъ, не подлежащимъ ни превратностямъ судьбы, ни своеправію людей и самаго счастія, которое непостоянно, какъ и они. Здѣсь кстати (впрочемъ истина можетъ быть сказана иногда не во-время, но, кажется, она всегда у мѣста) замѣтимъ *пугливымъ невѣждамъ* [1]), чтобъ они, глядя на сей примѣръ и на ему подобные, убѣдились по крайней мѣрѣ въ томъ, что про-

[1]) Выраженіе Ломоносова.

свѣщеніе должно быть уважено, какъ плодовитая отрасль частной народной промышленности, если уже и не хотятъ они согласиться, что оно есть истинный корень благосостоянія общественнаго и личнаго. Господинъ Валеріо издалъ здѣсь Итальянскую Грамматику. Главное достоинство учебной книги есть ясность, точность и простота, и полное изложеніе правилъ преподаваемой въ ней науки. Предлагаемая Грамматика, по свидѣтельству Итальянцевъ, способныхъ судить о ней основательно, соединяетъ всѣ сіи преимущества. Языку научиться можно безъ пособія учителей по теоріи, но произношенію нельзя было выучиться по грамматикамъ, доселѣ изданнымъ. Г. Валеріо, чувствуя сколь правильное произношеніе необходимо для совершеннаго знанія языка и сколь оно драгоцѣнно въ изученіи языка звучнаго, каковъ Итальянскій, старался замѣнить въ своей книгѣ сей общій недостатокъ, и, излагая правила, оттѣнки и измѣненія Итальянскаго произношенія, успѣлъ, кажется, по возможности, въ намѣреніи своемъ,—изобразить звуки посредствомъ письма. Разсужденіе о поэзіи и выборъ стихотвореній лучшихъ стихотворцевъ итальянскихъ придаютъ новое достоинство произведенію, заслуживающему уваженіе любителей языка, прославленнаго твореніями Данта и Тасса, и признательность желающихъ ему научиться.—Упомянувъ о положеніи автора, мы безъ сомнѣнія возбудимъ къ его книгѣ и вниманіе просвѣщенныхъ соотечественниковъ нашихъ, коимъ пріятно будетъ и въ семъ случаѣ доказать, что часто преслѣдываемое гоненіями истинное благородство характера и полезная дѣятельность находятъ въ Россіи ревностныхъ цѣнителей и поощрительное возмездіе.

XIV.

ПИСЬМО КЪ ИЗДАТЕЛЮ СЫНА ОТЕЧЕСТВА.

1823.

Недостатокъ полнаго изданія сочиненій писателя, каковъ Фонъ-Визинъ, замѣтенъ въ библіотекахъ нашихъ. Нынѣ, наслѣдники его, удовлетворяя справедливому ожиданію публики, ввѣрили всѣ рукописи покойника П. П. Бекетову, коему обязаны уже мы изданіемъ многихъ замѣчательныхъ книгъ. — Собираясь печатать сіи рукописи, удостоиваетъ онъ меня своею довѣренностію и проситъ, чтобы я составилъ жизнеописаніе автора, для приложенія къ собранію полныхъ его трудовъ. Довѣренность для меня пріятная и лестная, но съ другой стороны и затруднительная! Конечно, главное въ жизни сочинителя есть сочиненія его: потомство по нимъ судитъ о человѣкѣ; но любопытство наше не ограничивается однимъ познаніемъ, такъ сказать, гласныхъ дѣяній того, который имѣетъ право на вниманіе наше. Мы хотимъ проникнуть въ тайны его частной и сокровенной домашней жизни: не довольствуемся тѣмъ, что читаемъ его, но желаемъ нѣкоторымъ образомъ подсматривать и подслушивать, и, такъ сказать, дѣлаться изъ потомковъ современниками мужей знаменитыхъ. Въ другихъ земляхъ публичные листы, записки (mémoires), изданныя переписки историческихъ лицъ предлагаютъ свои пособія біографамъ. Мы не имѣемъ сихъ источниковъ, и самыя преданія, столь словоохотныя повсюду, у насъ скупы на разсказы. Во Франціи, напри-

мѣръ, люди общественные часто могли бы жаловаться на нескромное любопытство публики, изобрѣтательную дѣятельность писателей-промышленниковъ и алчность книгопродавцевъ, выставляющія ихъ потомству на показъ уже въ излишней наготѣ; у насъ были бы они, напротивъ, въ правѣ жаловаться (иногда) на молчаливость молвы и умѣренныя требованія любопытства холоднаго. За скудостію матеріаловъ, рѣшился я, милостивый государь, съ позволенія вашего, обратиться посредствомъ журнала, вами издаваемаго, къ тѣмъ, кои могли бы помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ, и просить ихъ о доставленіи свѣдѣній, касающихся жизни Д. И. Фонъ-Визина. Намъ извѣстно, что онъ велъ жизнь довольно гласную, любилъ общество, былъ остеръ и забавенъ въ разговорахъ: нѣтъ сомнѣнія, что многіе анекдоты и замѣчательныя слова его сохраняются въ памяти нѣкоторыхъ изъ его современниковъ, или переданы были имъ другими. Желательно было бы также имѣть и отрывки изъ его переписки съ родственниками и пріятелями. Все это служитъ дополненіемъ къ твореніямъ автора и богатствомъ для біографа. Извѣстно также, что, за день до кончины, привозилъ онъ къ Г. Р. Державину комедію свою *Гофмейстеръ*; ея нѣтъ въ оставшихся по немъ бумагахъ, и всѣ старанія отыскать послѣднее сіе произведеніе оригинальнаго комика нашего остались до сего времени тщетными. Мы въ правѣ надѣяться, что если кто имѣетъ списокъ съ нея, или можетъ означить слѣдъ къ этой находкѣ, то не откажется оказать сію услугу словесности нашей и вмѣстѣ одолженіе признательному издателю.

Можетъ статься, найдутся еще у хранителей старины и неизвѣстныя произведенія нашего автора, и потому прилагаю здѣсь списокъ тѣхъ сочиненій, кои назначаются для помѣщенія въ предполагаемомъ изданіи.

Драматическія творенія: *Недоросль*, *Бригадиръ*, *Коріонъ* (переводъ комедіи Грессета: *Сидней*), *Альзира* (переводъ въ стихахъ трагедіи Вольтера).

Прозаическія сочиненія: *Каллисѳенъ*, Греческая повѣсть: Шесть писемъ къ гр. Панину (изъ коихъ только три напечатаны); письмо къ О. П. Козодавлеву; *Исповѣдь*; *Челобитная*

Россійской Минервѣ; *Проповѣдь іерея Василія; Опытъ Россійскаго сословника; Вопросы и отвѣты*, и письмо по тому же предмету; *Мысли по случаю кончины одного вельможи*; *Придворная* Грамматика (неизданная).

Статьи, писанныя для помѣщенія въ журналѣ *Стародумъ* (неизданномъ и неизданныя): *Письмо сочинителя Недоросля* къ *Стародуму;* Отвѣтъ Стародума; *Письмо найденное по кончинѣ С. Н. Взяткина*; *Отвѣтъ на оное*; *Разговоръ у княгини Халдиной.*

Мелкія стихотворенія: *Посланіе къ слугамъ моимъ; Лисица Кознодѣй.*

Переводы въ прозѣ: *Іосифъ*, поэма Битобе; *Слово похвальное Марку-Аврелію*; *Сидней и Сидли*, или благодѣяніе и благодарность, Англійская повѣсть, переведенная съ Французскаго; *Любовь Хариты и Полидора.*

Примите увѣреніе и проч.

Село Остафьево.
Въ августѣ 1823.

XV.

ЗАМѢЧАНІЯ НА КРАТКОЕ ОБОЗРѢНІЕ РУССКОЙ ЛИТТЕРАТУРЫ 1822-го ГОДА, НАПЕЧАТАННОЕ ВЪ № 5 СѢВЕРНАГО АРХИВА 1823-го ГОДА.

1823.

„Мое мнѣніе не есть строгій и неотзовной приговоръ, но только мнѣніе. Пусть всякій повѣритъ и разсудитъ“,—сказалъ г. Булгаринъ въ краткомъ обозрѣніи Русской литтературы 1822 года. Примѣняя слова его къ себѣ, приступаю къ повѣркѣ нѣкоторыхъ его мнѣній, показавшихся мнѣ ошибочными. Немногіе у насъ даютъ себѣ трудъ мыслить; еще менѣе число тѣхъ, кои мыслятъ вслухъ. Тѣмъ благодарнѣе должны мы быть къ писателямъ, покушающимся на такое предпріятіе; но тѣмъ неутомимѣе и щекотливѣе обязаны мы быть въ разборѣ предлагаемыхъ сужденій. Полуистины вреднѣе въ нашемъ быту, чѣмъ гдѣ-нибудь. Тамъ, гдѣ истины обнародываются множествами голосовъ, мнѣнія превратныя прямятся мнѣніемъ общественнымъ, или заглушаются и погибаютъ непримѣтно. У насъ же каждый печаянный звукъ долго отзывается и пріемлетъ нѣкоторую существенность.

Въ началѣ статьи своей, обозрѣватель, въ чертахъ живыхъ и полныхъ истины, означаетъ отношенія литтературы народа съ нравственнымъ бытіемъ его; отношенія, разительныя въ другихъ государствахъ, но у насъ едва примѣтныя. Это справедливо! Но справедливо ли полагаетъ онъ причину недостатка въ хорошихъ авторахъ, въ недостаткѣ читателей? Одинъ хорошій ав-

торъ рождаетъ сотни читателей; но цѣлый народъ читателей не произведетъ ни единаго, даже посредственнаго автора.

Честь занять мѣсто въ позлащенныхъ шкафахъ свѣтскаго человѣка, о коихъ упоминаетъ г. Булгаринъ, есть ненадежное вдохновеніе. Авторское дарованіе, коего честолюбіе стремится попасть за стекло, можетъ остаться подъ спудомъ, безъ значительнаго ущерба для пользы литтературной и общественной. Конечно, писателямъ поощреніе нужно, но не то, коего желаетъ имъ г. Булгаринъ. Не тутъ ищетъ онъ причины задержанія успѣховъ нашихъ на литтературномъ поприщѣ. Если не читатели зажигаютъ въ авторѣ искру дарованія, то еще болѣе не они налагаютъ на него оковы. Напрасно обозрѣватель присвоиваетъ себѣ здѣсь сѣтованіе писателей, жалующихся на недостатокъ читателей, когда имъ надлежало бы жаловаться на одну природу, щедрую къ нимъ въ недостаткахъ! Хорошія книги читаются у насъ охотно, или по-крайней мѣрѣ, чтобы не судить по наружности, охотно раскупаются. *Исторія Государства Россійскаго*, *Теорія о налогахъ*, *Опытъ о партизанскомъ дѣйствіи*, сочиненія различнаго содержанія и достоинства, но, однимъ словомъ, сочиненія Европейскія, доведены въ скорое время до втораго изданія. Во Франціи или Германіи иная книга выдерживаетъ пять, шесть изданій непрерывно, это правда, но забывать не должно, что Нѣмецкій или Французскій писатель пишетъ для всей Европы, а нашъ только для Россіи.

Будемъ справедливы и основательны въ укоризнахъ своихъ. Жалобы на равнодушіе публики къ трудамъ Русскихъ писателей, на пристрастіе нашего общества къ языку Французскому на холодность женщинъ къ усиліямъ нашимъ угодить имъ своими стихами и прозою, умѣстны были во времена *Живописца* и *Собесѣдника*. Нынѣ такое сѣтованіе есть анахронизмъ, нынѣ если Русскимъ писателямъ жаловаться, такъ не на это. Тогда мало читалось, теперь и того менѣе печатается. Охота къ чтенію, жажда познаній очевидно усиливается въ наше время и въ нашемъ поколѣніи. Нѣтъ сомнѣнія, что отличная часть читателей нашихъ преимущественно предается чтенію иностранныхъ книгъ; но не потому ли, что иностранныя произведенія

удовлетворяютъ болѣе господствующимъ требованіямъ нашего поколѣнія, соглашаются болѣе съ степенью образованности умовъ? Посмотрите, съ какою жадностію наша молодежь читаетъ газеты и журналы иностранные! Можно ли, по совѣсти, требовать отъ нея, чтобы она съ тѣмъ же рвеніемъ и прилежаніемъ читала наши журналы? Что сказано о періодическихъ изданіяхъ, то можно примѣнить вообще и къ другимъ книгамъ.

Литтература должна быть выраженіемъ характера и мнѣній народа: судя по книгамъ, которыя у насъ печатаются, можно заключить, что у насъ или нѣтъ литтературы, или нѣтъ ни мнѣній, ни характера; но послѣдняго предположенія и допустить нельзя. Утверждать, что у насъ не пишутъ отъ того, что не читаютъ, значитъ утверждать, что нѣмой не говоритъ отъ того, что его не слушаютъ. Развяжите языкъ нѣмаго и онъ будетъ имѣть слушателей. Дайте намъ авторовъ; пробудите благородную дѣятельность въ людяхъ мыслящихъ и—читатели родятся. Они готовы; многіе изъ нихъ и вслушиваются, но ничего отъ насъ дослышаться не могутъ, и обращаются поневолѣ къ тѣмъ, кои не лепечутъ, а говорятъ. Русскія книги читаются до сей поры одними артистами, но у любителей должны онѣ быть еще въ маломъ употребленіи. Древняя медаль можетъ имѣть цѣну въ глазахъ антикварія; но незнатокъ предпочтетъ ей всегда ходячую монету. Бѣда въ томъ, что писатели наши выпускаютъ мало ходячихъ монетъ. Радуйтесь пока, что хотя иностранныя сочиненія находятся у насъ въ обращеніи; пользуясь ими, мы готовимся познавать цѣну и своихъ богатствъ, когда писатели наши будутъ бить, изъ отечественныхъ рудъ, монету для народнаго обихода.

Мысль г. Булгарина, что извѣстность лучшихъ литтераторовъ нашихъ зависѣть должна обыкновенно отъ какихъ-нибудь благопріятныхъ обстоятельствъ [1]), кажется мнѣ совершенно оши-

---

[1]) „Изрѣдка встрѣчаются примѣры, что нѣкоторые необыкновенные литтераторы, заслужив славу, успѣли пріобрѣсть извѣстность въ Россіи. Но и въ семъ случаѣ какимъ-нибудь благопріятнымъ обстоятельствомъ надлежало прежде вывесть сихъ людей на путь счастія, или отличить другимъ родомъ знаменитости, чтобы во всемъ блескѣ выказать ихъ достоинства“.—*Булгаринъ.*

бочна и даже предосудительна, какъ для самихъ дарованій, такъ и для мнѣнія общественнаго. Державинъ, конечно, не чинамъ и почестямъ своимъ обязанъ, что Россія затвердила стихи его; но скорѣе можно опредѣлить, что дарованіе его было первою степенью успѣховъ его по службѣ. Съ чувствомъ народной гордости, можемъ не его одного выставить исключеніемъ изъ правила, изложеннаго г. Булгаринымъ. Скажемъ болѣе: съ величайшею охотою оправдать сіе мнѣніе, хотя однимъ примѣромъ, не находимъ въ спискѣ истинно заслуженныхъ писателей нашихъ ни одного, который обязанъ былъ бы за извѣстность заслугъ своихъ литтературныхъ выслугамъ свѣтскимъ и побочнымъ. Нельзя не замѣтить, что мы имѣемъ какое-то уничиженіе, намъ однимъ свойственное, уничиженіе, ослѣпляющее насъ на счетъ тѣхъ изъ соотечественниковъ нашихъ, коими по справедливости могли бы мы наиболѣе гордиться, и передъ собою и передъ иностранцами. Намъ все какъ будто не вѣрится, что можемъ въ числѣ современниковъ нашихъ имѣть писателей отличныхъ. Если слава ихъ, разсѣявъ всѣ препоны и достигнувъ лучезарнаго полдня, уже слишкомъ нестерпимымъ блескомъ свѣтитъ намъ въ глаза, то мы стараемся увѣрить себя и другихъ, что блескъ этотъ заемный. Другіе спѣшили бы радоваться появленію свѣтила и привѣтствовать его чувствомъ признательнымъ, мы спѣшимъ утѣшиться тѣмъ, что и въ этомъ солнцѣ есть пятна. Сіе смиреніе нѣкоторыхъ, можетъ быть впрочемъ и благонамѣренныхъ людей тѣмъ пагубнѣе, что оно не хотя угождаетъ и зависти, также по своимъ разсчетамъ непризнающей дарованій, и если не въ заблужденіяхъ, то по-крайней мѣрѣ въ дѣйствіяхъ своихъ сливается съ нею въ одно чувство.

Дороговизна Русскихъ книгъ безъ сомнѣнія убавится, по словамъ обозрѣвателя, по мѣрѣ, какъ продажа ихъ болѣе распронится; но забывать не должно, что донынѣ и самыя средства къ печатанію дороже у насъ, чѣмъ въ другихъ земляхъ. Книжная торговля не получитъ благонамѣреннаго направленія, пока будетъ въ рукахъ однихъ торговцевъ, пекущихся, безъ сомнѣнія, гораздо болѣе о собственныхъ выгодахъ, чѣмъ о пользѣ

общественной. Для достиженія истинно-народной цѣли въ печатаніи и продажѣ книгъ, необходимо на первый случай заведеніе общества типографическаго, составленнаго изъ литтераторовъ и другихъ ревностныхъ друзей успѣховъ просвѣщенія. Польза общественная была бы первымъ побужденіемъ и главною мѣрою трудовъ ихъ благородныхъ, а выручка умѣренная — достаточнымъ обезпеченіемъ капиталовъ, употребленныхъ ими.

Разборы сочиненій, вышедшихъ въ 1822 году и упомянутыхъ въ статьѣ г. Булгарина, кажется, вообще слишкомъ поверхностны и также, по мнѣнію нашему, содержатъ довольно ошибочныхъ предположеній. Замѣтимъ главнѣйшія:

Если г. Булгарину трудно повѣрить, чтобы нѣсколько легкихъ и мелкихъ прозаическихъ сочиненій (впрочемъ, на какихъ вѣсахъ опредѣляетъ онъ легкость и мелкость оныхъ сочиненій?), помѣщенныхъ въ Московскихъ журналахъ, могли преобразовать языкъ до такой степени, на какой онъ находится въ наше время; то почему же вѣритъ и удостовѣряетъ онъ, что одинъ Ломоносовъ по справедливости назваться можетъ преобразователемъ языка? И Ломоносовъ написалъ не болѣе, какъ два похвальныя слова и слабое начертаніе Русской исторіи. Его *Грамматика и Риторика*, о коихъ упоминаетъ обозрѣватель, не могутъ утвердить за нимъ чести преобразованія: во-первыхъ, потому, что ни грамматика, ни риторика никогда не могутъ преобразовать языкъ, а только установить его правила, такъ сказать собрать и обнародывать его законы; во-вторыхъ, потому, что ни та, ни другая не остались у насъ не только классическими, но даже и классными или училищными твореніями. Признать Ломоносова преобразователемъ Русскаго стихосложенія, дѣло другое. Въ нашемъ стихотворствѣ и понынѣ, болѣе или менѣе, господствуютъ еще правила и формы, имъ введенныя; но какъ назвать его преобразователемъ нынѣ существующаго прозаическаго слога, когда никто не пишетъ по его образцу?

Похвальное сужденіе обозрѣвателя о книгѣ Лабома [1]), най-

[1]) Исторія о низверженіи Наполеона. Г. Булгаринъ хочетъ увѣрить Россіянъ, что г. Лабомъ почитается нынѣ однимъ изъ лучшихъ военныхъ писателей.

детъ, вѣроятно, много противниковъ какъ во Франціи, такъ и въ людяхъ, свѣдущихъ въ искусствѣ военномъ.

Упоминая о собраніи образцовыхъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ, кажется, обозрѣватель обязанъ былъ сказать утвердительно, что всѣ таковыя собранія, доселѣ у насъ вышедшія, погрѣшаютъ въ составленіи своемъ противъ изящности. У насъ, гдѣ всего два или три истинно-образцовые писателя, выдается по нѣскольку томовъ образцовыхъ [1]) сочиненій! Если вѣрить на слово нашимъ расточительнымъ собирателямъ, то иностраннымъ литературамъ пришлось бы стыдиться передъ нашею безплодію своему. Но, къ сожалѣнію, должно признаться, что если книгопродавецъ для выгодъ своихъ можетъ выставить нѣсколько томовъ образцовыхъ стихотвореній Русскихъ, то истинный литераторъ, по совѣсти, наберетъ ихъ не болѣе, какъ на одинъ томъ и то не тяжеловѣсный.

Извѣстіе о собраніи сочиненій графа Хвостова должно было бы по справедливости оставить безъ уваженія, если-бъ послѣднія строки не содержали мнѣнія, вовсе необдуманнаго, хотя и выставленнаго съ какою-то увѣрительностію: „Легче и надежнѣе „судить о поэтахъ, которые еще не перешли за средину своего „литературнаго поприща, нежели о людяхъ, которые уже со„вершили оное“. Совсѣмъ напротивъ! Единственно о послѣднихъ и можно судить утвердительно и окончательно; о другихъ всякій судъ есть только временный и такъ-сказать задаточный. Оцѣнка и расплата бываютъ по окончаніи, а не въ продолженіи трудовъ. Употребивъ слово: надежнѣе, не хотѣлъ ли г. Булгаринъ сказать, что о писателяхъ въ возрастѣ усовершенствованія можно давать приговоры и строгіе, въ надеждѣ, что они исправятся, а что худой писатель, уже переступившій за этотъ возрастъ, долженъ оставленъ быть въ покоѣ, какъ больной безнадежный оставленъ бываетъ жалостными врачами? Быть можетъ! Но въ такомъ случаѣ приговоръ его сбивается на двусмысленныя изреченія древнихъ оракуловъ; и свойственна ли сія двусмысленность независимости и откровенности, симъ двумъ

[1]) Не надлежало бы называть такія книги собраніемъ *образцовыхъ*, а лучшихъ или избранныхъ сочиненій и переводовъ.

наслѣдственнымъ добродѣтелямъ Республики Словесности? У насъ хорошихъ писателей щадить не любятъ; но за то какъ бережливо, какъ сострадательно обходятся съ худыми. Имъ только и житье у критиковъ нашихъ: они ихъ носятъ на рукахъ!

Статья библіографіи въ *Сынѣ Отечества* была бы точно важна, какъ говоритъ г. Булгаринъ, если-бъ издатель обработывалъ ее тщательнѣе и постепенно давалъ въ ней отчетъ своимъ читателямъ о всѣхъ новыхъ книгахъ, заслуживающихъ вниманія. Въ предыдущихъ годахъ она была гораздо занимательнѣе и полезнѣе; нынѣ же, признаться должно, достоинство ея весьма понизилось. Нынѣ современная Русская библіографія по бо́льшей части ни что иное, какъ списокъ съ книжныхъ объявленій или, еще правильнѣе, выписка, безъ разборчивости составленная: ибо, когда съ точностію упоминается въ ней о брилліантовыхъ книжкахъ для малыхъ дѣтей и тому подобныхъ, нѣкоторыя сочиненія, въ особенности же переводы, истинно Европейскаго достоинства, пропускаются безъ вниманія.

Литтературныя прибавленія къ *Сыну Отечества*. „Сіе изданіе должно почитать особливымъ журналомъ“, говоритъ обозрѣватель. Осмѣлимся сказать, что сіе повременное изданіе никакъ журналомъ почитаемо быть не можетъ, а развѣ сборникомъ повѣстей, и, вопреки мнѣнію его, часто не весьма отличныхъ ни по выбору, ни по слогу своему. Прилагательное *Литтературныя*, приданное къ *прибавленіямъ*, даетъ право требовать отъ нихъ болѣе разнообразія, изящности и разборчивости въ выборѣ статей, однимъ словомъ болѣе литтературнаго достоинства.

Мнѣніе обозрѣвателя о *Вѣстникѣ Европы*, отличномъ по благородной литтературной независимости, чуждомъ всѣхъ партій и чистотѣ языка, не пріемлется мною безъ исключенія. Скажу откровенно, что признаю въ нѣкоторыхъ статьяхъ его независимость, чуждую чистотѣ языка, но во многихъ другихъ не нахожу отчужденія отъ партіи, которая существуетъ въ Литтературѣ нашей. По истинѣ, Республика Словесности не раздѣлена у насъ на партіи; но въ ней отдѣляется одна партія

„посредственности“, не золотой, а развѣ свинцовой; не той, которую воспѣвалъ Горацій, но той, которая отъ современныхъ ему Бавіевъ и Мевіевъ считаетъ клевретовъ своихъ въ противникахъ писателей знаменитыхъ и образцовыхъ.

Уважаю г. Гнѣдича и дарованіе его, многими опытами ознаменованное; но, самымъ уваженіемъ къ нему побуждаемый, скажу, не запинаясь, что, вопреки мнѣнію обозрѣвателя и многихъ другихъ, не признаю въ *Рыбакахъ* его особенной услуги поэзіи. Мы слишкомъ очерствѣли; въ быту нашихъ Титировъ и Мелибеевъ такъ мало буколической изящности и свободы; вѣкъ ихъ такъ мало похожъ на золотой вѣкъ, что Идиллiи и Эклоги наши, не смотря на достоинство стихосложенія, всегда будутъ холодны и пасмурны, какъ небо, которое бо́льшую часть года однимъ мракомъ одѣваетъ природу, вовсе не Темпейскую.

Охотно соглашаюсь съ обозрѣвателемъ во мнѣніи его о достоинствѣ *Думъ* г. Рылѣева; но несправедливо, кажется, полагаетъ онъ, что сей родъ стихотвореній занимаетъ средину между элегіею и героидою. По содержанію своему относятся они къ роду повѣствовательному, а по формамъ своимъ къ лирическому. Что же можетъ быть въ нихъ общаго съ элегіею, извѣстною намъ по образцамъ, оставленнымъ Тибулломъ и новѣйшими поэтами, или съ *Героидами* Овидія и многихъ Французскихъ поэтовъ, отличившихся по слѣдамъ его?

Намъ кажется также неосновательнымъ упрекъ, дѣлаемый обозрѣвателемъ богатымъ Русскимъ боярамъ, что они не любятъ, по примѣру Англичанъ, Французовъ и Нѣмцевъ, предаваться трудностямъ отдаленнаго путешествія и ограничиваются обыкновенно Парижемъ, Италіею и Лондономъ. Далекія и неизвѣстныя страны могутъ возбуждать безпокойное или ученое любопытство иностранцевъ, кои, не выѣзжая изъ земель своихъ, пользуются всѣми сокровищами образованности государственной и зрѣлаго просвѣщенія; но наши путешественники, движимые другимъ любопытствомъ, ѣздятъ по классическимъ землямъ образованности Европейской, чтобы удовлетворять потребностямъ, менѣе отвлеченнымъ и болѣе намъ сроднымъ. Не споримъ, что

похвально отыскивать сокровенный источникъ Нила и разбирать на мѣстѣ таинственные гіероглифы; но искать источники благосостоянія народовъ и правительствъ, учиться тайнамъ государственной науки въ тѣхъ странахъ, гдѣ преподается она издавна и всенародно, еще того похвальнѣе и стократъ полезнѣе.

XVI.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О БУКВѢ С.

1823.

„Пожелаемъ моему критику поменѣе согласныхъ буквъ и поболѣе разсудка“! писалъ Вольтеръ, кажется, къ графу Шувалову о какомъ-то Нѣмецкомъ критикѣ, который нападалъ на него за то, что въ Исторіи Петра Великаго убавилъ онъ нѣсколько согласныхъ буквъ изъ именъ Русскихъ. Можно примѣнить еще съ бо́льшимъ правомъ такое желаніе и къ усердному читателю журналовъ, который въ излишнемъ усердіи своемъ немилосердно завладѣлъ листками *Вѣстника Европы*, и вооруженный съ ногъ до головы Латинскими ссылками, воюетъ на этомъ поприщѣ противъ *Дамскаго Журнала* и терпѣнія читателей, и признаться должно, что съ успѣхомъ, по крайней мѣрѣ, въ послѣднемъ отношеніи! Пускай обвиняютъ меня въ малодушіи; но я за свое терпѣніе не стою и готовъ униженно просить для него пощады у жестокаго и могущественнаго побѣдителя. Между тѣмъ пользуюсь перемиріемъ, чтобы сказать ему нѣсколько словъ о буквѣ С. Ему, между прочимъ, не нравится, что издатель *Дамскаго Журнала* пишетъ *искуство*, а не *искусство*, *Рускій* вмѣсто *Русскій*. Но какими же доводами докажетъ намъ словоохотный критикъ, что правило, принятое издателемъ *Дамскаго Журнала*, есть совершенно ошибочное. Въ Словарѣ Академическомъ напечатано „искуство“, въ новыхъ изданіяхъ слово „Рускій“ является съ однимъ *с*. Знаю, что словоохотный критикъ

выставитъ въ оправданіе себѣ имя, значительное въ переворотахъ правописаній и азбуки, имя роковое, за скрѣпою коего буква Э была возведена на эшафотъ [1]), такъ что теперь *поэтъ* и *поетъ* сбивается въ одно слово. Но исключеніе не составляетъ правила, и вотъ случай указать здѣсь мимоходомъ на неосновательность аксіомы, выставленной усерднымъ читателемъ журналовъ, что „одно невѣжество могло произвесть мысль нелѣпую, что геній творитъ для себя правила“. Словоохотный критикъ ясно видѣть можетъ въ примѣрѣ своего патрона, что геній правописанія можетъ творить для себя правила. И точно для себя и про себя! Упрямая толпа не увлекается даннымъ направленіемъ: тѣмъ хуже для нея и тѣмъ лучше для генія, который не затмѣвается послѣдователями, нераздѣльно пользуется крѣпостною славою и неотъемлемымъ удовольствіемъ писать по-своему. Въ нашемъ изобрѣтательномъ и честолюбивомъ вѣкѣ трудно проложить себѣ стезю къ отличію. Всѣ права на вниманіе уже расхвачены алчными и поспѣшными руками. Хвала тому, который, вопреки природѣ, ему отказывающей въ творческихъ средствахъ, и на зло хищныхъ соперниковъ, завладѣвшихъ до него всѣми отраслями умственной промышленности, умѣлъ изъ нѣдръ сухаго букваря, такъ сказать, выжать источникъ извѣстности буквальной!

Не входя въ подробныя изслѣдованія тысячи и одного заблужденія словоохотнаго критика, ограничиваюсь изслѣдованіемъ только одного, предоставивъ разборъ остальной тысячи тѣмъ людямъ, кои охотнѣе меня тратятъ время на празднословное уличеніе невѣжества и недоброжелательства, служащихъ сами по себѣ вѣрнѣйшими уликами и основательнѣйшимъ обвиненіемъ.

---

[1]) *Домъ Сумасшедшихъ*— стихотвореніе Воейкова.

XVII.

ИЗВѢСТІЕ О ЖИЗНИ И СТИХОТВОРЕНІЯХЪ ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРІЕВА.

1823.

Выраженіе: онъ человѣкъ, къ дѣламъ неспособный! онъ поэтъ! рѣже слышится, благодаря успѣхамъ просвѣщенія, которое если не совершенно еще господствуетъ, то по крайней мѣрѣ довольно *обжилось*, чтобы налагать иногда совѣстное молчаніе на уста своихъ противниковъ. Блестящими опытами доказано (и нужны ли были тому доказательства?), что любовь къ изящному, утонченное образованіе ума, сила и свѣжесть чувства, склонность къ занятіямъ возвышеннымъ, искусство мыслить и изъясняться правильно на языкѣ природномъ, и другія душевныя и умственныя принадлежности писателя, не вредятъ здравому разсудку, твердости въ правилахъ, чистотѣ совѣсти, быстротѣ и точности соображеній и горячему усердію къ пользѣ общественной, требуемымъ отъ государственнаго человѣка. Невѣжественная спѣсь не догадывается, что буде ея приговоръ окажется справедливымъ, то строгость его падетъ не на поэзію, и что предосудительнымъ и невыгоднымъ можетъ онъ быть только для тѣхъ, коихъ думаетъ она величать симъ отчужденіемъ отъ непосредственныхъ даровъ природы и отъ достоинствъ неотъемлемыхъ и независимыхъ. Легко постигнуть, отъ чего успѣхи на поприщѣ службы государственной могутъ противиться постояннымъ занятіямъ литтературнымъ и охолодить сердце къ

мирнымъ наслажденіямъ труда безкорыстнаго; но нѣтъ причины благоразумной, по коей заслуги литтературныя должны быть препятствіемъ развитію государственныхъ способностей (не говорю успѣховъ) въ поэтѣ, коего честолюбіе вызываетъ изъ темной сѣни уединенія на блестящую чреду дѣйствующаго гражданина. Не имѣя нужды искать примѣровъ у народовъ, давно опередившихъ насъ въ просвѣщеніи и образованности, мы можемъ выставить на уличеніе клеветы и невѣжества имена Кантемира, Державина, М. Н. Муравьева, Нелединскаго и нѣсколько другихъ, которые являются въ одно время и съ честью на стезѣ государственной жизни и со славою при алтарѣ музъ. Нѣтъ сомнѣнія, что царствованіе Екатерины II облагородило въ Россіи званіе писателя. Иные Государи покровительствовали дарованіямъ, но дарованій не любили: Екатерина умѣла ихъ отличать, потому что любить ихъ умѣла. Благоразумнѣе въ любви своей Фридриха II, который, пренебрегая языкомъ своего народа, писалъ на чужомъ и усердствовалъ къ успѣхамъ однихъ иностранныхъ писателей, Екатерина Великая, при уваженіи своемъ къ философамъ, непосредственно дѣйствовавшимъ тогда на развитіе умовъ въ Европѣ, не была равнодушна къ совершенствованію языка народнаго, ободряла покровительствомъ и примѣромъ опыты отечественныхъ писателей, и чтобы болѣе пріохотить Дворъ, а посредствомъ Двора и общество къ Русскому языку, упражнялась сама въ Русской словесности. Нерѣдко заказывая Храповицкому государственную работу, отъ коей зависѣли судьба Европы или благоденствіе Россіи, заготовляла она вмѣстѣ съ нимъ сцену для комедіи, или поручала ему написать куплетъ для оперы, ею сочиняемой. Конечно, ея авторскія произведенія не обогатили словесности нашей, равно какъ и ботикъ, Петромъ Великимъ сооруженный, не усилилъ нашего флота; но поощреніе царское и царскій примѣръ, всегда дѣйствительные, принесли много пользы словесности нашей. Друзья просвѣщенія, цвѣтущаго въ ея царствованіе, обязаны равно со всѣми Русскими признательностію Екатеринѣ. Народная благодарность помнить будетъ завсегда, сколь живо, сколь горячо любила она Русскую славу, отъ коей своей собственной не от-

дѣляла, и сколь неутомимо и разнообразно заботилась о ея успѣхахъ.

Сему счастливому сочетанію заслугъ государственныхъ съ литературными заслугами, должны мы тѣмъ, что біографія чиновника не заключается иногда въ одной сухой лѣтописи о прехожденіи его изъ чина въ чинъ, а біографія поэта удовлетворяетъ любопытству не однихъ любителей поэзіи, но и людей, требующихъ отъ стихотворца заслугъ еще другаго рода. Извѣстіе о жизни и сочиненіяхъ Ивана Ивановича Дмитріева можетъ заслужить вниманіе читателей, къ которому бы изъ упомянутыхъ разрядовъ они ни принадлежали.

Взглянемъ бѣгло на первые годы его жизни и поприще заслугъ гражданскихъ, которыя довели его до высокихъ почестей, и побережемъ вниманіе свое для обозрѣнія заслугъ литературныхъ, которыя если и не вознаграждаются такимъ блестящимъ и наличнымъ образомъ, какъ первыя, то по крайней мѣрѣ часто бываютъ долговѣчнѣе въ памяти современниковъ и потомства. Имена хорошихъ правителей, если событія необыкновенныя не возносятъ ихъ на степень высшую, съ коей могутъ они подѣйствовать непосредственно на жребій государства и заготовить себѣ мѣсто въ исторіи народа, должны довольствоваться и пользою и молвою временною; имена хорошихъ писателей, незатмѣваемыя блескомъ событій современныхъ, разливающія сіяніе благодѣтельное на эпохи блѣдныя и скудныя, всегда сохраняются признательно у народовъ просвѣщенныхъ, какъ лучшее ихъ достояніе, какъ неотъемлемая собственность! Слава писателей, залогъ священный, ввѣренный гордости народной, можетъ истребиться только вмѣстѣ съ нею въ народѣ, униженномъ пороками правительства, или подъ бременемъ собственнаго разврата уронившаго величіе предковъ.

Дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ святыя Анны, святаго Александра Невскаго и святаго князя Владиміра первой степени, членъ Россійской Академіи, почетный членъ Московскаго и Харьковскаго Университетовъ и многихъ ученыхъ обществъ, Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ родился въ 1760 году въ Симбирской губерніи, въ деревнѣ отца своего.

Способы тогдашняго воспитанія были весьма ограничены; нынѣ оно содѣйствуетъ природѣ въ развитіи дарованій и нерѣдко искусственными прививками замѣняетъ первобытную скудость. Такъ искусство и попечительность плодотворятъ почву лѣнивую и черствую! Тогда природа одна и нераздѣльно насаждала и образовала въ любимцѣ своемъ умственныя способности и склонности душевныя. Еще, къ счастію своему, Ив. Ив. Дмитріевъ имѣлъ въ родителѣ человѣка умнаго, образованнаго и чуждаго предразсудковъ, которые господствуютъ въ городахъ, отдаленныхъ отъ средоточія просвѣщенія, и встрѣчаются иногда и въ самыхъ столицахъ. — Симбирскъ отличался всегда предъ прочими губернскими городами успѣхами въ общежитіи и свѣтской образованности. Съ самаго дѣтства, вниманіе Ив. Ив. Дмитріева было обращено на предметы достойные любопытства. Новости политическія, придворныя и литтературныя скоро доходили изъ Петербурга до семейнаго его общества, и выводили разговоръ изъ обыкновеннаго круга и мелкихъ сплетней городскихъ, сужденій о пикетѣ и рокомболѣ, и шумныхъ преній о псовой охотѣ. Съ самаго дѣтства научился онъ, примѣромъ родителей, любить чтеніе и слѣдственно уважать званіе писателя. Но что служило въ то время пищею ума? Какія книги были въ ходу и въ чести у Русскихъ читателей? Нѣкоторые романы, убійственные переводы, которые искажали мастерскія произведенія иностранной словесности; и молодые воспитанники должны были, такъ сказать, на трупахъ изувѣченныхъ пробуждать въ себѣ духъ жизни, и по грубымъ твореніямъ учиться искусству правильно мыслить и изъясняться!

До двѣнадцатилѣтняго возраста обучался онъ въ Казани, а потомъ въ Симбирскѣ, въ частныхъ училищахъ. О томъ образованіи, которое можно было получить въ сихъ заведеніяхъ, легко составить себѣ понятіе, смотря на многія изъ нынѣшнихъ воспитательныхъ заведеній, и предполагая, что образованность и у насъ идетъ постепенно къ возможному усовершенствованію. Смутныя обстоятельства Низоваго края, при мятежѣ Пугачева, не позволили ему пользоваться долго и тѣми скудными способами. Отецъ его со всѣмъ семействомъ былъ

принужденъ покинуть родину, убѣгая отъ ужаса, распространяемаго неистовымъ и безразсуднымъ мятежникомъ. На 14 году возраста, И. И. Дмитріевъ былъ посланъ родителемъ въ Петербургъ, явиться въ гвардейскій Семеновскій полкъ, въ которомъ онъ еще съ малолѣтства былъ записанъ въ солдаты, по тогдашнему обыкновенію, угождавшему тщеславію родителей, но вредному для молодыхъ людей и пользы государственной. Не успѣвъ еще не только образовать умъ воинскими науками, но и физически и нравственно образоваться, не испытавъ способностей и склонностей своихъ, спѣшили отроки, какъ будто по какому-то невольному обѣту, въ военное званіе, подобно какъ въ прежней Франціи младшіе братья обречены были до рожденія званію духовному. Пробывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ полковой школѣ, гдѣ обучали только первымъ правиламъ рисованія, математикѣ, исторіи и географіи на русскомъ языкѣ, вступилъ онъ въ дѣйствительную службу. Призовите иностранцевъ, легкомысленныхъ въ сужденіяхъ своихъ о Россіи, и пригласите ихъ вывести изъ предлагаемаго здѣсь обозрѣнія первоначальныхъ лѣтъ жизни, сихъ лѣтъ, такъ сказать, приготовительныхъ, гадательное заключеніе о будущей судьбѣ такого юноши? Какъ неосновательны и какъ далеки отъ истины будутъ ихъ гаданія! Какой неистребимый запасъ душевныхъ силъ должно имѣть въ себѣ, чтобы при несовершенствѣ образованія не поддаться губительной силѣ обстоятельствъ, всегда стремящихся уравнивать преимущества природныя, и задерживать въ рядахъ толпы благородныхъ честолюбцевъ, порывающихся выступить изъ обыкновенной среды! Въ Россіи слѣды къ успѣхамъ ума не могли еще быть твердо проложены; каждый шагъ впередъ есть побѣда и завоеваніе, но за то и каждый побѣдитель есть исполинъ. Рядовому дарованію, неувлекаемому движеніемъ общимъ, нельзя ожидать успѣховъ соразмѣрныхъ его достоинству. Не имѣя въ себѣ довольно силы, чтобы утвердиться самобытно, оно, вызываемое честолюбіемъ изъ толпы, въ которой ему душно и неловко, по тщетномъ бореніи, по усиліяхъ похвальныхъ, но безполезныхъ, поглощается потокомъ, тогда какъ при другихъ обстоятельствахъ, при общемъ стремленіи достигнуло бы оно

цѣли, не быстрыми, но твердыми, не блестящими, но вѣрными средствами. Отъ того и умственныя способности, неразлившіяся еще по разнымъ степенямъ общества, сосредоточиваются въ нѣсколькихъ лицахъ, которыя, подобно откупщикамъ, завладѣвшимъ нераздѣльно всѣми отраслями и выгодами народной промышленности, отвѣчаютъ частными капиталами за толпу неимущую и живущую ихъ подаяніемъ.

Прослуживъ нѣсколько лѣтъ въ Семеновскомъ полку, былъ онъ, по желанію своему, отставленъ полковникомъ, при вступленіи на престолъ Императора Павла. Военное ремесло, которое становится столь блестящимъ званіемъ, когда событія призываютъ воина на защиту или прославленіе отечества, не можетъ въ мирныхъ обстоятельствахъ удовлетворять вполнѣ потребностямъ души пылкой и дѣятельнаго ума. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ отставки, И. И. Дмитріевъ вступилъ въ службу гражданскую; въ продолженіе перваго ея періода занималъ онъ, между прочимъ, мѣста: товарища министра въ департаментѣ удѣльныхъ имѣній и оберъ-прокурора. Снова вышедъ въ отставку съ чиномъ тайнаго совѣтника и пенсіономъ, поселился онъ въ Москвѣ, гдѣ провелъ нѣсколько лѣтъ, посвященныхъ занятіямъ литтературнымъ и тихимъ наслажденіямъ жизни изящной и философической. Москва была тогда истинною столицею Русской литтературы и удовольствій общежитія образованнаго; памятники блестящаго двора Екатерины доживали свой вѣкъ въ тихой пристани и придавали Московскому обществу какую-то историческую физіогномію, равно какъ и Кремлевскія стѣны придаютъ ее самому городу. Многіе открытые домы, куда съѣзжались, па хлѣбосольство хозяевъ образованныхъ и достаточныхъ, собесѣдники умные, женщины любезныя и просвѣщенные путешественники, доставляли людямъ, чуждымъ честолюбія и удаленнымъ отъ дѣлъ, пріятныя наслажденія утонченнаго общежитія, признаки несомнительные и плоды образованности зрѣлой. Знаменитый творецъ Россіяды, патріархъ Московской словесности, доживалъ тогда, посреди друзей и почитателей, славу долголѣтнюю и безмятежную. Успѣхи цвѣтущіе и успѣхи разцвѣтающіе искали въ его благосклонномъ добродушіи и одобренія

и поощренія. Слѣды 1812 года, въ отношеніи къ вещественному разоренію, столь быстро изглаженные дѣятельностію правительства и похвальнымъ тщеславіемъ Московскихъ жителей, еще разительно означаются въ отношеніи къ нравственному опустошенію. Цвѣтущій возрастъ Московскаго общества миновалъ, и самыя Московскія музы какъ-то не опомнились еще отъ ужаса и тревогъ военныхъ.

Въ 1806 году дѣятельность благородная снова вызвала И. И. Дмитріева на поприще службы государственной: ему повелѣно было присутствовать въ сенатѣ, въ семъ высокомъ государственномъ мѣстѣ, одаренномъ великимъ основателемъ своимъ столь значительными преимуществами и прославленномъ въ памяти народной великодушною смѣлостію Долгорукаго и безсмертными строками, писанными Петромъ I съ береговъ Прута, къ собранію мужей именитыхъ. Въ продолженіе засѣданія своего въ сенатѣ, И. И. Дмитріевъ былъ три раза удостоенъ Высочайшею довѣренностію, и посыланъ, по особеннымъ порученіямъ, въ разныя губерніи. Въ 1810 году получилъ онъ блистательнѣйшую награду за ревностное исполненіе обязанностей своихъ по званію сенатора и вызванъ изъ Москвы занять мѣсто министра юстиціи. Общественное уваженіе къ заслугамъ, пробившимъ себѣ путь къ высокому назначенію, безъ инаго предстательства и покровительства, кромѣ личныхъ достоинствъ, оказалось съ выборомъ правительства въ совершенномъ согласіи, коимъ всегда дорожитъ попечительная и прозорливая власть. Между прочими законодательными постановленіями, послѣдовавшими во время управленія его министерствомъ юстиціи, замѣчателенъ по государственной важности указъ, въ силу коего запрещалось личнымъ дворянамъ пріобрѣтать крестьянъ и дворовыхъ людей. Благомыслящіе люди съ признательностію и радостію увидѣли въ семъ благопамѣренномъ распоряженіи правительства отсѣченіе одной изъ отраслей бѣдственнаго злоупотребленія и надежду на совершенное искорененіе зла. Пробывъ въ званіи министра въ продолженіе важной эпохи войны народной и слѣдующихъ годовъ, достопамятныхъ для Россіи, уволенъ онъ былъ, по желанію своему, изъ службы, и снова воз-

вратился въ Москву, гдѣ впослѣдствіи удостоился быть избранъ орудіемъ Высочайшей милости, оказанной пострадавшимъ жителямъ столицы отъ разоренія въ 1812 году.

Всѣ обстоятельства жизни человѣка значительнаго возбуждаютъ общее любопытство: тѣмъ болѣе желаемъ знать, какія были его связи, знакомства, и въ особенности, когда въ кругу ихъ встрѣчаемъ имена, равно достойныя уваженія нашего по добродѣтели, или заслугамъ. Счастливая судьба свела нашего поэта въ Семеновскомъ полку съ Ѳ. И. Козлятевымъ. Умъ образованный, страсть къ ученію, строгій и вѣрный вкусъ въ литературѣ и прекрасныя качества души ясной и благородной были свойствами человѣка, въ которомъ И. И. Дмитріевъ отыскалъ себѣ друга и, еще болѣе, *благодѣтеля* [1]), по прекрасному выраженію души, почитающей за истинное благодѣяніе пріязнь поучительную и сладостную людей добродѣтельныхъ и возвышенныхъ. „Онъ не могъ (говоритъ поэтъ въ письмѣ своемъ о покойномъ другѣ) передать мнѣ прекрасной души своей; по крайней мѣрѣ примѣромъ своимъ отвращалъ меня отъ всего низкаго“. Признаніе трогательное и возвышенное! Такое чувство свойственно только душѣ высокой, и служитъ лучшею похвалою покойника и лучшимъ доказательствомъ, что друзья были достойны другъ друга. Знакомство ихъ началось въ Семеновскомъ полку, когда Ѳ. И. Козлятевъ былъ еще подпоручикомъ, а нашъ поэтъ сержантомъ; взаимная дружба, испытанная временемъ и всѣми измѣненіями жизни, прервана была одною смертію. Въ его судѣ о Русской словесности, всегда основанномъ на чувствѣ изящнаго, поэтъ нашъ почерпалъ сію вѣрность и утонченность вкуса, которыя послѣ руководствовали его дарованіемъ. Въ его библіотекѣ пользовался онъ старыми и новѣйшими произведеніями Французской литтературы, особенно имъ одобряемыми, чаще же всего классическими, коихъ отпечатокъ ознаменовалъ самыя первыя его творенія въ то время, когда и охота и самыя средства къ чтенію иностранныхъ писателей были такъ рѣдки и скудны. Любопытно знать,

[1]) Выраженіе И. И. Дмитріева.

что при дружбѣ, столь тѣсно ихъ связывавшей, поэтъ никогда не показывалъ своихъ стиховъ другу, равно какъ и старшему брату своему и сослуживцу, о коемъ Русскій Путешественникъ упоминаетъ въ своихъ Письмахъ и коего любовные стихи читаемъ въ *Московскомъ Журналѣ*, писанные *подъ Шведскими ядрами*, по выраженію издателя. Козлятевъ узналъ вмѣстѣ съ публикою о поэтическомъ дарованіи своего друга: съ какимъ живымъ удовольствіемъ долженъ онъ былъ привѣтствовать цвѣты, разцвѣтшіе тайкомъ отъ него, но, безъ сомнѣнія, отъ его попечительнаго участія и благотворнаго вліянія на склонности и образованіе поэта. Въ молодости своей Козлятевъ и самъ писалъ стихи, но также не показывалъ ихъ другу. Вѣроятно находятся и переводы его, можетъ быть и напечатанные безъ его имени. Необыкновенная скромность его только однажды дозволила ему показать другу прекрасный переводъ одной изъ древнихъ элегій; къ сожалѣнію, сей опытъ не былъ напечатанъ и потерянъ. Не можемъ удержаться отъ удовольствія привести здѣсь одну прекрасную черту изъ жизни сего благодѣтельнаго человѣка. Въ истинныхъ друзьяхъ и печали и радости общія; кажется, что и самыя добродѣтели одного отражаются на другомъ, и потому никакія подробности, служащія къ чести Козлятева, не могутъ казаться здѣсь неумѣстными. Онъ имѣлъ небольшую деревню въ Владимірской губерніи; однажды пишетъ онъ къ своимъ крестьянамъ: „На нынѣшній годъ не присылайте мнѣ оброка: у меня остается на годовой прожитокъ довольно денегъ отъ прошлаго“.

Впослѣдствіи И. И. Дмитріевъ былъ въ связи со всѣми литераторами нашими, которые прославились въ концѣ протекшаго столѣтія. Державинъ любилъ его, довѣрялъ его вкусу и слѣдовалъ иногда его совѣтамъ; стихи нашего поэта на смерть его первой супруги, исполненные чувства глубокаго, доказываютъ и его привязанность къ знаменитому лирику. Въ домѣ его познакомился онъ съ Н. А. Львовымъ, оставившимъ по себѣ нѣсколько пріятныхъ стихотвореній, и съ Фонъ-Визинымъ, за нѣсколько часовъ до его смерти.

Излишнимъ будетъ упомянуть здѣсь о дружбѣ тѣсной и,

такъ сказать, гласной, соединяющей его съ писателемъ знаменитымъ, дружбѣ примѣрной и поучительной, возраставшей отъ самой юности наравнѣ съ ихъ лѣтами и славою, и заимствовавшей новый блескъ и новую связь отъ соперничества въ успѣхахъ, такъ часто служащаго къ помраченію и разрыву пріязни въ людяхъ, коимъ чужія достоинства кажутся всегда собственными неудачами, а чужія удачи личными оскорбленіями.

Никто лучше автора нашего не могъ бы составить обозрѣнія и записокъ литтературныхъ послѣдняго полустолѣтія. Умъ наблюдательный, взглядъ зоркій и вѣрный, память счастливая, мастерство повѣствованія, вкусъ строгій и чистый, долгое обращеніе съ книгами и писателями,—все ручается за успѣшное исполненіе предпріятія, коего, смѣемъ сказать, мы почти въ правѣ требовать отъ автора, уже принесшаго столько пользы словесности нашей. У насъ государственные люди, полководцы, писатели, художники преходятъ молчаливо и какъ бы украдкою поприще дѣйствія своего и, по бо́льшей части въ жизни сопровождаемые равнодушіемъ, по кончинѣ награждаются однимъ забвеніемъ. Смерть ихъ похитила, и изъ частной ихъ жизни молва ничего не завѣщаетъ намъ ни поучительнаго, ни занимательнаго, и ни одинъ голосъ не раздается для сохраненія ихъ памяти. На холодной и неблагодарной почвѣ остываютъ и изглаживаются всѣ слѣды бытія человѣка знаменитаго при жизни, но который по смерти оставляетъ намъ, какъ извѣстный Бригадиръ, развѣ только одно преданіе въ газетахъ, что *онъ выѣхалъ въ Ростовъ*. Суворовъ живъ у насъ въ однихъ реляціяхъ военныхъ, конечно достаточныхъ для его славы, но не для любопытства нашего. Ломоносовъ, коего жизнь, можетъ быть, болѣе самыхъ твореній его исполнена поэзіи, еще ожидаетъ біографа искуснаго. Извѣствіе о жизни его, изданное Академіею, скудно, а какой богатый предметъ для философа, поэта, историка, которые найдутъ въ немъ и поучительность истины строгой и всю чудесность романическихъ вымысловъ! Дикій рыбакъ въ Холмогорахъ, пробуждаемый откровеніемъ природы, гонимый изъ родины потребностію чего-то неизвѣстнаго и пророческою тоскою генія; Прусскій солдатъ въ крѣпости Германской; преобразователь

языка, поэтъ и ученый соревнователь первѣйшихъ лириковъ и Франклина въ Петербургѣ, едва только возникающемъ къ просвѣщенію. Какое разнообразіе въ картинѣ, какая игра и глубокая таинственность въ предназначеніи судьбы человѣческой! Гордость народная, источникъ любви къ отечеству, сей первой добродѣтели народа и сего перваго залога его славы, не можетъ и не должна быть слѣпымъ чувствомъ пристрастія, или грубымъ самохвальствомъ. Пусть почерпается она изъ точнаго познанія всего, что́ можетъ въ глазахъ нашихъ возвысить достоинство страны, въ коей мы родились, народа, коему принадлежимъ, изъ сродства нашего съ мужами, коихъ дѣятельная и плодотворная жизнь содѣйствовала благоденствію и славѣ отечества, и кои имѣютъ еще болѣе права на нашу благодарность, чѣмъ на благодарность своихъ современниковъ, ибо пора сѣянія не есть пора жатвы.

Во Франціи писатель, оставившій по себѣ страничку стиховъ въ гостепріимномъ *Календарѣ Музъ*, по смерти своей занимаетъ нѣсколько страницъ въ журналахъ и біографическихъ словаряхъ, а изъ нихъ переходитъ въ область исторіи. Такая мелочная попечительность можетъ казаться неумѣстною и смѣшною вчужѣ; но въ своей землѣ она есть полезное поощреніе ко всѣмъ предпріятіямъ общественнымъ, побужденіемъ къ славѣ и средство успѣшное для поддержанія и подкрѣпленія семейственной связи народа, которая прерывается и рушится тамъ, гдѣ старина безъ преданій, а настоящее безъ честолюбивыхъ упованій на будущее.

Въ 1791 году Карамзинъ, возвратившійся въ Россію съ умомъ, обогащеннымъ наблюденіями и воспоминаніями, собранными въ путешествіи по государствамъ классической образованности Европейской, началъ издавать *Московскій Журналъ*, съ коего, не во гнѣвъ старозаконникамъ будь сказано, начинается новое лѣтосчисленіе въ языкѣ нашемъ. Въ семъ изданіи, на мрачныхъ развалинахъ готическихъ, положено первое основаніе зданія правильнаго и свѣтлаго нашей возрождающейся словесности.

Въ *Московскомъ Журналѣ* встрѣчаются первыя печат-

ныя стихотворенія нашего поэта, признанныя имъ и вкусомъ. Многія изъ нихъ не были послѣ перепечатаны; но любители стиховъ и наблюдатели постепеннаго усовершенствованія дарованій съ удовольствіемъ отъискиваютъ нѣкоторыя преданныя авторомъ забвенію, а въ другихъ слѣдуютъ за исправленіями, коими очищалъ ихъ вкусъ образующійся и разборчивость строжайшая. Въ худомъ писателѣ и случайныя красоты его никому не въ пользу; въ хорошемъ и самыя погрѣшности служатъ предметомъ наблюденія и ученія. „Что меня отличаетъ отъ Прадона? Слогъ! говорилъ Расинъ. А слогъ, какъ и тѣлесныя силы, зрѣетъ и мужаетъ отъ изощренія и времени. Въ посредственныхъ писателяхъ постепенныя измѣненія не такъ разительны: они въ самой молодости являютъ истощеніе и холодность преклонныхъ лѣтъ; въ возрастѣ мужества отзывается въ ихъ лепетаніи недозрѣлость и невинность ребячества. Въ писателяхъ образцовыхъ переходы иногда неимовѣрны. Боссюэтъ въ первыхъ опытахъ былъ надутъ и до невѣроятія погрѣшалъ противъ вкуса. У него встрѣчаются выраженія: „*да здравствуетъ Вѣчный!*“ Дѣтей называетъ онъ *рекрутами человѣческаго рода.*

Авторы-друзья собирались издать свои сочиненія въ одной книгѣ; обстоятельства не позволили исполнить намѣренія. Карамзинъ напечаталъ свои прежде, подъ названіемъ: *Мои бездѣлки.* „Какъ же мнѣ назвать свою книгу?“ сказалъ однажды товарищъ опоздавшій: „развѣ *И мои бездѣлки?*“ Такъ и сдѣлалось; и въ самомъ дѣлѣ *Ермакъ*, *Причудница* такія же бездѣлки, какъ *Наталья боярская дочь*, *Дарованія*, т.-е. бездѣлки для таланта, который разсыпаетъ ихъ легкою рукою, и камни преткновенія для посредственности безсильной и зависти, тщетно разбивающей о нихъ орудія своей досады. Нѣкоторые еще и понынѣ держатся буквальнаго значенія наименованій, данныхъ авторами своимъ произведеніямъ. Эти люди не пробуждаются, но оглушаются звономъ словъ высокопарныхъ, и по свѣтской привычкѣ, они платятъ спеси авторской дань приличную достоинству; дарованія не распознаютъ, если оно показывается подъ завѣсою скромности. Для нихъ громкое наименованіе книги есть тоже, что знакъ отличія на человѣкѣ, то-есть, требованіе

на безусловное поклоненіе. Послѣ изданія *И моихъ бездѣлокъ*, вышедшаго въ Москвѣ въ 1795 году, было, сказываютъ, напечатано и другое, но безъ вѣдома автора. — Тутъ, какъ и въ *Московскомъ Журналѣ*, находятся стихотворенія, исключенныя авторомъ изъ послѣдовавшихъ изданій, но которыя хранятся въ памяти у литераторовъ. Игривые стихи: *Къ пріятелю съ дачи* сверкаютъ веселостію и остроуміемъ Французскимъ.

Отъ 1795 до 1818 года разошлось шесть изданій поэта нашего, не считая двухъ изданій Басень, изъ коихъ послѣднее было перепечатано въ 1810 году. Такое явленіе обыкновенно въ другихъ государствахъ, гдѣ всѣ читаютъ и все читается; но у насъ, гдѣ число читателей ограничено, а разборчивость ихъ если не всегда проницательна, то по крайней мѣрѣ взыскательна, и гдѣ цѣна на книги чрезмѣрно высока, такой примѣръ замѣчателенъ и утѣшителенъ. Пускай недовольные вопіютъ противъ непризнательности и несправедливости общества: мы, забывая о иныхъ ложныхъ приговорахъ публики, которая, какъ и другой судья, подвержена бываетъ иногда заблужденіямъ, обольщенію и лицепріятію, порадуемся за нее и за писателей, когда видимъ блестящіе опыты ея разумѣнія и справедливости.

Кажется, что вопросъ: кого должны мы утвердительно почесть основателями нынѣшней прозы и настоящаго языка стихотворнаго? давно уже рѣшенъ большинствомъ голосовъ. Языкъ Ломоносова въ нѣкоторомъ отношеніи есть уже мертвый языкъ. Сумароковъ подвинулъ у насъ ходъ и успѣхи словесности, но не языка. Языкъ Петрова, Державина, обильный поэтическою смѣлостію, красотами живописными и быстрыми движеніями, не можетъ быть почитаемъ за языкъ классическій или образцовый. Подражатели ихъ удачнаго своевольства, остановясь на одной безобразности, не переступятъ никогда за черту, недосягаемую для посредственности, черту, за коею геній похищаетъ право сбросить съ себя яремъ докучныхъ условій, его рукою порабощенныхъ и предъ нимъ безмолвствующихъ. Языкъ Хераскова и ему подобныхъ отцвѣлъ вмѣстѣ съ ними, какъ нарѣчіе скудное, единовременное, не взростшее отъ корня живаго въ прошедшемъ и не пустившее отраслей для будущаго.

Въ нѣкоторыхъ изъ стиховъ и прозаическихъ твореній Фонъ-Визина обнаруживается умъ открытый и острый; и хотя онъ первый, можетъ быть, угадалъ игривость и гибкость языка, но не оказалъ вполнѣ авторскаго дарованія: слогъ его есть слогъ умнаго человѣка, но не писателя изящнаго. Богдановичъ, въ нѣкоторыхъ отрывкахъ *Душеньки* и другихъ стихахъ, коихъ доискиваться должно въ безднѣ стиховъ обыкновенныхъ, можетъ назваться баловнемъ счастія, но не питомцемъ искусства. Мольеръ говорилъ о Корнелѣ, что какой-то добрый духъ нашептываетъ ему хорошіе стихи его: тоже можно сказать и о пѣвцѣ Душеньки, сожалѣя, что духъ враждебный такъ часто наговаривалъ ему на другое ухо — стихи вялые и нестройные. Если и полагать, что нерадивый Хемницеръ трудился когда нибудь надъ усовершенствованіемъ языка, то развѣ съ тѣмъ, чтобы домогаться въ стихахъ своихъ совершеннаго отсутствія искусства. Но, отвергая предположеніе невѣроятное, признаемся, что простота его, иногда плѣнительная, часто уже слишкомъ обнажена; къ тому же, онъ, упражняясь только въ одномъ родѣ словесности, и не могъ рѣшительно дѣйствовать на образованіе языка. Всѣ сіи писатели и нѣсколько другихъ, здѣсь не упомянутыхъ, болѣе или менѣе обогащали постепенно нашъ языкъ новыми оборотами и новыми соображеніями, и расширяли его предѣлы; но совсѣмъ тѣмъ признаться должно, что и посредственнѣйшіе изъ писателей нынѣшнихъ (разумѣется и здѣсь найдутся исключенія) пишутъ не языкомъ Княжнина и Эмина, стоящихъ гораздо выше многихъ современниковъ нашихъ, если судить о дарованіи авторскомъ, а не о превосходствѣ слога. Ѳемистоклъ и Аннибалъ, конечно, были одарены геніемъ воинскимъ, коего не найдемъ въ каждомъ изъ современныхъ нашихъ генераловъ; но нѣтъ сомнѣнія, что въ нынѣшнемъ усовершенствованіи военнаго искусства каждый изъ нихъ, при малѣйшемъ образованіи, пользуется средствами, облегчающими ему успѣхи, о коихъ древніе полководцы, не взирая на всю обширность своихъ соображеній, и мысли не имѣли. Строгая справедливость и обдуманная признательность, называя двухъ основателей нынѣшняго языка нашего, соединяетъ еще новыми

узами имена, сочетанныя уже давно постоянною и примѣрною дружбою. Отвращеніе ко всѣмъ успѣхамъ ума человѣческаго ополчило и здѣсь соперниковъ, во имя старины, противъ Карамзина и Дмитріева, развивающихъ средства языка, еще недовольно обработаннаго, и обогащающихъ сей языкъ добычею, взятою изъ его собственныхъ сокровищъ. Сіе раскрытіе, сіи примѣненія къ нему понятій новыхъ, сіи вводимые обороты называли галлицизмами, и можетъ быть не безъ справедливости, если слово *галлицизмъ* принято въ смыслѣ *европеизма*, т.-е., если принять языкъ Французскій за языкъ, который преимущественнѣе можетъ быть представителемъ общей образованности Европейской. Согласиться должно, что вкусъ Французской словесности, которая преимущественно образовала умъ и дарованія нашихъ двухъ писателей, замѣтенъ въ ихъ произведеніяхъ; но и то неоспоримо, что, при тогдашнемъ состояніи нашей литтературы, писателямъ, вызываемымъ дарованіями отличными изъ тѣснаго круга торжественныхъ одъ и прозы ребяческой или высокопарной, въ коей по бо́льшей части были въ обращеніи одни слова, а не мысли, должно было заимствовать обороты изъ языковъ уже созрѣвшихъ, и прививать ихъ рукою искусною къ своему языку, пріемлющему съ пользою все то, что́ только не противится коренному его свойству. Мы могли бы спросить, изъ которыхъ языковъ прививки были бы выгоднѣе для Русскаго языка, и свойственнѣе ли ему *германизмы*, *англицизмы*, *италіянизмы*, даже эллинизмы и латинизмы? Но рѣшеніе сего вопроса не подлежитъ настоящему разсужденію, и не удовольствовало бы ни въ какомъ случаѣ гнѣва противниковъ, готовыхъ поразить равнымъ проклятіемъ все то, что́ не заклеймено печатію старины и не освящено правомъ давности, единственнымъ правомъ, коему поклоняются умы лѣнивые и робкіе. Не слышимъ ли ежедневно смертныхъ приговоровъ, произносимыхъ защитниками здравой словесности, *школьными классиками*, надъ смѣлыми покушеніями Жуковскаго, который мастерскою рукою похитилъ красоты съ Германской почвы и, пересадивъ на нашу, укоренилъ ихъ въ Русской поэзіи? Лучше носиться иногда съ Шиллеромъ и Гёте въ безбрежныхъ областяхъ своенравнаго вообра-

женія, чѣмъ пресмыкаться вѣчно на лощинахъ посредственности, не отступая, для успокоенія совѣсти, отъ правилъ условныхъ, коихъ затруднительное соблюденіе можетъ придать лучшій блескъ твореніямъ изящнымъ, но не въ состояніи придать достоинства творенію плоскому и бездушному. Наша словесность еще въ такомъ несовершеннолѣтіи, что каждая попытка дарованія, будетъ ли она утверждена или отринута дальнѣйшимъ употребленіемъ, неминуемо должна ей и языку обратиться въ пользу.

Примѣчательно и забавно то, что Карамзинъ и Дмитріевъ, какъ великіе полководцы, которые, преобразовавъ искусство военное, кончаютъ тѣмъ, что самыхъ враговъ своихъ научаютъ сражаться по системѣ, ими вновь введенной, научили непримѣтнымъ образомъ и противниковъ своихъ писать съ бо́льшимъ или меньшимъ успѣхомъ по-сво́ему. Какъ часто видѣли мы, что присяжные заступники старинныхъ писателей витійствуютъ за нихъ и противъ новѣйшихъ на языкѣ, утвержденномъ сими послѣдними! Языки, прославленные твореніями Данта, Шекспира и другихъ, не смотря на славу своихъ образователей и ненарушимость правъ ея на уваженіе потомства, не могли пребыть неизмѣнными у народовъ зрѣлѣйшихъ въ образованности: зачѣмъ же на насъ однихъ налагать неподвижность и задерживать естественный ходъ языка, который только-что начинаетъ выходить изъ отроческаго возраста и нуждается еще въ правилахъ, утвержденныхъ употребленіемъ или законною властію? Повѣрить легко, что для многихъ онъ достаточно, если не съ излишествомъ, изобилуетъ оборотами и соображеніями; найдутся люди, и даже въ числѣ писателей нашихъ, которые нѣсколькими сотнями словъ могли бы выразить полную сумму своихъ наличныхъ понятій; но забывать не должно, что при этомъ родѣ людей угомонныхъ и умѣренныхъ бываютъ и такіе, коихъ неутолимая жажда къ пріобрѣтеніямъ безпрерывно умножаетъ богатство языка, а съ ними и его потребности. Умъ человѣка знаетъ отдыхъ и бездѣйствіе; но умъ человѣческій завсегда въ работѣ и движеніи наступательномъ. Новыя понятія, новыя открытія въ наукахъ, новыя устройства въ порядкѣ гражданскомъ, требуютъ и новыхъ выраженій или новыхъ соображеній въ зна-

ченіи словъ уже извѣстныхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и самый нашъ языкъ, уже измѣнившійся, измѣнится еще, по мѣрѣ, какъ мы будемъ непосредственнѣе и дѣйствительнѣе участвовать въ общемъ ходѣ образованности и просвѣщенія. Исторія Государства Россійскаго составляетъ сама эпоху въ слогѣ Карамзина и слѣдственно эпоху и въ Русскомъ языкѣ.

Нашъ поэтъ въ разныхъ родахъ испытывалъ свои силы, и намъ можно жалѣть не о томъ, чтобы онъ, не совѣтуясь съ своимъ геніемъ, принимался за иное, но о томъ, что, не совѣтуясь съ выгодами читателей, не умножилъ, и еще болѣе не разнообразилъ своихъ опытовъ.—Начнемъ съ лирическихъ твореній обозрѣніе его трудовъ поэтическихъ.

Народныя воспоминанія, славныя событія отечественныя, внезапная и чудная смерть исполина, коего жизнь и знаменитость имѣли что-то своенравное и баснословное, явленія природы, кои въ разнообразномъ однообразіи своемъ живѣе самыхъ явленій общества дѣйствуютъ на душу поэта, пробуждали и въ нашемъ сей восторгъ пламенный и увлекательный, коему нельзя научиться въ піитикахъ, ни подражать съ помощію искусства, если онъ не зажженъ въ насъ рукою природы, и который одинъ творитъ истинныхъ лириковъ. Въ лирическихъ произведеніяхъ его не найдешь сихъ одъ торжественныхъ, писанныхъ, такъ сказать, подъ руководствомъ личныхъ вдохновеній, на такой-то случай или день, и не переживающихъ въ памяти любителей поэзіи ни случая, ни дня, ни героя, для коего онѣ были изготовлены. Паскаль говорилъ, что вся поэзія заключается *въ бѣдственномъ лаврѣ, прекрасномъ свѣтилѣ* (laurier fatal, bel astre) и тому подобныхъ выраженіяхъ. Паскаль доказалъ, что можно при умѣ глубокомъ и обширномъ не имѣть чувства поэзіи; но если бы кто у насъ сказалъ, что, за исключеніемъ первенствующихъ лириковъ, языкъ лирическій составленъ изъ *райскихъ кринъ*, изъ безотвѣтныхъ вопросовъ: *что зрю? какой восторгъ! куда парю?* — то доказалъ бы, что онъ съ прилежаніемъ вникнулъ въ тайну многихъ нашихъ лириковъ. Не подражая рабски и слѣпо предшественникамъ своимъ на поприщѣ лирической поэзіи, нашъ поэтъ умѣлъ себѣ присвоить родъ, еще не

испытанный ни Ломоносовымъ, ни Петровымъ, ни Державинымъ. Два образца, которые приличнѣе назвать лирическими поэмами, нежели одами, доказываютъ, что можно, и не ревнуя въ звучности и плавности съ отцемъ нашей поэзіи, ни въ смѣлости порывовъ и выраженій съ двумя его преемниками, занять мѣсто почетное въ числѣ лириковъ. — *Ермакъ*, *Освобожденіе Москвы*, *Гласъ Патріота* исполнены огня поэтическаго и, что́ еще лучше, если оно въ такомъ случаѣ не одно и тоже, огня любви къ отечеству, не сей любви грубой, которая болѣе охлаждаетъ душу читателей, но любви возвышенной, переливающей въ другихъ пламень животворный, коимъ она согрѣвается. Тутъ лирикъ, *напрягши умъ*, *наморщивши чело*, не карабкается на ходули восторга, даже и неискусственнаго, не замѣняетъ плоскости щедушнаго своего предмета пухлостію выраженій; но возвышается наравнѣ съ нимъ и заимствуетъ свой жаръ отъ чувства, которое имъ овладѣло. *Ермакъ* — мрачная и угрюмая картина, въ коей поэзія та же живопись; не знаю только, употреблены ли въ ней съ вѣрностію краски мѣстныя и сродныя лицамъ и сценѣ, на коей они дѣйствуютъ. Драматическое движеніе, данное сему произведенію, есть опытъ новый и мастерской. Стихъ:

И вскорѣ скрылися въ туманѣ,

— легкая черта необыкновеннаго искусства. Она довершаетъ картину превосходнымъ образомъ. Воображеніе слѣдуетъ взоромъ за шаманами, скрывающимися въ туманѣ, какъ и самая слава ихъ отечества, которое они оплакиваютъ. Бой Ермака съ Мегметъ-Куломъ оживляется въ глазахъ читателей, и звучность стиховъ, разительныхъ и твердыхъ, дополняетъ обманомъ слуха обманъ глазъ, обольщенныхъ искусствомъ поэта. — Г-жа Сталь въ *Десятилѣтнемъ изгнаніи* говоритъ: „Русскій языкъ очень звонокъ; я готова сказать, что въ немъ есть что-то металлическое“. Можно подумать, что она сдѣлала это заключеніе, слушая стихи изъ упомянутаго отрывка.

Въ *Освобожденіи Москвы* болѣе движеній и дѣйствія, чѣмъ въ нѣсколькихъ пѣсняхъ *Россіады*, выбранныхъ на произволъ. Поэтъ даетъ въ первомъ произведеніи образецъ живописный боя, или по-

единка, здѣсь образецъ битвы. Сжатая, но мастерскими чертами означенная картина ужаса, распространяемаго пирующею смертію, отличается отдѣлкою совершенною. Тутъ, въ нѣсколькихъ стихахъ, приведено все, что́ можетъ возбудить въ сердцѣ чувство сострадания къ жертвамъ войны и опустошенія, всегда ей сопутствующаго. Вообще сіи два произведенія носятъ на себѣ отпечатокъ силы безъ напряженія, смѣлости безъ своевольства, искусства безъ принужденія, что составляетъ въ поэтѣ нашемъ отличительные признаки его лирическаго дарованія. Желательно, чтобы данный имъ примѣръ: почерпать вдохновеніе поэтическое въ источникѣ исторіи народной, имѣлъ болѣе подражателей. Источникъ сей нынѣ расчищенъ рукою искусною и въ нѣдрахъ своихъ содержитъ все то, что можетъ даровать жизнь истинную и возвышенную поэзіи. Пора, выводя ее изъ тѣснаго круга общежительныхъ удовольствій, вознести на степень высокую, которую она занимала въ древности, когда поучала народы и воспламеняла ихъ къ мужеству и добродѣтелямъ государственнымъ. „Должно непремѣнно,“ говоритъ Г-жа Сталъ въ помянутой книгѣ, „чтобы Русскіе писатели почерпали поэзію въ ближайшихъ чувствахъ, таящихся у нихъ во глубинѣ души. Они донынѣ, такъ сказать, шевелятъ только губами, и никогда народъ, столь пылкій, не можетъ быть растроганъ такими глухими звуками!“ Постараемся избѣгнуть сего справедливаго упрека, и пусть поэзія, мужая вмѣстѣ съ вѣкомъ, отстаетъ отъ игръ ребяческихъ, въ коихъ нѣжится ея продолжительное отрочество.

Въ *Гласѣ Патріота*, можетъ быть, преимущественнѣе царствуетъ сей восторгъ, сіи лирическія движенія, о коихъ многіе толкуютъ, но кои не многимъ извѣстны. Стихотвореніе сіе было писано поэтомъ въ Сызрани, по невѣрному и, такъ сказать, еще пророческому извѣстію о рѣшительной побѣдѣ Суворова надъ Поляками. Поэтъ разувѣрился въ истинѣ воспѣтаго имъ торжества; но не менѣе того послалъ онъ свои стихи къ Державину, по привычкѣ довѣрять ему всѣ вдохновенія своей музы. Они получены были въ Петербургѣ почти въ одно время съ извѣстіемъ о плѣненіи Костюшки, и тотчасъ

напечатаны Державинымъ, на счетъ Кабинета, съ перемѣною стиха:

Исчезла Собіесковъ слава!

въ стихъ:

Костюшкина исчезла слава!

перемѣна, скажемъ мимоходомъ, болѣе историческая, чѣмъ поэтическая. Весь городъ и сама Екатерина почитали тогда сіи стихи за стихи Державина, замѣчая въ нихъ нѣкоторые его пріемы и разсчитывая, что въ отдаленіи не могло еще дойти извѣстіе, только передъ тѣмъ въ Петербургѣ полученное. Въ семъ стихотвореніи нѣтъ, конечно, исполинской силы и роскоши поэтической, которыя видимъ въ произведеніи Державина, писанномъ на тоже событіе; но за то нѣтъ въ Державинѣ искусства, осторожности, не вредящей, впрочемъ, смѣлости движеній лирическихъ, и вообще той отдѣлки и чистоты, которыя отличаютъ нашего поэта.

Въ стихахъ *Къ Волгѣ*, какъ и во всѣхъ его другихъ, не обнаруживается стремительность пламенная, которая, преодолѣвая всѣ оплоты, исторгаетъ и невольное удивленіе; но видно сіе искусное благоразуміе поэта, предписывающее ему совѣтоваться съ своимъ геніемъ и пользоваться принадлежностями, ему сродными. Поэтъ, воспѣвая Волгу, не увлекается, подобно пѣвцу *Водопада*, воображеніемъ своенравнымъ и неукротимымъ; но, управляя имъ, описываетъ вѣрно и живо то, что видитъ, и заимствуетъ изъ преданій историческія воспоминанія для отдѣлки картины не обширной, не яркой, но стройной, свѣжей и правильной.

Размышленіе по случаю грома—содержитъ стихи сильные, точные, гдѣ слова, такъ сказать, въ обрѣзъ и на перечетъ, заставляютъ забывать о недостаткѣ риѳмы,—украшенія стиховъ хорошихъ и необходимости стиховъ посредственныхъ. Самое содержаніе, кажется, заимствовано изъ Нѣмецкой поэзіи. Въ одахъ Гораціанскихъ, подражаніе одѣ I-й изъ III книги можетъ назваться классическимъ.—Пѣсни его долго пользовались—однѣ съ пѣснями Нелединскаго,—славою быть присвоенными поломъ, для коего онѣ пишутся, въ то время, когда Русскій языкъ

не былъ еще признанъ граціями. Мы имѣемъ множество пѣсень, но большая часть изъ нихъ могутъ быть уподоблены древнимъ монетамъ, покоящимся въ кабинетахъ ученыхъ, но непускаемыхъ въ обращеніе; если изъ огромныхъ пѣсенниковъ нашихъ исключить всѣ пѣсни, которыя не поются, то пришлось бы книгопродавцамъ преобразовать свои толстые томы въ маленькія тетрадки.

Какъ Фонъ-Визинъ одинъ написалъ Русскую комедію, въ коей изобличаются дурачества и пороки не заимствованные, а природные, не пошлые, а личные; такъ и нашъ поэтъ одинъ написалъ и, къ сожалѣнію, одну Русскую сатиру, въ коей осмѣивается слабость, господствовавшая только на нашемъ Парнасѣ. *Недоросль* и *Чужой толкъ* носятъ на себѣ отпечатокъ народности, мѣстности и времени, который, отлагая въ сторону искусство авторское, придаетъ имъ цѣну отличную. Легко можно написать комическую сцену, или десятокъ рѣзкихъ стиховъ сатирическихъ, при талантѣ и начитанности; но быть живописцемъ образцовъ, посреди коихъ живемъ, писать картины не на память, или наобумъ, но съ природы, ловить черты характеристическія, оттѣнки въ физіономіи лицъ и обществъ, можно только при умѣ наблюдательномъ, прозорливомъ и глубокомъ. Тогда удовольствіе соединяется съ пользою въ произведеніи искусства, и авторъ достигаетъ высоты назначенія своего: быть наставникомъ сограждан.—*Сокращенный переводъ Ювеналовой сатиры*, если не вездѣ равно выдержанъ, то по крайней мѣрѣ отличается блестящими и мужественными стихами и вообще одушевленъ тѣмъ благороднымъ негодованіемъ, которое было Аполлономъ Римскаго сатирика.—Переводъ изъ Попа, хотя и поставленъ въ числѣ посланій, можетъ почтенъ быть за сатиру, въ коей поэтъ остроумно, а иногда и съ чувствомъ, жалуется другу своему на положеніе въ обществѣ автора, коему не рѣдко жить худо и отъ друзей и отъ враговъ его. Сей переводъ отдѣланъ тщательнѣе и удачнѣе предъидущаго: свободность въ стихосложеніи, правильность и красивость слога, почти вездѣ постоянная естественность языка стихотворнаго, даютъ право назвать сіе произведеніе и первымъ опытомъ и едва-ли

не лучшимъ образцомъ такого рода поэзіи на языкѣ нашемъ.

Посланіе къ Карамзину изобилуетъ красотами живописной поэзіи и вообще ознаменовано духомъ унынія трогательнаго, потому что въ немъ отзывается истина чувства, а не холодное притворство поддѣльной чувствительности. Стихи *Къ графу Румянцову* отличаются легкостію, приличіемъ, тонкостію вѣжливости, обнаруживающею дарованіе природное, но воспитанное и изощренное въ обществѣ: такъ писали Французы въ лучшее время ихъ литтературы, но никто такъ не писывалъ у насъ до нашего автора.—Сколько истинной поэзіи и чувства въ посланіи *Къ Друзьямъ*, которое одно могло бы, если нужно, служить доказательствомъ, что достоинство поэта нашего не ограничивается однимъ искусствомъ и умомъ живымъ, но всегда холоднымъ, когда душа не участвуетъ въ его твореніяхъ! Вольтера также упрекали въ недостаткѣ чувствительности, но его стансы *Къ Сидевилю*, которые если не съ искусствомъ, то по крайней мѣрѣ съ чувствомъ переведены Херасковымъ, краснорѣчиво опровергаютъ такое нареканіе. Обвинителямъ нашего поэта назову стихи *Къ Друзьямъ*, и если они сами не носятъ въ себѣ души черствой, то должны признаться, что и сквозь наружность, часто холодную, отражается въ его дарованіи душа теплая и внимательная къ сладостнымъ вдохновеніямъ унынія.

Но въ родѣ легкихъ стихотвореній, о коихъ съ такимъ неумѣстнымъ презрѣніемъ говоритъ и спѣсивое педантство, оцѣняющее произведенія искусства на вѣсъ, и тупое невѣжество, которое нескоро разглядываетъ и тускло видитъ,—поэтъ нашъ сколько написалъ прекраснаго? Многіе, придерживаясь буквальнаго значенія такъ называемыхъ легкихъ стихотвореній, полагаютъ, что они такъ называются потому, что всякому ихъ писать легко, забывая, или вовсе не зная, что самая легкость наружная есть часто вывѣска побѣжденной трудности. Искусство нравиться есть тайна, которая, даруемая ли природою, или похищаемая упорнымъ усиліемъ, въ обоихъ случаяхъ достойна уваженія и зависти; впрочемъ, въ послѣдней дани ей не многіе и отказываютъ.

Какая стройность въ языкѣ, какое мастерство въ сти-

хосложеніи блеститъ въ стихахъ *Къ Дельфирѣ*, *Къ ней же* и въ другихъ, надписанныхъ къ женщинамъ! Прекрасный полъ можетъ, посредствомъ ихъ, примириться съ Русскими стихами и по нихъ учиться красотамъ языка, который еще ожидаетъ, чтобы умныя женщины присвоили его себѣ и ввели въ употребленіе для разговора. Какая свѣжесть и прелесть въ стансахъ *Къ Карамзину*, въ стансахъ: *Я счастливъ былъ!* Сколько игривости и любезной небрежности въ стихахъ: *Отъѣздъ къ Машѣ*! Въ сихъ игрушкахъ ума не замѣтенъ трудъ авторскій: кажется, что стихи написаны не перомъ рачительнымъ, а набросаны рукою легкою и своевольною. Въ *надписяхъ*, *эпиграммахъ* и другихъ мелкихъ стихотвореніяхъ поэтъ нашъ открылъ дорогу своимъ преемникамъ. До него не умѣли ни хвалить тонко, ни насмѣхаться остроумно. Мадригалы и эпиграммы нашихъ старыхъ умниковъ давно поблекли или притупились, и пробуждаютъ развѣ одну закоренѣлую улыбку привычки на устахъ ихъ суевѣрныхъ поклонниковъ. Мелочи нашего поэта у всѣхъ въ памяти и присвоены общимъ употребленіемъ. Кто, видя безобразную живопись, не вспоминаетъ объ Ефремѣ? Кто, встрѣчая супруга, какихъ много, не готовъ напомнить ему *Супружню молитву*, или, встрѣчая инаго вельможу, не готовъ воскликнуть: *И это человѣкъ*! Кому не приходило въ голову или, лучше сказать, въ сердце сказать съ поэтомъ у ногъ милой женщины:

Ты-бъ лучше быть могла, но лучше такъ, какъ есть!

Кто изъ родителей, имѣвшихъ несчастіе оплакивать смерть дѣтей, не признаетъ истины и силы стиха, какъ бы вырвавшагося изъ родительской души, пораженной утратою:

О небо! и дѣтей ужасно намъ желать!

Въ другихъ родахъ стихотворства поэтъ оставилъ намъ, какъ мы видѣли, образцы своего дарованія, образцы изящные, и мы сожалѣемъ, что оставилъ ихъ не болѣе. Въ басняхъ завѣщаетъ онъ намъ славу полную. Число басень, имъ написанныхъ, доказываетъ, что онъ занимался ими охотнѣе, нежели

инымъ родомъ поэзіи; но изъ того не слѣдуетъ, что сей родъ свойственнѣе другихъ его дарованію. По слогу и стихосложенію Хемницера видимъ, что ему можно было писать только однѣ басни; по басни И. И. Дмитріева, если-бъ и не оставилъ онъ другихъ памятниковъ поэтическихъ, служили бы доказательствомъ, что его гибкое дарованіе способно къ разнообразнымъ измѣненіямъ. Кажется, неоспоримо, что онъ первый началъ у насъ писать басни съ правильностію, красивостію и поэзіею въ слогѣ. Говорить не въ шутку о каррикатурныхъ притчахъ Сумарокова смѣшно и безразсудно: обыкновенно простота его есть плоскость, игривость — шутовство, свободность — пустословіе; живопись — мѣстами яркое, но по большей части грубое малярство. О Хемницерѣ мы уже осмѣлились сказать свое мнѣніе: басни его наги, какъ истина, пренебрегшая хитрости искусства, коего союзъ ей нуженъ, когда она не столько поражать, сколько увлекать хочетъ, не столько покорять, сколько вкрадываться въ сердца людей, пугающихся наготы и скоро скучающихъ тѣмъ, что ихъ непостоянно забавляетъ. Согласимся, что если нравственная цѣль басни и постигнута имъ, то не прокладывалъ онъ къ ней слѣдовъ піитическихъ, и въ оправданіе приговора нашего, если покажется онъ излишне строгимъ, замѣтимъ, что мы здѣсь судимъ болѣе о литературномъ, чѣмъ о нравственномъ достоинствѣ басни. Барковъ, болѣе извѣстный по рукописнымъ твореніямъ, нежели по печатнымъ переводамъ классическихъ поэтовъ древности, переложилъ въ шестистопные стихи всѣ басни Федра. Въ переводѣ своемъ старался онъ придерживаться краткости и точности подлинника, и за исключеніемъ выраженій обветшалыхъ, черствыхъ и какой-то тупости въ стихосложеніи, пороковъ, кои должно приписывать болѣе времени, нежели поэту, — басни его и теперь еще можно читать съ пріятностію, хотя онѣ и преданы забвенію несправедливому. Херасковъ оставилъ намъ полную книжку басень, подпавшихъ жребію его трагедій и комедій; бо́льшая часть изъ нихъ отличается скудостію мыслей и слабостію изобрѣтенія, но притомъ и легкостію въ стихосложеніи и свободою въ разсказѣ. Майковъ, творецъ нѣсколькихъ поэмъ комическихъ, въ коихъ главный недостатокъ

есть отсутствіе комической веселости, то есть души подобныхъ твореній, написалъ также довольное число басень *нравственныхъ*, по выраженію издателей, но не піитическихъ, по приговору критики. Вѣроятно, что въ нихъ достойнѣйшими примѣчанія стихами могутъ быть слѣдующіе. *Лягушки, просящія о царѣ*, описывая Юпитеру картину безпорядковъ отъ безначальства своего, говорятъ, что у нихъ сильные притѣсняютъ слабыхъ:

И кто кого смога,
Такъ тотъ того въ рога.

Сіи лягушечьи рога могутъ идти въ собраніе рѣдкостей естественныхъ, или, лучше сказать, сверхъ-естественныхъ, коими своенравная природа угощаетъ на-заказъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ баснописцевъ. Лучшее доказательство первенства нашего автора въ числѣ Русскихъ баснописцевъ есть то, что не примѣръ Сумарокова и Хемницера, о другихъ и говорить не кстати, но его примѣръ возбудилъ многихъ подражателей и обогатилъ поэзію нашу баснями, не въ соразмѣрности по числу хорошихъ съ другими отраслями поэзіи. Напрасно заключаютъ многіе изъ богатства нашего, что басни легче другаго пишутся. Одъ, буде называть одами все то, что выпущено у насъ въ свѣтъ подъ симъ общимъ названіемъ, не менѣе, если не болѣе басень; причина тому, что никто изъ поэтовъ не дѣйствовалъ на общій вкусъ сильнѣе Ломоносова, Державина и Дмитріева. Вотъ главнѣйшая причина, а другая та, что басня если не легче, то скорѣе пишется, чѣмъ посланіе, или иное твореніе, принадлежащее къ роду легкой поэзіи и обыкновенно требующее бо́льшаго числа стиховъ; прибавимъ еще, что басня, имѣя всегда общенародную занимательность, естественнѣе влечетъ къ подражанію, нежели другое произведеніе, котораго достоинство зависитъ иногда отъ условій личныхъ и мѣстныхъ. Здѣсь, вѣроятно, источникъ изобилія нашего въ семъ родѣ литтературы. Оставляя догадки, болѣе или менѣе замысловатыя, на коихъ основываютъ происхожденіе басни, постараемся пріискать особенно намъ сродную и нравственную причину укорененія баснотворства у насъ. Яркая черта ума Русскаго есть насмѣшли-

вость лукавая; но наша острота, не заключающаяся, какъ острота Французская, въ игрѣ словъ, или тонкомъ выраженіи мысли, есть болѣе живописная. Французскія шутки бѣглы и, такъ сказать, не осязательны, какъ двусмысленное значеніе или переливающіеся оттѣнки словъ, изъ коихъ онѣ составлены; наши обыкновенно въ лицахъ, и болѣе говорятъ чувству, чѣмъ понятію. Французскій остроумецъ ловко и проворно дѣйствуетъ орудіемъ остроты и колетъ имъ свою жертву; Русскій владѣетъ кистію, коею расписываетъ лица на-смѣхъ. Шутки Французскія вырываются подъ вдохновеніемъ Аполлона и напоминаютъ, что онъ вооруженъ стрѣлами мѣткими и язвительными: наши отзываются добродушіемъ веселаго Мома, который насмѣхается, чтобы смѣшить и смѣяться. Всякая Французская насмѣшка годится на остріе эпиграммы или сатирическаго куплета; лучшія Русскія шутки могутъ служить основою забавныхъ каррикатуръ. Замѣтимъ, что при насмѣшливости ума Русскаго, законы нашего общежитія, подкрѣпленные, а можетъ быть и порожденные законами государственными, не позволяя ему преступать тѣсныя границы, назначенныя строгимъ уваженіемъ къ личности и ко многимъ освященнымъ условіямъ, обязываютъ его прибѣгать къ уловкамъ лукавства, когда онъ хочетъ предаваться господствующей своей наклонности. И послѣ того легко согласиться можно, что басни должны были укорениться у насъ и часто утаивать, подъ своимъ покровомъ, обнаженіе истины или слишкомъ смѣлой, или слишкомъ язвительной. Обращая вниманіе на Русскія пословицы, сей отголосокъ ума народовъ, найдемъ еще новые доводы сродства нашего съ баснями: сколько изъ нихъ живописныхъ и драматическихъ, въ коихъ герои Езопа играютъ важныя роли, и сколько изъ нихъ могутъ служить основою басень.

„Говорятъ, что Лафонтенъ ничего не изобрѣлъ: онъ изоб-„рѣлъ свое искусство писать, и его изобрѣтеніе не сдѣлалось „общимъ.“ Такъ судилъ Лагарпъ во Франціи, и такъ безъ сомнѣнія судилъ бы онъ у насъ о нашемъ Лафонтенѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что поэтъ нашъ болѣе всѣхъ породнился съ своими подлинниками; но достоинство его заключается не въ томъ, что

онъ не отступаетъ отъ Лафонтена и Флоріана и удачно подражаетъ ихъ красотамъ, а въ томъ, что онъ у насъ превосходенъ, и что красоты стиховъ его, правильныхъ, изящныхъ и живыхъ, суть красоты на языкѣ нашемъ образцовыя. Шамфоръ говоритъ о Лафонтенѣ: „Ему одному предоставлено было сочетать въ краткости аполога оттѣнки рѣзкіе и краски противоположныя. Часто одна басня соединяетъ въ себѣ простоту Марота, игривость и замысловатость Воатюра, черты поэзіи возвышенной и нѣсколько такихъ стиховъ, кои силою смысла навсегда врѣзываются въ памяти.“ Естественное примѣненіе сего сужденія къ автору, о коемъ пишемъ, само собою представится уму читателей, вникнувшихъ въ его искусство. Какое постоянное разнообразіе въ слогѣ, пріемахъ и украшеніяхъ и какая вездѣ вѣрность въ порядкѣ выраженій, картинъ и принадлежностей.

Дубъ съ Тростію вступилъ однажды въ разговоры.

Какое мастерское изложеніе! Будь разговоръ начатъ тростію, а не дубомъ, и этотъ стихъ неумѣстною важностію погрѣшилъ бы противъ вѣрности: здѣсь онъ отвѣчаетъ и лицу, выглядывающему изъ-за дуба, и самому преимуществу, данному природою гордому временщику лѣсовъ надъ слабою и смиренною тростію. Мы остановились на первомъ примѣрѣ, который намъ встрѣтился, но подобныхъ примѣровъ найдется тысяча, еще разительнѣйшихъ. А. Е. Измайловъ, критикуя, въ хорошемъ сочиненіи своемъ: *О разсказѣ басни*, слѣдующій стихъ за приведеннымъ выше:

Жалѣю, Дубъ сказалъ, склоня къ ней важны взоры,

говоритъ: „Дубъ не имѣетъ глазъ, слѣдовательно не можетъ склонять взоровъ. Деревьямъ и растеніямъ позволяется въ баснѣ только говорить, а не дѣйствовать, подобно животнымъ.“ Кажется, что сіе замѣчаніе болѣе изыскано и строго, чѣмъ справедливо. Если въ баснѣ вся природа, одушевленная и вещественная, пользуется преимуществомъ словесныхъ тварей и даромъ размышленія; то можно, кажется, ей безъ исключенія дозволить и видѣть и слышать наравнѣ съ другими животны-

ми.—Здѣсь приходитъ на умъ вопросъ естественный: если отказать дубу въ глазахъ, то какъ же увидитъ онъ трость и разсмотритъ, что она растетъ

На тонкихъ берегахъ владычества Эола?

Приписывать дубу *зрѣніе* внутреннее, которое не всѣми признается и въ людяхъ, подверженныхъ дѣйствію магнетизма животнаго, еще гораздо сверхъестественнѣе и произвольнѣе. Басня *Дубъ и Трость* была любимѣйшею баснею Лафонтена; не соглашаясь съ нимъ, не отдадимъ исключительнаго преимущества надъ другими и переводу, хотя по слогу стоитъ онъ въ числѣ лучшихъ произведеній нашего поэта. За исключеніемъ двухъ словъ, неправильно употребленныхъ (*злачна*, вмѣсто *злачнаго; воружась* вмѣсто *вооружась*), вообще всѣ стихи совершенны, а иные отдѣляются еще и отъ общаго совершенства блескомъ преимущественнымъ и красотою отличною.

Лучшія басни его, по нашему мнѣнію, слѣдующія: *Дубъ и Трость; Пѣтухъ, Котъ и Мышенокъ; Мышь, удалившаяся отъ свѣта; Чижикъ и Зяблица; Лиса проповѣдница; Два голубя; Человѣкъ и Конь; Исторія; Прохожій; Два друга; Котъ, Ласточка и Кроликъ; Воспитаніе Льва; Три Льва; Смерть и Умирающій; Жаворонокъ съ дѣтьми и Земледѣлецъ; Старикъ и трое Молодыхъ; Искатели Фортуны; Царь и два Пастуха.* О нихъ почти тоже можно сказать, что сказано передъ тѣмъ о нѣкоторыхъ стихахъ изъ *Дуба и Тростц*: онѣ лучшія не потому, чтобы остальныя были посредственны, но лучшія изъ басень нашего поэта, которыя суть лучшія на языкѣ нашемъ. Прилагательное: *лучшее* имѣетъ смыслъ относительный и личный; посредственное въ Херасковѣ было бы лучшимъ въ Николевѣ, а *лучшее* Хераскова обыкновеннымъ въ Державинѣ. По красивости въ слогѣ и живости въ поэзіи, назвали бы совершеннѣйшею басню: *Чижикъ и Зяблица*, если бы нравственное ея содержаніе было занимательнѣе, а предметъ глубокомысленнѣе или замысловатѣе. Какая утренняя свѣжесть въ начальныхъ чертахъ! сколько чувства и простоты въ стихахъ:

Но безъ товарища и радость намъ не въ радость:
Желаешь для себя, а ищешь раздѣлить.

Смотрите далѣе, какъ темнѣетъ свѣтлая и веселая картина, по мѣрѣ приближающейся грозы: передъ вами оживляется сельское зрѣлище, не уступающее въ живости и разнообразіи ни кисти художника, ни творенію самой природы. Томсонъ и Делиль не лучшими стихами живописали природу, и предали свои поэмы безсмертію. Но почти жалѣть должно о роскошествѣ поэта, истощившаго все богатство поэзіи для выраженія истины обыкновенной, хотя и облеченной въ хорошіе стихи:

Ахъ! всякъ своей бѣдой ума себѣ прикупитъ,
Впредь утро похвалю, какъ вечеръ ужъ наступитъ.

Конечно, можно выисканными примѣненіями вывести изъ нравоученія сей басни послѣдствіе обширнѣйшее; но подробности поэзіи, столь увлекательной, не дозволяютъ вниманію оставить ихъ для исканія истины удаленной, и между тѣмъ, какъ услаждаютъ онѣ воображеніе, не удовлетворяютъ достаточно потребностямъ ума, который ищетъ пищи существенной и подъ цвѣтами удовольствія. Замѣтимъ здѣсь мимоходомъ, съ какимъ искусствомъ разнообразитъ нашъ поэтъ описаніе грозы, которое встрѣчается у него въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ. Въ *Мыши, удалившейся отъ свѣта* — разсказъ мастерской: какъ шутки повѣствователя важны, и какъ забавна его важность! Не наблюдайте искуснаго равновѣсія, и тотчасъ забавность сбивается на шутовство, а важность переходитъ въ принужденность и безобразное напряженіе. Какая историческая точность и ясность въ отправленіи посольства, въ рѣчи, произнесенной имъ передъ *затворницею!* — Лафонтена сравнивали съ Мольеромъ, но не по комедіямъ, а по баснямъ. Въ нашемъ поэтѣ проскакиваютъ несомнительные признаки комическаго дарованія. Соглашаясь съ Шамфоромъ, который говоритъ, что баснописецъ, перенося въ свои басни изображеніе нравовъ, присвоиваетъ апологу одну изъ прекраснѣйшихъ принадлежностей комедіи: характеры; прибавимъ, что разговорный языкъ поэта нашего, встрѣчающійся въ басняхъ и сказкахъ его, удостовѣряетъ насъ, что онъ, вѣрный въ изображеніи лицъ, умѣлъ бы сохранить ту вѣрность и въ языкѣ, коимъ онъ заставилъ бы говорить ихъ на

сценѣ. Стихотворный комическій языкъ у насъ еще не существуетъ, не смотря на нѣкоторые опыты, довольно удачные; женщинъ заставляютъ говорить на сценѣ книжнымъ языкомъ,— но свѣтскія женщины не хотятъ учиться языку, покоренному правиламъ: вездѣ своенравныя, онѣ сами творятъ свои правила, и самихъ законодателей языка научаютъ имъ повиноваться. Какъ намъ позволительно жаловаться на иныхъ, что они завладѣли комическою сценою, такъ нашему поэту можемъ пенять, что, уполномоченный комическою музою, не хотѣлъ онъ огласить своихъ законныхъ правъ на сцену, хотя однимъ опытомъ, хотя для того, чтобы вывести на нее *Трисотина* и *Вадіуса*, которыхъ такъ забавно заставляетъ онъ говорить по русски.

Въ баснѣ: *Два Голубя* онъ даетъ намъ лучшіе образцы стиховъ элегіи, а въ *Донъ-Кишотѣ* лучшій образецъ стиховъ пастушескихъ. *Человѣкъ и Конь* не изобилуетъ, какъ другія басни, роскошью поэтическою, но стихами полными, живыми и нравоученіемъ глубокомысленнымъ входить въ число лучшихъ философическихъ басень, то есть въ лучшее отдѣленіе басень. Въ *Воспитаніи Льва*, едва ли не превосходнѣйшей баснѣ разсудительнаго Флоріана, переводчикъ достигнулъ совершенства повѣствованія строгаго, отвѣчающаго важной нравственности содержанія. Какъ забавно мимоходомъ придаетъ онъ торжественнымъ одамъ *мохнатыхъ пѣвцовъ* казенныя выраженія лириковъ, осмѣянныхъ въ *Чужомъ толкѣ*! Какая вѣрность въ языкѣ звѣрей, призванныхъ львомъ на совѣтъ, изъ коихъ каждый намеками выдаетъ прямо себя за лучшаго наставника новорожденному львенку!

Совѣты и вездѣ почти на эту стать,

прибавляетъ опытный наблюдатель, съ простосердечнымъ лукавствомъ. Сначала до конца слогъ въ сей баснѣ твердъ, исправенъ; стихи всѣ до одного *выбиты* мастерски. Въ нынѣшнемъ изданіи поэтъ присоединилъ ее къ сказкамъ, но мы сомнѣваемся въ справедливости такого раздѣленія. Всякое повѣствованіе, въ коемъ дѣйствуютъ животныя или предметы вещественные, свойственнѣе причислить къ баснямъ, не смотря на слогъ и

драматическій ходъ повѣствованія. Краткое повѣствованіе, въ коемъ дѣйствуютъ одни люди или существа возвышеннѣйшія, принадлежитъ къ сказкамъ.

Котъ, Ласточка и Кроликъ почитается одною изъ лучшихъ басень Лафонтена. Прочтите басню въ переводѣ, и подивитесь творческому искусству переводчика; говоримъ: *творческому*, ибо достоинство изобрѣтенія состоитъ здѣсь не въ вымыслѣ содержанія, но въ употребленіи языка и красокъ, кажется несовмѣстныхъ съ поэзіею. Какъ естественъ *крысодавъ*, какъ хорошъ этотъ постный, но между тѣмъ *жирный котъ*, или вѣроятно отъ того и жирный, что онъ постный: *мужъ святъ изъ всѣхъ котовъ!* Въ басняхъ любятъ иногда присвоивать собственныя имена людей звѣрямъ, выводимымъ на сцену; это гораздо легче, нежели присвоивать имъ кстати страсти и слабости людскія. Нашъ баснописецъ только здѣсь слѣдовалъ сему обыкновенію, и единственно для того, что кролику нужно было на доводахъ родословія утвердить право собственности.

Басни: *Орелъ и Каплунъ и Магнитъ и Желѣзо* суть счастливыя подражанія баснямъ Арно, одного изъ лучшихъ современныхъ намъ поэтовъ Французскихъ. Въ пятомъ изданіи своихъ стихотвореній нашъ поэтъ воспользовался примѣчаніемъ А. Е. Измайлова на окончательные стихи первой изъ помянутыхъ басень. Такъ истинное дарованіе сознается въ своихъ ошибкахъ и дорожитъ совѣтами добросовѣстной и благоразумной критики; но съ другой стороны презираетъ прицѣпки вздорливаго недоброжелательства и приговоры взыскательнаго невѣжества.

Если достоинство стиховъ приноситъ честь искусству поэта, то выборъ содержанія басень не менѣе приноситъ чести образу его мыслей и чувствованій. Всѣ басни нашего переводчика имѣютъ цѣль болѣе или менѣе философическую; и басня, которая должна быть прозрачнымъ покровомъ истины, никогда не служитъ у него нарядомъ лести, или прикрасою какого-нибудь мнѣнія въ честй. Къ сожалѣнію, признаться должно, что у Лафонтена цвѣты прекраснѣйшей поэзіи темнѣли иногда отъ куреній лести; но онъ остался другомъ гонимаго Фуке, ходатайствомъ за него въ стихахъ прекрасныхъ предъ тропомъ, и поэ-

ты не краснѣютъ за собрата, обольщеннаго приманками власти, но неразвращеннаго ими. Должно при семъ вспомнить, что Лафонтенъ жилъ въ такое время, когда обычаемъ, освященнымъ давностію, писатель не могъ обойтись безъ покровителя, а покровитель безъ раболѣпной приверженности, въ царствованіе счастливаго властителя, который приковалъ къ колесницѣ своей дарованія и славу великихъ мужей вѣка, пріявшаго отъ него свое имя, но отъ нихъ свой лучшій блескъ и прочнѣйшую славу. Лудовикъ XIV обольщалъ и унижалъ писателей, осаждавшихъ его дворъ. И какъ дорого платили они за почести, которыя могутъ возвысить людей ничтожныхъ, но ничтожны для людей, возвышенныхъ неземнымъ достоинствомъ. Великій Расинъ, коего геній обширный умѣлъ возноситься до великихъ событій исторіи, но душа слабая не умѣла быть выше дневныхъ обстоятельствъ и мелкихъ неудачъ, умеръ жертвою царской немилости. Лафонтенъ, долго по недоброжелательству вельможъ, не былъ допускаемъ до почести академической, которая во дни *золотаго вѣка* была высшею мѣтою невиннаго честолюбія величайшихъ умовъ. По смерти пріятельницы своей, едва не отплылъ онъ въ Англію—искать себѣ пристанища и покровителей. Пусть такіе разительные примѣры и многіе другіе, если голосъ внутренняго убѣжденія не достаточенъ, научаютъ писателей дорожить независимостію и служить одной истинѣ, а не лицамъ, какъ они ни щедры на обольщенія, и какъ она ни скупа и ни медленна въ наградахъ.

Изданіе басень поэта нашего, сличеннаго съ Русскими его предмѣстниками и послѣдователями, обогатило бы словесность нашу книгою, которой ей не достаетъ: впрочемъ, мы богаты недостатками. Но хорошихъ басень у насъ довольно для того, чтобы родить желаніе любоваться своими богатствами и съ разборчивостію заняться ихъ оцѣнкою.—По счастію, совершенство нашего баснописца не испугало, а подстрекнуло къ соревнованію многихъ истинныхъ поэтовъ; прибавимъ: къ сожалѣнію, многихъ и подложныхъ; но они неизбѣжные гаеры, слѣдующіе по пятамъ за каждымъ образцовымъ дарованіемъ.

Въ числѣ первыхъ сыскался одинъ, который не только послѣдо-

вать, но, такъ сказать, бороться дерзнулъ съ нашимъ поэтомъ, переработывая басни, уже имъ переведенныя, и басни превосходныя, и мы благодарны ему за его смѣлость. Привлекая насъ къ себѣ, онъ не отучаетъ отъ своего предшественника; и мы видимъ, что къ общей выгодѣ дорога успѣховъ, открытая дарованію, не такъ тѣсна, какъ та дорога, на коей, по замѣчанію остроумнаго Фонъ-Визина, „двое, встрѣтясь, разойтись не могутъ, и одинъ другаго сваливаетъ“. Но г. Крыловъ, съ искренностію и праводушіемъ возвышеннаго дарованія, безъ сомнѣнія сознается, что если не взялъ онъ предмѣстника за образецъ себѣ, то по крайней мѣрѣ имѣлъ въ немъ примѣръ поучительный и путеводителя, угладившаго ему стезю къ успѣхамъ. Если и не ступать по слѣдамъ пробитымъ, то все легче идти по дорогѣ, на коей уже значатся слѣды. Г. Крыловъ нашелъ языкъ выработанный, многія формы его готовыя, стихосложеніе—хотя и нынѣ у насъ еще довольно упорное, но уже сколько-нибудь смягченное опытами силы и мастерства. Между тѣмъ забывать не должно, что онъ часто творецъ содержанія прекраснѣйшихъ изъ своихъ басень; и что если сіе достоинство не такъ велико въ отношеніи къ предмѣстнику его, который былъ изобрѣтателемъ своего слога, то оно велико въ сравненіи съ тѣми, которые не изобрѣли ни слога, ни содержанія своихъ басень, какъ говоритъ Арно, сравнивая съ Лафонтеномъ себя и другихъ Французскихъ баснописцевъ въ предисловіи къ своимъ замысловатымъ и эпиграмматическимъ баснямъ.

Здѣсь видѣли мы поэта счастливымъ побѣдителемъ предшественниковъ, образцомъ, открывшимъ дорогу послѣдователямъ и соперникамъ. Въ сказкахъ найдемъ его одного: ни за нимъ, ни до него никто у насъ не является на этой дорогѣ, проложенной новѣйшими писателями; они одни могутъ въ обществѣ, устроенномъ по новымъ условіямъ образованности, ловить черты и краски дѣйствія ограниченнаго, но богатаго оттѣнками, которое обыкновенно служитъ основой сказки. Нашъ отличный сказочникъ соединяетъ въ себѣ все, что́ составляетъ и существенное достоинство и роскошество таланта въ сказочникахъ, которые и у всѣхъ народовъ на-счету. Нигдѣ не оказалъ онъ

болѣе ума, замысловатости, вкуса, остроумія, болѣе стихотворческаго искусства, какъ въ своихъ сказкахъ; оставь онъ намъ только ихъ, и тогда занялъ бы почетное мѣсто въ числѣ избранныхъ нашихъ поэтовъ, и тогда могли бы мы передъ иностранцами похвалиться быстрыми успѣхами въ поэзіи ума и философіи, которая всегда является долго послѣ поэзіи природной, живописной и чувственной, царствующей иногда съ блескомъ и у народовъ дикихъ. Мы сказали, что поэтъ не имѣетъ въ этомъ родѣ предшественниковъ; ибо не кстати говорить здѣсь о сказкахъ, которыя читаются, хотя и не печатаются, а еще менѣе о тѣхъ, которыя хотя и напечатаны, но не читаются. У него почти совсѣмъ нѣтъ и послѣдователей, и рѣшительно ни одного соперника. Сумароковъ (Панкратій) писалъ сказки; но онѣ, въ сравненіи съ сказками нашего поэта, то, что святошныя игрища въ сравненіи съ истинною комедіею. Въ его сказкахъ встрѣчаются забавныя положенія, стихи удачные и смѣшные; но при самомъ смѣхѣ грустно смотрѣть на дарованіе, которое, не довольствуясь улыбкою зрителей образованныхъ, дурачится и ломается, чтобы возбудить громкій хохотъ райка. Райкомъ не должно пренебрегать ни въ какомъ отношеніи; но не его вкусу потребно угождать въ твореніяхъ искусства, а лучше стараться его образовать подъ ладъ изящнаго просвѣщенія, чѣмъ развращать вкусъ образованный—потворствомъ и угожденіями невѣжеству. Карамзинъ выдалъ начало прекрасной богатырской сказки, которая болѣе принадлежитъ къ числу народныхъ поэмъ и совершенно отдѣляется отъ рода сказокъ философическихъ и нравственныхъ, о коихъ идетъ здѣсь рѣчь. Батюшковъ написалъ сказку, отличающуюся поэтическими подробностями. Въ сказкѣ: *Оселъ Кабудъ*, усѣянной забавными чертами, В. Л. Пушкинъ оказалъ много искусства въ повѣствованіи; но онѣ обѣ перенесены на сцену намъ чуждую, гдѣ предстояло дарованію болѣе свободы въ дѣйствіи, и слѣдовательно менѣе славы въ успѣхѣ. Нашъ сказочникъ не оставляетъ насъ: онъ замѣчаетъ то, что каждый изъ насъ могъ замѣтить; умѣя наблюдать, разсказываетъ то, что всякій могъ разсказать, имѣя даръ повѣствованія. *Модная жена*—намъ коротко знакомая, добрый супругъ ея *Пролазъ*, ко-

торый *невиннымъ ремесломъ доползъ до права ѣздить шестеркою въ каретѣ*, человѣкъ, съ коимъ встрѣчаемся на всѣхъ перекресткахъ, на всѣхъ обѣдахъ именинныхъ и карточныхъ вечеринкахъ. *Миловзоръ*—образецъ всѣхъ *угодниковъ дамскихъ*, только съ тою разницею, что они не переняли у него искусства изъясняться правильно и красиво на языкѣ отечественномъ. Припадокъ чего-то такого, котораго и поэтъ не умѣлъ назвать, и нѣжныя ласки *Модной жены*, мѣсто дѣйствія, принадлежности и приборы, спасительная догадливость добрыхъ пенатовъ, *фиделькu* и *попугая*, все это блеститъ историческою вѣрностію, въ коей убѣждаемся не довѣренностію къ повѣствователю, а особенными опытами и чувствованіями.—Картина *князя Вѣтрова* изъясняетъ намъ, что̀ есть женихъ, и что̀ есть мужъ.—Въ обломкахъ посуды бѣднаго *Альнаскара* многіе воздушные строители видятъ развалины своихъ недостроенныхъ зданій; но многіе ли его примѣромъ отучатся строить на воздухѣ? Едва ли? и полно, жалѣть ли о томъ? Удивительный Вольтеръ, плѣнительный въ сказкахъ, какъ и вездѣ, говоритъ въ своей *Причудницѣ*:

Ah! croyez moi, l'erreur a son mérite!

Несчастный смертный, коему судьба отказываетъ часто въ уголкѣ земли, на коемъ могъ бы онъ утвердить хотя одну надежду, долженъ по крайней мѣрѣ имѣть свободный входъ въ область мечтательную, гдѣ, будучи хозяиномъ наравнѣ со всѣми, можетъ онъ выгрузить избытокъ своихъ ожиданій и уходить безпокойную дѣятельность упованій, часто обманутыхъ, но никогда неразувѣренныхъ. — *Причудница* нашего стихотворца едва ли не драгоцѣннѣйшій жемчугъ его поэтическаго вѣнца; *Вѣтрана* хотя и перенесена въ годы, современные старой Руси, но, по нраву своему, пресыщенію и скукѣ отъ счастія (которую излѣчить труднѣе, нежели скуку отъ несчастія, тому, у кого нѣтъ, какъ у *Вѣтраны*, доброй *Всевѣды*, бабушки, умѣющей ворожить), принадлежитъ также и нашему вѣку и всѣмъ вѣкамъ, въ коихъ люди будутъ неблагоразумны въ своихъ желаніяхъ и вѣтрены и непризнательны къ Провидѣнію.—Разбирать ли поэтическія красоты, черты веселости, остроумія, тонкой насмѣшки,

плѣнительной замысловатости, коими изобилуютъ сіи сказки? Должно будетъ повторить въ длинныхъ выпискахъ стихи, читанные, перечитанные и уважаемые свѣдущими любителями Русской поэзіи; но если найдутся въ Россіи изъ образованныхъ читателей такіе, которые еще не успѣли узнать ихъ за недосугомъ, то чѣмъ же лучше услужить имъ, какъ совѣтомъ прочесть ихъ въ первый часъ свободный?

Имѣлъ ли нашъ поэтъ, на поприщѣ своихъ литературныхъ успѣховъ, недоброжелателей и завистниковъ? Въ древнемъ Римѣ торжественная колесница побѣдителя въѣзжала въ городъ, окруженная и народомъ благодарнымъ и толпою невольниковъ, которые, вѣроятно, не раздѣляли общей радости, и про себя сопровождали клики восторга ругательствами ненависти и досады. Торжество писателя также ведетъ за собою толпу враждующихъ невольниковъ; но разница въ томъ, что они громкими поношеніями своими прерываютъ отголоски раздающихся похвалъ, и что народъ въ наши дни, жадный любитель всякихъ зрѣлищъ, не налагаетъ молчанія на дерзкія уста ненавистниковъ дарованія. Презирая ихъ ремесло, онъ какъ будто радуется оскорбленіямъ, которыя наносятъ они славѣ возвышенной; можно подумать, что такія оскорбленія облегчаютъ для него бремя уваженія, которое всегда подъ конецъ становится ему тяжкимъ. Толпа любитъ возносить угодниковъ временной своей горячности; но обыкновенно сердится на тѣхъ, которые держатся на высотѣ собственными силами: въ первомъ случаѣ ей весело и лестно быть покровительницею; въ другомъ оскорбительно быть постоянною данницею невольнаго почтенія. Впрочемъ, нашъ поэтъ, наравнѣ со всѣми другими писателями Русскими, за исключеніемъ Богдановича, имѣвшаго въ Карамзинѣ критика просвѣщеннаго, не былъ еще разбираемъ ученымъ и поэтическимъ образомъ. Нельзя назвать критикою статьи журнальныя, писанныя бѣгло и поверхностно о книгахъ, вновь выходящихъ. Въ иныхъ, а преимущественно въ статьяхъ, напечатанныхъ въ *Московскомъ Меркуріи* и *Цвѣтникѣ*, оцѣнены со вкусомъ нѣкоторыя изъ достоинствъ поэта. Въ другихъ, писанныхъ подъ вдохновеніемъ недоброжелательства и криводушія, встрѣчаются однѣ при-

дирки, частію основательныя, но болѣе произвольныя, которыя доказываютъ единственно, что критики хотѣли найти много погрѣшностей въ стихотвореніяхъ поэта, и въ самомъ дѣлѣ успѣли выискать ихъ нѣсколько. Одинъ изъ такихъ критиковъ сказалъ, напримѣръ, что стихотвореніе: *Каррикатура* — не что иное, какъ риѳменная проза; но на бѣду свою не догадался, что оно писано бѣлыми стихами; другой, не менѣе его догадливый, обвиняетъ поэта, что онъ пишетъ *состáрпся* а не *состарпся*, когда вся Русская Россія говоритъ и пишетъ одинаково съ авторомъ, и нѣсколько страницъ унизалъ замѣчаніями, неуступающими этому въ справедливости и замысловатости. Достойно сожалѣнія, что возраженіе на такую критику, писанное Д. Н. Блудовымъ и могущее служить образцомъ остроумія и искусства отражать нападенія несправедливыя, не имѣло доступа къ современнымъ журналамъ. Нельзя довольно надивиться, что у насъ, когда ничтожнѣйшее замѣчаніе на игру актера, или малѣйшее оскорбленіе, нанесенное неприкосновенному величеству писателя посредственнаго, зажигаетъ войну перьевъ, претворяетъ мирные журналы въ шумное поле битвы и вызываетъ изъ-подъ земли тысячу воителей, готовыхъ ратовать до истощенія силъ физическихъ, и долго по истощеніи терпѣнія читателей, брань, объявленная первымъ смѣльчакомъ писателямъ заслуженнымъ, не возбуждаетъ ни въ комъ ратной ревности. Поле битвы безспорное остается во владѣніи перваго наѣздника на его славу, не за тѣмъ, что онъ правъ, но за тѣмъ, что онъ одинъ. „Искони существуетъ, говоритъ Даламбертъ, заговоръ тайный и общій глупыхъ противъ умныхъ, и посредственности противъ дарованій превосходныхъ, отдѣленіе союза тайнаго и обширнѣйшаго бѣдныхъ противъ богатыхъ, малыхъ противъ большихъ и слугъ противъ господъ“. Наблюденіе Французскаго философа не наведетъ ли и насъ на истинную причину, отъ чего иные изъ нашихъ писателей должны отвѣчать каждый за себя, а другіе отвѣчаютъ другъ за друга? Но если посредственность внушаетъ своимъ клевретамъ духъ братства и единочувствія, отъ коихъ неудовольствіе одного разливается быстро и пламенно по всѣмъ звеньямъ безконечной цѣпи, то дарованіе внушаетъ своимъ избраннымъ расположеніе еще лучшее: духъ

равнодушія и презрѣніе къ враждебнымъ усиліямъ невѣжества, подъ какою бы личиною ни выказывалось оно, учености школьной, или ложнаго и феодальнаго патріотизма. И нашъ поэтъ, должно замѣтить къ чести его, хотя способный раздѣлаться и не съ нашими Фреронами, никогда не выходилъ передъ публику на защиту своихъ риѳмъ и уличеніе невѣжества, зная, что рано или поздно справится съ нимъ общественное мнѣніе, сей непогрѣшительный ареопагъ, который часто, вопреки нижнимъ судамъ, произноситъ рѣшительные и окончательные приговоры.

„Критикъ скупой на время, говоритъ замысловатый Риваролъ, будетъ искать пятенъ въ Расинѣ, а красотъ въ Кребильонѣ“. Подобно такому критику, начнемъ искать погрѣшностей и въ нашемъ поэтѣ, хотя для того, чтобы потѣшить людей, которые дорожатъ чужою ошибкою, думая—что мгновенное затмѣніе дарованія придаетъ блескъ ихъ постоянной ничтожности. Стараться угождать всѣмъ — есть правило, которое въ нравственномъ послѣдствіи можетъ завести далеко; но за чѣмъ отказывать въ угожденіи невинномъ, когда оно предписывается намъ и общежитіемъ и вѣжливостію? Мы замѣчали, для любителей изящнаго, красоты поэта и находили въ томъ собственное удовольствіе: подумаемъ и объ удовольствіи ближняго. Но съ чего начать? Какъ ни размышляемъ, какъ ни допрашиваемся безпристрастія; но не находимъ въ поэтѣ порока кореннаго, отличительнаго и неразлучнаго съ похвальными его свойствами. Сіи послѣднія имѣютъ въ немъ особенный признакъ, неизгладимое клеймо первостепенныхъ и другихъ его произведеній. Вотъ они: правильность языка, красивость слога, свободность стихосложенія, вѣрный вкусъ, умъ острый и замысловатый, воображеніе не стремительное, но живое, насмѣшливость не язвительная, но колкая, совершенство отдѣлки и вообще тотъ глянецъ искусства, который преимущественно замѣтенъ въ твореніяхъ Французовъ, и придаетъ послѣдній блескъ красотѣ, какъ художественная оправа удвоиваетъ достоинство драгоцѣннаго камня. Но гдѣ его сторона слабая, доступная, гдѣ искать *пяты Ахиллеса*, чтобы предать ее, беззащитную, на свободное уязвленіе малодушныхъ и задорныхъ самохваловъ критики. Повторять ли осужденіе,

коему подвергся и Депрео въ глазахъ нѣкоторыхъ Французскихъ критиковъ, и которое случалось слышать намъ отъ людей, отказывающихъ и поэту нашему въ первобытномъ огнѣ творческомъ, въ силѣ производительной? Но на чемъ основывать такое обвиненіе? Развѣ на томъ, чего не довершилъ онъ для бо́льшей славы своей и для бо́льшаго нашего удовольствія; ибо въ томъ, что́ онъ написалъ, изображается, напротивъ, мужество жизни, а не хилость безплодія. Одно твореніе, одинъ плодъ, равно какъ и тысяча, свидѣтельствуетъ о творческой способности. Многія творенія доказываютъ дѣятельность дарованія, малочисленныя лѣнь его; но лѣнь можетъ быть порокомъ въ человѣкѣ, а не въ поэтѣ. Можемъ жалѣть о ней для себя, но не въ правѣ осуждать его. Авторство не есть обязательство передъ публикою, и отъ того, что писатель нравится, не слѣдуетъ намъ взыскивать, чтобы онъ тѣшилъ насъ безъ отдыха. Обстоятельства жизни, склонности постороннія, занятія государственныя отвлекаютъ его отъ трудовъ литтературныхъ. Если нашъ поэтъ посвятилъ бы себя одной словесности, то безъ сомнѣнія имѣли бы мы и болѣе твореній и творенія пространнѣйшія. И такъ, можемъ единственно поживиться нѣсколькими пятнами, изъ коихъ бо́льшая часть отъ того и кидаются въ глаза, что встрѣчаются въ стихотвореніяхъ нашего поэта: такъ малѣйшая погрѣшность на зеркалѣ тѣмъ бываетъ значительнѣе, чѣмъ стекло чище и свѣтлѣе. Даже и сіи пятна отзываются болѣе временемъ, въ которое началъ онъ писать, и могутъ быть скорѣе почтены оставшимися привычками малолѣтства, чѣмъ пороками личными. Иногда встрѣчаемъ слова старыя, неумѣстныя въ поэзіи, къ коей онъ самъ пріучилъ насъ. Въ одномъ мѣстѣ замѣтили мы употребленіе слова въ неприличномъ ему значеніи. Въ стихотвореніи: *Калифъ* сказано:

Калифъ конечно самовластенъ,
И каждый подданный ему подобострастенъ.

Злоупотребленіе можетъ быть тираномъ черни, но должно быть рабомъ писателей изящныхъ; оно, смѣшавъ въ одинъ смыслъ слова *страхъ* и *страсть*, исказило и значеніе слова: *подобостра-*

стіе, которое, по составу своему и *Словарю Академическому*, означаетъ подверженность одинакимъ страстямъ, и могло бы, нѣкоторымъ образомъ, заступить у насъ мѣсто слова: *симпатіи*. Никогда, можетъ быть, злоупотребленіе не играло такъ жестоко смысломъ словъ, какъ въ этомъ случаѣ: слить въ одно значеніе *страсть*, которая воспламеняетъ и укрѣпляетъ душу, и *страхъ*, который ее холодитъ и разслабляетъ; чувство сладостное сердецъ нѣжныхъ, сопряженныхъ таинственною связію равенства, и грустное чувство раболѣпства, которое приковываетъ слабаго къ колесницѣ сильнаго! Иногда въ стихахъ его находимъ излишнія усѣченія словъ, которыя, по несчастной длинѣ многихъ изъ нихъ, бываютъ у насъ иногда необходимы, но вообще безобразятъ стихи и должны быть употребляемы съ большою осторожностію. Отъ хорошаго поэта требуется, чтобы стихи его могли быть перелагаемы въ прозу и составлять прозу ясную и правильную, говорятъ тѣ, которые только законодательствуютъ, а творить ничего не умѣютъ; опыта, коего выдержать не въ состояніи ни Депрео, ни Расинъ, ни Вольтеръ, первѣйшіе стихослагатели новѣйшихъ языковъ, не выдержитъ и нашъ поэтъ. И у него, равно какъ у нихъ, языкъ гнется иногда подъ цѣпями стопосложенія и ярмомъ риѳмы; но за то, какъ часто, подобно водѣ, угнетаемой и съ живѣйшею силою біющей вверхъ изъ-подъ гнета, языкъ сей пріемлетъ новый блескъ и новую живость отъ принужденія.

И только! скажутъ ненасытные наборщики ошибокъ,

Обильные творцы безплодныхъ примѣчаній,

уличая насъ въ пристрастіи, и не жалѣя о тупости нашего зрѣнія. Оставляя имъ обширное поле догадокъ, уступаемъ и мѣсто. Книга предъ ними. Уже раздалось въ ихъ странѣ воззваніе:

«Товарищи, къ столу за перья!“

Часто нѣжное чадолюбіе авторовъ и сусвѣрное благоговѣніе къ нимъ ихъ приверженцевъ любовались въ печати изданіями исправленными и умноженными. Но стихотворенія, печатанныя

изданіемъ исправленнымъ и уменьшеннымъ — при жизни автора, и самимъ авторомъ убавленныя, можно назвать явленіемъ рѣдкимъ въ литературѣ, и едва ли не первымъ въ своемъ родѣ. Жаль только, что примѣръ данъ поэтомъ, у коего не было ничего лишняго, и что вѣроятно не будутъ подражать ему тѣ, у коихъ нѣтъ ничего необходимо нужнаго. Впрочемъ, есть средство исправить и тотъ и другой недостатокъ. Часто, на зло поэту нашему, пойдемъ въ прежнихъ изданіяхъ искать изгнанниковъ его строгости, и оставимъ въ покоѣ у другихъ стихотворцевъ печатанные и перепечатанные, но никогда недочитанные, исправленные и вѣчно неисправные плоды ихъ отеческой попечительности. Настоящее изданіе драгоцѣнно, какъ прекрасный признакъ скромности писателя и строгости его къ себѣ: любопытно и пріятно видѣть, какъ дарованіе судитъ себя и, такъ сказать, начинаетъ быть для самого себя безпристрастнымъ и хладнокровнымъ потомствомъ. Между тѣмъ приговоры такіе не всегда бываютъ безошибочны. Виргилій присудилъ къ огню *Энеиду*, какъ твореніе недозрѣлое. Богдановичъ, какъ сказываютъ, мало дорожилъ *Душенькою*, и славу свою основывалъ на другихъ произведеніяхъ, которыя безъ *Душеньки* вѣроятно выдали бы его. Державинъ, разбирая при Жуковскомъ и при мнѣ не за долго передъ концемъ жизни рукописное собраніе своихъ твореній и остановясь на одѣ: *Коварство*, сказалъ: вотъ такихъ стиховъ я писать былъ бы уже не въ силахъ! Слѣдовательно, полагалъ онъ въ нихъ болѣе силы и мужественнаго пыла, чѣмъ въ пѣсняхъ *Къ сосѣду*, *На смерть Мещерскаго* и другихъ! — Въ семъ изданіи выборъ стихотвореній означаетъ въ поэтѣ вкусъ вѣрный; онъ не имѣлъ предпочтительной привязанности къ инымъ твореніямъ, слабѣйшимъ предъ другими, какъ многіе родители, которые нѣжнѣе расположены къ щедушнымъ дѣтямъ ихъ преклонныхъ лѣтъ; но сочиненія, имъ исключенныя, и тѣ, которыя оставилъ онъ единственно по усильному убѣжденію издателей, доказываютъ въ немъ и строгость излишнюю; осуждая ее, въ одно время и радуемся ей, какъ новому праву на уваженіе наше. Кончимъ желаніемъ, чтобы со временемъ другое новое изданіе не исправленное, ибо и настоящее уже довольно исправно, но умно-

женное твореніями новыми, обогатило словесность и порадовало любителей поэзіи Русской и друзей славы образцоваго поэта.

Дарованіе не старѣется, а умъ обогащается лѣтами. Вѣнки свѣжихъ лавровъ зеленѣли и на челахъ маститыхъ. Анакреонъ, какъ благодарный питомецъ и жрецъ Радости, подъ сѣдинами осыпалъ ея алтари цвѣтами яркими и душистыми. Фонтенель, какъ воинъ усердный, только изъ онѣмѣвшей руки выпустилъ оружіе, посвященное на служеніе истинѣ и пораженіе предразсудковъ. Можно охолодѣть къ удовольствію и къ наслажденіямъ честолюбія; но какое сердце возвышенное не забьется съ живостію и горячностію молодости при священной мысли о пользѣ? А кто болѣе писателя-гражданина можетъ служить ей съ успѣхомъ! Побудитель образованности, вѣщатель истинъ высокихъ для народа, чувствованій благородныхъ, правилъ здравыхъ, укрѣпляющихъ его государственное бытіе голосомъ наставленій поражающаго негодованія, или мѣткимъ орудіемъ осмѣянія, цѣлитель пороковъ невѣжественныхъ и предубѣжденій легкомысленныхъ или закоснѣлыхъ, сихъ язвъ заразительныхъ, убивающихъ въ народѣ начало жизни, писатель всегда бываетъ благотворителемъ согражданъ, вожатымъ мнѣнія общественнаго и союзникомъ безкорыстнымъ мудраго правительства.

ПРИПИСКА.

I.

Продолжая провѣрять себя, то-есть прежняго *я* съ нынѣшнимъ *я*, послѣ свыше пятидесятилѣтняго промежутка, какъ сдѣлано мною въ статьѣ объ Озеровѣ, могу сказать, что въ статьѣ о Дмитріевѣ вообще остаюсь и нынѣ при тогдашнихъ моихъ литературныхъ понятіяхъ и сужденіяхъ. Нѣкоторые оттѣнки могли бы быть измѣнены или переправлены; но главная основа, главныя краски остались-бы тѣ же. Тѣже встрѣчаются и погрѣшности въ слогѣ и въ изложеніи; но характеръ и направленіе въ настоящемъ очеркѣ, можетъ быть, получили развитіе еще болѣе опредѣленное и полное, чѣмъ въ очеркѣ Озерова.

Если что изъ настоящей статьи могло сохраниться въ памяти литтературы нашей, и отозвалось гораздо позднѣе въ нѣкоторой части нашей печати, то развѣ впечатлѣніе, что я излишне хвалилъ Дмитріева, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-бы умышленно старался унизить Крылова. Всею совѣстью своею и всѣми силами возстаю противъ правильности подобнаго заключенія: признаю его ошибочнымъ предубѣжденіемъ, или легкомысленнымъ недоразумѣніемъ.

Въ самой этой статьѣ говорю о Крыловѣ съ искреннимъ уваженіемъ. Говорю, напримѣръ, что онъ боролся съ Дмитріевымъ, переработывая басни уже имъ (т.-е. Дмитріевымъ) переведенныя, *и что мы благодарны ему за его смѣлость.* Далѣе говорю: „что къ общей выгодѣ, дорога успѣховъ, открытая дарованію, не такъ тѣсна, какъ та дорога (то есть дорога придворная и честолюбія), на коей, по замѣчанію остроумнаго Фонъ-Визина, двое, встрѣтясь, разойтись не могутъ и одинъ другаго сваливаетъ“. Стало быть, я признаю Дмитріева и Крылова идущими свободно другъ другу на встрѣчу, или попутчиками, которые другъ другу не мѣшаютъ и могутъ итти рядомъ. За Дмитріевымъ признаю одно старшинство времени: и, кажется, этой математической истины оспоривать нельзя. У насъ многіе еще не понимаютъ отвлеченной, тонкой похвалы; давай имъ похвалу плотную, оляповатую, громоздкую,—вотъ это такъ. Нужно замѣтить еще, что Дмитріевъ въ числѣ первыхъ привѣтствовалъ и оцѣнилъ первоначальныя попытки соперника своего. Но всего этого не довольно для пристрастныхъ и заносчивыхъ судей нашихъ: они хотятъ, чтобы я непремѣнно *свалилъ* одного изъ двухъ, и, разумѣется, свалилъ именно Дмитріева. Но я воздержался отъ такого побоища, во-первыхъ, потому, что не признаю его справедливымъ; во-вторыхъ, потому, что это было-бы съ моей стороны непростительною неприличностью. Статья моя написана была вслѣдствіе предложенія мнѣ Санктпетербургскаго Вольнаго Общества Любителей Россійской Словесности, коему Дмитріевъ подарилъ рукопись свою и передалъ право издать ее въ пользу Общества. Умѣстно-ли было-бы, при такой обстановкѣ, входить мнѣ въ подробное разсмотрѣніе высшей или

низшей степени дарованія того и другаго, а еще болѣе признать неоспоримое преимущество Крылова надъ Дмитріевымъ. Какъ я уже сказалъ: такого безусловнаго преимущества не признаю. Каждый изъ нихъ одѣленъ превосходными достоинствами, ему сродными: вкусы могутъ быть различны и другъ друга оспоривать; но общая нелицепріятная оцѣнка здравой критики можетъ и должна воздавать каждому ему подобающее. О *безтактности*, о нарушеніи первыхъ правилъ вѣжливости, которыя оказалъ-бы я, принося Дмитріева въ жертву Крылову въ статьѣ, посвященной въ честь Дмитріева и въ благодарпость за подарокъ его литературному обществу, я уже не говорю: условія и законы *ребяческой вѣжливости* (civilité puérile), общежитейскаго приличія, смѣтливости, литературнаго и нравственнаго *такта* давно уже вычеркнуты изъ уложенія литературнаго: остается мнѣ только предъ новыми законодателями виниться въ моей закоснѣлой отсталости. Не знаю, раздѣлялъ-ли Крыловъ съ другими напущенное противъ меня предубѣжденіе; но въ довольно долгихъ и постоянно хорошихъ отношеніяхъ моихъ съ нимъ, не имѣлъ я повода подозрѣвать въ немъ ни малѣйшаго злопамятства. Въ послѣдствіи воспѣвшій и окрестившій *дѣдушку Крылова*, такъ, что, съ легкой руки моей, это прозвище было усвоено всею Россіею, не считаю нужнымъ оправдывать себя долѣе въ поклепѣ, возведенномъ на меня, а именно, что я не умѣю цѣнить дарованіе великаго и незабвеннаго баснописца нашего. Припоминаю еще одно обстоятельство, которое ставятъ мнѣ въ вину. Когда-то, въ Ивановъ день, написалъ я куплеты въ честь именинника Дмитріева. Въ этихъ стихахъ упоминаю кстати о тезкахъ его: Иванѣ Лафонтенѣ и Иванѣ Хемницерѣ. А за чѣмъ не упомянули вы и объ Иванѣ Крыловѣ? строго и грозно допрашиваетъ меня мой литературный слѣдственный приставъ.—Не упомянулъ я о живомъ Крыловѣ въ похвальномъ привѣтствіи живому Дмитріеву по той-же причинѣ, по которой не сталъ-бы выхвалять красоту живой соперницы въ мадригалѣ красавицѣ, предъ которою хотѣлъ-бы я полюбезничать. Кто-то—право не помню, кто именно и гдѣ было напечатано — намекаетъ, что въ баснѣ: „*Оселъ и Соловей*“ Крыловъ въ стихахъ:

А жаль, что не знакомъ
Ты съ нашимъ пѣтухомъ,

имѣлъ въ виду Дмитріева и меня. Ужъ это слишкомъ! Усердіе не по разуму. Пожалуй еще, Крыловъ въ минуту досады могъ примѣнить меня къ ослу,—но и этому не вѣрю,—а рѣшительно возстаю противъ догадки, что въ лицѣ пѣтуха Крыловъ подразумѣвалъ Дмитріева. Умъ и поэтическое чувство его были выше подобной нелѣпости. Безусловный поклонникъ Крылова зашелъ уже слишкомъ далеко. За чѣмъ не вспомнилъ онъ стиховъ его:

„И у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть—хвать друга камнемъ въ лобъ“.

II.

У насъ никакъ въ толкъ не берутъ, что можно любить одного и не ненавидѣть сосѣда его. Онъ хвалитъ Дмитріева: слѣдовательно онъ ругаетъ Крылова. Вамъ нравятся блондинки: слѣдовательно брюнетокъ признаете вы уродами. Вы пьете красное вино, стало быть нечего и потчивать васъ шампанскимъ. Извините: я и отъ шампанскаго не отказываюсь. Хозяинъ дома спрашивалъ за обѣдомъ гостя своего, чего хочетъ онъ: рюмку-ли стараго токая, или стараго кипрскаго вина? i tegoi drugiego, отвѣчалъ Полякъ. И я тоже говорю: давайте мнѣ Дмитріева и давайте мнѣ Крылова. Нельзя не удивляться способу мышленія и домашней логики рецензентовъ нашихъ. Узка глотка ихъ, узко ихъ и зрѣніе: въ одной сейчасъ запершитъ, другое не обнимаетъ двухъ предметовъ въ настоящемъ видѣ каждаго изъ нихъ. Пристрастіе *за* или *противъ* есть своего рода хмѣль. Онъ отемняетъ, или искажаетъ свѣтлый и здравый разсудокъ и трезвую разсудительность. Можетъ быть, ошибаюсь и льщу себѣ напрасно; но мнѣ сдается, что я природою одаренъ этою трезвостью. Въ Русскомъ словарѣ нѣтъ слова, которое ясно и вполнѣ выразило-бы Французское engouement, нѣтъ его и въ моей натурѣ; нѣтъ во мнѣ и противоположнаго ему безусловнаго *отвращенія*: по крайней мѣрѣ въ извѣстныхъ данныхъ я не приписанъ *къ такой-то землѣ*, *къ такому-то участку*, не числюсь

при *такомъ-то лицѣ*. Я изъ числа тѣхъ, которые по врожденному чувству, по убѣжденію, по нѣкоторому навыку сравнивать одни предметы съ другими, любятъ отдавать себѣ строгій отчетъ въ впечатлѣніяхъ своихъ. Мнѣ кажется, что я знаю за что хвалю и за что осуждаю. Могу ошибаться въ выводахъ и заключеніяхъ своихъ: но все же, если и ошибаюсь, то сознательно, а не наобумъ, не случайно, не на выдержку. Многіе часто судятъ по какимъ-нибудь косвеннымъ увлеченіямъ; нѣтъ прямой и добросовѣстной оцѣнки, основанной на одномъ искусствѣ, на вѣсы падаютъ личныя соображенія, совершенно постороннія и побочныя околичности, иногда даже болѣе, или менѣе политическія сочувствія: такой-то писатель не нравится потому, что онъ аристократъ; съ нимъ должно обходиться построже; не мѣшаетъ, не грѣшно быть къ нему и маленько несправедливымъ; другому многое прощается, и многое въ немъ превозносится, потому что онъ *плебейнѣе*, ближе подходитъ къ разряду разночинцевъ. Критики рѣдко стоятъ прямо и свободно, лицомъ къ лицу, предъ писателями, которыхъ вызываютъ они на свой судъ. Они предъ ними стоятъ на колѣняхъ, или лежатъ пичкомъ; другимъ садятся на голову и придавливаютъ ихъ, что есть силы. Правило ихъ вознести до небесъ, или затоптать въ прахѣ.

III.

Дмитріевъ и Крыловъ два живописца, два первостатейные мастера̀ двухъ различныхъ школъ. Одинъ беретъ живостью и яркостью красокъ: онѣ всѣмъ кидаются въ глаза и радуютъ ихъ игривостью своею, рельефностью, поразительною выпуклостью. Другой отличается болѣе правильностью рисунка, очерковъ, линій. Дмитріевъ, какъ писатель, какъ стилистъ, болѣе художникъ, чѣмъ Крыловъ, но уступаетъ ему въ живости рѣчи. Дмитріевъ пишетъ басни свои; Крыловъ ихъ разсказываетъ. Тутъ можетъ явиться разница во вкусахъ: кто любитъ болѣе читать, кто слушать. Въ чтеніи преимущество остается за Дмитріевымъ. Онъ ровнѣе, правильнѣе, но безъ сухости. И у него есть своя игривость и свѣжесть въ разсказѣ; ищите безъ предубѣжденія,—

и вы ихъ найдете. Крыловъ можетъ быть своеобразенъ, но онъ не образцовый писатель. Наставникомъ быть онъ не можетъ. Дмитріевъ, по слогу, можетъ остаться и остался во многомъ образцомъ для тѣхъ, которые образцами не пренебрегаютъ. Еще одно замѣчаніе. Басни Дмитріева всегда басни. Хорошъ, или нѣтъ этотъ родъ, это зависитъ отъ вкусовъ; но онъ придерживался условій его. Басни Крылова нерѣдко драматированныя эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо. Разумѣется, дѣло не въ названіи: будь только уменъ и увлекателенъ, и читатель останется съ барышомъ,—а это главное. При всемъ этомъ не должно забывать, что у автора, у баснописца бывало часто въ предметѣ не басню написать, „но умыселъ другой тутъ былъ“. А этотъ умыселъ нерѣдко и бывалъ приманкою для многихъ читателей и приманкою блистательно оправданною. Но если мы ставимъ охотно подобное отступленіе автору не въ вину, а скорѣе въ угожденіе читателю, то несправедливо было-бы отказать и Дмитріеву въ правахъ его на признательность нашу. Крыловъ сосредоточилъ все дарованіе свое, весь умъ свой въ извѣстной и опредѣленной рамѣ. Внѣ этой рамы онъ никакой оригинальности, смѣемъ сказать, никакой цѣнности не имѣетъ. Цѣну Дмитріева поймешь и опредѣлишь, когда окинешь внимательнымъ взглядомъ всѣ разнородныя произведенія его и взвѣсишь всю внутреннюю и внѣшнюю цѣнность дарованія его и искусства его.

IV.

Что люди, мнѣ чужіе, обвиняли меня въ *слабости* къ Дмитріеву и въ несправедливости къ Крылову, это меня не очень озабочивало и смущало. Я вообще обстрѣленъ: и лишній выстрѣлъ со стороны куда не идетъ. Но въ числѣ обвинителей моихъ былъ и человѣкъ мнѣ близкій; судъ его былъ для меня многозначителенъ и дорогъ, онъ могъ задирать меня и совѣсть мою за живое.

Пушкинъ, ибо рѣчь, разумѣется, о немъ, не любилъ Дмитріева, какъ поэта, то-есть, правильнѣе сказать, часто не лю-

билъ его. Скажу откровенно, онъ былъ, или бывалъ сердитъ на него. По крайней мѣрѣ, таково мнѣніе мое. Дмитріевъ, классикъ, — впрочемъ и Крыловъ по своимъ литературнымъ понятіямъ былъ классикъ, и еще Французскій — не очень ласково привѣтствовалъ первые опыты Пушкина, а особенно поэму его *Русланъ и Людмила*. Онъ даже отозвался о ней колко и несправедливо. Вѣроятно, отзывъ этотъ дошелъ до молодаго поэта, и тѣмъ былъ онъ ему чувствительнѣе, что приговоръ исходилъ отъ судіи, который возвышался надъ рядомъ обыкновенныхъ судей и котораго, въ глубинѣ души и дарованія своего, Пушкинъ не могъ не уважать. Пушкинъ въ жизни обыкновенной, ежедневной, въ сношеніяхъ житейскихъ былъ непомѣрно добросердеченъ и простосердеченъ. Но умомъ, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, бывалъ онъ злопамятенъ, не только въ отношеніи къ недоброжелателямъ, но и къ постороннимъ, и даже къ пріятелямъ своимъ. Онъ, такъ сказать, строго держалъ въ памяти своей бухгалтерскую книгу, въ которую вносилъ онъ имена должниковъ своихъ и долги, которые считалъ за ними. Въ помощь памяти своей, онъ даже существенно и матеріально записывалъ имена этихъ должниковъ на лоскуткахъ бумаги, которые я самъ видалъ у него. Это его тѣшило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыскивалъ онъ долгъ, и взыскивалъ съ лихвою. Въ сочиненіяхъ его найдешь много слѣдовъ и свидѣтельствъ подобныхъ взысканій. Царапины, нанесенныя ему съ умысломъ или безъ умысла, не скоро заживали у него. Какъ-бы то ни было, споры наши о Дмитріевѣ часто возобновлялись и, какъ обыкновенно въ спорахъ бываетъ, отзывы, сужденія, возраженія становились все болѣе и болѣе рѣзки и заносчивы. Были мы оба натуры спорной и другъ предъ другомъ ни на шагъ отступать не хотѣли. При задорной перестрѣлкѣ нашей мы горячились: онъ все ниже и ниже унижалъ Дмитріева; я все выше и выше поднималъ его. Однимъ словомъ, оба были мы не правы. Помню, что однажды, въ пылу спора, сказалъ я ему: „да ты, кажется, завидуешь Дмитріеву“. Пушкинъ тутъ зардѣлъ какъ маковъ цвѣтъ; съ выраженіемъ глубокаго упрека, взглянулъ на меня, и протяжно, будто отче-

канивая каждое слово, сказалъ: „какъ, я завидую Дмитріеву?“ Споръ нашъ этимъ и кончился, то-есть на этотъ разъ, и разговоръ перешелъ къ другимъ предметамъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало. Но я увѣренъ, что онъ никогда не забывалъ и не прощалъ мнѣ моей неумѣстной выходки. Если хорошенько порыться въ оставленныхъ имъ по себѣ бумагахъ, то вѣроятно найдется гдѣ-нибудь имя мое съ припискою: *debet*. Нѣтъ сомнѣнія, что вспышка моя была оскорбительна и несправедлива. Впрочемъ, и то сказать, въ то время Пушкинъ не былъ еще на той вышинѣ, до которой достигнулъ позднѣе. Да и я, вѣроятно, имѣлъ тогда болѣе въ виду авторитетъ, коимъ пользовался Дмитріевъ, нежели самое дарованіе его. Изъ всѣхъ современниковъ, кажется, Карамзинъ и Жуковскій одни внушали ему безусловное уваженіе и довѣріе къ ихъ суду. Онъ по влеченію и сознательно подчинялся нравственному и литературному авторитету ихъ. Съ ними онъ не считался. До конца видѣлъ онъ въ нихъ не совмѣстниковъ, а старшихъ, и такъ сказать воспріемниковъ и наставниковъ. Сужденія другихъ, а именно даже образованнѣйшихъ изъ Арзамасцевъ, были ему ни по чемъ. Со мною любилъ онъ спорить: и спорили мы до упаду, до охриплости объ Озеровѣ, Дмитріевѣ, Батюшковѣ и о многомъ прочемъ и прочемъ. Въ послѣднее время онъ что-то разлюбилъ Батюшкова и увѣрялъ, что въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ его можно было уже предвидѣть зародыши болѣзни, которая позднѣе постигла и поглотила его. Въ первыхъ же порахъ Пушкина, напротивъ, онъ сочувствовалъ ему, и былъ нѣсколько ученикомъ его, равно какъ и пріятель Пушкина Баратынскій. Батюшкова могутъ нынѣ не читать, или читаютъ мало; но тѣмъ хуже для читателей. А онъ все же занимаетъ въ поэзіи нашей почетное мѣсто, которое навсегда за нимъ останется. Впрочемъ, съ Пушкинымъ было то хорошо, что предубѣжденія его были вспышки, недуги не заматерѣлые, не хроническіе, а развѣ острые и мимоходные: они бывало схватятъ его, но здоровая натура очищала и преодолѣвала ихъ. Такъ было и въ отношеніи къ Дмитріеву: и какъ сей послѣдній, позднѣе и при дальнѣйшихъ произведеніяхъ поэта, совершенно примирился съ нимъ

и оказывалъ ему должное уваженіе, такъ и у Пушкина бывали частыя перемирія въ отношеніи къ Дмитріеву. Князь Козловскій просилъ Пушкина перевесть одну изъ сатиръ Ювенала, которую Козловскій почти съ начала до конца зналъ наизусть. Онъ преслѣдовалъ Пушкина этимъ желаніемъ и предложеніемъ. Тотъ, наконецъ, согласился и сталъ приготовляться къ труду. Однажды приходитъ онъ ко мнѣ и говоритъ: „а знаешь-ли какъ приготовляюсь я къ переводу, заказанному мнѣ Козловскимъ? Сейчасъ перечиталъ я переводы Дмитріева Латинскаго поэта и Англійскаго Попѣ. Удивляюсь и любуюсь силѣ и стройности шестистопнаго стиха его“.

V.

Въ старыхъ бумагахъ своихъ отыскалъ я нѣсколько замѣтокъ, въ разное время набросанныхъ о Крыловѣ. Считаю нелишнимъ дать имъ мѣсто въ настоящей припискѣ: онѣ могутъ пополнить очеркъ мой и досказать уже сказанное мною.

„Въ Крыловѣ не люблю *мотива*, направленія, морали, или заключенія нѣкоторыхъ изъ басней его. Напримѣръ басня: *Сочинитель и Разбойникъ*. Въ ней, конечно, есть нѣкоторая доля правды; разсказана она живо и мастерски; конецъ ея превосходенъ:

Сказала гнѣвная Мегера—
И крышкою захлопнула котелъ.

„Послѣдній стихъ поразительно хорошъ, удаченъ и живописенъ. Но, признаюсь, по моимъ понятіямъ какъ-то не ловко и не благовидно сочинителю, то есть поэту, выводить рядомъ на очную ставку разбойника и сочинителя, и еще съ тѣмъ, чтобы отдать преимущество разбойнику предъ сочинителемъ. Найдутся и безъ поэта люди, которые охотно выведутъ такое заключеніе и подпишутъ подобный приговоръ. Намъ, людямъ пера, не подобаетъ мирволить и потакать такимъ безпощаднымъ осужденіямъ. По содержанію басни, можно предполагать, что Крыловъ имѣлъ въ виду Вольтера. Слѣдующіе стихи наводятъ на эту догадку:

И вонъ опоена твоимъ ученьемъ,
Тамъ цѣлая страна
Полна
Убійствами и грабежами,
Раздорами и мятежами,
И до погибели доведена тобой.

По счастью для Вольтера, если есть тутъ Вольтеръ, стихи, произносимые Мегерой, довольно плохи. Но будь они и лучше, все не желалъ-бы я видѣть, что съ согласія Крылова *захлопнулась крышка котла* надъ Вольтеромъ, или другимъ великимъ писателемъ, хотя и великимъ грѣшникомъ. Питаю надежду, что въ такомъ случаѣ и сама Мегера могла найти нѣкоторыя обстоятельства, облегчающія вину того, который

Былъ славою покрытый сочинитель.

Замѣтимъ мимоходомъ, что и здѣсь не посчастливилось Крылову: стихъ не хорошъ и выраженіе *покрытый славою* не правильно и не живописно.

„Не нравится мнѣ, хотя и не въ такой степени какъ предыдущая, и другая басня: *Огородникъ и Философъ*. И здѣсь какъ будто есть тенденція. Не рано-ли у насъ смѣяться надъ философами и тѣми, которые *читаютъ, выписываютъ, справляются*, какъ указано въ баснѣ. Правда, авторъ говоритъ о *недоученомъ философѣ*. Но всякій-ли пойметъ эту оговорку? Большая часть читателей зарубятъ себѣ на памяти одну мораль басни:

А философъ
Безъ огурцовъ,

—и придутъ къ заключенію, что лучше, выгоднѣе и скорѣе въ *шляпѣ дѣло* не быть философомъ. Два эти стиха, выраженіемъ и складомъ своимъ, такъ и просятся въ пословицы. Тѣмъ хуже.

„Въ баснѣ своей *Метафизикъ* Хемницеръ выразилъ почти ту-же мысль; но не такъ безусловно, и такъ сказать осторожнѣе, обдуманнѣе и художественнѣе. Къ тому-же онъ выводитъ на сцену *Метафизика*, надъ которымъ, по общеприпятымъ понятіямъ, можно безъ грѣха и потрунить.

„Крыловъ былъ вовсе не беззаботливый, разсѣянный и до

ребячества простосердечный Лафонтенъ, какимъ слыветъ онъ у насъ. Онъ былъ нѣсколько, съ позволенія сказать, неряшливъ; но во всемъ и всегда былъ онъ, что называется, себѣ на умѣ. И прекрасно дѣлалъ, потому что онъ былъ чрезвычайно уменъ. Всю жизнь свою, а впослѣдствіи и дарованіе свое обдѣлалъ онъ умно и разсчетливо. Портретъ его, оставленный намъ Вигелемъ, въ запискахъ его, какъ и всѣ характеристики его, болѣе или менѣе пристрастенъ и недоброжелателенъ. Краски его иногда живы и вѣрны, но почти всегда разведены желчью. Со всѣмъ тѣмъ, изображеніе Крылова, въ основѣ своей, не должно быть совершенно лишено правды и мѣткости. Самая первоначальная обстановка жизни Крылова можетъ нѣсколько объяснить намъ его самого. Онъ родился, выросъ и возмужалъ въ нуждѣ и бѣдности; слѣдовательно, въ зависимости отъ другихъ. Такая школа не всѣмъ удается. На многихъ оставляетъ она, по крайней мѣрѣ, на долго оттискъ, если не робости, то большой сдержанности. Въ такомъ положеніи весь человѣкъ не можетъ выказаться и высказаться; невольно многое прячетъ онъ въ себѣ сознательно, или безсознательно. Крыловъ баснописецъ, то-есть тотъ Крыловъ, котораго мы знаемъ и котораго будетъ знать Русское потомство, возросъ позднѣе. Въ домѣ князя Сергѣя Ѳедоровича Голицына, барина умнаго, но все-таки барина, и къ тому-же, по женѣ, племянника князя Потемкина, Крыловъ, по тогдашнимъ понятіямъ, не могъ пользоваться правомъ личнаго человѣческаго равенства съ членами аристократическаго семейства. Онъ не былъ въ семействѣ, а былъ при семействѣ. Онъ былъ учитель, чиновникъ, кліентъ, но въ этой средѣ не былъ свой братъ, хотя, можетъ быть, и вѣроятно, такъ и было, пользовался благоволеніемъ, а пожалуй и нѣкоторымъ сочувствіемъ хозяевъ. Но, во всякомъ случаѣ, тутъ, разумѣется, было не до разсѣянности, не до поэтической беззаботливости, не до возможности держать себя вольно. Нѣтъ, тутъ надобно было болѣе или менѣе держать себя на часахъ; оглядываться, приглядываться къ лицамъ и обстоятельствамъ. Такое умственное и нравственное воспитаніе оставило по себѣ на Крыловѣ слѣды свои; они не совершенно сгладились и тогда, когда судьба, и

особенно дарованіе, вывели его на дорогу болѣе свѣтлую и широкую. Въ первыхъ авторскихъ трудахъ его, не исключая и комедій, все еще значатся примѣты того, что́ назовемъ литературнымъ провинціализмомъ; сей провинціализмъ еще здравствуетъ и встрѣчается въ печати нашей. Въ области басни Крыловъ внезапно переродился, просвѣтлѣлъ и разомъ достигнулъ высоты, на которой поровнялся со всѣми высшими. Но басни и были именно призваніемъ его, какъ по врожденному дарованію,—о которомъ онъ самъ даже какъ будто не догадывался,—такъ и по трудной житейской школѣ, чрезъ которую онъ прошелъ. Здѣсь и могъ онъ вполнѣ быть себѣ на умѣ; здѣсь могъ онъ многое говорить, не проговариваясь; могъ, подъ личиною звѣря, касаться вопросовъ, обстоятельствъ, личностей, до которыхъ, можетъ быть, не хватило бы духа у него прямо доходить. Это ставимъ ему не въ укоризну. Каждый человѣкъ по характеру, способностямъ, по выдержкѣ своей имѣетъ свое орудіе и свою опредѣленную мѣстность для дѣйствія. Крыловъ наконецъ нашелъ и орудіе и мѣсто свое. Онъ остался имъ вѣренъ и владѣлъ ими ненарушимо, блистательно и благополучно.

„Намъ извѣстно, что Крыловъ былъ страстный игрокъ въ свое время; впрочемъ, полно, страстный-ли? Какъ-то не вѣрится, чтобы страсть могла пробиться въ эту громадно-сплоченную твердыню. Игралъ онъ въ карты, вѣроятно, также по хозяйственнымъ разсчетамъ ума. Бывалъ-ли онъ влюбленъ? Бывалъ-ли онъ когда-нибудь молодъ? Вотъ вопросы, которые хотѣлось-бы разрѣшить. Правда, сказалъ онъ какъ нельзя милѣе:

Любви въ номинѣ больше нѣтъ,
А безъ любви какое ужъ веселье?

Но и это сказано скорѣе умомъ, нежели сердцемъ, то-есть сказано въ подражаніе Лафонтену.

„Знаемъ, что въ наше время многіе мало дорожатъ *художественностью:* это не *реальность,* не вещественная цѣнность, а умозрительная, условная; это остатокъ суевѣрія прежнихъ временъ и поколѣній. Ему нѣтъ мѣста въ новомъ порядкѣ вещей. Оно, пожалуй, и такъ для большинства. Но есть и мень-

шинство, надобно и о немъ подумать, и не приносить его безпощадно въ жертву силѣ и числу. Эти немногіе, это избранное меньшинство, держатся еще вѣчныхъ законовъ искусства и изящныхъ образцовъ, дошедшихъ до насъ наслѣдствомъ отъ изящной древности. Эти немногіе не вѣрятъ, чтобы это безсмертіе достойно и побѣдоносно могло быть замѣнено новымъ, свѣжимъ безсмертіемъ, новою свѣжею истиною, только вчера выпрыгнувшею изъ головы какихъ-то доморощенныхъ Юпитеровъ. Для такого меньшинства Дмитріевъ останется всегда стихотворцемъ образцовымъ. Могутъ быть, будутъ и даже найдутся и нынѣ другіе образцы, которые умѣстятся рядомъ съ старыми, но не выживутъ ихъ съ мѣста. Просвѣщенный любитель живописи образуетъ картинную галлерею свою не изъ однихъ произведеній одного и того же мастера, одной и той же школы. Онъ любитъ и умѣетъ цѣнить разнообразіе кисти. И въ литературѣ найдутся охотники, которые прочтутъ съ удовольствіемъ басню Крылова, но прочтутъ съ удовольствіемъ и басню Дмитріева. Между таковыми зналъ я, напримѣръ, Жуковскаго, Батюшкова, Дашкова, Блудова и другихъ. Не ставлю Дмитріева выше Крылова; но не ставлю и Крылова выше Дмитріева. Сочувствія мои идутъ не пирамидально.

„Мы готовы были признать въ Крыловѣ нѣкоторый литературный провинціализмъ въ первыхъ попыткахъ авторской дѣятельности его. Отъ этой немощи онъ впослѣдствіи совершенно оправился. Но въ отношеніи житейскомъ, въ обращеніи его все же остались на немъ слѣды первороднаго провинціализма. Помню, что на одномъ изъ засѣданій покойной Россійской Академіи кто-то изъ членовъ предложилъ, что не худо было бы академикамъ чаще собираться для совѣщанія, чтобы придать занятіямъ болѣе жизни и болѣе прямое направленіе. Всѣ согласились съ этимъ мнѣніемъ; согласился и Крыловъ, но съ важностью прибавилъ къ тому: „разумѣется, за исключеніемъ почтовыхъ дней“. Житель новаго Петербурга забылъ, или не зналъ, что, по новому порядку, всѣ дни недѣли дни почтовые, и что почта отправляется во всѣ края по нѣскольку разъ въ

день. Разумѣется, тутъ входили въ соображеніе и лѣнь, и испугъ являться часто въ академію. Но забавно было, что Крыловъ оставлялъ за собою свободными почтовые дни, онъ, который вѣроятно изо всѣхъ смертныхъ наименѣе пользовался письменною почтою“.

Югенгеймъ, Іюнь 1876 г.

XVIII.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ КЪ БАХЧИСАРАЙСКОМУ ФОНТАНУ. РАЗГОВОРЪ МЕЖДУ ИЗДАТЕЛЕМЪ И КЛАССИКОМЪ СЪ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ ИЛИ СЪ ВАСИЛЬЕВСКАГО ОСТРОВА.

1824.

Классикъ. Правда-ли, что молодой Пушкинъ печатаетъ новую, третью поэму, то есть поэму по романтическому значенію, а по нашему не знаю какъ и назвать.

Издатель. Да, онъ прислалъ Бахчисарайскій Фонтанъ, который здѣсь теперь и печатается.

Кл. Нельзя не пожалѣть, что онъ много пишетъ; скоро выпишется.

Изд. Пророчества оправдываются событіемъ; для повѣрки нужно время; а между тѣмъ замѣчу, что если онъ пишетъ много въ сравненіи съ нашими поэтами, которые почти ничего не пишутъ, то пишетъ мало въ сравненіи съ другими своими Европейскими сослуживцами. Бейронъ, Вальтеръ-Скоттъ и еще нѣкоторые неутомимо пишутъ и читаются неутомимо.

Кл. Выставя этихъ двухъ Британцевъ, вы думаете зажать ротъ критикѣ и возраженіямъ! Напрасно! Мы свойства неробкаго. Нельзя судить о дарованіи писателя по пристрастію къ нему суевѣрной черни читателей. Своенравная, она часто оставляетъ безъ вниманія писателей достойнѣйшихъ.

Изд. Не съ достойнѣйшимъ ли писателемъ имѣю честь говорить?

Кл. Эпиграмма—не сужденіе. Дѣло въ томъ, что пора истинной классической литтературы у насъ миновалась...

Изд. А я такъ думалъ, что еще не настала...

Кл. Что нынѣ завелась какая-то школа новая, никѣмъ непризнанная, кромѣ себя самой,—не слѣдующая никакимъ правиламъ, кромѣ своей прихоти,—искажающая языкъ Ломоносова, пишущая наобумъ, щеголяющая новыми выраженіями, новыми словами...

Изд. Взятыми изъ Словаря Россійской Академіи, и коимъ новые поэты возвратили въ языкѣ нашемъ право гражданства, похищенное не знаю за какое преступленіе и безъ суда; ибо до сей поры мы руководствуемся болѣе употребленіемъ, которое свергнуто быть можетъ употребленіемъ новымъ. Законы языка нашего еще не приведены въ уложеніе; и какъ жаловаться на новизну выраженій? Развѣ прикажете подчинить языкъ и поэтовъ нашихъ Китайской неподвижности? Смотрите на природу! Лица человѣческія, составленныя изъ однѣхъ и тѣхъ же частей, вылиты не всѣ въ одну физіогномію, а выраженіе есть физіогномія словъ.

Кл. За чѣмъ же по крайней мѣрѣ давать Русскимъ словамъ физіогномію Нѣмецкую? Что значитъ у насъ этотъ духъ, эти формы Германскія? Кто ихъ ввелъ?

Изд. Ломоносовъ!

Кл. Вотъ это забавно!

Изд. А какъ же? Развѣ онъ не бралъ въ вводимомъ стихосложеніи своемъ съемки съ формъ Германскихъ? Развѣ не подражалъ онъ современнымъ Нѣмцамъ? Скажу болѣе. Возьмите три знаменитыя эпохи въ исторіи нашей литтературы, вы въ каждой найдете отпечатокъ Германской. Эпоха преобразованія, сдѣланная Ломоносовымъ въ Русскомъ стихотворствѣ, эпоха преобразованія въ Русской прозѣ, сдѣланная Карамзинымъ, нынѣшнее волненіе, волненіе романтическое и противузаконное, если такъ хотите назвать его, не явно ли показываютъ господствующую наклонность литтературы нашей! И такъ наши поэты современники слѣдуютъ движенію, данному Ломоносовымъ; разница только въ томъ, что онъ слѣдовалъ Гинтеру и нѣкото-

рымъ другимъ изъ современниковъ, а не Гёте и Шиллеру. Да и у насъ ли однихъ Германскія музы распространяютъ свое владычество? Смотрите, и во Франціи,—въ государствѣ, которое по крайней мѣрѣ въ словесномъ отношеніи едва не оправдало честолюбиваго мечтанія о *всемірной державѣ*, и во Франціи сіи хищницы пріемлютъ уже нѣкоторое господство и вытѣсняютъ мѣстныя наслѣдственныя власти. Поэты, современники наши, не болѣе грѣшны поэтовъ предшественниковъ. Мы еще не имѣемъ Русскаго покроя въ литературѣ; можетъ быть и не будетъ, потому что его нѣтъ; но во всякомъ случаѣ поэзія новѣйшая, такъ-называемая романтическая, не менѣе намъ сродна, чѣмъ поэзія Ломоносова или Хераскова, которую вы силитесь выставить за классическую. Что есть народнаго въ *Петріадѣ* и *Россіадѣ*, кромѣ именъ?

Кл. Что такое народность въ словесности? Этой фигуры нѣтъ ни въ піитикѣ Аристотеля, ни въ піитикѣ Горація.

Изд. Нѣтъ ея у Горація въ піитикѣ, но есть она въ его твореніяхъ. Она не въ правилахъ, но въ чувствахъ. Отпечатокъ народности, мѣстности—вотъ что́ составляетъ, можетъ быть, главное существеннѣйшее достоинство древнихъ, и утверждаетъ ихъ право на вниманіе потомства. Глубокомысленный Миллеръ не даромъ во всеобщей исторіи своей указалъ на Катулла въ числѣ источниковъ своихъ, и упомянулъ о немъ въ характеристикѣ того времени.

Кл. Ужъ вы, кажется, хотите въ свою вольницу романтиковъ завербовать и древнихъ классиковъ. Того смотри, что и Гомеръ и Виргилій были романтики.

Изд. Назовите ихъ, какъ хотите; но нѣтъ сомнѣнія, что Гомеръ, Горацій, Эсхилъ имѣютъ гораздо болѣе сродства и соотношеній съ главами романтической школы, чѣмъ съ своими холодными, рабскими послѣдователями, кои силятся быть Греками и Римлянами заднимъ числомъ. Не ужели Гомеръ сотворилъ *Иліаду*, предугадывая Аристотеля и Лонгина и въ угожденіе какой-то *классической совѣсти*, еще тогда не вымышленной? Да и позвольте спросить и у себя и у старѣйшинъ вашихъ, опредѣлено-ли въ точности, что́ такое *романтическій родъ*, и какія

имѣетъ онъ отношенія и противуположности съ *классическимъ?* Признаюсь, по крайней мѣрѣ за себя, что еще не случилось мнѣ отыскать ни въ книгахъ, ни въ умѣ своемъ, сколько о томъ ни читалъ, сколько о томъ ни думалъ, полнаго, математическаго, удовлетворительнаго рѣшенія этой задачи. Многіе вѣруютъ въ классическій родъ потому, что такъ имъ велѣно; многіе не признаютъ романтическаго рода потому, что онъ не имѣетъ законодателей, обязавшихъ въ вѣрности безусловной и безпрекословной. На романтизмъ смотрятъ какъ на анархію своевольную, разрушительницу постановленій, освященныхъ древностію и суевѣріемъ. Шлегель и г-жа Сталь не облечены въ латы свинцоваго педантства, отъ нихъ не несетъ схоластическою важностію, и правила ихъ для нѣкоторыхъ людей не имѣютъ вѣса, потому что не налегаютъ съ важностію; не всѣ изъ насъ поддаются заманчивости, увлеченію, многіе только-что порабощаются господству. *Стадо подражателей*, о коихъ говоритъ Горацій, не переводится изъ рода въ родъ. Что дѣйствуетъ на умы многихъ учениковъ? Добрая указка, съ коей учители по пальцамъ вбиваютъ умъ въ своихъ слушателей. Чѣмъ пастырь гонитъ свое стадо по дорогѣ прогонной? Твердымъ посохомъ. Наша братья любитъ раболѣпствовать...

Кл. Вы такъ много мнѣ здѣсь наговорили, что я не успѣлъ къ стати сдѣлать отпоръ вамъ слѣдующимъ возраженіемъ: доказательствомъ, что въ романтической школѣ нѣтъ никакого смысла можетъ служить то, что и самое названіе ея не имѣетъ смысла опредѣленнаго, утвержденнаго общимъ условіемъ. Вы сами признались въ томъ, что такое классическая литтература, чего она требуетъ...

Изд. Потому что условились въ опредѣленіи, а для романтической литтературы еще не было времени условиться. Начало ея въ природѣ; она есть, она въ обращеніи; но не поступила еще въ руки анатомиковъ. Дайте срокъ! придетъ часъ, педантство и на ея воздушную одежду положитъ свое свинцовое клеймо. Въ которомъ нибудь столѣтіи Бейронъ, Томасъ Муръ, какъ нынѣ Анакреонъ или Овидій, попадутся подъ рѣзецъ испытателей и цвѣты ихъ яркой и свѣжей поэзіи потускнѣютъ отъ кабинетной

пыли, и закоптятся отъ лампаднаго чада комментаторовъ, антикваріевъ, схоластиковъ; прибавимъ, если только въ будущихъ столѣтіяхъ найдутся люди, живущіе чужимъ умомъ и кои, подобно вампирамъ, роются въ гробахъ, гложутъ и жуютъ мертвыхъ, не забывая при томъ кусать и живыхъ...

Кл. Позвольте, между тѣмъ, замѣтить вамъ мимоходомъ, что ваши отступленія совершенно романтическія.—Мы начали говорить о Пушкинѣ, отъ него кинуло насъ въ древность, а теперь забѣжали вы и въ будущія столѣтія.

Изд. Виноватъ! я и забылъ, что для вашего брата-классика такіе походы не въ силу. Вы держитесь единства времени и мѣста. У васъ умъ—домосѣдъ. Извините—я остепенюсь; чего вы отъ меня желаете?

Кл. Я желалъ-бы знать о содержаніи такъ называемой поэмы Пушкина. Признаюсь, изъ заглавія не понимаю, что́ тутъ можетъ быть годнаго для поэмы. Понимаю, что можно написать къ *фонтану* стансы, даже оду...

Изд. Да, тѣмъ болѣе, что у Горація уже есть *Бландузскій ключъ*.

Кл. Впрочемъ мы романтиками пріучены къ нечаянностямъ. Заглавіе у нихъ эластическаго свойства: сто́итъ только захотѣть, и оно обхватитъ все видимое и невидимое; или обѣщаетъ одно, а исполнитъ совершенно другое. Но разскажите мнѣ...

Изд. Преданіе, извѣстное въ Крыму и понынѣ, служитъ основаніемъ поэмѣ. Разсказываютъ, что ханъ Керимъ-Гирей похитилъ красавицу Потоцкую и содержалъ ее въ Бахчисарайскомъ гаремѣ; полагаютъ даже, что онъ былъ обвѣнчанъ съ нею. Преданіе сіе сомнительно и г. Муравьевъ-Апостолъ въ *Путешествіи* своемъ *по Таврид*ѣ, недавно изданномъ, возстаетъ, и кажется довольно основательно, противъ вѣроятія сего разсказа. Какъ бы то ни было,—сіе преданіе есть достояніе поэзіи.

Кл. Такъ! въ наше время обратили музъ въ разскащицъ всякихъ небылицъ! Гдѣ же достоинство поэзіи, если питать ее одними сказками?

Изд. Исторія не должна быть легковѣрна; поэзія напротивъ. Она часто дорожитъ тѣмъ, что́ первая отвергаетъ съ презрѣ-

піемъ, и нашъ поэтъ очень хорошо сдѣлалъ, присвоивъ поэзіи Бахчисарайское преданіе, и обогативъ его правдоподобными вымыслами; а еще и того лучше, что онъ воспользовался тѣмъ и другимъ съ отличнымъ искусствомъ. Цвѣтъ мѣстности сохраненъ въ повѣствованіи со всею возможною свѣжестью и яркостью. Есть отпечатокъ восточный въ картинахъ, въ самыхъ чувствахъ, въ слогѣ. По мнѣнію судей, коихъ приговоръ можетъ считаться окончательнымъ въ словесности нашей, поэтъ явилъ въ новомъ произведеніи признакъ дарованія зрѣющаго болѣе и болѣе.

Кл. Кто эти судіи? мы другихъ не признаемъ, кромѣ *Вѣстника Европы* и *Благонамѣреннаго;* и то потому, что пишемъ съ ними за одно. Дождемся, что́ они скажутъ!

Изд. Ждите съ Богомъ! а я пока скажу, что разсказъ Пушкина живъ и занимателенъ. Въ поэмѣ движенія много. Въ раму довольно тѣсную вложилъ онъ дѣйствіе полное не отъ множества лицъ и сцѣпленія различныхъ приключеній, но отъ искусства, съ какимъ поэтъ умѣлъ выставить и оттѣнить главныя лица своего повѣствованія! *Дѣйствіе* зависитъ такъ сказать отъ *дѣятельности* дарованія: слогъ придаетъ ему крылья или гирями замедляетъ ходъ его. Въ твореніи Пушкина участіе читателя поддерживается съ начала до конца.—До этой тайны иначе достигнуть нельзя, какъ заманчивостью слога.

Кл. Со всѣмъ тѣмъ я увѣренъ, что по обыкновенію романтическому все это дѣйствіе только слегка обозначено. Читатель въ подобныхъ случаяхъ долженъ быть подмастерьемъ автора и за него досказывать. Легкіе намеки, туманныя загадки—вотъ матеріалы, изготовленные романтическимъ поэтомъ, а тамъ читатель дѣлай изъ нихъ, что хочетъ. Романтическій зодчій оставляетъ на произволъ каждому распоряженіе и устройство зданія—сущаго воздушнаго за́мка, не имѣющаго ни плана, ни основанія.

Изд. Вамъ не довольно того, что́ вы передъ собою видите зданіе красивое: вы требуете, чтобъ видѣнъ былъ и остовъ его. Въ изящныхъ твореніяхъ довольно одного дѣйствія общаго; что за охота видѣть и частное производство? Твореніе искусства—обманъ. Чѣмъ менѣе выказывается прозаическая связь въ час-

тяхъ, тѣмъ болѣе выгоды въ отношеніи къ цѣлому. Частыя мѣстоименія въ рѣчи замедляютъ ея теченіе, охлаждаютъ разсказъ. Есть въ изобрѣтеніи и въ вымыслѣ также свои *мѣстоименія*, отъ коихъ дарованіе старается отдѣлываться удачными эллипсисами. За чѣмъ все высказывать и на все напирать, когда имѣемъ дѣло съ людьми понятія дѣятельнаго и остраго? а о людяхъ понятія лѣниваго, тупаго и думать нечего. Это напоминаетъ мнѣ объ одномъ классическомъ читателѣ, который никакъ не понималъ, что́ сдѣлалось въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ* съ Черкешенкою при стихахъ:

И при лунѣ въ водахъ плеснувшихъ
Струистый исчезаетъ кругъ.

Онъ пенялъ поэту, за чѣмъ тотъ не облегчилъ его догадливости, сказавъ прямо и буквально, что Черкешенка бросилась въ воду и утонула. Оставимъ прозу для прозы! И такъ довольно ея въ житейскомъ быту и въ стихотвореніяхъ, печатаемыхъ въ *Вѣстникѣ Европы*.

P. S. Тутъ классикъ мой оставилъ меня съ торопливостію и гнѣвомъ, и мнѣ вздумалось положить на бумагу разговоръ, происходившій между нами. Перечитывая его, мнѣ впало на умъ, что могутъ подозрѣвать меня въ лукавствѣ,—скажутъ: „издатель нарочно ослабилъ возраженія своего противника, и съ умысломъ утаилъ все, что́ могло вырваться у него дѣльнаго на защиту своего мнѣнія!“ Передъ недовѣрчивостію оправдываться напрасно; но пускай обвинители мои примутъ на себя трудъ перечитать все, что́ въ нѣкоторыхъ изъ журналовъ нашихъ было сказано и пересказано на счетъ романтическихъ опытовъ,—и вообще на счетъ новаго поколѣнія поэзіи нашей: если изъ всего того выключить грубыя личности и пошлыя насмѣшки, то безъ сомнѣнія каждый легко увѣрится, что мой собесѣдникъ подъ пару своимъ журнальнымъ клевретамъ.

XIX.

НѢСКОЛЬКО ВЫНУЖДЕННЫХЪ СЛОВЪ

1824.

Я всегда раздѣлялъ общую всѣмъ читателямъ скуку, видя въ журналахъ нашихъ холостыя перестрѣлки досужныхъ авторовъ, выходящихъ передъ публику на поединки, въ коихъ для нея часто ничто не занимательно: ни причины, ни послѣдствія. Авторы, представители мнѣній различныхъ, но равно достойные вниманія общества, разрѣшая спорами своими задачи важныя въ отношеніи нравственномъ, политическомъ или ученомъ, имѣютъ право надѣяться, что общество приметъ въ нихъ участіе. Но когда литтературные поединщики сражаются за однѣ личности, то не пристойно имъ скликать народъ на позорище; смѣшно ожидать, что сіи вынужденные свидѣтели будутъ смотрѣть на битву съ любопытствомъ.

Такъ я думалъ, такъ думаю и теперь; но между тѣмъ обязанъ, или по крайней мѣрѣ вмѣняю себѣ въ обязанность говорить въ журналѣ о себѣ и въ свое оправданіе.

Какая первая потребность автора, подвергнувшаго произведеніе свое на судъ свѣта? Какая выгода для него всѣхъ важнѣе и никакою другою замѣниться не можетъ? Имѣть читателей, его понимающихъ! Безъ сего законнаго удовлетворенія, никакія другія милостивыя выгоды для него неутѣшительны. Пускай книгу его читаютъ съ жадностію, пускай хвалятъ ее, но если не по-

нимаютъ, то онъ говоритъ благосклоннымъ судіямъ своимъ: не хвалите меня, а поймите!

Вотъ въ какомъ положеніи стою передъ читателемъ моего *Извѣстія о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева*, напечатавшимъ свои замѣчанія въ № 2 *Литературныхъ Листковъ*. Онъ ссужаетъ меня мнѣніями и сужденіями, совершенно мнѣ чуждыми. Вѣроятно, я виноватъ, не умѣвъ говорить внятно; но не менѣе того, мнѣ казалось, что, промолчавъ объ ошибочномъ смыслѣ, который г-мъ замѣчателемъ данъ рѣчамъ моимъ, я какъ будто признаюсь, что онъ точно меня понялъ, между тѣмъ какъ другіе читатели, надѣюсь, поняли меня иначе. И такъ я долженъ написать нѣсколько вынужденныхъ словъ: постараюсь по крайней мѣрѣ, чтобы они были коротки и ясны. Нѣтъ мнѣ нужды итти по слѣдамъ моего критика шагъ за шагомъ; коснусь только до мѣстъ, требующихъ поясненія.

Замѣчатель находитъ у меня страшныя заклинанія противу критиковъ, помѣщенныя на шести страницахъ. Надлежало бы для вѣрности прибавить слово: нѣкоторыхъ, и убавить число страницъ. Я говорилъ только объ одномъ разрядѣ критиковъ, если такъ ихъ назвать можно, а въ числѣ упомянутыхъ шести страницъ найдутся и такія, гдѣ между прочимъ становлюсь и самъ критикомъ, разсматривая сочиненія И. И. Дмитріева. Изъ всего ясно видно, что я тужу о недостаткѣ у насъ настоящихъ судей и дѣльныхъ сужденій. Заклинанія же противу критиковъ-самозванцевъ почитаю, къ несчастію, недѣйствительными, и потому всегда отъ нихъ воздерживался.

Замѣчателю кажется мнѣніе мое о заслугахъ и дарованіяхъ И. А. Крылова строгимъ—даже пристрастнымъ. Жалѣю, что и одинъ читатель могъ столь невѣрно изъяснить мои чувства къ знаменитому нашему поэту. Но я желалъ бы знать, гдѣ отыскалъ, гдѣ подслушалъ замѣчатель мое мнѣніе. Въ семъ *Извѣстіи* я не судилъ и не могъ кстати судить о достоинствѣ И. А. Крылова. Я просматривалъ галлерею однихъ предшественниковъ поэта, коего былъ біографомъ, слегка означалъ ихъ отличительныя свойства; о послѣдовавшихъ за нимъ не говорилъ вовсе, а объ И. А. Крыловѣ упомянулъ только въ общемъ его отно-

шеніи къ сопернику. Замѣчателю угодно было сказать за меня, что, по моему мнѣнію, должны мы И. А. Крылова благодарить только за то, что онъ дерзнулъ бороться съ И. И. Дмитріевымъ и осмѣлился подражать ему. Но гдѣ это подражаніе? вопрошаетъ онъ.—Спрошу и я въ свою очередь: гдѣ онъ нашелъ, что говорю о подражаніи? Я сказалъ: дерзнулъ бороться, ибо одинъ послѣ другаго испытывалъ силы свои съ успѣхомъ на одномъ поприщѣ; но бороться не есть подражать. Одно есть выраженіе похвалы, другое было бы выраженіемъ упрека, далекаго отъ моей мысли, и ссуженнаго мнѣ, не знаю изъ какой милости. Я сказалъ, что мы должны благодарить И. А. Крылова за то, что онъ переводилъ однѣ басни съ И. И. Дмитріевымъ, ибо намъ пріятно имѣть, вмѣсто одного, два хорошіе перевода съ хорошихъ подлинниковъ, а не упоминалъ о другихъ правахъ его на благодарность нашу, потому что сіе было-бы не къ мѣсту. До постороннихъ лицъ я касался только при случаѣ, и только въ тѣхъ оттѣнкахъ, кои сливались съ изображеніемъ главнаго лица моей біографіи.

Признаюсь мимоходомъ, не понимаю, почему замѣчателю басни И. И. Дмитріева не кажутся народными Русскими. Могутъ и должны быть народныя сказки, сатиры, комедіи, трагедіи, потому что въ нихъ дѣйствуютъ лица различныхъ поколѣній, нравовъ, обычаевъ; но какъ отыскать печать народности въ пѣтухѣ, въ кошкѣ, которые всѣ единоплеменны и единохарактерны у Езопа, Федра, Лафонтена и всѣхъ другихъ баснописцевъ? Въ баснѣ преимущественно должна быть заключена нравственная истина, общая для человѣчества, а не мѣстная, личная, условная правда. Можно сказать, что языкъ одного баснописца имѣетъ болѣе народности, или, лучше сказать, болѣе простонародія, чѣмъ языкъ другаго; это иное дѣло. Но такая похвала не безусловна, и тутъ выгоды рядомъ съ недостатками. По мнѣнію моему, каждый хорошій Русскій стихъ есть истинно народный Русскій стихъ: языкъ образованнаго писателя есть тотъ, который долженъ быть присвоенъ народомъ. И когда замѣчатель какъ будто съ упрекомъ сказалъ, что слогъ басень И. И. Дмитріева есть языкъ образованнаго свѣтскаго человѣка, онъ,

кажется, ошибся въ заключеніи, имъ сдѣланномъ. Каждый творецъ изящнаго, а въ особенности авторъ, долженъ желать угодить вкусу однихъ образованныхъ людей: вкусъ другихъ онъ обязанъ воспитывать, пріучать къ познанію хорошаго, и въ этомъ отношеніи, какъ гражданинъ, онъ содѣйствуетъ по мѣрѣ силъ образованію низшихъ классовъ общества.

Замѣчатель говоритъ еще, что я слишкомъ строго и смѣло назвалъ всѣхъ прочихъ поэтовъ, стоящихъ за И. И. Дмитріевымъ, гаерами. Къ чему ведетъ это заключеніе? прибавляетъ онъ. Посмотримъ, что́ сказано у меня, и рѣшимъ, гдѣ болѣе смѣлости, въ сказанномъ или въ пересказанномъ. Вотъ мои слова:

„По счастію, совершенство нашего баснописца не испугало, „а подстрекнуло къ соревнованію многихъ истинныхъ поэтовъ; „прибавимъ: къ сожалѣнію — многихъ и подложныхъ, но они „неизбѣжные гаеры, слѣдующіе по пятамъ за каждымъ образ„цовымъ дарованіемъ“. О комъ идетъ здѣсь рѣчь: о всѣхъ ли поэтахъ, или только о подложныхъ? Кажется, тутъ отвѣта и не нужно, а вмѣсто того спрошу также въ свою очередь: къ чему ведетъ это заключеніе?

XX.

ЖУКОВСКІЙ.—ПУШКИНЪ.—О НОВОЙ ШИТИКѢ БАСЕНЪ.

1825.

„Глупецъ, который въ первый разъ видитъ черныхъ невольниковъ, воображаетъ себѣ, что они всѣ на одно лицо: прелестныя аріи Россини тѣ же черные невольники для глупцовъ!“

Прочитавъ сіе остроумное уподобленіе въ жизнеописаніи Россини, изданномъ прошлаго года, въ Парижѣ, Стендалемъ, примѣнилъ я его тотчасъ къ сужденіямъ нѣкоторыхъ судей-самозванцевъ нашихъ, объ однообразіи стихотвореній Жуковскаго. Нѣтъ сомнѣнія, что многія изъ произведеній Жуковскаго, а въ особенности послѣднія, носятъ какой-то общій отпечатокъ; но просвѣщенный взоръ, но изощренное чувство образованнаго знатока откроютъ вездѣ черты отличительныя. Большая часть философическихъ одъ Горація также на одинъ напѣвъ; его философія заключается въ одной господствующей мысли, въ одномъ господствующемъ чувствѣ, но переливы ихъ разнообразны, разноцвѣтны, и они-то услаждаютъ читателей многихъ столѣтій. Каждый готовъ согласиться, что разнообразіе въ творческой способности есть вѣнецъ дарованій поэта; но Протеи, каковы напримѣръ Вольтеръ во Франціи, Гёте въ Германіи, каждый въ своемъ родѣ и народѣ, бываютъ рѣдкими исключеніями изъ общаго закона; да еще и у сихъ универсальныхъ умовъ, всеобъемлющихъ геніевъ, нѣтъ ли какой особенной повадки природной, неизбѣжной, неистребимой? Сама природа, разнообразная

въ цѣломъ, обыкновенно подвержена бываетъ однообразію въ отдѣльномъ. Цвѣтокъ имѣетъ одинъ запахъ, плодъ одинъ вкусъ, красавица одно выраженіе. Можно даже сказать, что, за исключеніемъ рѣдкихъ исключеній, чѣмъ достоинство превосходнѣе, чѣмъ оно рѣшительнѣе, тѣмъ скорѣе можетъ быть односторонимъ, одноличнымъ: посредственности, или по крайней мѣрѣ полусовершенству удобнѣе быть разнообразнымъ и многоличнымъ.

Остановимся на сравненіи дарованія писателя съ красотою женщины. Правильная красавица будетъ имѣть одно главное, постоянное выраженіе въ лицѣ своемъ; физіономія перемѣнчивая, зыбкая, будетъ принадлежностью пригожества, а не красоты! Прибѣгнемъ къ другому сравненію: мысль главная, усиліе постоянное, такъ сказать, душа цѣлаго бытія встрѣчается только въ характерахъ великихъ. Умъ стремится къ разнымъ цѣлямъ; геній напираетъ на одну цѣль. Предложеніе мое можетъ отзываться нѣсколько парадоксомъ, но при безпристрастномъ и прилежномъ изслѣдованіи наведетъ оно, вѣроятно, на истину.

Имя Жуковскаго сдѣлалось съ нѣкотораго времени любимою темою аматёровъ на поприщѣ критики. Испытывая свои силы противъ него, думаютъ они, что доказываютъ тѣмъ свою независимость. Смѣшно и худо раболѣпствовать, но также худо и еще смѣшнѣе быть мятежникомъ, не имѣя ни права на то, ни надежныхъ союзниковъ въ собственныхъ силахъ, въ познаніяхъ надлежащихъ и въ довѣренности посторонней, основанной на прежнихъ успѣхахъ. Какъ, напримѣръ, прочесть безъ смѣха слѣдующее сужденіе въ письмѣ на Кавказъ (Сынъ Отечества, 1825 г., № 2, стр. 205): „Было время, когда наша публика мало слыхала о Шиллерѣ, Гёте, Бюргерѣ и другихъ Нѣмецкихъ романическихъ поэтахъ; теперь все извѣстно: знаемъ, что̀ откуда заимствовано, почерпнуто или переиначено. Поэзія Жуковскаго представлялась намъ прежде въ какомъ-то прозрачномъ, свѣтломъ туманѣ; но на все есть время, и этотъ туманъ теперь сгустился“ и проч.

Во-первыхъ, что за слогъ метеорологическихъ наблюденій?

Что за туманъ, который былъ прозраченъ, и теперь сгустился? Такимъ ли календарскимъ языкомъ пишутъ и судятъ о поэтахъ? Далѣе: г. сочинитель письма могъ за себя признаться, что онъ недавно вслушался въ имена Шиллера и Гёте, сознаніе похвальное въ отношеніи нѣкотораго смиренія и простодушія! Но кто даетъ ему право дѣлать и публику участницею въ долговременномъ невѣдѣніи своемъ? Сганарель, сытно пообѣдавъ, думалъ, что и семья его сыта; а здѣсь авторъ думаетъ, что чего онъ не знаетъ, того и прочіе не знаютъ. Сверхъ того, по словамъ его можно заключить, будто Жуковскій хотѣлъ обманывать читателей и выдавалъ имъ чужое за свое, переводы и подражанія за подлинники. Вотъ это ужъ намёкъ неблагонамѣренный и совершенно неосновательный! Въ первомъ изданіи Жуковскаго, напечатанномъ въ 1815 году, означены имена поэтовъ, которые служили образцами его спискамъ.

Вообще можно сказать, что сужденія автора письма, подкрѣпленныя календарскими наблюденіями, столько же и гадательны, какъ многія изъ календарскихъ истинъ.

Приговоры Пушкину, заключающіеся въ томъ же письмѣ, не основательнѣе первыхъ. Не признавая глубокой чувствительности за отличительную черту поэзіи Пушкина, авторъ утверждаетъ далѣе мнѣніе свое на слѣдующихъ словахъ: „Пушкинъ не есть и не будетъ никогда рыцаремъ печальнаго образа, чувствительнымъ селадономъ“. Будто глубокая чувствительность есть принадлежность поэтическихъ Донъ-Кихотовъ и слезливыхъ селадоновъ? Критикъ смѣшалъ чувствительность съ притворною плаксивостью и оказалъ въ себѣ совершенное отсутствіе поэтическаго чувства, столь необходимаго, когда хотимъ судить о поэтахъ и поэзіи. Онъ элегіи Пушкина называетъ прелестными игрушками. Новое противорѣчіе, новый non sens! Если онѣ игрушки, то уже не прелестны! Элегія только тогда и хороша, когда поэтъ въ ней не шутитъ, а груститъ и плачетъ за правду. Элегія есть листокъ изъ бытописанія души, или холодная, скучная выдумка: элегіи Пушкина не прелестныя игрушки, но горячій *отпечатокъ* минувшаго ощущенія души, минувшаго вдохновенія, унынія — и вотъ чѣмъ онѣ прелестны! *Пѣснь о Вѣщемъ*

Олегъ не нравится критику; онъ не находитъ въ ней той игривости въ стихахъ, которую привыкъ видѣть у Пушкина. Нашъ критикъ долженъ быть большой весельчакъ. Онъ требуетъ, чтобы и покойный Олегъ заигрывалъ съ нимъ и тѣшилъ его. Элегіи пріемлются имъ за игрушки; здѣсь жалуется онъ, что поэтъ не довольно разыгрался, хотя содержаніе Вѣщаго Олега ничего въ себѣ игриваго представить не можетъ. Въ другомъ мѣстѣ ставитъ онъ Пушкина выше, гораздо выше Жуковскаго; но, не опредѣливъ степени ни того, ни другаго, пускается онъ въ одну пустую издержку словъ. Что за принужденная и наобумъ сдѣланная оцѣнка! Жуковскій не написалъ бы многихъ страницъ въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ*, *Бахчисарайскомъ Фонтанѣ*, многихъ изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина, кипящихъ чувствомъ и мыслію, но Пушкинъ не написалъ бы многихъ строфъ въ *Пѣснѣ во станѣ Русскихъ воиновъ*, въ *Громобоѣ* и *Вадимѣ*, *Свѣтланѣ*, въ *Посланіи къ Нинѣ*, *къ Тургеневу*; не боролся бы съ успѣхомъ, равнымъ успѣху Жуковскаго, въ состязаніяхъ съ богатырями иностранной поэзіи, въ состязаніяхъ, гдѣ онъ долженъ былъ покорить самый языкъ и обогатить столькими завоеваніями и духъ, и формы и предѣлы нашей поэзіи. Согласенъ! Въ Пушкинѣ нѣтъ ничего Жуковскаго, но между тѣмъ Пушкинъ есть слѣдствіе Жуковскаго. Поэзія перваго не дочь, а наслѣдница поэзіи послѣдняго, и по счастію обѣ живы и живутъ въ ладу, не смотря на искательства литтературныхъ стряпчихъ щечилъ, желающихъ ввести ихъ въ ссору и тяжбу—съ тѣмъ, чтобы поживиться на счетъ той и другой, какъ обыкновенно водится въ тяжбахъ.

Съ удовольствіемъ повторяемъ здѣсь выраженіе самого Пушкина объ уваженіи, которое нынѣшнее поколѣніе поэтовъ должно имѣть къ Жуковскому, и о мнѣніи его относительно тѣхъ, кои забываютъ его заслуги: *дитя не должно кусать груди своей кормилицы*. Эти слова приносятъ честь Пушкину, какъ автору и человѣку!

Но пускай еще критикъ возноситъ Пушкина выше Жуковскаго, если непремѣнно хочетъ ставить одного поэта на голову другому, а не позволяетъ имъ стоять рядомъ: Жуковскій вѣрно

понесетъ охотно такое пріятное бремя; но это не конецъ: у сочинителя письма на Кавказъ есть въ запасѣ и еще нѣсколько, кромѣ Пушкина, которые выше Жуковскаго. Сіе открытіе, которое онъ вѣроятно держитъ про себя до удобнаго случая, выгодно для пользы литтературы нашей, но каково же будетъ Жуковскому? Предвижу, что не устоять ему, если автору письма поручено будетъ соорудить пирамиду изъ поэтовъ нашихъ.

Многіе съ досадою жалуются, что у насъ чужемысліе, чужечувствіе, чужеязычіе господствуютъ въ словесности; что у насъ мало своего, мало Русскаго; что никто не старается дать поэзіи нашей направленіе народное. Можетъ быть, отчасти это и правда. Но, по справедливости, признаться должно, что и у насъ встрѣчаются яркіе примѣры такого литтературнаго патріотизма, который даже и у Нѣмцевъ и Англичанъ могъ бы показаться баснословнымъ.

Въ доказательство тому привожу выписку изъ письма на Кавказъ (Сынъ От., 1825, № 3, стр. 313). Рѣчь идетъ о новыхъ басняхъ г. Крылова, напечатанныхъ въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ*.

„Онѣ прекрасны, замысловаты, но.... право не хочется высказать,—по разсказу не могутъ сравняться съ прежними его баснями, въ которыхъ съ прелестью поэзіи соединено что-то Русское, національное. Въ прежнихъ басняхъ И. А. Крылова мы видимъ Русскую курицу, Русскаго ворона, медвѣдя, соловья и т. п. Я не могу хорошо изъяснить того, что́ чувствую при чтеніи его первыхъ басенъ, но мнѣ кажется, будто я гдѣ-то видалъ этихъ звѣрей и птицъ, будто они водятся въ моей родительской вотчинѣ“.

Въ другихъ земляхъ требовали и требуютъ, чтобы драматическіе писатели, творцы эпическихъ поэмъ, почерпали предметы и вымыслы свои изъ отечественныхъ источниковъ; но нашъ Шлегель увлекается гораздо далѣе въ порывѣ пламеннаго патріотизма. Онъ не довольствуется отечественнымъ пантеономъ; онъ требуетъ еще и отечественнаго звѣринца, отечественнаго курятника, отечественнаго птичника. По немъ, сохрани Боже, чтобы

Русскій баснописецъ употребилъ въ баснѣ своей, напримѣръ, Цесарскую курицу или Швабскаго гуся; нѣтъ,—давай ему непремѣнно куриць Русскихъ, гусей Русскихъ; поэтическій желудокъ его не варитъ другихъ, кромѣ Русскихъ. Должно надѣяться, что требованія новой піитики нашего законодателя возбудятъ покорное вниманіе будущихъ баснописцевъ; но одно меня тревожитъ за нихъ: гдѣ будетъ предѣлъ его требованіямъ? Удовольствуется ли онъ тѣмъ, что его станутъ подчивать одною Русскою живностью. Изъ послѣднихъ словъ приведенной выписки не выказывается ли требованіе живности доморощенной? Первыя басни г. Крылова нравились литтератору-патріоту, но чѣмъ? Ему казалось, что герои оныхъ водились въ его родительской вотчинѣ. Искренно поздравляемъ нашего Аристарха—помѣщика съ родительскою вотчиною: не каждому литтератору можно похвалиться подобною собственностью; поздравляемъ и съ тѣмъ, что онъ имѣетъ при ней куриць и соловьевъ, пріятную пищу для желудка и ушей, хотя сожалѣемъ вчужѣ, что въ этой вотчинѣ водятся медвѣди, потому что отъ нихъ сельскія прогулки могутъ вовлечь хозяина въ непріятныя встрѣчи. Понимаемъ также, что для образованнаго помѣщика очень пріятно имѣть домашняго Лафонтена біографомъ-живописцемъ господскаго птичьяго двора; но пускай указатель новой піитики царства безсловесныхъ сжалится немного надъ затруднительнымъ положеніемъ баснописца, который въ такомъ случаѣ долженъ приписаться къ какой-нибудь вотчинѣ, чтобъ доставлять читателю своему пріятныя воспоминанія о его домашнемъ хозяйствѣ. Должно надѣяться, что въ другомъ письмѣ на Кавказъ послѣдуютъ поясненія и прибавленія, которыя, къ общему удовольствію, согласятъ выгоды читателей-помѣщиковъ съ выгодами приписныхъ баснописцевъ.

Приписка. Вотъ и эта статейка способствовала заподозрить меня въ неуваженіи къ Крылову. Не всѣ грамотные люди умѣютъ писать; это извѣстно: за примѣромъ ходить далеко не нужно. Но можно, по крайней мѣрѣ, было думать, что всѣ грамотные умѣютъ читать; а на дѣлѣ выходитъ, что и этого нѣтъ. Какъ умѣющему читать могло бы померещиться, что я здѣсь

нападаю на Крылова? Не явно ли, что предметъ сужденій и насмѣшекъ моихъ критикъ, требующій, чтобы Крыловъ былъ непремѣнно поставщикомъ доморощенныхъ звѣрей, доморощенныхъ животныхъ. Онъ требуетъ, чтобы каждая басня носила свое Русское тавро, чтобы баснописецъ былъ именно Русскій гуртовщикъ, Русскій разнощикъ Русскихъ пѣвчихъ птицъ, а отнюдь не канареекъ и другихъ заморскихъ пернатыхъ. Хорошенько допросить нашего критика, онъ готовъ сознаться, что и Петръ Первый напрасно водворилъ въ Россіи Голландскихъ коровъ. И то правда: это уже не басня, а гораздо поважнѣе басни,—это исторія и статистика. Боже мой, до какихъ гнусностей можетъ довести патріотизмъ, т.-е. патріотизмъ, который зарождается въ нѣкоторыхъ головахъ, совершенно особенно устроенныхъ. Признаюсь, я не большой и не безусловный приверженецъ и поклонникъ такъ-называемой національности. Думаю, что и Крыловъ не гонялся за національностью: она сама набѣжала на него, прильнула къ нему, но и то не овладѣла имъ. Вотъ, напримѣръ, случай, который доказываетъ, что онъ былъ болѣе классикъ, нежели націоналистъ. Пушкинъ читалъ своего Годунова, еще немногимъ извѣстнаго, у Алексѣя Перовскаго. Въ числѣ слушателей былъ и Крыловъ. По окончаніи чтенія, я стоялъ тогда возлѣ Крылова, Пушкинъ подходитъ къ нему и, добродушно смѣясь, говоритъ: признайтесь, Иванъ Андреевичъ, что моя трагедія вамъ не нравится, и на глаза ваши не хороша.—Почему же не хороша?—отвѣчаетъ онъ; а вотъ что я вамъ разскажу: проповѣдникъ въ проповѣди своей восхвалялъ Божій міръ и говорилъ, что все такъ создано, что лучше созданнымъ быть не можетъ. Послѣ проповѣди подходитъ къ нему горбатый, съ двумя округленными горбами, спереди и сзади: не грѣшно ли вамъ, пеняетъ онъ ему, насмѣхаться надо мною и въ присутствіи моемъ увѣрять, что въ Божьемъ созданіи все хорошо и все прекрасно. Посмотрите на меня. — Такъ что же, возражаетъ проповѣдникъ: для горбатаго и ты очень хорошъ.—Пушкинъ расхохотался и обнялъ Крылова.

Національность есть чувство свободное, врожденное: мы любимъ родину свою, народъ, которому принадлежимъ, который

нашъ и насъ считаетъ своими, по тому же закону природы, по которому любимъ себя, а въ себѣ любимъ и семью свою, родителей, братьевъ, сестеръ. Захотѣть же вложить это чувство въ систему, въ ученіе, въ законъ, это тоже, что задушить его. Не слѣдуетъ съуживать воззрѣнія свои, понятія, сочувствія. И тѣ и другія, чтобы отыскать мѣсто свое, требуютъ простора и воли. Литтературная ли національность, политическая ли, принятая въ смыслѣ слишкомъ ограниченномъ ни до чего хорошаго довести не можетъ.

1876 г.

XXI.

ЧЕРНЕЦЪ, КІЕВСКАЯ ПОВѢСТЬ. СОЧИНЕНІЕ ИВАНА КОЗЛОВА. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1825. in 8⁰. 64 стр.

1825.

Появленіе сей небольшой, но красотами богатой поэмы, есть пріятное событіе въ спокойной литературѣ нашей; а появленіе творца ея въ тѣсномъ кругу первостатейныхъ поэтовъ нашихъ было, за нѣсколько лѣтъ тому, неожиданнымъ и отраднымъ феноменомъ въ мірѣ нравственномъ и поэтическомъ. Дарованіе поэта Козлова знакомо всѣмъ любителямъ хорошихъ Русскихъ стиховъ, а судьба его (выписываемъ слова издателей *Чернеца*) должна возбудить нѣжнѣйшее участіе въ каждомъ благородномъ сердцѣ. Несчастіе, часто убійственное для души обыкновенной, было для него геніемъ животворящимъ. Недуги жестокіе, страдальчество физическое, развернули духовныя способности, которыя появились въ немъ въ цвѣтущую пору здоровья и ожидали его съ утѣшеніями и благодѣяніями въ роковую годину испытанія. Безъ всякой неумѣстной изысканности въ выраженіи, можно сказать естественно о поэтѣ нашемъ, что по мѣрѣ, какъ терялъ онъ зрѣніе и ноги, прозрѣвалъ онъ и окрылялся духомъ; отчужденный утратами физическими отъ земной жизни, ожилъ онъ съ лихвою въ другомъ мірѣ, и принадлежитъ на-

шему только тѣмъ, что есть въ немъ изящнаго и возвышеннаго: любовію и страданіемъ—любовію ко всему чистому и прекрасному, страданіемъ, освященнымъ, такъ сказать, союзомъ его съ смиреніемъ, или смиреніемъ, созрѣвшимъ въ страданіи!

Сей утѣшительный примѣръ можетъ прибавить прекрасную главу къ психологической исторіи человѣка; наблюдательный умъ, часто унывающій при зрѣлищѣ счастія недостойнаго, ободрится при видѣ бѣдствія очищеннаго, и если по ограниченности своей не постигнетъ тайныхъ путей Провидѣнія, то по крайней мѣрѣ примирится съ ними и съ упованіемъ на жизнь, приносящую плоды прекрасные и подъ тучами грозными.

Содержаніе *Чернеца* занимательно: главное лицо есть характеръ отмѣнно поэтическій, оживляющій въ памяти нѣкоторыя воспоминанія о *Гяурѣ* Бейрона; сцена дѣйствія, самое дѣйствіе, довольно простое, но быстрое и полное; отдѣльныя подробности, языкъ стихотворный—все озарено, все одушевлено поэтическимъ пламенемъ. Поэма начинается прекрасною картиною монастырской обители, близъ Кіева. Ночь обложила окрестность мракомъ и молчаніемъ; въ одной кельѣ обители свѣтится лампада и озаряетъ смертный одръ молодаго чернеца; предъ нимъ игуменъ, внимающій повѣсти страдальца. При самомъ рожденіи чернецъ уже познакомился съ несчастіемъ сиротства, и подъ гнетомъ строгой судьбы образовался къ сильнымъ и мрачнымъ страстямъ.

Веселья (говоритъ онъ) дѣтства пролетали,
Едва касаясь до меня;
Когда ровесники играли,
Уже задумывался я...
. . . . . .
Любилъ я по лѣсамъ скитаться,
День цѣлый за звѣрьми гоняться,
Широкій Днѣпръ переплывать,
Любилъ опасностью играть,
Надъ жизнью дерзостно смѣяться:
Мнѣ было нечего терять,
Мнѣ было не съ кѣмъ разставаться.

Но вдругъ покоряется онъ новому чувству и раскрываетъ душу сладостнымъ впечатлѣніямъ. Любовь преобразовала его;

уже счастіе его ожидаетъ, благословеніе родителей готово освятить взаимную любовь молодыхъ сердецъ; но злой родственникъ, тайный соперникъ счастливца любимаго, разрушаетъ его надежды, клеветою вредитъ ему предъ родителемъ невѣсты, который отказывается отъ даннаго согласія. Любовникъ похищаетъ подругу свою: уже цѣлый годъ протекъ для нихъ, какъ одно радостное утро, уже новая надежда обѣщаетъ скоро удвоить ихъ счастіе,—но счастіе не суждено ему.

Несчастный супругъ, несчастный отецъ стоитъ надъ могилою супруги и сына, которыхъ убило коварство мстительнаго соперника: ложною вѣстію увѣрилъ онъ несчастную, что она отцемъ проклята. Семь лѣтъ съ душою растерзанною, съ разсудкомъ помраченнымъ, скитался по чужбинѣ одинокій страдалецъ, но

Гдѣ сердце любитъ, гдѣ страдаетъ,
И милосердый Богъ нашъ тамъ;
Онъ крестъ даетъ и Онъ-же намъ
Въ крестѣ надежду посылаетъ.

Волненіе, свирѣпствовавшее въ немъ, утихаетъ: лучъ надежды высокой проникнулъ до темной бездны души его, умъ проясняется, онъ становится доступнымъ утѣшенію, возноситъ свои взоры къ небесамъ; уже безъ дикаго отчаянія, но съ кроткимъ умиленіемъ помышляетъ онъ о своей супругѣ —

И тяжкимъ упованъ крестомъ
Съ ней выстрадать соединенье;

онъ возвращается на родину, привѣтствуетъ душою растроганною Кіевскія поля; приходитъ на могилу жены и сына и близъ нихъ ожидаетъ его несчастіе новое, тѣмъ ужаснѣйшее, что оно влечетъ за собою угрызеніе совѣсти. Онъ видитъ предъ собою,

При блескѣ трепетномъ луны,
Убійцу сына и жены.

Прошедшее со всѣми бѣдствіями своими пробудилось въ душѣ, едва усмирившейся: возникли прежнія чувства мести, прежняя гроза. Убійца пріемлетъ достойное наказаніе: онъ па-

даетъ поверженный въ крови своей, но мститель есть также убійца!

Тогда еще не разсвѣтало
. . . . . .
Передъ зарею все дремало,
Лишь песся гулъ издалека,
Какъ конь скакалъ безъ сѣдока.

Несчастному все сбывшееся съ нимъ кажется страшнымъ, неотразимымъ сномъ. Въ ближней обители раздался звонъ къ заутренѣ, но онъ боится переступить порогъ, недоступный страстямъ ожесточеннымъ. Онъ взываетъ:

О чемъ теперь и какъ молиться?
Чего мнѣ ждать у алтарей?
Мнѣ-ль уповать на вѣки съ ней
Въ святой любви соединиться?
Какъ непорочность сочетать
Убійцы съ бурными страстями?
Какъ въ небѣ ангела обнять
Окровавленными руками?

Эти два стиха могутъ показаться строгому критику нѣсколько изысканными; но, по нашему мнѣнію, они вѣрны и поразительно картинны.

Наконецъ онъ превозмогаетъ свой ужасъ, вступаетъ въ обитель и посвящаетъ ей остатокъ дней своихъ; но и тутъ не обрѣтаетъ онъ спокойствія, и въ святилищѣ тишины отражается на душѣ его мрачный и возмутительный образъ прошедшаго. Бывало, говоритъ онъ, когда я былъ еще не пороченъ,—

Бывало бѣдствіе мое
Я вѣрой услаждалъ всечасно;
Теперь—до гроба жить ужасно!
За гробомъ—вѣчность безъ нее!

Однажды, какъ онъ въ терзаніи раскаянія и съ слезами молитвы ублажалъ Милосердаго, пріемлетъ онъ въ видѣніи, ему знакомомъ, сердцу памятномъ и близкомъ, вѣстника прощенія и благости. Второй разъ является ему примирительный посѣтитель, и онъ, стремясь за его призывомъ, кончаетъ жизнь бѣдственную, съ упованіемъ на лучшую.

Разныя сіи положенія начертаны съ необыкновенною вѣрностью чувства и почти всегда съ увлекательною живостію и волшебною прелестью поэзіи. Въ особенности же, кажется, отличается красотами вторая половина повѣсти. Описаніе возвращенія чернеца на родину, посѣщенія кладбища, встрѣчи съ коварнымъ злодѣемъ, убіенія его, повѣсть о томъ, что́ чувствовалъ страдалецъ по совершеніи мести—глубоко отзываются въ душѣ читателя. Нравственный поэтъ съ отмѣннымъ познаніемъ сердца человѣческаго означилъ слѣдствіе преступленія на душѣ страдальца. Преступленіе, хотя уже безкорыстное, такъ сказать невольное, неотвратимое и какъ-бы направленное рукою Немезиды (если можно позволить себѣ примѣненія, почерпнутыя изъ баснословія, въ предметѣ, освященномъ религіею очищенною), было для него преступленіемъ не менѣе сердцу тягостнымъ и отравило горесть, которая начинала не сглаживаться, но умилялась и дѣлалась источникомъ надеждъ возвышенныхъ. Непорочный сѣтовалъ объ утраченной своей любовью чистою и высокою: въ преступникѣ, пролившемъ кровь ближняго, возникла снова страсть со всѣми бурями земными. Мысль глубокая и поучительная! Но чѣмъ раскладывать въ бездушную прозу чувство, облеченное прелестью душевной поэзіи, то-есть истины очищенной и возвышеннѣйшей, приведемъ лучше самыя слова чернеца:

О, вѣрь, необагренный кровью,
Дышалъ я чистою любовью,
Умѣлъ земное позабыть:
Я въ небесахъ съ ней думалъ жить!
Теперь, какъ гибельнымъ ударомъ,
И тамъ я съ нею разлученъ,
Опять горю безумнымъ жаромъ,
Тоскою дикой омраченъ,
Здѣсь на соломѣ, въ кельѣ хладной,
Не предъ крестомъ я слезы лью;
Я вяну, мучуся, люблю,
Въ печали сохну безотрадной;
Весь адъ, все бѣшенство страстей
Кипятъ опять въ груди моей,
И, жертва буйнаго страданья,
Мои преступныя рыданья
Тревожатъ таинство ночей.

Въ концѣ описываются самая смерть и погребеніе инока.

Жаль, что поэтъ не воспользовался всѣми обрядами, совершаемыми у насъ при погребеніи иноковъ. Хорошо сдѣлаетъ, если при второмъ изданіи своей поэмы, обогатитъ онъ въ этомъ мѣстѣ поэзію свою всѣмъ тѣмъ, что́ истина и существенность предлагаютъ ему поэтическаго. Еще можно, кажется, замѣтить, что въ разсказѣ страдальца объ утратѣ жены и сына нѣтъ довольно ясности; причина ихъ смерти можетъ остаться сомнительною для читателя —

Но злоба алчная не спитъ:
Въ опасный часъ къ намъ вѣсть несется,
Что вся надежда отнята,
Что дочь отцомъ ужъ проклята...
Обманъ ужасный удается:
Злодѣй несчастную убилъ...

Можно догадаться, но можно и не знать, о какомъ обманѣ и о какомъ злодѣѣ идетъ дѣло. Это мѣсто тѣмъ болѣе, кажется, требуетъ переправки, что и самые стихи довольно слабы и какъ будто измѣняютъ поэту въ рѣшительную минуту дѣйствія.

Упомянувъ о второмъ изданіи, которое, какъ надѣемся, не замедлится, кстати попросить поэта поисправить двѣ или три риѳмы ненадежныя. Я спѣшу скрѣпить здѣсь сіе послѣднее замѣчаніе не въ пользу поэта и читателей его, которые вѣрно немного позаботятся о двухъ, или трехъ риѳмахъ, но болѣе въ собственную пользу. Мнѣ хотѣлось не уронить себя въ глазахъ собратій моихъ, Русскихъ журнальныхъ рецензентовъ, и показать имъ, что и я, если не съ такою мастерскою сноровкою, какъ они, но также подъ-часъ умѣю придираться къ мелочнымъ опискамъ искуснаго пера и важничать о пустякахъ.

При поэмѣ находимъ два посланія того же поэта, исполненныя чувства и сердечныхъ стиховъ, которые врѣжутся въ сердце читателя, а послѣднее и оживленное воображеніемъ цвѣтущимъ. Первое заключаетъ посвященіе поэмы отъ поэта женѣ и служитъ предисловіемъ, достойнымъ творенія; другое—сердечную исповѣдь поэта въ чувствахъ, страданіяхъ и утѣшеніяхъ

его. Жаль, что она слѣдуетъ за поэмою, а не напечатана въ началѣ, чтобы тотчасъ познакомить читателя съ поэтомъ; конечно, не ему нужно задобривать заранѣе читателя своего, но не менѣе того, прочтя сіе сердечное изліяніе, будешь впередъ съ бо̀льшимъ вниманіемъ, съ живѣйшимъ участіемъ читать произведенія поэта, который и какъ человѣкъ столь нравственно привлекателенъ.

XXII.

О РАЗБОРѢ ТРЕХЪ СТАТЕЙ, ПОМѢЩЕННЫХЪ ВЪ ЗАПИСКАХЪ НАПОЛЕОНА, НАПИСАННОМЪ ДЕНИСОМЪ ДАВЫДОВЫМЪ.

1825.

Начавъ свои партизанскіе подвиги противъ Наполеона-завоевателя, авторъ разсматриваемой книжки продолжаетъ наѣзды свой противъ Наполеона-повѣствователя. Онъ ловитъ его въ нѣкоторыхъ отступленіяхъ отъ истины, кои замѣтны въ запискахъ знаменитаго изгнанника на островъ св. Елены. Сіи отступленія тѣмъ болѣе автору нашему близки, что они относятся до дѣйствій партизанскихъ въ войнѣ 1812 года. Русскій авторъ первый обратилъ вниманіе начальства на пользу, которую могутъ принести военному успѣху отдѣльныя дѣйствія легкаго войска, какъ свидѣтельствуетъ о томъ извѣстное письмо его къ князю Багратіону: онъ въ правѣ похвалиться, что съ его легкой руки устроились партизанскіе отряды, нанесшіе столько вреда побѣдоносной арміи Наполеона въ Россіи, и что ему обязаны какъ главною мыслію сего предпріятія, такъ и нѣкоторымъ блистательнымъ успѣхомъ въ исполненіи. Вдругъ оспариваютъ у него и у товарищей на партизанскомъ поприщѣ всѣ ихъ права на уваженіе и благодарность соотечественниковъ. Наполеонъ нѣсколькими строками записокъ своихъ поражаетъ ничтожествомъ всѣ ихъ дѣла и утверждаетъ, что Французская армія не дога-

дывалась о Русскихъ партизанахъ и что они для нея какъ будто не существовали. „Слова, падшія съ такой высоты“,—говоритъ авторъ въ опроверженіи своемъ,—„не суть уже шипѣніе раздраженной посредственности, столь давно преслѣдующей партизановъ нашихъ, это—удары Юпитера!“ Чѣмъ обвиненіе важнѣе, тѣмъ оправданіе необходимѣе, но тѣмъ и оправдываніе затруднительнѣе. По нашему мнѣнію, Русскій авторъ, побуждаемый любовью къ отечеству и къ истинѣ, если хотятъ, даже и личнымъ чистолюбіемъ, не только извинительнымъ, но и похвальнымъ въ такомъ случаѣ, хорошо сдѣлалъ, что внялъ вызову противника, котораго нельзя оставить безъ уваженія, и рѣшился, по возможности, отразить его удары. Способъ опроверженія имъ избранный, кажется, самый основательный и удачный. Изъ словъ же Наполеона, изъ бюллетеней Французской арміи, писанныхъ, какъ извѣстно, имъ самимъ или подъ его непосредственнымъ руководствомъ, выписками изъ Французскихъ повѣствователей (свидѣтелей въ этомъ случаѣ неотложныхъ), почерпнулъ онъ всѣ свои доводы; не увлекался многословнымъ витійствомъ, но по собственнымъ его словамъ „подводилъ статьи, противорѣчащія нѣкоторымъ статьямъ, помѣщеннымъ въ запискахъ Наполеона, писанныхъ наобумъ, наскоро и безъ документовъ“.

Предоставляя опытнымъ знатокамъ военнаго ремесла судить о сей книжкѣ въ отношеніи военныхъ соображеній, въ ней заключающихся, скажемъ, что и не военный можетъ прочесть ее съ любопытствомъ удовлетвореннымъ. Авторъ не упускаетъ случаевъ изобличать Наполеона въ заблужденіяхъ ему подлежащихъ, но и въ самыхъ горячихъ выходкахъ сохраняетъ всегда вѣжливость и прямодушіе рыцарскія, не забывая должнаго уваженія къ врагу знаменитому, который, вопреки разности мнѣній политическихъ, пребудетъ неизмѣнно, въ особенности же для воиновъ, предметомъ удивленія. Нельзя вмѣстѣ съ авторомъ не дивиться обмолвкамъ, вольнымъ или невольнымъ, Наполеона и въ недоумѣніи должно согласиться съ нимъ, что „притворство не имѣетъ подобныхъ порывовъ!“ Какъ бы то ни было, поправки нужны, ибо нѣтъ сомнѣнія, что слова Наполеона не менѣе дѣя-

ній его отдадутся въ отдаленнѣйшемъ потомствѣ. Нынѣ событія ему современныя еще свѣжи въ памяти нашей: многіе изъ участниковъ Шекспировской драмы, коей Наполеонъ былъ главнымъ авторомъ, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, а нынѣ отчасти и докладчикомъ, могутъ исправить ошибки, вкравшіяся въ отчетъ о игранныхъ роляхъ. Желательно, чтобы примѣръ, данный нашимъ авторомъ, имѣлъ послѣдователей во всѣхъ достовѣрныхъ уличителяхъ заблужденій Наполеона. Сіи справки и показанія войдутъ въ составъ матеріаловъ, коими новый Квинтъ-Курцій воспользуется для бытописанія новаго завоевателя, затмившаго славу предшественника. Безъ сомнѣнія, хорошая исторія современныхъ намъ событій, будетъ первою книгою въ мірѣ: это будетъ не только книга, но событіе и памятная эпоха въ лѣтописяхъ ума человѣческаго. Прадтъ говорилъ, что никто лучше г-жи Сталь не могъ бы исполнить эту задачу, которая вѣроятно долго еще останется неразрѣшенною. Согласенъ, но въ такомъ случаѣ г-жѣ Сталь надлежало бы быть Русскою. Мнѣ кажется, что только Русскому, по крайней мѣрѣ изъ Европейцевъ, можно быть безпристрастнымъ судьею и чистосердечнымъ повѣствователемъ дѣяній Наполеона. Всѣ другіе народы, кромѣ нашего, болѣе или менѣе, неудачами или успѣхами, лично замѣшаны въ дѣлѣ Наполеона: одни мы, когда дѣло дошло до личности, разочлись съ нимъ благородно и начисто. Сношенія наши съ нимъ до 1812 года, болѣе зависѣвшія отъ жребія войны, отъ политическихъ сдѣлокъ и продѣлокъ, не имѣли ничего народнаго: каковы ни были послѣдствія походовъ, но народное бытіе оставалось неприкосновеннымъ. Когда же Наполеонъ захотѣлъ имѣть съ нами, какъ имѣлъ съ другими, дѣло дома, такъ сказать, въ святынѣ отечественнаго очага, то мы показали примѣръ, какъ должно дорожить независимостью государственною: конечно, Русскому историку Наполеона не нужно будетъ при сей критической эпохѣ для народнаго честолюбія кривить душою и прибѣгать къ благовиднымъ оправданіямъ, насильнымъ союзникамъ дѣла не совершенно чистаго. Здѣсь лучшія оправданія въ истинѣ обнаженной. Конецъ дѣло вѣн-

чаетъ, и мы въ этомъ вѣнкѣ пріобрѣли право не быть злопамятными. Какъ въ частныхъ, такъ и въ политическихъ отношеніяхъ, вражда не оставляетъ по себѣ ненависти, когда не за что краснѣть передъ врагомъ.

Опомнясь, вижу, что, занимаясь партизанствомъ, увлекся я и самъ въ партизанское отступленіе отъ главнаго предмета. Прошу въ томъ извиненія у строгихъ методистовъ, и кончу свой разборъ нѣсколькими словами о слогѣ нашего автора, уже извѣстнаго блестящими опытами въ слогѣ военномъ. Какъ въ полевыхъ дѣйствіяхъ его, такъ и въ самомъ языкѣ Тугуты военные и литературные найдутъ вѣроятно погрѣшности непростительныя, ибо для нихъ успѣхъ ничего не значитъ, когда онъ не выведенъ изъ постановленныхъ правилъ, а вспыхнулъ подъ внезапнымъ вдохновеніемъ. Но для насъ, охотно раздѣляющихъ ненависть Суворова, образъ изложенія мыслей и чувствъ, свойственный автору нашему, носитъ отпечатокъ ума быстраго и свѣтлаго: живость мыслей и чувствъ пробивается сквозь сухость предмета и увлекаетъ читателя; ему недосугъ справиться, наслаждается ли онъ въ силу такого-то риторическаго узаконенія и не достанется ли ему вмѣстѣ съ авторомъ отъ журналиста, разбирающаго книгу, какъ школьный учитель разбираетъ черновыя тетради учениковъ и ничего предъ своими глазами не видитъ, кромѣ дѣепричастій, мѣстоименій, кавыкъ и проч. и проч. Многимъ не подъ силу раздробить ядро мысли, и потому съ алчностію острятся они о скорлупу. Если въ оборотахъ рѣчей найдутся галлицизмы, то, по крайней мѣрѣ, сабля, очинившая перо нашего военнаго писателя, чужда сего упрека и должна обезоружить неумолимую строгость Аристарховъ, которые готовы защищать нашъ языкъ отъ чужеземнаго язычества, съ такимъ же упорствомъ и энтузіазмомъ, съ какимъ наши воины обороняли отъ него нашу землю. Усердіе похвальное! Пусть цѣлость нашего языка будетъ равно священна, какъ и неприкосновенность нашихъ границъ; но позвольте спросить: развѣ и завоеванія наши почитать за нарушеніе этой драгоцѣнной цѣлости? Не забудемъ, что языкъ политическій, языкъ воен-

ный — скажу наотрѣзъ — языкъ мысли вообще, мало и немногими у насъ обработанъ. Хорошо не затѣивать новизны тѣмъ, коимъ не зачѣмъ выходить изъ колеи и выпускать вдаль умъ домовитый и ручной; но повторяю: новые набѣги въ области мыслей требуютъ часто и новаго порядка. Отъ нихъ книжный синтаксисъ, условная логика частнаго языка могутъ пострадать, но есть синтаксисъ, но есть логика общаго ума, которые, не во гнѣвъ ученымъ будь сказано, также существуютъ.

XXIII.

ПИСЬМО ВЪ ПАРИЖЪ.

1825.

Хотя вы худо приняли мои Русскіе гостинцы, но на диковинку посылаю вамъ еще—журналъ не журналъ, книгу не книгу, а нѣчто, которое безъ сомнѣнія не имѣетъ своего подобія ни въ какихъ литературахъ древнихъ и новѣйшихъ. Вотъ вамъ „*Прибавленіе къ Сыну Отечества*“. И подлинно пристройка достойная главнаго зданія!

Вызываю отважнѣйшихъ читателей: кто прочтетъ однимъ духомъ и не смыкая глазъ сію кормчую книгу скуки, тотъ шутя вытвердитъ наизусть *Телемахиду* отъ перваго стиха до послѣдняго. И весь этотъ паркъ артиллеріи морфеевской наведенъ на *Телеграфъ*. За что? спросите вы... Есть нѣкоторыя главныя побужденія и поводы къ непріязни: а къ нимъ примыкаетъ съ разныхъ сторонъ нѣсколько мелочныхъ самолюбій литературныхъ лиллипутовъ, обидѣвшихся чистосердечіемъ телеграфическихъ извѣстій о ихъ движеніяхъ; за ними слѣдуетъ безплотная, чуть не безсловесная фаланга друзей, которая сама собою не существуетъ, но какъ эхо вторитъ чужія слова, и послѣ истаиваетъ въ воздухѣ. Во всемъ отрядѣ писателей, объявившихъ войну *Телеграфу*, не найдете рѣшительно ни одного имени литтератора заслуженнаго. Всѣ они только тогда получатъ право гражданства въ области музъ, когда издастся извѣстный вамъ въ рукописи литтературный словарь безконечно

малыхъ [1]). Покамѣстъ они существуютъ въ силу правила товарищества, или устава общества для взаимнаго застрахованія. Взаимно они себя читаютъ, взаимно хвалятъ, обороняются, поддерживаются, другъ за друга отвѣтствуютъ. Не столько голубкамъ, какъ имъ, приличенъ прекрасный стихъ нашего баснописца:

Гдѣ видишь одного, другой ужъ вѣрно тамъ!

По справедливости должно признаться, что изъ сего общества отдѣляется неизвѣстный авторъ, скрывшій имя свое подъ буквами—*вг*, на 39 страницѣ помянутаго Прибавленія. Наши писатели и даже кандидаты въ писатели такъ всѣ на счету, мы такъ прислушались къ каждому, что нельзя не догадаться, когда новый голосъ раздается посреди извѣстныхъ. Жаль, что сей новый рыцарь завербовался въ подобный походъ подъ знаменами, не имѣющими девиза Бурбонскаго знамени: Drapeau sans tache. Лучше поберегъ бы онъ свое мужество для блистательнѣйшихъ дѣйствій и для поприща, болѣе достойнаго его пера и дарованій.

Согласенъ, и *Телеграфъ* далекъ отъ совершенства; но все же рѣшительно не хуже онъ другихъ журналовъ нашихъ; а расположеніемъ, разнообразіемъ своимъ болѣе другихъ удовлетворяетъ требованіямъ журнальныхъ читателей. Видно, что издатель еще не побѣдилъ всѣхъ затрудненій, предстоящихъ ему, что слогъ его не совершенно созрѣлъ въ постоянномъ и прилежномъ упражненіи; но, по крайней мѣрѣ, видны усилія надежныя, дѣятельность, благонамѣренность; но, по крайней-мѣрѣ, писатель, который дорожитъ своимъ честнымъ именемъ, можетъ, не краснѣя, вписать его на страницы журнала, еще органа литтературнаго, а не разглашателя личныхъ ненавистей, личныхъ разсчетовъ, личныхъ пристрастій. Забавнѣе всего: противники издателя *Телеграфа* суть тѣ же, которые приглашали его снять откупъ журнальный и со всѣмъ жаромъ сердобольнаго участія

[1]) Ривароль написалъ: Petit almanach de nos grands hommes. Въ немъ остроумно и безпощадно осмѣивалъ онъ современную Французскую литтературную мелюзгу. Кто-то, въ подражаніе, хотѣлъ издать въ Москвѣ: *Большой словарь мелкихъ Русскихъ писателей.*

пугали его затрудненіями, сопряженными съ званіемъ издателя, уговаривая дѣйствовать лучше общими силами. Vous êtes orfèvre m-r Josse! Всему этому я видѣлъ письменныя доказательства, а по моему мнѣнію, если выставить ихъ въ книжной лавкѣ на показъ любопытнымъ, то стоили бы они монеты, которую издатель *Архива* намѣревался отдать въ лавку Смирдина. Пишетъ ли у насъ какой-нибудь лѣтописецъ позорный временникъ, la chronique scandaleuse нашей современной литературы? Сколько богатыхъ матеріаловъ! Или за чѣмъ не составить бы, по исторіи словесности, лѣтопись о мятежахъ, въ которой также явились бы свои Лже-Дмитріи и свои Мнишки!

Вы все не вѣрите паденію *Сына Отечества*. При первомъ случаѣ пришлю вамъ еще нѣсколько доказательствъ наличныхъ. Впрочемъ, прежній издатель его, который положилъ ему счастливое начало въ роковую и блестящую годину, нынѣ покоится за неутомимою дѣятельностью новаго своего товарища и, какъ хозяинъ снисходительный, въ домѣ своемъ даетъ волю своему дорогому гостю. И подлинно, угощаетъ онъ его мастерски! Какъ ласкаетъ, какъ смиряется передъ нимъ, и если изрѣдка и возвыситъ передъ нимъ голосъ, то развѣ съ тѣмъ, чтобы воспѣть ему хвалу. Въ самомъ дѣлѣ, если г-ну Булгарину не удастся затмить славу всѣхъ Русскихъ писателей, бывшихъ и существующихъ, то виноватъ тому не г-нъ Гречъ. По его мнѣнію, г-нъ Булгаринъ приноситъ честь не только намъ, но могъ бы принести честь и Франціи и Германіи своими литтературными дарованіями. Хотя и почитаю себя хорошимъ патріотомъ, но въ этомъ случаѣ желалъ бы счастія Франціи и Германіи! Вы подумаете, что такія похвалы, печатаемыя въ журналѣ, издаваемомъ подъ фирмою г-на Булгарина, означаются, по крайней-мѣрѣ, курсивомъ, какъ вставки неумѣстныя, какъ пріятельская шутка, для смѣха приводимая, или что г-нъ Булгаринъ ставитъ отводы отъ сихъ ударовъ кадильницы неосторожнаго дружества? Нѣтъ, онъ молча соглашается, *et comme accoutumé à de pareils présents*, даже и не поморщится, хотя бы изъ благопристойности. Но за то, какъ убѣдительно на дѣлѣ доказываетъ онъ, что г-нъ Гречъ худой знатокъ въ людяхъ и въ авторскихъ дарова-

ніяхъ, но за то другъ восторженный и полный самоотверженія.

Еще отличительная черта этихъ союзныхъ походовъ на *Телеграфъ* есть та, что сіи крестовые рыцари упрекаютъ издателя въ томъ, что онъ изъ купеческаго званія. Да, кто же, спросите вы, сіи феодальные бароны, повитые на пергаментѣ и вскормленные на благородномъ щитѣ, которые не иначе хвалятъ книгу, какъ удостовѣрившись, что она писана дворянскою рукою? Уморъ! Да, хотя и въ самомъ дѣлѣ происхожденіе ихъ было бы древнѣе самого Рима, то какъ не знать въ наше время, что одно изъ главнѣйшихъ правъ издателя *Телеграфа* на вниманіе и благосклонность просвѣщенныхъ соотечественниковъ есть именно то, что онъ въ лицѣ своемъ служитъ доказательствомъ распространенія образованности, которая долго замыкалась у насъ въ одномъ высшемъ званіи, доказательствомъ, что мудрая попечительность Русскаго правительства не даромъ поощряетъ развитіе просвѣщенія и открыла средства къ образованію своихъ гражданъ. Чего ожидать отъ писателей, которые въ литтературныхъ мнѣніяхъ употребляютъ подобныя орудія личности и не стыдятся въ XIX вѣкѣ обнаруживать такія мнѣнія? Но какъ и не пожалѣть о состояніи текущей литтературы, которая вертится на подобныхъ пружинахъ!

Что сказать о новой отрасли литтературной, отрасли многолиственной, но безплодной, которая, подъ именемъ антикритики, накидываетъ широкую, холодную тѣнь на журналы наши, а особливо же на *Сынъ Отечества*, давно скрывающійся въ сей дремучей засадѣ? Она напоминаетъ намъ древо сна, посаженное Виргиліемъ въ преддверіяхъ ада, и стихъ Петрова, изъ описанія его:

На каждомъ тутъ листѣ почіетъ сновидѣнье—

можетъ служитъ прекраснымъ эпиграфомъ къ *Прибавленію Сына Отечества.*

Ваши Парижскіе журналы не имѣютъ понятія объ антикритикахъ. Кажется, должно держаться въ значеніи семъ буквальнаго смысла и опредѣлить, что антикритика есть совершенная

противуположность истинной критики, и что господа антикритики суть антиподы критиковъ дѣльныхъ, образованныхъ, вѣжливыхъ. Не такъ ли? Бюффонъ сказалъ: le style c'est l'homme. Слогъ нашихъ антикритикъ вялъ, грубъ, безцвѣтенъ. Въ нихъ не соблюдаются первоначальныя правила свѣтскаго общежитія, ихъ эпиграмматическая соль заключается обыкновенно въ томъ, что назовутъ противника по имени, говоря во второмъ лицѣ: г-нъ такой-то! Скоро дождемся, что мѣстоименіе вы замѣнится въ нихъ республиканскимъ ты: вотъ чѣмъ ограничатся успѣхи наши въ республикѣ словесности! Кстати замѣтить здѣсь противоположную сему формулу, вкравшуюся въ нашъ языкъ литературный. Многіе, говоря о современномъ писателѣ, никогда не рѣшатся наименовать его просто, а не иначе какъ съ прилагательными: почтеннѣйшій, достопочтеннѣйшій, извѣстнѣйшій. Эти провинціализмы дерутъ уши, когда слышишь ихъ отъ автора. Если формы нашихъ антикритикъ доказываютъ недостатокъ въ привычкѣ мыслить, то можно рѣшительно утвердить, что изъ сего чернильнаго омута не выплыветъ ни одной свѣжей новой мысли, ни одного наблюденія, тонкаго, проницательнаго. Развѣ почесть новыми наблюденіями открытія, подобныя слѣдующему: одинъ изъ антикритиковъ *Сына Отечества* (въ Прибавленіи № 1, стр. 13) называетъ старинною Русскою пословицею изреченіе: „Въ чужомъ глазу замѣчаемъ соломинку, а въ своемъ не видимъ и бревна“. Кто до него зналъ, что въ Библіи находятся Русскія пословицы?

Но перейдемъ къ другому, если только вы имѣли терпѣніе слѣдовать за мною. Во всякомъ случаѣ прошу, въ минуту негодованія или мщенія не выдавать нашихъ тайнъ Французскимъ журналистамъ, какъ то дѣлали иные изъ нашихъ литтературныхъ сутягъ, которые, не надѣясь выиграть тяжбу дома, прибѣгали къ чужимъ инстанціямъ. Нѣтъ, сдѣлайте одолженіе, не выносите ни сора, ни ссоръ нашихъ изъ избы. А уже если захотите не скромничать, то вотъ вамъ добрыя вѣсти о нашей сторонѣ.

Мы ожидаемъ въ скорости появленія 12-го тома *Исторіи Государства Россійскаго*, который обниметъ промежутокъ времени столь драматическій, столь занимательный разнообразіемъ и

важностію событій, такъ сказать заключившій бѣдствія и перевороты нашего отечества и открывшій новый періодъ нашего государственнаго бытія.

Мелкія стихотворенія и новая поэма Пушкина *Цыгане* готовятся къ печати. Слышно, что юный атлетъ нашъ испытытываетъ свои силы на новомъ поприщѣ и пишетъ трагедію: *Борисъ Годуновъ*. По моему, должно надѣяться, что онъ подаритъ насъ образцовымъ опытомъ первой трагедіи народной и вырветъ ее изъ колеи, проведенной у насъ Сумароковымъ не съ легкой, а развѣ съ тяжелой руки. Благоговѣя предъ поэтическимъ геніемъ Расина, сожалѣю, что онъ завѣщалъ почти всѣмъ Русскимъ послѣдователямъ не тайну стиховъ своихъ, а одну обрѣзанную, накрахмаленную и по закону тогдашняго общества сшитую мантію своей Парижской Мельпомены. Какъ жаль, что Озеровъ, при поэтическомъ своемъ дарованіи, не дерзнулъ переродить трагедію нашу! Тѣмъ болѣе опытъ Пушкина любопытенъ и важенъ. Между тѣмъ поэтическій романъ *Евгеній Онѣгинъ* подвигается. Жаль, что двѣ или три слѣдующія главы, которыя, какъ слышно, уже готовы, до сей поры остаются въ рукописи. Нашимъ типографіямъ нужна утѣшительная система Азаиса, система вознагражденій (compensations). Литтературные лазутчики доносятъ еще, что въ Москвѣ печатается новое собраніе басенъ, въ родѣ апологическихъ четверостишій Мольво (Mollevaut). Нѣкоторыя изъ сихъ басенъ напечатаны въ *Полярной Звѣздѣ* безъ имени поэта; но точность и правильность языка, исполненнаго поэтической силы и живости, отпечатокъ вкуса зрѣлаго и, однимъ словомъ, всѣ признаки мастера своего дѣла обнаружили тайну анонима. Вотъ наши надежды въ засѣвѣ, а прочія пока прѣютъ въ ожиданіи. Надѣюсь, вы обрадуетесь моимъ вѣстямъ, а теперь хочу удивить вѣстью почти неслыханною,

На дняхъ, прочиталъ я Русскій романъ: *Два Ивана, или Страсть къ тяжбамъ*, сочиненіе Нарѣжнаго, который, къ сожалѣнію, умеръ прошедшимъ лѣтомъ еще въ зрѣлой порѣ мужества. Это четвертый романъ изъ написанныхъ авторомъ. Не удовлетворяя вполнѣ эстетическимъ требованіямъ искусства, Нарѣжный побѣдилъ первый, и покамѣстъ одинъ, трудность, которую,

признаюсь, почиталъ я до него непобѣдимою. Мнѣ казалось, что наши нравы, что вообще нашъ народный бытъ не имѣетъ или имѣетъ мало оконечностей живописныхъ, кои могъ бы охватить наблюдатель для составленія Русскаго романа. Правда, что авторъ нашъ наблюдатель не совершенно Русскій, а Малороссійскій, и что его два лучшіе романа: *Бурсакъ* и *Два Ивана* относятся къ эпохѣ, когда Малороссія еще имѣла свою особенную и характеристическую физіономію; правда и то, что Нарѣжный не берется быть живописцемъ природы изящной, а сбивается болѣе на краски Теньера или Гогарта. Картины его имѣютъ обыкновенно черты каррикатурныя, но не менѣе того обнаруживается вездѣ умъ оригинальный, веселый, смѣтливый въ наблюденіяхъ, а кое-гдѣ и прорываются искры истинной чувствительности. Онъ не даетъ читателю въ первыхъ страницахъ романа отгадать загадку, которая становится утомительною, когда любопытство удовлетворено преждевременно; но онъ довольно искусно заводитъ читателя и при концѣ даетъ отчетъ ясный и сбыточный. Не всѣ романисты поступаютъ такъ добросовѣстно съ читателями своими. Жаль, что языкъ непріятный, грубый, иногда даже дикій, вкусъ неочищенный, или — справедливѣе — совершенное отсутствіе вкуса, много вредятъ достоинству сихъ романовъ; но совсѣмъ тѣмъ они занимаютъ мѣсто въ числѣ замѣчательныхъ произведеній нашей лѣнивой и малоурожайной словесности. Изъ нашихъ писателей не многихъ станетъ на книгу, не только-что на нѣсколько томовъ, хотя бы то было романовъ, хотя и подлежали бы они критикѣ въ частностяхъ и полномъ составѣ. Не смотря на то, Нарѣжный умеръ, почти не слыхавъ добраго слова о себѣ отъ нашихъ журналистовъ, которымъ недосугъ разбирать книгу порядкомъ. Нужно ли отстоять себя: они печатаютъ цѣлые томы антикритикъ; о трудахъ другихъ писателей отдѣлываются нѣсколькими строками, сужденіями поверхностными и довольно подробнымъ исчисленіемъ опечатокъ.

Простите и пр.

PS. Я было и забылъ вамъ сказать, что вы не даромъ избрали рака въ эмблемы нашихъ періодическихъ листовъ: одинъ

изъ нихъ поспѣшилъ ее присвоить себѣ и вышелъ въ свѣтъ подъ этимъ знаменіемъ. Видно, не на шутку издатель объявляетъ себя великимъ магистромъ сего ордена и для образца выпустилъ одинъ дипломъ за своимъ рукоприкладствомъ и аллегорическимъ изображеніемъ по примѣру Французскихъ книгъ, которыя теперь печатаются не иначе, какъ съ fac simile и портретомъ автора. Духъ подражанія у насъ вездѣ изобличается.

XXIV.

MÉMOIRES INÉDITS DE M-me LA COMTESSE DE GENLIS SUR LE XVIII SIÈCLE ET LA REVOLUTION FRANÇAISE, DEPUIS 1756 JUSQU'À NOS JOURS. PARIS. 1825. in 8. T. V. et VI. — ЗАПИСКИ ГРАФИНИ ЖАНЛИСЪ. ПАРИЖЪ, 1825 ГОДА.

1826.

Нашъ вѣкъ есть, между прочимъ, вѣкъ записокъ, воспоминаній, біографій и исповѣдей вольныхъ и невольныхъ: каждый спѣшитъ высказать все, что́ видѣлъ, что́ зналъ, и выводить на свѣжую воду все, что́ было поглощено забвеніемъ или мракомъ таинства. Мы проникли въ сокровенныя помышленія Наполеона: Ласъ-Казъ, Гурго, Монтолонъ, Бертранъ, баронъ Фэнъ, Омира, Антомарки обратили насъ всѣхъ въ ясновидящихъ, или погрузили Наполеона въ сонъ магнетическій и заставили его обнажить передъ нами всего внутренняго человѣка.

Даже министръ полиціи водитъ насъ по мрачнымъ излучинамъ своего лабиринта и посредствомъ сей контръ-полиціи мы также можемъ изслѣдовать каждый шагъ Фуше, какъ онъ въ свое время зналъ о каждомъ шагѣ, выпечатанномъ на почвѣ Европы. Что причиною сему разливу тайнъ всякаго рода? Что придаетъ нашему вѣку такую откровенность, которая часто сбивается на нескромность? Подумаешь, что человѣческій родъ состарѣлся и живетъ одною памятью, что ему нужно разсказывать и слушать были и небылицы, что цвѣтущее поколѣніе собирается съ жадностью вокругъ Несторовъ лучшаго времени,

которые на вѣку своемъ видѣли больше нашего и жили посреди поколѣнія историческаго. Какъ бы то ни было, но главною отраслію современной Французской литературы есть записки, относящіяся до послѣдняго пятидесятилѣтія. Правда и то, что никакой періодъ времени не былъ такъ плодовитъ, какъ этотъ. Есть гдѣ и есть что пожать! Въ числѣ другихъ жнецовъ старины появилась и графиня Жанлисъ. Все давало ей право на разсказы и на вниманіе: старость и почетное имя! Издавая въ свѣтъ свои записки, она имѣла ходатаями за себя: осьмидесятилѣтнюю жизнь, проведенную безотлучно на сценѣ большаго свѣта; авторскую дѣятельность, почти безпримѣрную; всеобщую знаменитость, или по крайней мѣрѣ извѣстность, и нѣкоторыя заслуги, оказанныя литературѣ и нравственности, въ особенности же сочиненіями, посвященными воспитанію. Но за то едва ли не слишкомъ неумѣренно воспользовалась она выгодами своего положенія, и употребила во зло довѣренность, которую она внушить была въ правѣ. Записки ея должны заключаться въ 8 томахъ; доселѣ извѣстны намъ шесть, и еще немногое узнали мы отъ нихъ. Никакія историческія загадки въ нихъ не рѣшены для любопытства современниковъ; ничто изъ того, что́ было обложено нѣкоторымъ сумракомъ въ лѣтописяхъ современныхъ, не озарено новымъ свѣтомъ: извѣстныя лица не дополнены новыми чертами, развѣ за исключеніемъ принца Орлеанскаго, столь бѣдственно знаменитаго; читателямъ сихъ записокъ является онъ болѣе несчастнымъ и слабымъ, чѣмъ закоснѣлымъ извергомъ, каковымъ доселѣ описываемъ онъ былъ различными партіями, равно и ненавистниками и приверженцами революціи Французской. Но и его, и вообще всю революцію описываетъ она вскользь и какъ бы не договаривая всего. Что же можетъ, за недостаткомъ отличительныхъ и такъ сказать необходимыхъ принадлежностей записокъ историческихъ, удовлетворять любопытству нашему и вознаграждать его за покушеніе немаловажное: чтеніе 6 томовъ, довольно полновѣсныхъ, въ нашъ вѣкъ, гдѣ пишутъ и читаютъ наскоро, гдѣ болѣе всего дорожатъ временемъ и торопятся жить, есть пожертвованіе необычайное. Со всѣмъ тѣмъ извѣстные намъ шесть томовъ прочитываются и довольно охотно,

по крайней мѣрѣ тунеядцами въ чтеніи, тѣми, кои читаютъ книги довольно безкорыстно, не съ тѣмъ, чтобы сорвать съ нихъ проценты лихоимные, а читаютъ такъ, какъ многіе глазѣютъ по улицамъ и площадямъ, для пріятнаго и невиннаго препровожденія времени. Слогъ г-жи Жанлисъ извѣстенъ: онъ отличается красивою простотою, чистотою, плавностію; она довольно искусно живописуетъ общества и лица, если безъ глубокомыслія, то по крайней мѣрѣ не безъ смѣтливости и удачной прозорливости. Очерки ея тонки, портреты свѣжи и часто вѣрны, разумѣется, только не въ тѣхъ случаяхъ, когда предубѣжденіе водитъ ея кистью. Въ особенности же въ сихъ запискахъ авторъ смотритъ на все глазами старости, льстивыми, глядя на прошедшее, и тусклыми, глядя на настоящее. Ко многимъ пожилымъ наблюдателямъ прежняго и нынѣшняго можно примѣнить стихи лирика Лебрена о завистникахъ генія живаго и позднихъ поклонникахъ его по кончинѣ:

La mémoire est reconnaisante,
Les yeux sont ingrats et jaloux.

Старики, по чувству благодарности, любятъ и хвалятъ прошедшее, заставшее ихъ молодость, и досадаютъ съ ревностію на настоящее, которое не по нимъ, потому что они уже не по немъ. Все это въ природѣ и порядкѣ вещей. Молодость должна быть легкомысленна и все видѣть подъ розовымъ оттѣнкомъ; старости не только позволительно, но даже можно ставить въ обязанность быть нѣсколько брюзгливою. Все раздробляющая, скептическая молодость поражена бездѣйствіемъ и безплодіемъ. Отъ нея ожидать нечего. Въ ней нѣтъ творческой силы. Старики, безусловно любующіеся всякою новизною, доказываютъ, что они не умѣли быть молодыми и ничѣмъ не запаслись на черный день. Въ многократныхъ сравненіяхъ того, что́ было, съ тѣмъ, что́ есть, встрѣчаются однако же у нашего автора кос-гдѣ замѣчанія справедливыя, остроумныя и подающія поводъ къ размышленію. Французскіе журналы различныхъ исповѣданій и цвѣтовъ почти слились въ сужденіяхъ своихъ о настоящихъ запискахъ, и повѣствовательница не могла похвалиться снисхо-

жденіемъ своихъ соотечественниковъ. *Журналъ Преній* (J. des Débats) съ насмѣшливымъ удовольствіемъ выставлялъ на показъ забавную откровенность, съ коею престарѣлая писательница воспоминаетъ о проказахъ ребячества и непорочныхъ шалостяхъ своей молодости. Она жалуется на недоброжелательство собратій своихъ по авторству, на строгія сужденія рецензентовъ, а что и того обиднѣе, на молчаніе журналовъ, привѣтствовавшее нѣкоторыя изъ ея произведеній. Кого винить въ этомъ: ее или другихъ? Кажется, дарованія и слава г-жи Жанлисъ не были никогда до такой степени ослѣпительны и нестерпимы, чтобы возбудить всеобщую зависть? Труды ея на авторскомъ поприщѣ были вѣнчаемы успѣхомъ, многіе изъ ея романовъ и нравоучительныхъ сочиненій останутся навсегда пріятными памятниками ея дарованій; но въ литературныхъ подвигахъ, совершенныхъ сею, нѣтъ ничего исполинскаго, превышающаго мѣру людской справедливости. Въ романѣ имѣла она между современницами опасныхъ соперницъ и часто побѣдительницъ въ г-жахъ Котень, Флао, Сталь, не говоря уже о превосходствѣ ума глубокомысленнаго и всеобъемлющаго, которое выключаетъ послѣднюю изъ всякаго сличенія съ нею. Въ стихотвореніяхъ своихъ она также далека отъ первенства. Она писала стихи потому, что нѣтъ Итальянца, который бы не пѣлъ, Нѣмца, который не курилъ бы и не пилъ пива, и нѣтъ Француза, который не написалъ бы нѣсколько стишковъ на своемъ вѣку. Вѣроятно, не столько литературнымъ успѣхамъ, какъ многимъ предубѣжденіямъ, неумѣстной рѣшительности въ мнѣніяхъ и какой-то запальчивости въ выраженіи оныхъ, полу ея несвойственной, обязана она многочисленностью недоброжелателей своихъ. Замѣчательно, что изъ числа современныхъ писателей похвала ея взыскиваетъ не тѣхъ, кои избалованы славою, и что въ смиреніи духа, которое злорѣчіе могло бы почесть за оттѣнокъ гордости и зависти, ласкаетъ она не сильныхъ міра литературнаго; напротивъ, во многихъ изъ нихъ находитъ она едва ли здравый смыслъ. Напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ изъ *Записокъ* говоритъ она, что *Опытъ о нравахъ народовъ*—пошлое и плоское твореніе (Je trouvais cet ouvrage si odieux et si mauvais et si plat d'un bout à

l'autre...). Не довольствуясь налагать печать отверженія, обѣщается она наложить руку на многихъ писателей и перетворить творенія, кои доселѣ и въ первобытномъ своемъ видѣ имѣли нѣкоторое достоинство. Она уже совершила химическія свои перегонки надъ Эмилемъ, вѣкомъ Людвига XIV, сокращеніемъ вѣка Людвига XV и надѣется еще изготовить очищенныя изданія Карла XII, Петра Великаго, Опыта о нравахъ народовъ, Исторіи политической и философической Европейцовъ въ Индіяхъ и даже Энциклопедіи! Изъ одного желанія многихъ лѣтъ осьмидесятилѣтней писательницы, ея друзья могутъ усердно ожидать, чтобы она совершила Маоусаиловскій подвигъ хотя надъ послѣднимъ твореніемъ. И того довольно будетъ, чтобы къ ожиданнымъ осьми томамъ *Записокъ* запастись жизнью еще томовъ на восемь. Предпочтительно знаменитые писатели, такъ-называемаго, философическаго вѣка подвергаются укоризнамъ, проклятіямъ и насмѣшкамъ ея: она преслѣдуетъ ихъ всѣми оружіями и на всѣхъ поприщахъ. Многимъ отъ нея доставалось въ прежнихъ сочиненіяхъ, и въ семъ послѣднемъ они не забыты. Кстати выпишемъ изъ него разсказъ о литературномъ приключеніи, которое навлекла она себѣ своимъ анти-философическимъ ратоборствомъ, и скажемъ нѣсколько словъ предварительныхъ. Ей предложено было участвовать въ составленіи *Всеобщей Біографіи*, издаваемой Мишо и другими писателями; но, увидя въ числѣ сотрудниковъ имя Женгене, извѣстнаго преимущественно по литературной исторіи Италіи, она требовала выключенія его, или отказывалась отъ сотрудничества. Послѣ нѣсколькихъ переговоровъ, поле сраженія оставлено за Женгене, а г-жа Жанлисъ, по отступленіи своемъ изъ предполагаемыхъ соучастницъ, сдѣлалась строгимъ критикомъ *Біографіи*. „Министромъ, завѣдывающимъ книгопечатаніемъ, говоритъ авторъ, былъ тогда (въ царствованіе Наполеона) назначенъ Померёль, страстный философъ; онъ покровительствовалъ *Біографіи* и, негодуя на мои критики, велѣлъ цензурѣ выключить 21 страницу изъ моихъ книжекъ; но въ нихъ дѣло шло единственно о литературѣ, не было личностей (коихъ я себѣ ни въ какомъ случаѣ не дозволяла), и потому такое рѣшеніе показалось мнѣ страннымъ: я

требовала объясненія; мнѣ отвѣчали, что слѣдовали приказанію министра: тогда письменно просила я свиданія съ нимъ... Г-нъ Померёль принялъ меня съ холодностію ледовитою, похожею на неучтивость. Я просила его сказать мнѣ причину запрещенія на 21 страницу; онъ отвѣчалъ мнѣ съ грубостью и почти съ заносчивостью: Странное дѣло, милостивая государыня, какъ не надоѣстъ вамъ ворчать тридцать пять лѣтъ сряду противъ философіи (Que diable, Madame, n'êtes vous pas lasse de faire depuis trente cinq ans des criailleries contre la philosophie)? Отвѣтъ министра не отличается вѣжливостью, въ особенности же въ отношеніи къ женщинѣ, но многіе читатели ея едва ли не готовы сказать про себя ей почти тоже. Забавно видѣть въ *Запискахъ* женщины, не хвалящейся философическою откровенностію, содержаніе критики, которую она отстаивала такъ упорно. Наполеонъ покровительствовалъ г-жѣ Жанлисъ. Можетъ быть, общее въ нихъ неблаговоленіе къ Вольтеру было точкою ихъ соединенія [1]). Она въ *Запискахъ* своихъ, между прочимъ, сберегла слезы, которыя первый консулъ пролилъ при чтеніи романа *Герцогиня де Лавальеръ*, и говоритъ по этому случаю: „Я гордилась, что заставила плакать того, который возстановилъ религію, порядокъ и миръ, исхитилъ мое отечество изъ безначалія и былъ величайшимъ полководцемъ своего вѣка!“ Вообще должно замѣтить съ уваженіемъ, что въ сужденіяхъ своихъ о Наполеонѣ, она въ *Запискахъ* своихъ нигдѣ не измѣняетъ справедливости и чувству благодарности, гласно призна-

[1]) Наполеонъ не признавалъ никакого достоинства въ трагедіяхъ Вольтера: по словамъ его, онъ былъ исполненъ напыщенности, ложнаго блеска; не зналъ ни людей, ни существенности, ни истины, ни величія, ни страстей. Таланту Расина, напротивъ того, онъ уважалъ и любилъ безмѣрно. Нельзя не подивиться сей странности: казалось бы, что рѣзкій, самовластительный геній Вольтера долженъ былъ имѣть какую-то соотвѣтственность съ геніемъ Наполеона, а видимъ тому противное. Можетъ быть, по невольному и неясному влеченію природы своей, ненавидѣлъ онъ въ Вольтерѣ какое-то неопредѣленное совмѣстничество. Одинъ изъ біографовъ Байрона говоритъ, что онъ въ Байронѣ замѣчалъ нѣкоторую зависть къ блестящимъ свойствамъ Наполеона. Самолюбіе людей бываетъ часто непзъяснимо; оттѣнки его такъ разнообразны, притязаніе, причуды такъ неисчислимы, что можно всего ожидать отъ него: отъ самолюбія человѣческаго все станется. И Наполеонъ могъ завидовать Вольтеру и Байронъ Наполеону!

ваясь, что онъ былъ ея благодѣтелемъ, первымъ и послѣднимъ, котораго имѣла она въ царяхъ. Такое сознаніе въ нынѣшнее время приноситъ ей честь, особенно въ сравненіи со скоро выдыхающимися памятями и флюгерными совѣстями, коихъ Франція показала намъ многіе примѣры. Наполеонъ, сдѣлавшись императоромъ, пожелалъ, чтобы г-жа Жанлисъ писала ему каждыя двѣ недѣли о политикѣ, финансахъ, литературѣ, нравственности и обо всемъ, что̀ ей вздумается. Она сказываетъ, что въ продолженіе переписки никогда не писала ему ни о политикѣ, ни о финансахъ, никогда не просила милостей для себя, а часто для другихъ, никогда не говорила худо о непріятеляхъ своихъ, а часто въ пользу ихъ. Это похвально и можно поздравить ее съ честнымъ употребленіемъ довѣренности, оказанной ей могуществомъ; но, признаться, дивимся, какъ Наполеонъ имѣлъ досугъ читать всѣ ея письма, гдѣ она въ самомъ дѣлѣ, судя по отрывкамъ, приводимымъ ею, говоритъ иногда просто о томъ, что взбредетъ ей въ голову, напримѣръ: въ одномъ изъ нихъ сообщаетъ она ему трактатъ о старости. Къ сожалѣнію, и съ читателями *Записокъ* поступаетъ она, какъ съ Наполеономъ; малое говоритъ о дѣльномъ, а многое о незанимательномъ. Если выключить изъ ея книги многократныя повторенія объ арфѣ, одномъ изъ любимыхъ ея коньковъ, о воспитанникѣ ея Казимирѣ, человѣкѣ, кажется, очень хорошемъ, но часто лишнемъ, когда авторъ приводитъ его бесѣдовать самъ-третей съ читателемъ; о стихахъ, поднесенныхъ ей, о самохвальныхъ отзывахъ ея о себѣ самой, о домашнихъ мелочахъ и о прочемъ, прочемъ, такъ что читатель въ досадѣ на автора готовъ часто вскричать съ Клеономъ Грессета:

„Il ne vous fera pas grace d'une laitue!—то можно изъ ея 6-ти томовъ составить тома два, которые выиграли бы въ достоинствѣ и отдѣлкѣ то, что̀ потеряли въ вѣсѣ.

Чтобы дать понятіе о критикѣ ея, извлечемъ (изъ 5-го тома *Записокъ*) нѣчто изъ критическихъ замѣчаній ея на *Велисарія*, сочиненіе Мармонтеля, напомнивъ мимоходомъ читателю, что и г-жа Жанлисъ написала своего *Велисарія*, который, вѣря ей,

лучшее ея произведеніе, тогда какъ *Велисарій* Мармонтеля худшее изъ его произведеній.

„Царь долженъ сказать себѣ: я обязуюсь жить единственно для народа своего!“ (Мармонтель).

„Какъ! нельзя позволить ему пожить немного и для семейства своего!“ (замѣчаніе г-жи Жанлисъ).

Одни Русскіе журналы подаютъ намъ примѣры подобныхъ критическихъ придирокъ. Что за охота теребить прекрасную мысль, чтобы выдернуть изъ нея мелочное и даже ложное заключеніе:

„У меня уже нѣтъ частной собственности“, говорилъ Антонинъ; „мой дворецъ не мнѣ принадлежитъ“, говорилъ Маркъ-Аврелій — и подобные имъ одинаково мыслили (Мармонтель).

„Нѣтъ, рѣшительно; когда Маркъ Аврелій говорилъ, что дворецъ принадлежитъ не ему, онъ весьма удивился бы, если народъ занялъ бы въ немъ покои порожніе“ (замѣчаніе г-жи Жанлисъ). Не достойна ли смѣха и жалости подобная критика! Вопреки замѣчанію г-жи Жанлисъ и въ доказательство, что подобные Марку-Аврелію и Антонину одинаково мыслили, напомнимъ читателямъ Русскимъ переводъ Велисарія, составленный собственноручнымъ содѣйствіемъ и подъ руководствомъ Екатерины Великой [1]). Анекдоты, изрѣченія служатъ, такъ сказать, необходимыми прикрасами записокъ: здѣсь и въ этомъ отношеніи немного поживы для читателя. Авторъ болѣе занятый собою, чѣмъ другими, поступаетъ какъ тѣ хозяева, которые не даютъ гостямъ промолвить слова и хранятъ за собою единодержавіе рѣчи. Заключимъ однакоже статью нѣкоторыми выписками сего рода.

Г-нъ Амельонъ [2]) былъ наименованъ членомъ института.

---

[1]) *Велизаръ*, сочиненіе г-на Мармонтеля, переведенъ на Волгѣ, 1785 года. Эта книга по многимъ отношеніямъ драгоцѣнная собственность литтературы отечественной. Иная старина никогда не старѣетъ и не теряетъ цѣны своей, напротивъ, по прошествіи долгаго времени, она становится любопытною новостію.

[2]) Амельонъ, по отзыву соотечественниковъ своихъ, былъ человѣкъ съ глубокими познаніями и вкусомъ образованнымъ. Старѣйшина и предсѣдатель инсти-

Однажды, выбранный въ депутацію и въ первый разъ являющійся Наполеону, съ пламеннымъ желаніемъ быть имъ замѣченнымъ и выманить у него нѣсколько словъ, постарался онъ стать какъ можно болѣе на виду въ пріемной залѣ. Императоръ, дѣйствительно, взглянулъ на лицо, которое худо было у него на примѣтѣ, подошелъ, говоря: „Вы не г-нъ ли Ансильонъ?“— Такъ, Ваше Величество... Амельонъ... „А! конечно библіотекарь въ Святой Женевьевѣ“.—Такъ, Ваше Величество... въ арсеналѣ.— „Да, теперь знаю, вы занимаетесь продолженіемъ исторіи Оттоманской Имперіи“. — Такъ, Ваше Величество... исторіи Восточной Римской Имперіи.—При сихъ словахъ, Наполеонъ, досадуя на свои безпрерывныя недогадки, круто отворотился отъ него, а г-нъ Амельонъ, взволнованный честью и радостью, что на нѣсколько секундъ задержалъ при себѣ императора, склонился на ухо своему сосѣду, говоря съ напыщенною важностію: „Императоръ удивителенъ! онъ все знаетъ!“

Приведемъ другой анекдотъ, относящійся также до Наполеона, но совершенно противоположный.

„Наполеону вообще непріятно было, когда кто имѣлъ большую фортуну, независимую отъ его щедрости. На городскомъ балѣ увидѣлъ онъ въ первый разъ г-жу Кардонъ; ему сказали, что мужъ ея именитый богачъ; подходя къ ней съ нѣкоторою оттѣнкою недоброжелательства, спросилъ онъ сурово: „Вы г-жа Кардонъ?“ — Униженный поклонъ послужилъ отвѣтомъ на сей вопросъ. — „Вы очень богаты?“ — Такъ, Ваше Величество: у меня десятеро дѣтей. — Императоръ почувствовалъ тонкость и

тута, произнесъ онъ въ 1800 году замѣчательную рѣчь, въ коей, полагая съ отмѣнною проницательностію состояніе искусствъ въ древности, напоминалъ, что они тогда были не одними предметами роскоши и забавы, но составляли значительную и драгоцѣнную часть государственнаго строя. Всѣ изысканія его въ отношеніи искусствъ у древнихъ, ихъ воспитанія и нравовъ были направляемы сею великою истиною нравственною. Онъ рано сталъ извѣстенъ сочиненіемъ *Исторіи торговли и плаванія у Египтянъ въ царствованіе Птоломеевъ*. Послѣ смерти Лебо (Lebau) былъ онъ назначенъ къ продолженію его *Исторіи Восточной Римской Имперіи;* ему также обязаны устройствомъ прекрасной библіотеки, находящейся въ арсеналѣ Парижскомъ. Умеръ онъ въ Парижѣ, въ 1811 году (Извлеч. изъ Новой Біографіи Современниковъ).

прелесть отвѣта, взглядъ его прояснился, но онъ отошелъ поспѣшно“ [1]).

Вотъ комическая и замѣчательная черта разсѣянности. Нѣкто былъ приглашенъ на брачную церемонію; въ церкви сталъ онъ противъ новобрачныхъ и въ ту самую минуту, когда произносили они обѣтъ любви и вѣрности, онъ спросилъ на ухо у сосѣда своего: „Поѣдете ли вы до кладбища?“ Онъ думалъ, что присутствуетъ при погребеніи.

Приписка. Графиня Жанлисъ говоритъ въ *Запискахъ* своихъ, что она воздерживалась отъ недоброжелательныхъ личностей въ письмахъ или донесеніяхъ своихъ къ Наполеону. Но, кажется, въ другихъ перепискахъ своихъ была она менѣе воздержна. Помню, что Варвара Ивановна Ланская (супруга С. С. Ланскаго, впослѣдствіи министра внутреннихъ дѣлъ) показывала мнѣ письмо г-жи Жанлисъ къ малолѣтней дочери ея. Въ этомъ письмѣ, въ отвѣтъ на признательное привѣтствіе молодой читательницы къ автору сочиненій, писанныхъ въ пользу юношества, г-жа Жанлисъ, что называется ни къ селу, ни къ городу, поручаетъ корреспонденткѣ своей предостеречь маменьку отъ какой-то Француженки, проживающей въ Москвѣ, и тутъ же отзывается о ней съ какимъ-то страстнымъ ожесточеніемъ.

---

[1]) Сей отвѣтъ напоминаетъ намъ другой отвѣтъ, приписываемый Наполеону. По возвращеніи его изъ похода въ Италію, г-жа Сталь старалась привлечь къ себѣ юнаго героя и однажды, на многолюдномъ праздникѣ у Талейрана, обратилась къ нему съ вопросомъ: — «Кого почитаетъ онъ первою женщиною въ свѣтѣ изъ живыхъ и мертвыхъ?» — «Ту, которая болѣе всѣхъ родила дѣтей», отвѣчалъ онъ ей на-отрѣзъ. Озадаченная нѣсколько подобною печальностію, старалась она придти въ себя и, продолжая разговоръ, сказала ему, что онъ извѣстенъ за человѣка, который мало любитъ женщинъ. — «Извините меня, сударыня», возразилъ онъ снова: „я очень люблю свою жену“.

XXV.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О Г. ГУЛЬЯНОВѢ И ТРУДАХЪ ЕГО.

1826.

Пользуясь даннымъ намъ правомъ, позволяемъ себѣ сказать читателямъ, что авторъ *Археографическихъ опытовъ*, скрывающійся подъ завѣсою псевдонима и состязающійся нынѣ въ Парижѣ съ Шамполліономъ, есть нашъ Русскій уроженецъ г. Гульяновъ, членъ Россійской Академіи, числящійся секретаремъ посольства Россійскаго въ Брюсселѣ, покровительствованный покойнымъ Государемъ Александромъ I, извѣстный филологическими изысканіями и пользующійся въ ученой Европѣ уваженіемъ людей, каковы Абель-Ремюза, Клапротъ, Сен-Мартенъ и другіе. Кромѣ изданія сихъ *Опытовъ археографическихъ*, готовитъ онъ важное сочиненіе, подъ названіемъ *Изученіе человѣка въ явленіи его способностей* (Étude de l'homme dans la manifestation de ses facultés). Первая часть сего сочиненія будетъ посвящена опыту объ образованіи рѣчи, разсматриваемой въ ея началахъ физіологическихъ. Слышно, что уже три четверти его написаны и что оно должно выдти въ свѣтъ къ концу года.

Вотъ что пишутъ намъ изъ Парижа: „нашъ Гульяновъ бросилъ свою первую бомбу. Кажется, несомнительно уличилъ онъ Шамполліона во многихъ противорѣчіяхъ и ложныхъ догадкахъ. Есть уже разборъ перваго отдѣленія его *Опытовъ*; второе нынѣ печатается. Оно тѣмъ важнѣе, что будетъ служить введеніемъ къ третьему, въ коемъ докажется, что письмена, называемыя Шам-

полліономъ демотическія (народныя) и кои можно бы наименовать скорописныя, суть истинное письмо Египтянъ, и что таинственные гіероглифы ничто иное, какъ просто азбучныя буквы пріукрашенныя [1]), и что слѣдовательно буквы существовали прежде образовъ, фигуръ или гіероглифовъ, а не vice versa".

Не позволяемъ себѣ быть рѣшителями въ этой тяжбѣ, тѣмъ болѣе, что не имѣемъ передъ глазами всѣхъ фактовъ; но безъ сомнѣнія, каждому Русскому пріятно будетъ знать, что нашъ землякъ подаетъ голосъ въ дѣлѣ, занимающемъ нынѣ ученую Европу, и видѣть, что онъ не безъ нѣкоторыхъ правъ входитъ въ состязаніе съ столь знаменитымъ соперникомъ, каковъ Шамполліонъ. Во всякомъ случаѣ напомнимъ извѣстную аксіому: du choc des opinions jaillit la vérité.

Приписка. Гульяновъ принадлежитъ Русской литературѣ и по другимъ отношеніямъ. Онъ безъимянно напечаталъ, не помню гдѣ, стихи къ Пушкину. Поэту показалось, что стихи должны быть написаны женщиною, и онъ отвѣчалъ на нихъ прекраснымъ стихотвореніемъ: *Къ анониму:*

„О кто бы ни былъ ты",
говоритъ онъ,
Иль отрокъ, музами таинственно хранимъ,
Иль пола кроткаго стыдливый херувимъ,
Благодарю тебя душею умиленной".

Гульяновъ умеръ кажется въ Дрезденѣ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Сохранились ли бумаги его и гдѣ и у кого хранятся онѣ? Нѣтъ сомнѣнія, что въ нихъ много любопытнаго. Онъ былъ и трудолюбивъ и находился въ близкихъ сношеніяхъ со многими современными извѣстностями и знаменитостями: вѣроятно велъ обширную и разнообразную переписку. Все, что̀ по немъ могло остаться, принадлежитъ вѣдѣнію Русской литте-

---

[1]) Какъ напримѣръ: змѣя, свернувшаяся кольцомъ, замѣняла О и проч и проч.

ратуры и желательно, чтобы не хранилось оно подъ спудомъ, а было оглашено печатью. По довольно достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, Гульяновъ сынъ бывшаго Молдавскаго господаря князя Мавро-кордата, который жилъ и умеръ въ Москвѣ въ началѣ пынѣш-няго столѣтія.

XXVI.

ПИСЬМА ИЗЪ ПАРИЖА.

1826—1827.

I.

Максимиліанъ Севастіанъ Фуа, генералъ-лейтенантъ и депутатъ во второй представительной палатѣ съ 1819 года, скончался 30 ноября 1825 года. Воинъ и ораторъ, равно пламенный въ любви къ отечеству, неизмѣнный обѣтамъ своимъ и неустрашимый на полѣ кровопролитныхъ сраженій и парламентальныхъ преній, онъ былъ вождемъ и опорой сочленовъ, раздѣляющихъ съ нимъ образъ мнѣній политическихъ, и предметомъ уваженія противоборниковъ своихъ. Рожденный въ 1775 годѣ, Фуа рано посвятилъ себя военной службѣ и совершилъ, во время революціонной войны, походы съ Сѣверной арміею, находившеюся подъ начальствомъ генерала Дюмурье. Послѣ отступленія изъ Бельгіи перешелъ онъ, въ 1793 г., изъ пѣшей артиллеріи въ конную и многократно отличилъ себя подъ начальствомъ генераловъ: Дампіера, Кюстина, Гушара, Журдана и Пишегрю. Въ іюнѣ 1794 года заключенъ онъ былъ въ темницу конвентнымъ проконсуломъ Лебономъ, предъ коимъ осмѣлился съ благородною твердостію возставать противъ свирѣпаго ужаса, царствовавшаго во Франціи въ сію эпоху. Неминуемая и скорая смерть ожидала его на эшафотѣ, но счастливый переворотъ, послѣдовавшій 9-го термидора, избавивъ Францію отъ

кроваваго ига, возвратилъ и Фуа къ свободѣ и дѣятельности. Начальствуя пятымъ отрядомъ 2-го конно-артиллерійскаго полка, былъ онъ въ походахъ 1795, 1796, 1797 годовъ съ арміею Рейнско-Мозельскою, и особенно отличился при переправѣ черезъ Лехъ и при взятіи Гюнингенскаго моста, когда, не имѣя возможности дѣйствовать своими артиллерійскими снарядами, отправлялъ за стѣны гранаты по рвамъ, уставленнымъ непріятелемъ. Переходя постепенно съ одного театра войны на другой, отличившись въ Швейцаріи, въ Италіи и въ Австріи, возвышаясь въ воинскихъ успѣхахъ и чинахъ, былъ онъ послѣ Аміенскаго мира произведенъ въ полковники; въ 1804 г. поступилъ въ должность начальника главнаго артиллерійскаго штаба въ Утрехтскомъ лагерѣ. Въ началѣ 1807 года былъ отправленъ въ Турцію съ союзнымъ отрядомъ 1200 канонировъ, посланныхъ Наполеономъ къ султану Селиму. Сей отрядъ вскорѣ возвратился во Францію послѣ смятеній, вспыхнувшихъ въ Оттоманской имперіи, но полковникъ Фуа продолжалъ свой путь и служилъ въ отдѣленіи Турецкой арміи, предназначенномъ къ защитѣ Дарданеллъ. Въ концѣ 1807 года сражался уже онъ въ Португаліи; совершилъ походъ 1808 года и въ томъ же году произведенъ былъ въ бригадные генералы, и въ 1810-мъ—въ дивизіонные. Въ Португаліи командовалъ онъ по бо́льшей части отдѣльными отрядами, составленными изъ нѣсколькихъ дивизій. 22 іюля 1812 года прикрывалъ онъ отступленіе арміи; въ Саламанкскомъ сраженіи и на полѣ битвы принялъ начальство надъ нею, которое и сохранилъ во всѣхъ сшибкахъ съ непріятелемъ, до самаго приближенія къ берегу Дуро. Послѣ сраженія при Витторіи, 21-го іюня 1813 года, генералъ Фуа собралъ при Бергарѣ 20.000 человѣкъ, разсѣявшихся безъ начальства и направленія, вслѣдствіе проиграннаго сраженія. Слѣдующіе мѣсяцы были также свидѣтелями его смѣлости, рѣшимости и воинскихъ дарованій. 27-го февраля 1814 года, получивъ рану, которую почиталъ смертельною, былъ онъ вынужденъ сойти съ поля битвы. Въ томъ же году былъ назначенъ главнымъ инспекторомъ инфантеріи въ 14-й дивизіи, а въ 1815-мъ переведенъ въ 12-ую, и наконецъ въ сраженіи при Ва-

терлоо заключилъ свое ратное поприще пятнадцатою раною, полученною имъ за отечество, которое онъ обожалъ выше всего. Въ 1819 году былъ онъ наименованъ въ главные инспекторы инфантеріи во 2-й и 16-й дивизіяхъ. Но лучшая награда за заслуги и кровь, пролитую имъ въ сраженіяхъ, были для него довѣренность согражданъ и избраніе въ члены представительной палаты. На семъ новомъ поприщѣ развились въ воинѣ дарованія необыкновенныя: краснорѣчіе мужественное, блестящее и пламенное, познанія глубокія по всѣмъ предметамъ управленія гражданскаго и воинскаго, равно и по предметамъ хозяйства политическаго. Какъ часто, представитель славы Французской арміи, увлекалъ онъ слушателей порывами благороднаго негодованія и живаго участія, защищая выгоды своихъ сподвижниковъ. Не всегда удавалось ему удерживать за собою побѣду, но слова его раздавались во всей Франціи и личная слава его заграждала невольнымъ почтеніемъ уста противоположниковъ, побѣждавшихъ его въ свою очередь большинствомъ голосовъ. Его разстроенное здоровье требовало жизни спокойной и отдыха; но страсть къ ученію и живое участіе, принимаемое имъ въ преніяхъ парламентальныхъ, болѣе и болѣе усиливали признаки его болѣзненнаго расположенія. И наконецъ онъ умеръ отъ аневризма въ сердцѣ, оставя по себѣ жену и пятерыхъ дѣтей малолѣтныхъ.

Я сейчасъ съ его погребенія. Никогда не видалъ я подобнаго стеченія народа. Казалось, все населеніе Парижа стеклось на погребеніе. Полагаютъ, что болѣе 100 тысячъ слѣдовало за гробомъ къ кладбищу Лашеза, гдѣ уже столько же ожидало, не смотря на проливной дождь, который мочилъ ихъ. Бенжаменъ-Констанъ долженъ былъ произнести надгробное слово, но по какимъ-то причинамъ не могъ читать приготовленной рѣчи; Казимиръ Перье и Терно именемъ купечества, генералъ Міоллисъ именемъ арміи, Мешенъ (Méchin) отъ депутатовъ, произнесли рѣчи, болѣе или менѣе краснорѣчивыя. Когда Перье кончилъ рѣчь, народъ закричалъ: честь и слава вѣчная генералу Фуа! (honneur, honneur éternel au Général Foy!), а при словахъ: „Франція усыновила бы семейство защитника своего“—(la France

adopterait la famille de son défenseur) тысячи голосовъ откликнулись: „Да, да, Франція усыновляетъ ихъ!“ (Oui, oui, la France l'adopte!)

Фіакръ, который привезъ меня къ дому его, сказалъ мнѣ: „Онъ былъ добрый, честный человѣкъ“. Сегодня уже во всѣхъ лавкахъ портретъ Фуа, изображеніе его на смертномъ одрѣ, и дѣвица Гэ (Delphine Gay) написала стихи на его смерть, изъ коихъ особенно конецъ мнѣ нравится:

Son bras litérateur dans la tombe est esclave;
Son front pur s'est glacé sous le laurier vainqueur;
Et ce signe sacré, cette étoile du brave
Ne sent plus palpiter son coeur.
Hier, quand de ses jours la source fut tarie,
La France, en le voyant sur sa couche étendu,
Implorait un accent de cette voix chérie...
Hélas! au cris plaintif, jeté par la patrie,
C'est la première fois qu'il n'a pas répondu,

Такъ умѣютъ Франція и поэты ея чтить своихъ героевъ! Народъ стало-быть памятливъ, сказалъ кто-то при семъ случаѣ— и память его въ сердцѣ! Простите и проч.:

Парижъ, 30 ноября.

Приписка. Это письмо и слѣдующія изъ Парижа писаны просто въ Москвѣ. Участвуя въ *Телеграфѣ* хотѣлъ я придать этому журналу разнообразіе и, такъ сказать, движеніе жизни, котораго лишены были тогдашніе журналы наши. Я получалъ много Французскихъ газетъ, имѣлъ въ Парижѣ двухъ-трехъ пріятелей, съ которыми переписывался и которые передавали мнѣ всѣ свѣжія новости: изъ всего этого сообщалъ я что́ могъ и что́ хотѣлъ и подъ заглавными буквами именъ, напримѣръ пріятеля моего Григорія Римскаго-Корсакова и другихъ, составлялъ я свои подложныя письма, которыя въ то время читались съ живымъ любопытствомъ.

II.

Вы спрашиваете: что дѣлаетъ поэзія во Франціи? Дѣлаетъ политику: можно смѣло отвѣчать, если не бояться бы галлицизма; впрочемъ, и политическая поэзія есть галлицизмъ литературный; да и гдѣ же позволительны галлицизмы, какъ не въ Парижѣ? Думаю, что здѣсь и самъ Шишковъ не ушелъ бы отъ грѣха. Но только примите политику въ истинномъ ея значеніи, а не въ превратномъ, и тогда вы согласитесь, что направленіе, данное вообще въ наши дни Французской словесности, вовсе не антипоэтическое. То, что́ Римляне называли res publica, что́ Французы называютъ: la chose publique или l'interêt public, а по Русски, какъ назвать, право не умѣю, потому что со мною нѣтъ здѣсь Русскаго словаря. Политика, не кабинетная, не газетная, а особенно не уличная, не площадная, должна быть въ нѣкоторомъ отношеніи въ сродствѣ съ литературою и даже съ поэзіею,

. . . . Когда
Поэзія не сумасбродство,

какъ сказалъ Державинъ, который въ лучшихъ одахъ своихъ былъ иногда горячимъ и метким памфлетеромъ и публицистомъ. Греческіе трагики также часто дѣлали политику въ своихъ народныхъ трагедіяхъ. Тиртей былъ прекраснымъ публицистомъ и его гимны героическіе ничто иное, какъ краснорѣчивые военные манифесты, воспламенявшіе умы сограждан, готовящихся на брань; Ювеналъ—политическій сатирикъ; нашъ Жуковскій въ *Пѣвцѣ во станѣ Русскихъ воиновъ* преподаетъ изъ своей ставки народное право и неотразимыми доводами убѣждаетъ въ истинѣ, что народъ не долженъ покоряться чуждому владычеству; Байронъ въ самыхъ поэтическихъ и своенравныхъ порывахъ генія, чуднаго во всѣхъ значеніяхъ сего слова, неожиданно и ярко выбрасываетъ свои мнѣнія политическія и говоритъ въ сти-

хахъ то, что говорилъ бы прозою въ верхней палатѣ, если бурный жребій поэта не обратилъ бы Шотландскаго пера въ безпокойнаго и странствующаго Чайльдъ-Гарольда, или въ необузданнаго проказника Донъ-Жуана. Вы видите, что я готовъ назвать поэзіею политическою всякую народную или гражданскую поэзію, объемлющую возвышенныя, общественныя истины. И почему поэту не быть наравнѣ съ ораторомъ, стражемъ народныхъ выгодъ и блага общественнаго? Каждый орудіемъ своимъ, одинъ поэзіею, другой витійствомъ, можетъ распространять мнѣнія, которыя онъ почитаетъ полезными для благосостоянія согражданъ, и вытѣснять изъ общества почитаемыя имъ за пагубныя. Не даромъ Наполеонъ говорилъ, что будь трагикъ Корнель современникомъ, онъ посадилъ бы его въ государственный совѣтъ. Скажите, ради Бога, почему поэзіи быть безстрастною и безцвѣтною, какъ Русскіе журналы? Жизнь общественная, тамъ, гдѣ она окрѣпла въ порѣ мужества и здравія, должна пробиваться всюду и все обогрѣвать живительною теплотою своею. Истинный флюидъ національный (fluide, есть ли у васъ это слово въ словарѣ? Признаюсь, на памяти у меня его нѣтъ), она всеобъемлюща и всепроницающа.

Есть, безъ сомнѣнія, и другая отрасль поэзіи, не завѣдывающая ничѣмъ положительнымъ. Одна поэзія земная, прикладная, другая умозрительная, чистая, мистическая, не принимая сего слова въ религіозномъ значеніи. Обѣ поэзіи имѣютъ свое достоинство. Нѣтъ правила безъ исключенія: иной поэтъ облекаетъ въ поэтическія краски понятія прозаическія или положительныя; другой тащитъ насъ за собою въ міръ надоблачный, но на прозаическомъ арканѣ. Въ способѣ выраженія заключается разница отличительная. Поэтъ не столько бываетъ поэтомъ въ выборѣ предмета, сколько во взглядѣ на предметъ и въ выраженіи ощущенія. Можно высѣкать искры поэтическаго огня изъ вещества не-поэтическаго. Наполеонъ озарялъ нерѣдко поэтическою молніею свои стратегическія соображенія. Бенжаменъ-Констанъ бываетъ часто поэтомъ по выраженію, тамъ, гдѣ другой былъ бы сухопрозорливымъ и мыслящимъ публицистомъ. А генералъ Фуа? Краснорѣчивые порывы сего

Сгриччи [1]) народной каѳедры не кипѣли ли вдохновеніемъ, когда онъ повѣрялъ итоги финансовъ и давалъ голосъ поэтическій цифрамъ, вопіющимъ въ пользу бѣднаго населенія? Первыми Французскими поэтами нынѣшней эпохи и представителями той и другой поэзіи, то-есть чистой и прикладной,—Ламартинъ и Казимиръ Делавинь. Здѣсь я отзывъ общаго мнѣнія; но если спросите вы мое частное, то первымъ изъ двухъ первыхъ рѣшительно Казимиръ Делавинь. Хотя во Франціи существуютъ или, лучше сказать, заводятся также двѣ школы: романтическая и классическая, но сихъ двухъ поэтовъ нельзя безъ оговорокъ подвести подъ сей общій раздѣлъ, еще не довольно обозначенный. Вообще можно сказать, что поэзія того и другаго, хотя между собою и различная, носитъ уже отпечатокъ современный и отошла отъ образцовъ классической поэзіи прежняго вѣка. Не будемъ сличать на которой сторонѣ превосходство, но остановимся на одной очевидности: и духъ поэзіи и многія формы стихотворства нынѣ не тѣ, что были у Депрео, Ж. Б. Руссо и послѣдователей ихъ. По языку и слогу своему Делавинь, однакожъ, ближе къ языку классическихъ предшественниковъ. Ламартинъ позволяетъ себѣ значительныя отступленія отъ прежнихъ образцовъ: духомъ онъ сближается съ идеологіею Нѣмцевъ и пускается нерѣдко въ неологизмы, пугающіе грамматическую совѣсть академическихъ правовѣрцовъ. Впрочемъ, весь романтизмъ Французскій заключается болѣе въ словахъ и въ чувствѣ; самыя романтическія творенія въ стихахъ только-что наведены какимъ-то цвѣтомъ романтизма, но основанія зданій еще старыя. Трагедія остается неприкосновенною. Лебренъ, Ансело дѣлали набѣги во владѣнія Шиллера, но пóдать, собранную съ него, перелили во Французскую монету. Такъ дѣлалъ прежде и Дюсисъ съ Шекспиромъ. Есть начало, будетъ продолженіе и достигнутъ конца...

Надѣюсь, что вы не покоряетесь слѣпо сужденіямъ поверхностныхъ Аристарховъ и въ слѣдъ за ними не признаете господственнымъ различіемъ между классицизмомъ и романтиз-

[1]) Извѣстный импровизаторъ.

момъ, или просто старою (а не древнею) и новою литературою, отступленіе сей послѣдней отъ всѣхъ законовъ и правилъ существующихъ. Различіе ихъ не можетъ ограничиться однѣми внѣшними формами и должно таиться глубже, въ началахъ коренныхъ и независимыхъ. Опредѣленія сего различія должно искать въ нравахъ, въ философическомъ изслѣдованіи исторіи послѣдняго пятидесятилѣтія, въ событіяхъ, столь плодовитыхъ послѣдствіями, а короче и простѣе, въ любимой поговоркѣ Прадта: *умъ человѣческій на походѣ*; или, если хотите, въ Русской пословицѣ: „умъ любитъ просторъ“. Нѣтъ сомнѣнія, что такъ-называемый романтизмъ (надобно, кажется, непремѣнно ставить или подразумѣвать оговорку: „такъ-называемый“ передъ словомъ романтизмъ, ибо названіе сіе не иначе какъ случайное и временное; настоящій крестный отецъ такъ-называемаго романтизма еще не явился) даетъ болѣе свободы дарованію; онъ покоряется однимъ законамъ природы и изящности, отвергая насильство постановленій условныхъ. Классицизмъ, кромѣ тѣхъ же законовъ, порабощается еще, добровольно, цѣлому уголовному уложенію отдѣльныхъ областныхъ учрежденій, составленныхъ Драконами литературы, которые готовы пожрать ослушниковъ своихъ за малѣйшее отступленіе отъ предписаній литературнаго благочинія. Какъ не согласиться, что соблюденіе правилъ стѣснительныхъ придаетъ новый блескъ творенію, когда стѣсненіе не отзывается въ немъ; но не оно же составляетъ его существенное достоинство? А не то, хорошій акростихъ, заданный на готовыя рѳмы, былъ бы совершенствомъ красоты поэтической.

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poême, сказалъ законодатель Французскаго Парнасса и слѣдовательно почти Европейскаго, ибо долго Французская поэзія законодательствовала и господствовала почти вездѣ. Вотъ классицизмъ во всей наготѣ своего деспотизма! Если сонетъ безпорочный можетъ перевѣсить поэму, и безъ сомнѣнія не худую, а то и сравнивать нельзя, потому что и одинъ хорошій стихъ стоитъ ста тысячъ дурныхъ стиховъ, то почему же не предоставить такого преимущества и рондо, и тріолету, и акростиху и всѣмъ другимъ

опытамъ поэтической гимнастики? Примѣните кандалы акростиха, сонета, къ кандаламъ единства времени и мѣста, и заключеніе будетъ почти тоже. Война классицизма и романтизма идетъ здѣсь дѣятельно и горячо. Первый, однако же, болѣе вдается въ полемику; второй отражается; академія имѣетъ свои боевыя орудія: академическія рѣчи, разсужденія, сатиры. Романтики еще не вооружены, а только-что вербуютъ молодежь.

Годъ тому, Оже (Auger) читалъ въ годичномъ собраніи четырехъ академій рѣчь о романтизмѣ (Discours sur le Romantisme), которую прозвали манифестомъ противъ романтизма. Сообщу вамъ со временемъ выписки изъ нея. Теперь ограничусь одною, которая вамъ докажетъ, что Академія Французская, или, по крайней мѣрѣ, уполномоченный ея ораторъ, имѣетъ совершенно превратное понятіе о романтизмѣ. Романтики ужасаются веселости. Они въ счастіи и веселіи видятъ одну прозу, а поэзію въ одномъ бѣдствіи и горѣ. Смѣяться хорошо! говорятъ простолюдины; плакать сладостно: отвѣчаютъ наши Гераклиты!—Что это за опредѣленіе романтизма? Какъ же не видать, что слезливость нѣкоторыхъ стихотворныхъ плаксъ не есть романтизмъ? Аріостъ, Шекспиръ, Гёте умѣютъ смѣяться и смѣшить. Неужели на одной элегіи вертится весь романтизмъ? Вотъ что называется, по-нашему, вершки схватывать! Въ старину Академія Наукъ во Франціи издала подобный манифестъ противъ магнетизма, который судила по нѣкоторымъ шарлатанскимъ пріемамъ Месмера и его адептовъ. Что изъ этого вышло? Магнетизмъ, существующій въ природѣ, а не въ Месмерѣ существовавшій, устоялъ на зло Академіи. Устоитъ и романтизмъ на зло г-на Оже и всѣхъ академій. Злоупотребленія его, месмеризмы романтизма достойны осмѣянія и осужденія: это такъ; но что, въ особенности же въ неловкомъ подражаніи, не имѣетъ своей смѣшной стороны? И у насъ была пора слезливости, и у насъ было сказано:

. . . . Всѣ наши стиходѣи
Слезливой лирою прославиться хотятъ,

когда и романтизма еще и въ поминѣ не было. Что же это доказы-

ваетъ? Не знаемъ, что будетъ впередъ; а теперь не видать еще ни романтическихъ рѣчей, ни романтическихъ сатиръ. Бауръ-Лорміанъ, давно извѣстный сатирами трехъ словъ (Mes trois mots), о которыхъ Лебрёнъ сказалъ, что въ этихъ трехъ словахъ сто глупостей (et ses trois mots renferment cent sottises), подражаніями своими *Оссіану*, переводомъ или, правильнѣе, двумя переводами *Освобожденнаго Іерусалима*, все-таки еще не переведеннаго, опытами на сценѣ трагической, а едва ли не болѣе эпиграмматическою перестрѣлкою съ лирикомъ Лебрёнъ, написалъ сатиру, въ видѣ разговора въ стихахъ: *Классикъ и Романтикъ*. Жаль, что не переведутъ его по-русски для назиданія нашихъ классиковъ. Вся затѣйливость сатиры заключается въ томъ, что авторъ вложилъ въ уста романтику всѣ слова, которыя по привычному злоупотребленію встрѣчаются въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ новой школы. Вы видите, что и здѣсь, какъ у васъ, промышляютъ ловлею словъ на удочку критики. Это рукодѣлье не трудное и приспособленное къ средствамъ каждаго. Бауръ-Лорміанъ искусный стихотворецъ и должно признаться, что онъ иногда стихами хорошо закаленными стрѣляетъ въ романтика. Забавно, что тутъ досталось бѣднымъ нашимъ Смолянамъ: въ чужомъ пиру похмѣлье. Классикъ говоритъ романтикамъ:

Mais puisqu'il faut enfin parler sans raillerie,
Ronsards dégénérés, de quel front, je vous prie
Osez-vous déchirer avec un froid dédain
Le code que Boileau rédigea de sa main?
Je conçois qu'à Smolensk, à Varsovie, à Prague
De vos croquis grossiers on admire le vague,
Et que le Hollandais, habile connaisseur,
De sa langue en vos chants retrouve la douceur,
Je veux que d'Edimbourg la pesante Revue,
Grâce à ses rédacteurs d'ignorance pourvue,
Publie en ses cahiers, vendus à vos écrits,
Les extraits que vous-même envoyez de Paris,
Mais que dans ce Paris, où triompha Voltaire,
Dans ces murs, où des arts la flamme héréditaire
Brûle aux pieds des autels à Molière dressés,
On prise encore longtems vos rèves insensés!
Non, la critique veille et de près vous menace.
Et que sont vos ecrits? L'opprobre du Parnasse?
Qu'y trouve-t-on? des mots vides ou boursoufflés,
Tout honteux de se voir l'un à l'autre accouplés;

De lourds enjambemens, de grotesques lubies,
De non-sens éternels, des phrases amphibies;
Les objets les plus saints associés toujours
Au récit nébuleux de vos fades amours;
L'amas incohérent de spectres et de charmes,
D'amantes et de croix, de baisers et de larmes,
De vierges, de bourreaux, de vampires hurlans,
De tombes, de bandits, de cadavres sanglans,
De morgues, de charniers, de gibets, de tortures
Et toutes ces horreurs, ces hideuses peintures,
Que sous le cauchemar dont il est oppressé
Un malade entrevoit d'épouvante glacé...
Et c'est à la faveur d'un monstrueux système
Que du siècle des arts défiant l'anathème,
Vous croyez sans péril profaner à nos yeux
Tout ce qu'a respecté le goût de vos aïeux?
Ah! nous conserverons, intacte et révérée,
La charte des bons vers, par Despréaux jurée, etc.

Стихи, нечего сказать, хороши: журнальные стрѣлки классицизма не бьютъ у васъ такъ мѣтко; но эпиграммы не доказательства. Шутки Вольтера на Шекспира иногда очень забавны, но между тѣмъ Шекспиръ здравствуетъ и едва не царствуетъ. Вотъ что говоритъ Гизо въ критической статьѣ о немъ: „Нынѣ уже идетъ дѣло не о геніи и не о славѣ Шекспира: никто ихъ не оспариваетъ; важнѣйшій вопросъ возникнулъ нынѣ, вопросъ о томъ: система драматическая Шекспира не лучше ли системы Вольтеровой?“ Впрочемъ, классицизмъ и романтизмъ суть только слабые оттѣнки двухъ главныхъ раздѣловъ въ литературномъ мірѣ Франціи. Вспомните вліяніе политики на литературу. Всѣ частные оттѣнки сливаются въ двѣ цѣльныя, яркія черты, размежевавшія какъ писателей, такъ и всѣхъ Французовъ, на двѣ стороны: лѣвую и правую. Не только поэзія, исторія, романъ, но искусства изящныя, художества, науки, едва ли даже и не точныя, всѣ носятъ, болѣе или менѣе, отпечатокъ того или другаго политическаго исповѣданія. Есть либеральная и есть ультра-роялистская живопись, либерализмъ и ультра-роялизмъ слышатся въ нотахъ музыканта и угадываются въ A+B безстрастнаго математика. Въ литературѣ замѣчательно, что оппозиціонная партія, по мнѣнію политическому, то-есть, наслѣдовавшая правила, ознаменовавшія полити-

ческое преобразованіе Франціи, болѣе придерживается классицизма, то-есть стариннаго порядка, и, напротивъ, оппозиціонная партія по литературѣ, то-есть нововводители, держится въ политикѣ вѣка Людовика XIV. И такимъ образомъ, по странной игрѣ случая, литературныхъ либераловъ должно искать въ рядахъ политическихъ тори, а литературныхъ ультра-роялистовъ въ рядахъ политическихъ виговъ. Французскіе либералы, по излишнему патріотизму, такъ страшатся всякаго чуждаго вліянія у себя, такъ дорожатъ своими правами и вольностями, что не хотятъ и въ литературѣ потерпѣть Англійскаго или Нѣмецкаго помѣстнаго владычества. Есть, безъ сомнѣнія, исключенія въ томъ и другомъ подраздѣленіи, и, между прочими, исключенія блистательныя. Гизо, издатель Французскаго перевода Шекспира, Барантъ, издатель перевода драматическихъ твореній Шиллера, Бенжаменъ-Констанъ, который прозаическими стихами перевелъ и сократилъ трилогію Шиллера, но обогатилъ предисловіемъ въ прозѣ, исполненной поэзіи и обильной соображеніями новыми и яркими, должны быть почитаемы въ числѣ дѣятельнѣйшихъ побудителей новаго движенія въ литературѣ Французской и также въ другомъ отношеніи извѣстны за твердыхъ поборниковъ новаго преобразованія политическаго. На нихъ, и вообще на всѣхъ споспѣшниковъ литературнаго переворота, первая и болѣе всѣхъ дѣйствовала г-жа Сталь: ее можно назвать Лютеромъ Французской литературы, а книгу ея: *О Германіи*— Кормчею книгою Французскаго литературнаго протестантизма.

Вамъ, вѣроятно, извѣстны нѣкоторыя пѣсни Беранже, но не всѣ, по той причинѣ, что сей безпечный Анакреонъ совращается иногда съ пути ко храму славы и сколько волею, а вдвое того неволею (какъ говорится въ нашихъ сказкахъ), заходитъ въ тюрьму св. Пелагеи и тамъ постится за нескромности Музы, не во время откровенной. Но, впрочемъ, онъ и тамъ живетъ припѣваючи, и многія изъ пѣсенъ его, писанныхъ подъ затворами тюремными, такъ же свободны и милы, какъ и прежнія. Вѣроятно, никто изъ современныхъ поэтовъ не пользуется равнымъ съ нимъ расходомъ на свои творенія, и по дѣлóмъ. Беранже не классикъ и не романтикъ, не трагикъ и не эпикъ, а просто

пѣсельникъ; но притомъ по дарованію едва ли не первый поэтъ Франціи. Не разсматривая здѣсь пѣсенъ его въ отношеніи политическомъ, которое до насъ не касается, потому что мы не принадлежимъ ни министерству, ни оппозиціи, подтвердимъ слова Бенжамена-Констана: „Беранже, думая писать простыя пѣсни, пишетъ оды возвышенныя“. И въ самомъ дѣлѣ: въ своихъ патріотическихъ пѣсняхъ онъ отъ шутки вдругъ взлетаетъ до высшей степени отваги и лиризма, въ нѣжныхъ и эротическихъ куплетахъ онъ изобилуетъ элегическими прелестями, и Муза его, увѣнчанная розами и плющемъ, вздыхая сквозь улыбку, наводитъ на насъ радость и уныніе по волѣ; въ куплетахъ сатирическихъ онъ Ювеналовскими стрѣлами клеймитъ своихъ противниковъ...

Вы, вѣроятно, читали поэму Ламартина: *Послѣдняя пѣснь Чайльдъ-Гарольда*. Въ ней есть нѣсколько хорошихъ отрывковъ, и ночная сцена прощанія Чайльдъ-Гарольда начертана живо и поэтически; но все велика смѣлость переродить Байрона въ себя, или себя въ Байрона. Ламартинъ за эту смѣлость и поплатился. По газетамъ знаете вы, что онъ дрался на поединкѣ въ Италіи. Я недавно узналъ отъ пріѣзжаго изъ Флоренціи о подробностяхъ этого приключенія. Сообщаю ихъ. Слышу, что мои милыя соотечественницы исписали всѣ альбомы свои стихами изъ Ламартина, а соотечественные поэты всѣ журналы переводами изъ него. Разскажите же тѣмъ и другимъ, что любимый ихъ поэтъ не менѣе того и рыцарь безъ страха и безъ упрека. Итальянцы обижались отзывами Французскаго Чайльдъ-Гарольда о упадкѣ ихъ духа, величія и славы. Долго кипѣло глухое неудовольствіе или не выходило изъ предѣла салонныхъ разговоровъ. Наконецъ одинъ Неаполитанецъ, Пепе, вѣроятно, братъ историческаго лица, распустилъ по обществу ругательное сочиненіе на поэта; тотъ вызвалъ сейчасъ оскорбителя драться на пистолетахъ; но дѣло кончилось на шпагахъ, по настоятельному несогласію Итальянца. Замѣчательно, что сей не могъ между соотечественниками найти ни одного секунданта себѣ: пріѣхавъ одинъ на мѣсто битвы, принужденъ онъ былъ взять одного изъ трехъ секундантовъ Ламартина. Поэтъ, хотя и слы-

ветъ мастеромъ въ искусствѣ фехтовальномъ, не хотѣлъ пользоваться имъ: наконецъ, легкою раною, полученною имъ въ плечо, битва была прекращена. И послѣ поединка оказалъ онъ благородство своего сердца, ходатайствуя у правительства за соперника, котораго взяли было подъ стражу и хотѣли изъ Тосканіи изгнать, уже изгнаннаго изъ Неаполя. Послѣ того, Ламартинъ издалъ въ свѣтъ оправданіе своего Чайльдъ-Гарольда, объясняя, что онъ въ сей поэмѣ говорилъ не за себя, а за лицо созданное Байрономъ, и, слѣдовательно, не долженъ отвѣчать за его мнѣнія. Итальянцы усмирились, но Англичане, коихъ множество во Флоренціи, обидѣлись оправданіемъ и сказали, что Ламартинъ клеплетъ на Байрона. Подите послѣ того, пишите стихи, и вамъ на руки навяжутся всѣ народы.

III.

Six mois en Russie. Lettres écrites à M. X. B. Saintines, en 1826, à l'époque du couronnement de S. M. L'Empereur, par M. Ancelot [1]). Шесть мѣсяцевъ въ Россіи. Письма, писанныя г-мъ Ансело, въ 1826 году, въ эпоху коронаціи Его Императорскаго Величества, и проч. Парижъ, 1827. in 8°.

Съ той поры, какъ прочелъ ты во Французскихъ газетахъ

---

[1]) Французскій молодой поэтъ, извѣстный трагедіями: *Людовикъ IX*, *Палатный Меръ* (Le maire du Palais); *Заговоръ Фіески*, офранцуженнымъ подражаніемъ Шиллеру, и поэмою: *Марія Брабантская*. Онъ въ числѣ нынѣшнихъ хорошихъ стихотворцевъ Франціи и слогомъ и напѣвомъ своимъ приближается къ школѣ Ламартина. Онъ пріѣзжалъ въ Россію, въ слѣдъ за посольствомъ герцога Рагузскаго, и въ свидѣтельство пребыванія своего у насъ оставилъ Оду на коронацію. Онъ сказывалъ, что пишетъ трагедію Русскаго содержанія; но на вопросы любопытныхъ никакъ не могъ опредѣлить ни эпохи, ни событія, ни героя своей драмы. Вѣроятно, для полнѣйшей свободы въ созданіи, не хочетъ онъ стѣснять себя историческими оковами, а уже послѣ приберетъ и раму и имена для своей картины.

объявленіе о вышедшей книгѣ г-на Ансело, вѣрно не проходило дня, чтобы ты не поминалъ меня лихомъ и не говорилъ съ досадою: „а онъ не присылаетъ этой книги и ничего не пишетъ о ней. Хорошъ пріятель! хорошъ корреспондентъ!“ Предчувствую твое нетерпѣніе и пользуюсь первою удобностью, чтобы, хотя задаткомъ, успокоить твое сердце и твою библіографическую жадность. Вѣроятно нельзя будетъ доставить тебѣ эту книгу въ Москву. Довольствуйся тѣмъ, что я прочелъ ее и будь сытъ моимъ насыщеніемъ или пресыщеніемъ. Впрочемъ, право жалѣть тебѣ нечего. Не подумай, что я, въ оправданіе малаго усердія, хочу отбить въ тебѣ охоту. Нѣтъ, съ моей стороны нѣтъ никакой уловки, никакого злаго умысла. Отлагая обиняки и всѣ иносказанія, постараюсь тебѣ дать кое-какъ понятіе о шестимѣсячномъ пребываніи въ Россіи г-на Ансело. Если удастся мнѣ изложить ясно и внятно сущность этой книги, то безъ сомнѣнія умѣрю твое нетерпѣніе и неудовольствіе на меня. Слушай! Первыя пять писемъ заключаютъ въ себѣ поверхностный отчетъ въ поѣздкѣ автора отъ Парижа до Митавы. Въ нихъ замѣчателенъ развѣ одинъ почтительный отзывъ Французскаго поэта о Гёте. Тамъ слѣдуетъ стихотвореніе, написанное авторомъ на полѣ Люценской битвы. Въ послѣднихъ стихахъ обращеніе къ Наполеону благородно и, кажется, хорошо выражено:

Quand ton sceptre pesait sur le monde asservi,
Quand la France tremblait, ma lyre inéxorable
D'un silence obstiné peut-être eut poursuivi
De ton pouvoir sant frein la majesté coupable:
Mais tu connus l'exil et sa longue douleur,
Mais la mort t'a frappé sur un rocher sauvage;
Je te plains, et ma lyre adresse un libre hommage
A la majesté du malheur.

Тутъ должно замѣтить откровенное *peut-être*. Въ царствованіе Наполеона поэтъ не былъ еще извѣстенъ и нельзя знать, не иначе ли заговорила-бы лира его. Отъ седьмаго письма изъ Петербурга начинаются именно Русскія письма. Всего на все въ книгѣ ихъ 44, а страницъ 422. Большая часть изъ нихъ посвящена мѣстнымъ описаніямъ и, такъ сказать, статистико-топографико-живописнымъ подробностямъ, какъ ты и самъ увѣ-

ришься изъ извлеченія оглавленій писемъ, которое здѣсь сообщаю: Александро-Невскій монастырь, Екатерингофъ, Дрожки, Биржа, Арсеналъ, Царское Село, Погребеніе Императрицы Елизаветы Алексѣевны, Семикъ, Лѣтній садъ, Гулянье въ Лѣтнемъ саду въ Духовъ день (Fête des mariages), Императорская библіотека, Кронштадтъ, С.-Петербургская крѣпость, Соборъ Петропавловскій, Водосвятіе, Смольный монастырь, Зимній дворецъ, Эрмитажъ, Видъ Петербурга, Казанскій соборъ, Гробница Моро, Острова́, Дорога изъ Петербурга въ Москву, Новгородъ, Валдай (La Suisse Russe), Москва, Китай-городъ, Кремль, Петровское, Цыганы, Судебныя мѣста, Тюрьмы, Бородинское поле, Церковь Василія Блаженнаго, Сухарева башня, Обрядъ коронаціи и Описаніе праздниковъ, данныхъ при этомъ случаѣ. Все это, должно признаться, за исключеніемъ нѣкоторыхъ погрѣшностей, неумѣстныхъ замашекъ учености, умничанья и либерализма, тѣмъ болѣе неумѣстнаго, что авторъ дома совсѣмъ не въ рядахъ оппозиціи, а либеральничаетъ только въ гостяхъ, всё это описано довольно вѣрно, прибавимъ NB, — для путешественника и для Француза; но все безцвѣтно, и по крайней мѣрѣ для насъ Русскихъ нимало не занимательно и не любопытно. Остальное содержаніе писемъ, политическое и нравственное, еще жиже и менѣе лакомо. Нельзя сказать, чтобы авторъ, какъ многіе изъ собратій его, былъ движимъ какимъ-нибудь недоброжелательствомъ къ Русскому народу и увлеченъ предубѣжденіями противъ Россіи; но зрѣніе его слабо и близоруко. Говоря о злоупотребленіяхъ, о недостаткахъ нашихъ (и какой-же народъ не подверженъ имъ?), онъ нерѣдко кружится около истины, но не настигаетъ ея и не въ силахъ за нее ухватиться. Россія, можетъ быть, отчасти и видна въ его книгѣ, но видна какъ въ зеркалѣ тускломъ и къ тому же съ пятнами. Въ этомъ отношеніи вина не автора и Богъ проститъ ему; не каждому даны взоръ орлиный, умъ зоркій и наблюдательный; но каждый образованный и благовоспитанный человѣкъ отвѣчаетъ за личности, когда онъ себѣ ихъ дозволяетъ. Въ этомъ отношеніи г-нъ Ансело иногда отступаетъ отъ законовъ общежитія и тѣмъ оскорбилъ не Русскихъ, которые недоступны оскорбленіямъ г-на

Апсело, но своихъ согражданъ и товарищей путешествія своего, хотя и говоритъ въ предисловіи, что онъ не *числился при посольствѣ* герцога Рагузскаго и что наблюденія его, неизвѣстныя членамъ посольства, принадлежатъ ему одному, что одинъ онъ за нихъ отвѣчаетъ. Вѣроятно, это оффиціальная уловка; но въ чужія дѣла и отношенія мѣшаться намъ не слѣдуетъ.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы авторъ худо помнилъ хлѣбъ-соль, по крайней мѣрѣ, авторскую. 8-е письмо содержитъ благодарное описаніе обѣда, даннаго ему г-мъ Гречемъ.

„Нѣсколько Русскихъ литераторовъ", говоритъ онъ, „узнавъ о пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ, хотѣли доказать мнѣ, что Музы сестры, и я за нѣсколько счастливыхъ минутъ обязанъ ихъ дружелюбному гостепріимству. Русскій литераторъ, г-нъ Гречъ, одинъ изъ библіотекарей Императорскихъ, ученый филологъ, сочинитель грамматики, которая имѣетъ законную силу въ Россіи (fait autorité en Russie), хотя и не была еще вполнѣ издана, и редакторъ лучшаго журнала въ имперіи, *Сѣверной Пчелы*, далъ вчера большой обѣдъ, на коемъ присутствовали всѣ отличные литераторы, находящіеся нынѣ въ Петербургѣ. Тутъ видѣлъ я г-на Крылова, который прелестнымъ комедіямъ, а болѣе еще баснямъ своимъ обязанъ за извѣстность Европейскую; его прозвали Русскимъ Лафонтеномъ, и въ самомъ дѣлѣ—въ твореніяхъ его находимъ простосердечіе, прелесть, придающія ему нѣкоторое сходство съ нашимъ безсмертнымъ добрякомъ. Въ свѣтѣ имѣетъ онъ какую-то молчаливую разсѣянность, которая довершаетъ сходство и оправдываетъ его славное прозваніе. Г-нъ Бургаринъ (Bourgarine), сотрудникъ г-на Греча [1]), человѣкъ ума весьма замѣчательнаго (d'un esprit des plus remarquables), онъ занимается нынѣ сочиненіемъ, коего отрывки, уже напечатанные, приняты были съ большимъ успѣхомъ; его прозваніе Русскій Жилблазъ [2]). Цѣль сочиненія—описаніе нравовъ и обычаевъ разныхъ областей Русскаго народа; ожидаютъ здѣсь книгу эту съ большимъ нетерпѣніемъ, и если позволено зара-

[1]) Ужъ не г-нъ Булгаринъ-ли?
[2]) Не Польскій-ли Жилблазъ?

нѣе судить о достоинствѣ сочиненія по разговору автора, то можно сказать утвердительно, что въ отношеніи оригинальности картинъ, тонкости и остроумія наблюденій сія книга вполнѣ удовлетворитъ ожиданіямъ.

„Возлѣ меня сидѣли за столомъ: г-нъ Лобановъ, которому Русскій театръ одолженъ переводами *Федры* и *Ифигеніи* и нынѣ готовящій переводы *Аталіи* и *Британника*; г-нъ Измайловъ, уваженный баснописецъ; г-нъ Сомовъ (Soumoff), коего талантъ показывается съ блескомъ, и графъ Толстой, искусный рѣщикъ на медаляхъ.

„Кромѣ уже названныхъ, собраніе составлено было изъ поэтовъ, ученыхъ и грамматиковъ [1]). Предлагали заздравные тосты въ честь литтературы Французской старшей и любезнѣйшей сестры литтературы Русской (la soeur ainée et bien aimée de la litterature Russe), въ честь Императора Николая I-го, который благотвореніемъ, истинно достойнымъ великаго Царя, почтилъ словесность въ лицѣ г-на Карамзина. — Въ концѣ обѣда пили за здоровіе г-на Жуковскаго, одного изъ лучшихъ нынѣшнихъ поэтовъ Русскихъ“.

Вообще авторъ довольно справедливъ и благосклоненъ въ сужденіяхъ своихъ о нашихъ поэтахъ, женщинахъ и простолюдинахъ. И за то ему спасибо! О талантѣ Александра Пушкина отзывается онъ съ уваженіемъ и жалѣетъ, что не удалось ему познакомиться съ поэтомъ. Въ книгѣ своей предлагаетъ онъ переводъ, прозою, но довольно вѣрною и красивою, *Свѣтланы* Жуковскаго, *Черепа*, сочиненія Баратынскаго, отрывка изъ *Полярной Звѣзды* и другаго стихотворенія неизданнаго. Говоря о Баратынскомъ, жалуетъ онъ его въ князья (le jeune prince E. Baratinsky), но за то, съ другой стороны, разжалываетъ его еще неумѣстнѣе въ подражатели Французскихъ нововведеній. Передъ переводомъ стихотворенія: *Черепъ*, сказываетъ, что „оно уважается Русскими, которые начинаютъ нынѣ перенимать у

[1]) Жаль, что грамматика г-на Греча и господа Русскіе грамматики до сей поры болѣе извѣстны г-ну Ансело, чѣмъ намъ. Не знаемъ, что за угощеніе было за этимъ обѣдомъ, но мы пока сидимъ еще натощакъ, безъ Русской грамматики г-на Греча и безъ Русскаго грамматика.

насъ нашу недавнюю любовь къ грезамъ поэтическимъ, мистическимъ и наркотическимъ (спотворнымъ), коими мы преисполнены". Въ подлинникѣ нѣтъ ничего мистическаго, а еще менѣе наркотическаго. *Черепъ*, предметъ философическій и поэтическій; подобное нововведеніе существуетъ на землѣ со смерти Авеля, перваго извѣстнаго мертвеца. Но Французу нельзя не похвастать и не обращать всего къ Французамъ. Мелькомъ онъ и строго судитъ нашу литтературу, но и тутъ не безъ основанія. „Не должно", говоритъ онъ, „требовать хода (allure) оригинальнаго и свободнаго отъ литтературы Русской: въ ней упражняются люди, коихъ воспитаніе иноплеменное; образованность, понятія и самый языкъ заимствованы у Франціи, и слѣдовательно она не можетъ быть иначе, какъ литтература подражательная. Донынѣ она неотступно повторяла формы, физіогномію и даже предразсудки нашей. Съ нѣкотораго времени Русскіе поэты, кажется, хотятъ отходить отъ классическихъ образцовъ и искать образцы свои въ Германіи, но и въ этомъ они только намъ подражаютъ". Въ началѣ сужденія есть, какъ ни говори, много справедливаго; но въ послѣднихъ словахъ опять выходка Французскаго самохвальства. Мы еще съ Карамзина ознакомились съ Нѣмецкою литтературою, а съ Жуковскаго принялись за нее. Французы же услышали о Нѣмецкихъ авторахъ только съ появленія книги г-жи Сталь о *Германіи*. То, что́ путешественникъ говоритъ о женскомъ полѣ въ Россіи, заслуживаетъ, по моему мнѣнію, безусловное одобреніе. Вотъ слова его:

„Нѣкоторые путешественники, а именно авторъ *Тайныхъ Записокъ о Россіи*, донесли Европѣ о невѣжествѣ Русскихъ женщинъ: не знаю, были ли авторы безпристрастны въ свое время, но нынѣ я съ ними не согласенъ. Пользуясь правами, присвоенными званію моему иностранца, я не одинъ разъ переходилъ за межу разграниченія, проведеннаго между обоими полами (выше авторъ замѣчаетъ, что въ гостиныхъ и столовыхъ нашихъ оба пола не сходятся); я разговаривалъ съ этими женщинами, обвиненными въ невѣжествѣ, и, по бо́льшей части, находилъ у нихъ свѣдѣнія разнообразныя, соединенныя съ необыкновенною тонкостію ума, познанія нерѣдко глубокія во мно-

гихъ литературахъ Европейскихъ и прелесть выраженія, которой могли бы позавидовать многія Француженки. Особливо же между молодыми сіи качества блистательнѣе обнаруживаются: это доказываетъ, что съ прошедшаго столѣтія образованіе женщинъ въ Россіи приняло новое направленіе, и что справедливое лѣтъ тридцать тому перестаетъ нынѣ походить на правду. Часто въ Петербургѣ встрѣчаешь дѣвицъ, съ равною свободою изъясняющихся на языкахъ: Французскомъ, Нѣмецкомъ, Англійскомъ и Русскомъ; я могу назвать такихъ, которыя пишутъ на сихъ языкахъ слогомъ замѣчательнымъ по необыкновенной исправности и красивости [1]). Обширность этихъ познаній, это превосходство нравственное объясняютъ, можетъ быть, причину одиночества, въ которомъ молодые люди оставляютъ ихъ въ обществѣ и пежеланіе ихъ сближаться съ ними (et la répugnance qu'ils éprouvent à se rapprocher d'elles.)".

Я радъ, что иностранецъ гласно призналъ превосходство образованности женскаго пола надъ нашимъ въ Россіи. Я всегда былъ этого мнѣнія и увѣренъ, что наши свѣтскія общества холодны и безжизненны отъ нашей братіи. Если просвѣщеніе нашихъ женщинъ и не утверждено на глубокихъ и прочныхъ основаніяхъ, то, по крайней мѣрѣ, согласиться должно, что изящныя искусства, чтеніе иностранныхъ книгъ и отечественныхъ, сколько ихъ есть, входятъ въ число любимыхъ занятій новаго поколѣнія. И если молодыя дѣвицы, поступивъ въ званіе супругъ, часто менѣе внимательны къ симъ просвѣщеннымъ потребностямъ, то, по бо́льшей части, виноваты мужья, которые не умѣютъ ни поддерживать, ни цѣнить благородныхъ склонностей подругъ своихъ. Ты скажешь мнѣ: „хорошо тебѣ за глаза обвинять своихъ товарищей, думая, что, за отсутствіемъ, ты изъемлешься изъ общаго приговора". Нѣтъ! когда я былъ и на лицо, всегда признавалъ преимущество женщинъ надъ нами, и, право, не изъ одной любви къ нимъ, а изъ любви безкорыстной и къ истинѣ. Я довольно ѣздилъ по Россіи, живалъ и въ гу-

[1]) Положимъ, что авторъ могъ судить о степени свѣдѣній ихъ въ трехъ языкахъ; но какъ же берется онъ судить и о познаніи ихъ въ Русскомъ языкѣ?

бернскихъ и въ уѣздныхъ городахъ, и вездѣ находилъ, безъ всякаго лицепріятія, что сумма, какова бы она ни была, мыслей, утонченныхъ чувствъ, образованности и свѣдѣній перетянетъ всегда къ сторонѣ женской. Впрочемъ, Французскіе писатели и прошлаго столѣтія были несправедливы въ отзывахъ своихъ о Русскихъ женщинахъ. Царствованіе Екатерины должно было имѣть и вполнѣ имѣло вліяніе на умственное образованіе Русской женщины. Женскія воспитательныя учрежденія, пользовавшіяся особеннымъ покровительствомъ и заботливымъ сочувствіемъ Императрицы, были разсадниками образованныхъ женщинъ. Имена нѣкоторыхъ изъ нихъ поминаются съ уваженіемъ и похвалою въ *мемуарахъ* и перепискахъ многихъ Европейскихъ писателей.

Не знаю, какъ ты и вы всѣ, господа столичные, но я готовъ многое простить автору за отзывъ его о нашемъ простомъ народѣ. Почти всѣ путешественники кадили нѣкоторымъ вершинамъ нашего политическаго общества, чтобы потомъ безнаказанно и смѣлѣе бить по нижнимъ рядамъ своею предательскою кадильницею. Г-нъ Ансело не подражалъ имъ, и вотъ нѣкоторыя черты изъ его характеристики Русскихъ простолюдиновъ.

„Болѣе всего съ перваго взгляда иностранецъ удивляется въ Русскомъ крестьянинѣ презрѣнію опасности, которое онъ почерпаетъ въ чувствѣ силы и ловкости своей. За него испугавшись, вы указываете на бѣду; онъ улыбается и отвѣчаетъ вамъ: *небось!* Это слово у него всегда на языкѣ: оно знаменуетъ неустрашимость, твердое основаніе характера его. Догадливые и услужливые Русскіе крестьяне прилагаютъ всѣ способности свои, чтобы понять васъ и вамъ услужить: нѣсколько словъ достаточны иностранцу для объясненія мысли своей Русскому крестьянину, который, устремя глаза свои на ваши, угадываетъ ваши желанія и спѣшитъ имъ угодить. Ничто такъ поразительно не удивляетъ васъ, какъ отмѣнная вѣжливость, которая отличаетъ этихъ простолюдиновъ и являетъ странную противоположность съ ихъ дикими лицами и грубою одеждою: не только говоря съ высшими, употребляютъ они учтивыя по-

говорки, которыхъ не слышишь во Франціи, среди низшихъ званій, но и между собою приводятъ они ихъ при каждомъ случаѣ: встрѣчаясь, они снимаютъ шляпу другъ передъ другомъ и кланяются съ учтивостью, которая, казалось бы, должна быть плодомъ воспитанія, а у нихъ она слѣдствіе природной благосклонности. На каждомъ шагу иностранецъ на улицѣ встрѣчаетъ примѣры этой общежительности, свойственной Русскому народу; всегда ласковымъ словомъ остерегаютъ прохожаго и вмѣсто грубаго „прочь, посторонись“ (gare!), которымъ привѣтствуетъ васъ нашъ посильщикъ и часто послѣ того, какъ уже свалитъ васъ съ ногъ, здѣсь слышите вы: „баринъ! остерегитесь! и проч. [1])“.

Далѣе приводитъ онъ примѣры мастерства и проворства Русскаго работника, который одинъ съ топоромъ своимъ замѣняетъ нерѣдко цѣлую артель мастеровыхъ, вооруженныхъ разными орудіями. Вотъ чѣмъ довершаетъ онъ свои наблюденія: „Знаю, что и у Француза найдешь готовность услужить; но, разсматривая пристально оба народа, замѣчаешь ощутительную разницу въ свойствѣ ихъ услужливости. Французъ, помогая вамъ, слѣдуетъ своей природной живости, и вы, пріемля отъ него услугу, видите по важности, которую онъ придаетъ ей, что онъ знаетъ ея цѣну: Русскій одолжаетъ васъ по природному побужденію и по чувству религіозному. Одинъ исполняетъ обязанность, возлагаемую общежитіемъ, другой долгъ любви христіанской. Честь, сія добродѣтель народовъ образованныхъ, вмѣстѣ и побужденіе и возмездіе перваго; другой и не помышляетъ о достоинствѣ своего поступка; онъ дѣлаетъ просто, что другіе дѣлали бы на его мѣстѣ, и не понимаетъ возможности поступить иначе. Если дѣло идетъ о спасеніи человѣка, Французъ видитъ опасность и предается ей; Русскій видитъ передъ собою одного несчастнаго, готоваго погибнуть: смѣлость одного обдуманная; неустрашимость другаго въ его природѣ“. Подъ Французскимъ перомъ замѣчательны также наблюденія безпристрастныя

[1]) Г-жа Сталь въ своемъ десятилѣтнемъ изгнаніи отзывается также похвально о вѣжливости и радушіи нашего крестьянина.

о нашемъ Русско-Французскомъ воспитаніи. Говоря, что языкъ Французскій сдѣлался для насъ потребностью, что вообще молодежь образуется Французскими наставниками, онъ прибавляетъ: „Наше народное честолюбіе должно, конечно, быть довольно этою данью уваженія, платимою нашему языку, нашимъ нравамъ, нашей литературѣ; но, разсматривая сію систему глазомъ философическимъ, не найдешь ли въ ней много важныхъ неудобствъ? Разстояніе, раздѣляющее высшія званія общества отъ того, которое называется народомъ, непомѣрно. Образъ воспитанія, предназначенный для молодыхъ баръ, не увеличиваетъ ли еще сего разстоянія? Не уничтожаетъ ли оно всѣ сношенія между ними и званіями нижними? Обдѣлка ума, чувства, языкъ, обычаи, всё различно. И притомъ, иностранные наставники могутъ ли внушить воспитанникамъ любовь къ отечеству? Могутъ ли они образовать Русскихъ? Не полагаю, и смѣю думать, что истинный патріотизмъ должно искать въ одномъ народѣ. Кажется, правительство убѣдилось въ этомъ неудобствѣ и говоритъ о скоромъ учрежденіи Императорскихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ основы воспитанія будутъ въ лучшемъ согласіи съ нравами, законами и постановленіями Россіи“.

Добросовѣстно показавъ тебѣ нѣкоторыя хорошія черты изъ книги г-на Ансело, жаль мнѣ, что я долженъ по той же добросовѣстности изложить передъ тобою недостатки и погрѣшности его. Путешественники любятъ давать мнѣніямъ и замѣчаніямъ своимъ объемы общіе. Извѣстенъ анекдотъ о Французѣ, который, проѣзжая черезъ Нѣмецкій городокъ, остановился въ гостинницѣ для перемѣны лошадей и, увидя въ ней рыжую хозяйку, которая била мальчика, записалъ въ своей путевой книжкѣ: „Въ здѣшнемъ городѣ женщины рыжи и злы“. Этотъ анекдотъ можетъ быть примѣненъ и къ нашему путешественнику. Случалось ли ему, что въ какомъ-нибудь Русскомъ домѣ принятъ онъ былъ хуже въ слѣдующіе разы, чѣмъ въ первый, онъ тотчасъ вноситъ въ свой журналъ опредѣленіе: „Русскій начинаетъ съ того, что оказывается вашимъ искреннимъ другомъ, скоро вы становитесь простымъ знакомцемъ, и тѣмъ кончится, что онъ перестанетъ вамъ кланяться“. Положимъ, что авторъ

испыталъ это на дѣлѣ; не станемъ разбирать, кто виноватъ въ этомъ, хозяинъ ли, или гость; но за чѣмъ же, если г-нъ Ансело напалъ на Русскаго, или даже на нѣсколько Русскихъ, которые не умѣли или не хотѣли поддержать вѣжливость и предупредительность, оказанныя съ перваго пріема иностранцу, заочно знакомому имъ по литературному имени его, за чѣмъ же сейчасъ подводить всѣхъ иностранцевъ и всѣхъ Русскихъ подъ одинъ общій итогъ? Надѣюсь, не столько для чести Русскихъ, сколько для собственной чести автора, что и онъ въ шестимѣсячномъ пребываніи у насъ умѣлъ сохранить знакомцевъ, которые кланялись ему до конца.

Ребячество нѣкоторыхъ наблюденій его доходитъ до неимовѣрности. Описывая Эрмитажъ и упомянувъ о библіотекѣ Вольтеровой, въ немъ хранящейся и которой онъ не видалъ въ подробности, за отсутствіемъ того, у коего хранился ключъ отъ нея, говоритъ онъ съ забавною важностью: „Не могу приписать неблагосклонности путеводителя своего, или даннымъ ему приказаніямъ, лишеніе, о коемъ сожалѣю, но тотъ, кому поручено храненіе сихъ книгъ, былъ въ отлучкѣ и никто не могъ и не хотѣлъ бы взять на себя должность, на другаго возложенную. Подобное неудобство встрѣчается въ Россіи ежеминутно: въ общественныхъ ли заведеніяхъ, въ частныхъ ли домахъ, каждый имѣетъ свою долю занятія и отвѣтственности, за которыя не переступаетъ. Такимъ образомъ случилось мнѣ однажды у знатнаго барина не допроситься стакана воды съ сахаромъ, потому что человѣка, смотрящаго за буфетомъ, не было, а между тѣмъ въ самомъ домѣ насчитаешь до сотни служителей“.

Что́ мудренаго, что ключъ отъ библіотеки Вольтеровой хранится въ рукахъ человѣка именно къ ней приставленнаго и что другія должностныя лица не взялись изъ угожденія г-ну Ансело выломать замки книжныхъ шкафовъ? Что же касается до другаго примѣра, приведеннаго авторомъ, то нельзя ли истолковать его слѣдующею гипотезою: Нашъ путешественникъ—поэтъ; Французскіе поэты любятъ читать стихи свои; Французъ не иначе примется за чтеніе вслухъ, какъ поставивъ передъ собой графинъ съ водою, стаканъ и сахаръ. Хозяинъ дома, въ которомъ

авторъ имѣлъ эту неудачу, можетъ быть, не охотникъ до стиховъ вообще, или въ особенности до стиховъ г-на Ансело, и для избѣжанія чтенія, ему угрожающаго, онъ свалилъ бѣду на оплошнаго буфетчика. Въ этомъ случаѣ сказать можно: les absens ont tort, mais les présents avoient peut être raison.

Нѣкоторые изъ анекдотовъ, имъ разсказываемыхъ, какъ и наблюденія его, отзываются какимъ-то малолѣтствомъ, довольно страннымъ въ литтераторѣ, извѣстномъ во Франціи и довольно выгодно. Анекдоты его не любопытны и не вѣрны. И тутъ вертится онъ около истины, но она ему не дается. Говоря напримѣръ о строгости цензуры нашей, разсказываетъ онъ, что кто-то изъ Русскихъ хотѣлъ издать путешествіе свое во Францію въ 1812 году, что цензура одобрила книгу, но съ требованіемъ, чтобы имя Франціи было вездѣ въ ней замѣнено именемъ Англіи, потому что Русскому неприлично признаться, что онъ въ 1812 году путешествовалъ во Франціи. Вѣримъ, что авторъ не выдумалъ этой нелѣпой сказки; но жалѣемъ о немъ, что онъ могъ ей повѣрить, а еще болѣе о томъ, который ему передалъ ее. Въ другомъ мѣстѣ разсказываетъ онъ, что какой-то воръ подмѣнилъ пукомъ пустыхъ бумажекъ пукъ ассигнацій, данныхъ епископу за обрядъ бракосочетанія. Въ такомъ плутовствѣ, если оно и было, нѣтъ ничего особенно замѣчательнаго, да и къ тому же у насъ епископы не вѣнчаютъ на бракъ. Книга кончается стихотвореніемъ: *Воробьевы горы*; тутъ болѣе всего поэзіи въ свободѣ, съ которою поэтъ переноситъ эту гору съ мѣста на мѣсто. То она очутится у него за заставою по Владимірской дорогѣ, и тогда ведетъ въ Сибирь; то она за Дорогомиловскою, и тогда представленъ на ней Наполеонъ, приближающійся съ войскомъ къ Москвѣ и ожидающій на ней депутатовъ съ городскими ключами.

Довольно ли тебѣ этихъ выписокъ? Право, не изъ лѣни, не по недостатку ограничиваюсь ими. Если тебѣ этого мало, то, пожалуй, цѣликомъ выпишу нѣсколько писемъ и доставлю тебѣ при случаѣ. Эта книга такого рода, что нечему въ ней радоваться, ни сердиться не за что. Настоящій стаканъ воды: примешься за нее отъ жажды, проглотишь и никакого вкуса, ника-

кого отзыва въ тебѣ не останется; развѣ на днѣ отстоятся кой-какія соринки. Нѣтъ намъ счастія на пишущихъ путешественниковъ. По большей части, все напечатанное иностранцами о Россіи составлено изъ пустяковъ, лживыхъ разсказовъ и ложныхъ заключеній. Впрочемъ, мы также съ своей стороны не правы въ неосновательныхъ сужденіяхъ о насъ Европейскихъ гостей. Они не умѣютъ смотрѣть на Россію, а мы не умѣемъ се показывать. Мы сами худо знаемъ свое отечество и превратнымъ образомъ обращаемъ на него взгляды иностранцевъ. Угощая пріѣзжихъ Россіею, многіе изъ насъ спѣшатъ выказывать имъ все подлежащее осужденію, чтобы такою уловкою явить въ себѣ изъятіе изъ общаго правила. Таить погрѣшности свои не нужно; но указывайте на нихъ съ патріотическимъ соболѣзнованіемъ, а не по разсчету личной суетности. Я, признаюсь, былъ бы радъ найти въ иностранцѣ строгаго наблюдателя и судію нашего народнаго быта: со стороны можно видѣть яснѣе и цѣнить безпристрастнѣе. Отъ строгихъ, но добросовѣстныхъ, наблюденій посторонняго могли бы мы научиться; но отъ глупыхъ насмѣшекъ, отъ безпрестанныхъ уликъ, устремленныхъ всегда на одинъ ладъ и по одному направленію, отъ поверхностныхъ указаній, ничему не научишься. Многіе признаютъ за патріотизмъ безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называлъ это лакейскимъ патріотизмомъ, du patriotisme d'antichambre. У насъ можно бы его назвать квасным патріотизмомъ [1]). Я полагаю, что любовь къ отечеству должна быть слѣпа въ пожертвованіяхъ ему, но не въ тщеславномъ самодовольствѣ; въ эту любовь можетъ входить и ненависть. Какой патріотъ, какому народу ни принадлежалъ бы онъ, не хотѣлъ бы выдрать нѣсколько страницъ изъ исторіи отечественной и не кипѣлъ негодованіемъ, видя предразсудки и пороки, свойственные его согражданамъ? Истинная любовь ревнива и взыскательна. Равнодушный всѣмъ доволенъ, но что отъ него пользы? Безстрастный въ чувствѣ, онъ безстрастенъ и въ дѣйствіи. Но повторяю: можно ли дождаться намъ отъ иностранца хорошей книги о

[1]) Здѣсь въ первый разъ явилось это шуточное опредѣленіе, которое послѣ такъ часто употреблялось и употребляется.

Россіи, которую видитъ онъ или изъ коляски, или знаетъ по наслышкѣ изъ рѣчей людей, знающихъ ее также поверхностно и худо.

IV.

Six mois suffisent-ils pour connaître un pays? ou observations sur l'ouvrage de M-r Ancelot, intitulé: Six mois en Russie, par J. T-y. A Paris. 1827. (Довольно ли шести мѣсяцевъ, чтобы узнать государство? или замѣчанія на книгу г-на Ансело: Шесть мѣсяцевъ въ Россіи. Писано Я. Т. . . . . ъ [1]). Парижъ. 1827).

Вскорѣ послѣ отправленія къ тебѣ письма моего о книгѣ г-на Ансело, вышло въ Парижѣ возраженіе на нее, писанное соотечественникомъ нашимъ, который только намекнулъ о имени своемъ, но однакоже достаточно, чтобы узнать его. Онъ уже не въ первый разъ подаетъ въ Парижѣ Русскій голосъ по нашимъ литтературнымъ дѣламъ. Онъ защитилъ Крылова отъ несправедливыхъ обвиненій Французскихъ критиковъ по случаю тяжбы, въ которую затащилъ насъ горе-доброхотъ нашъ Дюпре де-Сенъ-Моръ (сущій *моръ* для нѣкоторыхъ Русскихъ поэтовъ); онъ протестовалъ противъ лже-историческихъ опредѣленій Альфонса Раббе, извѣстнаго здѣсь Сокращеніемъ Русской исторіи (Resumé de l'histoire de Russie) и Исторіею Александра I, писанною уже по кончинѣ Императора; сверхъ того, онъ извѣстенъ, вѣроятно, и у васъ по Русскому каламбуру, отпущенному въ Парижѣ на его имя [2]). Мы должны быть признательны нашему

---

[1]) Яковъ Николаевичъ Толстой. Онъ много лѣтъ былъ въ Парижѣ агентомъ нашего министерства народнаго просвѣщенія. Въ молодости былъ онъ пріятель Пушкина. Всѣ Русскіе, посѣщавшіе Парижъ, находили въ немъ усерднаго и много свѣдущаго путеводителя. Онъ во многомъ совершенно *опарижился*, но оставался Русскимъ до сердцевины, до мозга костей своихъ.

[2]) Г-нъ Раабъ написалъ, что родоначальники наши—не Славяне, Slaves, а Есклавоны, Esclavons, то есть *esclaves*, и что потому мы происходимъ отъ *рабовъ*, esclaves. Ему отвѣчали, что скорѣе онъ рабскаго происхожденія, потому что имя его совершенно Русское, *рабъ*. Это напоминаетъ фразу другаго Француза: Moscou improprement nommée par les Russes Moskwa.

соотечественнику за хожденіе его по нашимъ дѣламъ и радоваться, что наконецъ нашелся у насъ генеральный консулъ по Русской литературѣ; спасибо ему, что онъ не даетъ насъ беззащитно въ обиду иностранцамъ. До сей поры мы были внѣ общаго закона (hors la loi) и никакая власть не охраняла нашей личной безопасности. Каждый могъ смѣло преслѣдовать насъ ложными доносами передъ судомъ всемірнымъ, лишать насъ собственности, даже весьма часто лишать живота, какъ то бываетъ съ Русскими авторами, переводимыми, или изводимыми разными переводчиками *Людо-Морами*. Теперь хотя есть кому замолвить объ насъ доброе слово въ защиту, или за упокой. Пожелаемъ нашему усердному заступнику счастливаго продолженія исполненія добровольной обязанности и уполномочимъ его отъ лица грамотной Россіи—отстаивать нашу честь и наши выгоды отъ притязаній Европейскихъ грамотѣевъ. Мнѣ жаль, что возраженіе не ранѣе попалось мнѣ въ руки: оно избавило бы меня отъ лишняго труда, ограничивая заботу мою однѣми выписками, потому что я почти во всемъ согласенъ съ возразителемъ. Познакомлю тебя съ образомъ мнѣній его и вмѣстѣ съ тѣмъ довершу твое знакомство съ г-мъ Ансело. Если можно узнать человѣка и книгу заочно, то надѣюсь, что ты послѣ вторичнаго изслѣдованія будешь доволенъ.

Вступленіе нашего соотечественника слѣдующее:

„Довольно ли шести мѣсяцевъ, чтобы узнать государство?“

„Вотъ запросъ, который я себѣ задалъ, читая *Шесть мѣсяцевъ въ Россіи* г-на Ансело“. Сознавшись, что трудно написать книгу, особливо же во время поспѣшнаго объѣзда, о государствѣ, такъ много оклеветанномъ, я долженъ былъ убѣдиться, что сія самая поспѣшность вовлекла въ разныя заблужденія, которыя намѣренъ я выказать и въ пользу истины и въ удовлетвореніе желанію нѣкоторыхъ особъ, требовавшихъ мнѣнія моего объ этой книгѣ. Постараюсь быть краткимъ и внятнымъ какъ для Французовъ, такъ и для Русскихъ. Пройду молчаніемъ подробности поѣздки г-на Ансело; не послѣдую за нимъ на поле Люценской битвы, ни по песчанымъ дорогамъ Пруссіи; но дождусь его въ Петербургѣ, поѣду съ нимъ въ Москву, и его

шестимѣсячнымъ воспоминаніямъ я противопоставлю опытность тридцатилѣтняго пребыванія въ государствѣ, имъ описанномъ, и Русское урожденіе свое, которое не побудитъ меня быть неблагодарнымъ, ни несправедливымъ противъ него. Къ замѣчаніямъ его приложу свои, въ надеждѣ, что онъ признаетъ истину оныхъ и воспользуется ими во второмъ изданіи".

Здѣсь замѣтилъ бы я только, что авторъ возраженія не совершенно правильно изложилъ свой вопросъ. Должно бы, непремѣнно, вмѣсто собирательнаго слова: государство, употребить собственное имя: Россія; потому что о всякой другой Европейской области можно бы отвѣчать, что шести мѣсяцевъ и довольно и нѣтъ. Довольно, чтобы собрать изъ вѣрныхъ источниковъ, повѣренныхъ собственными наблюденіями, свѣдѣнія любопытныя о чужой землѣ; не довольно, если мы хотимъ изучить народъ, бытъ его, правы, всѣ причины настоящаго положенія его, всѣ ожиданія въ будущемъ и проч. и проч. Дѣло въ томъ, кому и какъ смотрѣть. Одна Россія не входитъ въ общій порядокъ, ибо не только древняя быль, но и настоящая повѣсть ея писана подъ титлами для всякаго иностранца и для многихъ Русскихъ. Францію, Италію, Германію можетъ прочесть бѣгло, какъ по писанному, иностранный путешественникъ. Русскія поговорки, руссицизмы для него будутъ тарабарскою грамотою; но кто изъ образованныхъ Европейцовъ, настроенныхъ на общій ладъ Европеизма, не понимаетъ Итальянскихъ кончетти, Французскихъ каламбуровъ и даже Нѣмецкаго мистицизма, хотя и готическими буквами напечатаннаго? Одна Англія, по островитянинскому нарѣчію своему, писана не про всѣхъ континентальныхъ жителей; но все Россія и ея гораздо мудренѣе. Понимаешь ли меня? А я себя понимаю. Впрочемъ, можно примѣнить къ познанію государствъ сказанное Вольтеромъ о познаніи языковъ: довольно нѣкотораго срочнаго времени, чтобы научиться всѣмъ иностраннымъ языкамъ; мало всей жизни, чтобы научиться своему. Французскіе путешественники тѣмъ отличаются отъ другихъ, что пріѣзжаютъ они въ чужой край, а особенно въ Россійскій, не какъ любознательные изыскатели, или ученики, чтобы чему-нибудь новому научиться: нѣтъ, они

являются магистрами, профессорами, уполномоченными судіями, чтобы провозгласить надъ страною, надъ народомъ свой приговоръ, давно уже ими заочно составленный. Стóитъ только примѣнить этотъ приговоръ къ заранѣе осужденному: и дѣло съ концомъ, и книга написана. Извини меня за отступленіе. Но вольно же тебѣ вводить меня въ рѣчь, то-есть въ соблазнъ. Ты знаешь, какъ меня всегда кидаетъ по сторонамъ. Возвращусь на прямую дорогу и скажу, какъ нашъ авторъ: постараюсь быть краткимъ и внятнымъ какъ для Французовъ, такъ и для Русскихъ. Только врядъ ли?

Касаясь замѣчанія Французскаго автора, что Петербургъ обратился бы въ простой торговый портъ, если бы Дворъ перенесъ свою столицу въ другое мѣсто имперіи, возразитель говоритъ: воспользуюсь этимъ случаемъ для оправданія Петра Великаго въ укоризнѣ, безпрестанно на него устремленной за то, что онъ въ Петербургѣ основалъ свою столицу: „сей городъ, говорятъ, удаленный отъ средоточія имперіи, никогда не *онародуется* (не позволишь ли мнѣ, Парижскому неологу, такъ перевести выраженіе: se nationaliser); къ тому же, онъ подверженъ гибельнымъ наводненіямъ“. Соглашаясь въ семъ послѣднемъ отношеніи, скажу, что въ Россіи достовѣрно доказано актами, изданными Петромъ I-мъ, и частными письмами его, что онъ предполагалъ имѣть только временное пребываніе свое въ Петербургѣ, чтобы присутствіемъ своимъ и поощреніями содѣйствовать успѣхамъ нашего мореходства, а настоящую столицу имперіи думалъ заложить въ Нижнемъ-Новгородѣ. Но смуты, которыя въ послѣдствіи ознаменовали разныя царствованія преемниковъ Петра I, могли однѣ удалить совершеніе сего предположенія. Между тѣмъ Петербургъ возрасталъ, украшался и время утвердило за нимъ почетное имя столицы, данное ему только временно при началѣ. Сей запросъ былъ разсматриваемъ весьма разсудительно г-мъ Геро въ статьѣ: О наводненіи въ Петербургѣ (Revue Encyclopédique, T. XXV, p. 245—250).

Говоря объ описаніи литературнаго обѣда, даннаго г-ну Ансело въ Петербургѣ, Русскій авторъ указываетъ на противорѣчіе Французскаго путешественника. Сперва сей послѣдній

говоритъ съ справедливымъ уваженіемъ о чувствѣ общей радости, произведенной наградою, данною Государемъ Карамзину; далѣе, упоминая о погребеніи его, прибавляетъ онъ: справедливыя почести были возданы ему; но сіи почести, должно признаться, были обращены не столько къ знаменитому писателю, сколько къ тайному совѣтнику, не столько къ историку, сколько къ государственному исторіографу. Кромѣ противорѣчія съ прежними словами путешественника, Русскій авторъ выводитъ и ложность подобнаго заключенія, замѣчая, во-первыхъ, что „Карамзинъ, въ іерархіи чиновъ, былъ не тайный, а дѣйствительный статскій совѣтникъ, что часто умираютъ особы этого чина, и еще важнѣйшаго, но безъ вѣдома публики, которая не только не спѣшитъ почтить ихъ данью уваженія, но даже и вниманія".

Замѣчая несбыточность анекдота о цензорѣ, говоритъ онъ, что какова-бы ни была строгость *таможенниковъ человѣческаго ума* (douaniers de l'intelligence humaine), но не менѣе того цензоры у насъ назначаются изъ профессоровъ и словесниковъ и что ни одинъ изъ нихъ не могъ-бы требовать отъ автора перемѣны, о которой Французскій путешественникъ упоминаетъ. „Кто-бы ни былъ этотъ цензоръ", прибавляетъ возразитель, „но все понялъ бы онъ, что путешественникъ, который въ письмахъ своихъ сталъ-бы говорить: *я пріѣхалъ въ Лондонъ и остановился въ улицѣ Риволи, противъ Тюльерійскаго сада; ходилъ по Пале-Роялю; видѣлъ императора Наполеона* и проч.,—былъ-бы признанъ за бѣглеца изъ желтаго дома".

Девятое письмо г-на Ансело такъ начинается: *„Кому невѣдомо, мой любезный Ксавье, что Русскій народъ суевѣрнѣйшій изъ всѣхъ народовъ"*. „Исповѣдую невѣдѣніе свое въ этомъ отношеніи", говоритъ нашъ соотечественникъ. „Я доселѣ думалъ, что Испанцы и Итальянцы могли похвастаться этимъ жалкимъ преимуществомъ". И противъ доказательствъ, приводимыхъ путешественникомъ, какъ-то: что Русскій никогда не пройдетъ мимо образа и церкви, не снявъ шляпы и не перекрестившись, нашъ соотечественникъ разсказываетъ о томъ, что видѣлъ въ Италіи: „тамъ на распятіи, стоящемъ посреди Колизея, вывѣшено объ-

явленіе, что кто шесть разъ приложится къ этому кресту, тотъ выиграетъ 200 дней отпущенія".

Къ словамъ Французскаго и Русскаго авторовъ можно прибавить, что народъ нашъ, конечно, суевѣренъ, но дѣло въ томъ, что суевѣріе его заключается въ нѣкоторыхъ обычаяхъ, а не застраховано, такъ сказать, святостью религіи, и потому безвреднѣе. Что-же касается до уваженія Русскаго къ предметамъ святыни, то можно привести въ примѣръ *суевѣрнаго* Ньютона, который всегда обнажалъ голову, когда произносилъ имя Бога.

„Нерѣдко", продолжаетъ г-нъ Ансело, „слышишь въ церкви, какъ человѣкъ благодаритъ чудотворца Николая за покровительство его въ совершеніи покражи невидимо". Русскій авторъ выводитъ на свѣжую воду и эту небылицу, замѣчая, между прочимъ, что въ нашихъ церквахъ вслухъ не молятся. Другія доказательства г-на Ансело въ суевѣріи Русскомъ испровержены съ равнымъ успѣхомъ. Несообразности путешественника подтверждаются у него всегда свидѣтельствомъ людей достойныхъ вѣры, людей добросовѣстныхъ (des personnes dignes de foi, de bonne foi); нашъ соотечественникъ смѣется мимоходомъ надъ легковѣріемъ Француза, который довѣрялъ людямъ, желавшимъ, по видимому, посмѣяться надъ нимъ.

Въ замѣчаніяхъ своихъ на замѣчанія г-на Ансело о Русскомъ обществѣ, о разводѣ, размежеваніи обоихъ половъ и проч. мы нѣсколько разнимся съ возразителемъ. Онъ соглашается въ образованности Русскихъ женщинъ, но отстаиваетъ и нашу братью отъ обвиненій Французскихъ. „Если мужчины", говоритъ онъ, „страшились бы точно быть въ сношеніяхъ съ женщинами, опасались ихъ превосходства, то не было бы болѣе свадебъ, мужья бѣгали бы отъ женъ, братья отъ сестеръ и проч. и желающіе вступать въ бракъ были бы принуждены ѣхать въ Парижъ и прибѣгать къ посредству знаменитаго г-на Вильома" [1]).

Возразитель остроумно отшучивается, но, признаюсь, остаюсь при своемъ мнѣніи впредь до рѣшенія дѣла.

---

[1]) Этотъ г-нъ Вильомъ держитъ родъ справочной свадебной адресъ-конторы въ Монмартрской улицѣ въ Парижѣ, и такимъ образомъ заведеніемъ публичнымъ замѣняетъ нашихъ приватныхъ свахъ.

Говоря о раннихъ женитьбахъ крестьянъ Русскихъ, будто по приказанію и для выгодъ помѣщиковъ, Французскій авторъ, по свидѣтельству тоже добросовѣстнаго человѣка, прибавляетъ, что это злоупотребленіе влечетъ за собою злоупотребленіе еще ужаснѣйшее, которое онъ, не обинуясь, распространяетъ и на весь народъ. Русскій авторъ сильно возстаетъ противъ этого злопамѣреннаго предположенія, говоря: „вотъ, правило, основанное на чудовищномъ исключеніи, которое никакъ нельзя приписывать всей націи, ибо въ такомъ предположеніи должно бы допустить ужасную безправственность въ помѣщикахъ и отступленіе религіи, съ совершеннымъ развратомъ нравовъ въ крестьянахъ".

Возраженіе справедливо; но должно признаться, что браки между крестьянами совершаются у насъ весьма рано, вопреки постановленіямъ правительства и въ ущербъ успѣхамъ народонаселенія, слѣдовательно и выгодамъ самихъ семействъ.

На слѣдующихъ страницахъ Русскій авторъ изобличаетъ ошибки, въ которыя впалъ Французскій, а именно, говоря о запрещеніи Жидамъ селиться въ Великороссійскихъ губерніяхъ, о раздѣленіи дворянства нашего на 14 классовъ, замѣчая, что не дворянство, а чинословіе такимъ образомъ раздѣляется; о множествѣ раскольниковъ, находящихся въ полкахъ нашихъ. Мимоходомъ, и всегда кстати, онъ указываетъ на несправедливыя или неосновательныя выходки Французскаго путешественника, напримѣръ: на замѣчанія его о скоромъ охлажденіи Русскихъ вельможъ въ сношеніяхъ ихъ съ чужестранцами, говоря, что когда иностранецъ встрѣчаетъ людей такого свойства, онъ не долженъ-бы придавать всеобщности мнѣнію, которое они вселяютъ, но причислять ихъ къ хвастливымъ вѣтрогонамъ (fats), которые встрѣчаются во всѣхъ націяхъ; на охотныя повторенія Француза о кнутѣ, который, по словамъ возразителя, видѣнъ въ Россіи только въ рукахъ палача, по довольно часто въ книгѣ г-на Ансело; на забавное опасеніе путешественника, который дрожалъ за добродѣтель свою, сильно угроженную въ Валдаѣ прелестями торговокъ баранками; на разсказы его о Цыганахъ и приписаніе Русскому языку Французскаго выраженія,

совершенно ему чуждаго: проѣсть имѣніе свое, manger sa fortune — галлицизмъ; у насъ говорится прожить, промотать, проиграть свое имѣніе. Не такъ-ли? Послѣднее выраженіе есть преимущественно коренной руссицизмъ, часто употребляемый въ обществѣ нашемъ. Опровергая замѣчанія путешественника, что въ военномъ воспитаніи нашемъ обученіе унтеръ-офицеровъ и солдатъ превосходитъ обученіе офицерское, онъ весьма кстати напоминаетъ ему, что баронъ Дамасъ, нынѣшній министръ иностранныхъ дѣлъ во Франціи, есть бывшій воспитанникъ одного изъ С.-Петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ.

Приводя описаніе, составленное г-мъ Ансело о безпорядкахъ, случившихся во время народнаго праздника въ Москвѣ, нашъ соотечественникъ говоритъ: „картина живописная, и ей въ пару нахожу только одну: раздачу, производимую на Елисейскихъ поляхъ въ Парижѣ, когда кидаютъ съѣстные припасы народу, который за ними кидается въ грязь или пыль и руками и ногами бьётся, вырывая добычу другъ у друга. Думаю, что снаряды поливныхъ трубъ были бы не лишними при этомъ зрѣлищѣ. Театральныя представленія даровыя въ Парижѣ ознаменованы отпечаткомъ, почти столь-же дикимъ: дѣло въ томъ, что чернь вездѣ чернь“.

Выпишу еще кое-что изъ главнѣйшихъ возраженій, въ коихъ нашъ соотечественникъ хладнокровно, но сильно и благоразумно оспариваетъ своего противоборника.

Въ письмѣ 26-мъ, пишетъ онъ, г-нъ Ансело, прощаясь съ Петербургомъ, посѣщаетъ Казанскій соборъ и, видя трофеи, разложенные въ этомъ храмѣ, заключаетъ, что тщеславіе (la vanité) изъ всѣхъ слабостей человѣческихъ болѣе другихъ свойственно Русскому народу, и что Русскій, говоря иностранцу о памятникахъ отечества своего, не скажетъ никогда: это прекрасно! (cesi est une belle chose), но всегда: ничего нѣтъ этого прекраснѣе въ мірѣ! (c'est la plus belle chose du monde!) Можно ли такъ легко выводить изъ поговорки, маловажной по себѣ самой, заключеніе противъ цѣлой націи и выдавать ей грамоту на тщеславіе и суетность по такимъ ничтожнымъ доказательствамъ? Правда, авторъ приводитъ далѣе важнѣйшую укоризну. Жезлъ маршала

Даву, говоритъ онъ, былъ сокрытъ въ одномъ изъ фургоновъ его, оставленныхъ по приказанію маршала. Должно ли величаться трофеемъ, которымъ обязаны забвенію? Но нельзя ли также разсмотрѣть это иначе. Два народа воюютъ одинъ противъ другаго; фельдмаршальскій жезлъ, принадлежащій войскамъ одного изъ нихъ, падаетъ изъ руки врага, какимъ бы образомъ ни было; не естественно ли выставить его какъ трофей? Хотятъ ли примѣровъ? Исторія воинскихъ походовъ изобилуетъ ими. Наполеонъ, находясь въ Берлинѣ и уже въ благопріятнѣйшихъ сношеніяхъ съ королемъ Прусскимъ, вывезъ шпагу и орденскую ленту Фридриха Великаго, чтобы выставить эти трофеи въ домѣ инвалидовъ. Не ужь-ли фельдмаршалъ Кутузовъ долженъ былъ отослать жезлъ фельдмаршалу Даву съ извиненіемъ, что осмѣлился захватить его? Что касается до городовъ, отъ коихъ Россія оставила у себя ключи, то нѣтъ сомнѣнія, что города эти были осаждены, не смотря на слова г-на Ансело: Данцигъ, Гамбургъ защищались Французскими гарнизонами и, конечно, были съ воротами. Гарнизонъ защищался даже съ героическимъ безстрашіемъ и я былъ тому свидѣтелемъ. Если мы не боялись бы отплачивать г-ну Ансело, то замѣтили бы ему, что никогда не слыхать въ Россіи похвалъ нашему воинству въ припѣвахъ водевильныхъ; что у насъ нѣтъ ни улицъ, ни мостовъ, украшенныхъ именами побѣдъ, одержанныхъ Русскими войсками. Но я лучше люблю призвать въ свидѣтельство Французскихъ воиновъ, сражавшихся съ Русскими; если они не откажутъ имъ въ справедливости заслуженной, то безъ сомнѣнія признаютъ ихъ храбрость съ тою же добросовѣстностью, съ какою Русскія почитаютъ Французскія войска храбрѣйшими изъ всѣхъ тѣхъ, противъ коихъ сражались".

Путешественникъ говоритъ: „злодѣйства рѣдки въ Россіи, потому что умѣренное кровообращеніе не возжигаетъ сильныхъ страстей и потому что различныя состоянія общества, отдѣленныя другъ отъ друга, не бываютъ подвергаемы сей стычкѣ выгодъ, честолюбій обманутыхъ, самолюбій уязвленныхъ, которыя заставляютъ умы кипѣть въ странахъ, гдѣ званія сближаются и мѣшаются". — „Разсматривая сей запросъ", изъясняетъ возра-

зитель, „нахожу, что преступленія важнѣйшія и чаще встрѣчаемыя совершаются съ умышленіемъ, слѣдовательно быстрое обращеніе крови не причиняетъ преступленій; всѣ злодѣйства, совершаемыя въ минуту изступленія, отнесены правовѣдцами въ категорію ниже первыхъ и не подвергаютъ даже во Франціи смертной казни. Что же касается до послѣдней части разсужденія г-на Ансело, могу, кажется, отвѣчать, что нельзя приписывать соприкосновенію, въ коемъ находятся различныя знанія общества, стычку личныхъ выгодъ и побужденіе къ преступленіямъ. Убійства совершаются по бо́льшей части изъ побужденій ненависти, мщенія, или корыстолюбія. Слѣдовательно, гдѣ же бы чаще, какъ не въ Россіи, должны они случаться, посреди сихъ переходящихъ сношеній между слабымъ и сильнымъ, бѣднымъ и богатымъ, рабомъ и господиномъ?

„Для опредѣленія истинной причины рѣдкости злодѣйствъ въ Россіи, надлежало бы прожить нѣсколько лѣтъ въ губерніи, удаленной отъ столицы: тутъ безпристрастный наблюдатель могъ бы увѣриться, что Русскій крестьянинъ, только по виду суровый и дикій, на самомъ дѣлѣ добродушенъ, нравомъ кротокъ, исполненъ благочестія, основаннаго на Евангельскомъ ученіи. Въ подтвержденіе этому мнѣнію, мы приведемъ размышленіе, весьма остроумное, г-на Ансело объ образѣ набора войскъ, удаляющаго негодяевъ изъ деревень: это безъ сомнѣнія одна изъ дѣльныхъ причинъ нравственности, замѣчаемой путешественниками въ Россіи“.

Далѣе возразитель входитъ въ нѣкоторое разногласіе съ Французскимъ авторомъ, по предмету знаменитаго пожара Московскаго. Впрочемъ, пока исторія въ свое время не произведетъ надъ этимъ запросомъ окончательнаго слѣдствія, къ которому нельзя было ей приступать по горячимъ слѣдамъ, еще много будетъ разногласія въ сужденіяхъ по этому дѣлу. Всякій, по личнымъ видамъ, мнѣніямъ, догадкамъ, вертитъ его по своему и все безъ удачи. Во всякомъ случаѣ можно, кажется, замѣтить: пожаръ не былъ слѣдствіемъ общей мѣры, принятой жителями единодушно. Начальство, то-есть графъ Ростопчинъ, имѣло, безъ сомнѣнія, желаніе предать непріятелю Москву не

иначе, какъ объятую пламенемъ; но до какой степени самъ Ростопчинъ могъ привести это предположенье въ дѣйствіе, и привелъ его, это остается еще донынѣ историческою тайною. Когда Москва загорѣлась, въ ней почти вовсе не было хозяевъ домовъ, и вѣроятно никто, выѣзжая изъ города, не оставилъ дворнику приказанія зажечь домъ свой, по вступленіи непріятеля. Самое дѣйствіе пожара, въ отношеніи пользы, принесенной имъ дѣлу спасенія отечества, подлежитъ еще изслѣдованіямъ. Если, какъ единогласно признано, одна изъ существеннѣйшихъ причинъ гибели Наполеона въ Россіи было долгое пребываніе его съ войскомъ въ Москвѣ, то какъ почитать пожаръ столицы средствомъ, къ тому содѣйствовавшимъ? Онъ бы долженъ былъ, напротивъ, вытѣснить изъ стѣнъ горящихъ врага, помышлявшаго о покоѣ, и устремить его по слѣдамъ нашего отступившаго воинства. Съ другой стороны, если смотрѣть на пожаръ единственно какъ на рѣшительную демонстрацію, то нельзя согласовать соразмѣрность средства съ цѣлью. Нашъ соотечественникъ совершенно правъ, когда отвергаетъ предположеніе путешественника, что графъ Ростопчинъ могъ быть въ этомъ случаѣ слѣпымъ орудіемъ Англійскаго министерства. Французскимъ политикамъ мелкаго разбора вездѣ мерещится Англійское золото и коварство Альбіона.

Вотъ чѣмъ Русскій авторъ противорѣчитъ мнѣнію Французскаго о бѣдности нашей драматической литтературы. „Неоспоримо“, говоритъ онъ, „что многія изъ трагедій Русскихъ не что иное какъ переводы, или списки лучшихъ Французскихъ трагедій, но и сіи послѣднія не всѣ-ли почти заимствованы у древнихъ, не только въ окладахъ драмы, характерахъ, мысляхъ, но даже бо́льшею частію и въ содержаніяхъ своихъ? Аристотель не правитъ-ли еще и нынѣ драматическимъ Парнассомъ Франціи? На сто трагедій, составляющихъ списокъ театровъ обѣихъ столицъ нашихъ, треть изъ нихъ не принадлежитъ-ли исторіи народной, подражаніямъ Англичанамъ и Нѣмцамъ? Переводы Французскихъ трагедій не лучшія произведенія наши, а истинно превосходныя творенія наши суть народныя трагедіи Озерова и Крюковскаго. Онѣ достойны вниманія, особливо че-

ловѣка съ дарованіемъ, каковъ авторъ *Людовика IX*. Что-же касается до препятствій, преграждающихъ рожденію комедіи народной, признаюсь только, что затрудненіе существуетъ, но препятствія не могутъ быть почитаемы за необоримыя. Неприступная неприкосновенность (l'inattaquable inviolabilité) царедворцевъ, вопреки предположенію автора, не столь важное претковеніе. Къ тому-же, драматическое твореніе не есть сатира личная, и у насъ много комедій, въ коихъ выставлены на сцену пороки людей должностныхъ, лихоимство судей и проч. Бывали также примѣры, что люди въ почестяхъ высокихъ узнавали себя въ нѣкоторыхъ комедіяхъ; но правительство допускаетъ существованіе произведеній, представляемыхъ съ согласія театральнаго управленія и такъ сказать подъ руководствомъ сановниковъ государственныхъ, коимъ обыкновенно оно ввѣряется. Смѣю даже сказать, что цензура драматическая въ Россіи независимѣе Французской. *Женитьба Фигаро*, запрещенная въ Парижѣ, разыгрывается въ Петербургѣ даже съ славнымъ своимъ монологомъ. Г-нъ Ансело, мало знающій дворянство губерній нашихъ, столь многочисленное, совершенно отличное отъ высшей аристократіи и коего нравы обозначены отпечаткомъ рѣшительно своеобразнымъ, полагаетъ, что комедія искала-бы вотще смѣшныхъ недостатковъ, для обличенія ихъ на сценѣ; но въ этомъ отношеніи онъ можетъ быть увѣренъ, что предстоитъ для человѣка съ дарованіемъ поле обширное, на коемъ онъ можетъ пожинать съ успѣхомъ. Удачныя комедіи Фонъ-Визина, князя Шаховскаго, Грибоѣдова и проч. и проч. ручаются за достовѣрность словъ моихъ; первый, въ своемъ *Недорослѣ*, изобразилъ воспитаніе деревенскаго дворянина съ истиною классическою; *Бригадиръ* его также произведеніе совершенно народное. Князь Шаховской, авторъ болѣе пятидесяти театральныхъ твореній, представилъ провинціальнаго дворянина со всѣми странностями, ему свойственными, въ прекрасной комедіи своей *Полубарскія Затѣи*. Наконецъ г-нъ Грибоѣдовъ явилъ доказательство истиннаго дарованія остроумнѣйшею картиною смѣшныхъ причудъ гостиныхъ нашихъ".

Въ примѣчаніи соотечественникъ нашъ распространяется въ

похвальнѣйшихъ отзывахъ о комедіи *Аристофанъ* и жалѣетъ, что г-нъ Ансело не знаетъ ея, потому что она истинно мастерское твореніе (un véritable chef-d'oeuvre). Во всѣхъ этихъ замѣчаніяхъ о театрѣ нашемъ, кажется, возразитель имѣлъ въ виду болѣе Французовъ, чѣмъ Русскихъ, и былъ увлеченъ патріотизмомъ, извинительнымъ передъ чужими. Дома можно указать на нѣкоторые обчеты въ исчисленіяхъ его. Гдѣ эти сто трагедій, которыя играютъ на театрахъ нашихъ? Гдѣ наши подражанія Нѣмецкимъ и Англійскимъ трагедіямъ? За исключеніемъ *Орлеанской Дѣвы*, нѣтъ ни одного. Литературные бюджеты, какъ и другіе, не всегда вѣрны при провѣркѣ дѣйствительности, и тутъ часто на бумагѣ много, а на лицо мало. Въ трагедіяхъ Озерова только одна народная, и та не лучшая; Крюковскаго трагедія, будь сказано между нами, довольно слабая Французская трагедія, въ которой много прекрасныхъ Русскихъ стиховъ. Комедія Грибоѣдова не есть еще принадлежность Русскаго театра и, слѣдовательно, не можетъ здѣсь идти въ дѣло. Въ *Полубарскихъ Затѣяхъ* много забавнаго, но комедія сама по себѣ не образцовая. Парижъ видитъ ежемѣсячно на маленькихъ театрахъ своихъ явленія такого рода. *Транжиринъ*—передѣланный на Русскіе нравы Мольеровъ: *Мѣщанинъ во дворянствѣ*; только у Мольера болѣе истиннаго остроумія и комической соли. Комедія *Аристофанъ* также еще не напечатана и потому рано говорить о ней критически; но, кажется, можно безъ грѣха сказать заранѣе, что это твореніе, совершенно Греческое на Русскомъ театрѣ, было бы совершенно Русскимъ на Греческой сценѣ. Впрочемъ, все это, повторяю, будь сказано между нами: Французамъ это не нужно знать. Чего ихъ жалѣть? Пиши болѣе! говорилъ Суворовъ при составленіи реляцій о потеряхъ непріятельскихъ. Можно сказать: пиши болѣе! чего ихъ совѣститься? когда считаешь богатства свои передъ иностранцами. Только бѣда въ томъ: у Французовъ есть книга подъ названіемъ: *Иностранный театръ*; въ немъ бѣдность наша на-голо и намъ нельзя уличить ихъ въ злонамѣренномъ обнаженіи. Они вывели насъ, въ чемъ застали.

„На повѣрку“, говоритъ нашъ соотечественникъ, заключая книжку свою слѣдующими словами: „должно по справедливости признать нѣкоторое достоинство въ книгѣ г-на Ансело.—Но онъ самъ почувствуетъ, надѣюсь, что книга, почти экспромптомъ написанная во время шестимѣсячнаго пребыванія посреди вихря празднествъ, не можетъ имѣть права на совершенство. Я не сравню его съ толпою другихъ путешественниковъ, которые, пробывъ нѣсколько лѣтъ въ Россіи, вывозятъ изъ нея воспоминанія ненавистныя, не находятъ въ ней ни единой добродѣтели, ни единаго добраго качества, и чтобы казаться болѣе интересными, спѣшатъ унизить и оклеветать тѣхъ, у коихъ обрѣли они искренное благородное гостепріимство.

„Но если бы мнѣ случилось писать о нравахъ и обычаяхъ народа какого бы ни было, не вдаваясь въ общія примѣненія, я строго устранялъ бы исключенія и не терялъ бы изъ вида, что мы всѣ человѣческаго рода и другъ другу подобны, не смотря на легкіе оттѣнки.

„Впрочемъ, дай Богъ, чтобы всѣ тѣ, кои пишутъ, или будутъ писать о Россіи, походили въ отношеніи дарованія и праводушія на г-на Ансело. Но, повторяю, пускай не торопятся они, чтобы не заслужить упрека въ пристрастіи или легкомысліи. Книгѣ г-на Ансело не достаетъ, безъ сомнѣнія, одной зрѣлости, а она пріобрѣтается только долгимъ пребываніемъ; и потому почитаю себя въ правѣ заключить тѣмъ, что шести мѣсяцевъ не довольно, чтобы узнать государство“.

А тебѣ довольно ли моихъ писемъ, чтобы узнать книгу г-на Ансело?

Г. Р.-К.

Примѣчаніе. Въ *Телеграфѣ* подписывалъ я иногда статьи мои этими тремя буквами, чтобы сбивать съ толку Московскихъ читателей. Эта подпись должна была означать пріятеля моего Григорія Римскаго-Корсакова, очень всѣмъ въ Москвѣ извѣстнаго. Самъ онъ не былъ литераторомъ, но былъ вообще литературенъ, любознателенъ и въ пріятельской связи съ образованнѣйшими людьми своего времени. Онъ нѣсколько годовъ провелъ во Франціи и въ Италіи: и по возможности изучилъ политическія и общежительныя свойства той и другой страны. Другія статьи въ томъ же *Телеграфѣ* подписывалъ я буквою *А*, что означало Асмодей, мое Арзамасское прозвище. Бывали статейки мои и за подписью *Журнальный сыщикъ*.

Но здѣсь встрѣчались и *контрафакціи*, поддѣлки. Самъ издатель *Телеграфа*, или другіе, тайные по особымъ порученіямъ чиновники его, подписывались подъ мою руку. Такъ, что я, перелистывая *Телеграфъ*, не могу теперь заподлинно знать про иную статью, моя ли она, или нѣтъ. Подобныя мелкія журнальныя непріятности, а болѣе всего крутой переворотъ въ литературномъ направленіи самого издателя, побудили меня совершенно отстраниться отъ всякаго участія въ *Телеграфѣ*.

1875.

XXVII.

СОЧИНЕНІЕ ВЪ ПРОЗѢ В. ЖУКОВСКАГО. ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕСМОТРѢННОЕ И УМНОЖЕННОЕ. Спб. 1826 года, in 8, 269 стр.

1827.

Прозаическія статьи, въ сей книгѣ собранныя, уже всѣ извѣстны читателямъ нашимъ; но перепечатаніе ихъ было необходимо для имѣющихъ въ своей библіотекѣ три тома стихотвореній Жукозскаго, изданные въ 1824 году, коимъ сей новый томъ служитъ дополненіемъ. Притомъ же у насъ такъ мало появленій въ прозѣ, разумѣется хорошей, что нельзя не порадоваться случаю возобновить и старое знакомство. Вы отъ него новаго ничего не узнаете, но и то, что́ вы уже знаете, принимаете съ удовольствіемъ. Жуковскій немного писалъ прозою оригинальною, но успѣлъ однакоже усовершенствовать свой языкъ въ прозѣ и, что́ всего важнѣе, имѣть слогъ, чего не имѣетъ большая часть изъ писателей нашихъ и что дается не всякому, не смотря на многіе томы, имъ исписанные. Одинъ изъ журнальныхъ рецензентовъ сказалъ: „Отличительная черта всѣхъ произведеній В. А. Жуковскаго (къ чему тутъ В. А.? Кажется, Жуковскій заслужилъ уже право на сокращенное наименованіе), есть необыкновенная гармонія слога. Сіе плѣнительное сладкозвучіе, которымъ читатели восхищаются въ его піитическихъ произведеніяхъ, отличаетъ также и прозу сего писателя, имѣющаго, кромѣ того, весьма рѣдкія у насъ достоинства: правильность и чистоту языка“. Вотъ забавная характеристика! Поду-

маешь, что рецензентъ подслушалъ ее у тѣхъ свѣтскихъ, вольпоопредѣляющихся судей словесности, которые и о Державинѣ, и о Батюшковѣ, и о Душенькѣ и о мадригалѣ въ альбомъ говорятъ равно съ выразительною важностью: „Да, я вамъ доложу: перо щегольское, пишетъ гладенько; нечего сказать, стишки гладенькіе?“ И Херасковъ наказывалъ всегда молодымъ адептамъ поэзіи, приходившимъ къ нему на поклонъ: „Чистите, чистите, чистите ваши стихи!“ и свои такъ вычищалъ, что стиралъ съ нихъ весь блескъ, всю живость и краску поэзіи. Критику должно быть, кажется, повзыскательнѣе; не кстати ему примѣнять на обумъ къ писателямъ, первенствующимъ въ литературѣ, фразы готовыя и ходячія, которыя, какъ условныя вѣжливости разговорныя, могутъ быть подносимы безразлично каждому лицу. Что̀ значитъ гармонія слога, если принимать сіе слово, какъ оно по-видимому тутъ и принято, въ смыслѣ сладкозвучія? Можетъ быть языкъ гармоническій, но слогъ гармоническій представляетъ понятіе невѣрное и неопредѣленное. Далѣе: „Проза сего писателя, кромѣ гармоніи слога, имѣетъ еще рѣдкія достоинства: правильность и чистоту языка.“ Можетъ-ли быть гармонія безъ правильности и чистоты языка? Можетъ-ли быть правильность безъ чистоты и чистота безъ правильности? Вотъ что не грѣхъ назвать: слова изъ пустаго въ порожнее переливаемыя. Въ нихъ не звенитъ ни единой мысли. Чтобы увѣриться еще болѣе, что все сужденіе о Жуковскомъ вылилось съ пера безъ всякаго головоломнаго содѣйствія, выпишемъ еще нѣсколько словъ: „Каждая изъ нихъ (статей помѣщенныхъ въ семъ томѣ) можетъ быть представлена въ образецъ слога, благородныхъ чувствованій и основательнаго образа мыслей, и служить отпечаткомъ сердца чувствительнаго и пламеннаго воображенія“ [1]). Любопытно бы знать, гдѣ рецензентъ отыскалъ образецъ пламеннаго воображенія въ статьяхъ критическихъ о Крыловѣ и Кантемирѣ?

[1]) Сіи слова выписаны въ объявленіи книгопродавца о книгѣ, съ забавными перемѣнами: тутъ, напримѣръ, говорится объ основательномъ образѣ мыслей, а книгопродавецъ говоритъ объ образцѣ основательнаго воображенія. И не смѣшно-ли книгопродавцу, объявляя о сочиненіяхъ Жуковскаго, представить его читателямъ по рекомендаціи журналиста? Кажется, Жуковскаго и безъ этого знаютъ.

Содержаніе сего тома заключается въ слѣдующихъ сочиненіяхъ: *Марьина Роща; О критикѣ;* о *Баснѣ и Басняхъ Крылова; о Сатирѣ и Сатирахъ Кантемира; Три сестры; Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ? Писатель въ обществѣ; Путешествіе по Саксонской Швейцаріи; Рафаэлева Мадонна.*

Замѣтимъ мимоходомъ, что на заглавномъ листкѣ классификація оглавленій не отвѣчаетъ порядку, въ которомъ напечатаны самыя пьесы. Тамъ выставлено: Повѣсти, Разсужденія, Разборы сочиненій, Письма изъ путешествія. Повѣсти (если принять за повѣсть аллегорію *Три сестры*) не слѣдуетъ одна за другою. Разборы сочиненій напечатаны прежде разсужденій: *Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ* и *Писатель въ обществѣ.* Издатель могъ бы отойти отъ порядка существеннаго для сохраненія порядка хронологическаго, но и тотъ не соблюденъ; сочиненія, писанныя въ 1809 году, значатся прежде сочиненій 1808 года. Послѣ сего маловажнаго отступленія отъ дѣла, въ уваженіе критики типографической, поспѣшимъ приступить къ пріятнѣйшему и существеннѣйшему, занявшись не изданіемъ, а самою книгою.

Повѣсть *Марьина Роща* принадлежитъ къ малому числу у насъ образцовъ въ романическо-повѣствовательномъ родѣ. Главное содержаніе ея довольно голо, но подробности прелестны; можетъ быть есть излишество подробностей, расточительность въ описаніяхъ, однимъ словомъ, роскошь въ украшеніяхъ, которая слишкомъ ярко противорѣчитъ умѣренности въ вымыслѣ. Въ слогѣ ея отзывается молодость, но молодость многообѣщающая: замѣтно преимущественно невоздержность на прилагательныя, которая есть обыкновенная погрѣшность и молодыхъ писателей и молодыхъ словесностей. Признаюсь, я не врагъ прилагательныхъ: почитаю ихъ однимъ изъ способовъ выраженія мысли, намъ оставленныхъ предшественниками нашими. Всѣ существительныя уже высказаны; намъ остается за́ново оттѣнивать ихъ прилагательными. Прилагательное новое и кстати есть новая оправа стараго существительнаго; она можетъ свидѣтельствовать объ искусствѣ мастера. Но тѣмъ болѣе должно быть осторожнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ изобрѣтательнымъ въ

этомъ мастерствѣ. Перечитывая сію повѣсть и пораженный иногда несообразною расточительностію прилагательныхъ, сдѣлалъ я еще другое замѣчаніе. Излишество ихъ тѣмъ у насъ чувствительнѣе, что, по какому-то заведенному и вѣроятно машинальному порядку, мы ставимъ почти всегда прилагательное предъ существительнымъ. Мнѣ кажется, что сія повадка, не основанная ни на единственномъ теченіи мысли, ни на духѣ языка нашего, придаетъ утомительное однообразіе слогу и какую-то медленность въ его движеніи. Въ *Исторіи Государства Россійскаго*, въ сей сокровищницѣ и святилищѣ языка нашего, можно найти многіе примѣры счастливому разнообразію въ перестановкѣ прилагательныхъ. Въ Карамзинѣ, а особенно въ историческомъ твореніи его, сіе передвиженіе словъ дѣлалось, такъ сказать, само собою, вслѣдствіе одинъ разъ навсегда обдуманнаго навыка. Молодымъ авторамъ подобаетъ слѣдить за собою, подмѣчать себя. *Письмо о критикѣ* исполнено здравыхъ размышленій и можетъ служить нравоучительнымъ и литтературнымъ наставленіемъ всѣмъ, готовящимся на ея поприще. Нашъ авторъ ни о чемъ не говоритъ сухо и холодно; теплота сердца, ясная чистота прекрасной нравственности одушевляютъ его слогъ. Жаль, что не находимъ въ семъ томѣ и другаго письма литтературнаго, открывшаго новую эпоху *Вѣстника Европы*, перешедшаго въ руки Жуковскаго, который съ успѣхомъ поддержалъ достоинство журнала, обязаннаго оправдывать свое происхожденіе Европейское и по имени своему, и по тому, что онъ получилъ бытіе отъ перваго писателя нашего. Упоминаемъ о *Письмѣ изъ уѣзда къ писателю*, напечатанномъ въ № 1-мъ *Вѣстника Европы* на 1808 годъ. Дѣйствующее лице въ немъ, Стародумъ, говоритъ много прекраснаго съ жаромъ и умомъ: можетъ быть, какъ предшественникъ его Стародумъ Фонъ-Визина, говоритъ иногда слишкомъ плодовито и заговаривается по сторонамъ отъ своего предмета, но это бѣда не большая. Были бы мысли, а времени у насъ довольно на слушаніе: нечего дорожиться имъ и благо что есть кого и что послушать. Статья *О Баснѣ, и Басняхъ Крылова* (напечатанныхъ въ 1808 г.) принадлежитъ также у насъ къ малому числу критикъ основательныхъ, поучи-

тельныхъ и для писателей и для читателей. Дѣльная критика не столько толкуетъ о словахъ, сколько о дѣлѣ. Въ дополненіе къ сказанному выше, что у многихъ изъ нашихъ прозаическихъ писателей нѣтъ слога, можно прибавить, что у многихъ нашихъ критиковъ нѣтъ мнѣнія. Обыкновенно, все дѣло кончается эволюціею словъ. И какъ математикъ по выслушаніи сонаты спрашивалъ: что-же это доказываетъ? такъ и читателю иной рецензіи можно спросить: что-же критикъ хотѣлъ доказать? Чтобы не оставаться при однѣхъ похвалахъ безпрекословныхъ, замѣчу, что въ статьяхъ: *О критикѣ и О Басняхъ Крылова* обнаруживается слишкомъ безусловная покорность правиламъ литтературы Французской и слишкомъ отзывается Французская школа. Хорошо Французамъ ставитъ Лафонтена въ примѣръ всѣмъ послѣдователямъ его, но къ чему же и со стороны выводить его образцомъ и прототипомъ всѣмъ баснописцамъ и требовать, напримѣръ, чтобы они имѣли всѣ характеръ Лафонтена и были простодушны, потому что онъ отъ современниковъ своихъ получилъ наименованіе простодушнаго? Главное преимущество Лафонтена надъ многими совмѣстниками и послѣдователями, по крайней мѣрѣ ближайшее къ понятію иностранцевъ и общее, а не мѣстное, заключается въ томъ, что онъ былъ великій поэтъ и всю поэзію свою перенесъ въ басню. У самыхъ Французовъ Ламотъ, Флоріанъ, Бальи, Арно и еще нѣкоторые, можетъ быть, въ вымыслѣ и не уступятъ Лафонтену, но они гораздо ниже его на степени поэтическаго дарованія и потому не могутъ идти съ нимъ въ сравненіе.

Разборомъ сатиръ Кантемира нашъ авторъ заплатилъ прекрасную дань благодарности и уваженія писателю, который не пользуется у насъ ни славою, ни извѣстностію, на которыя имѣетъ права блистательныя. Что у насъ за такія музыкальныя уши, что мы оставляемъ въ забвеніи ясныя, смѣлыя, глубокія мысли, благородныя чувствованія, мнѣнія истинно просвѣщенныя, за тѣмъ только, что они предлагаются намъ въ размѣрѣ силлабическомъ? Въ сатирѣ Кантемира видѣнъ не только остроумный философъ, знающій человѣческое сердце и свѣтъ, но вмѣстѣ и стихотворецъ искусный, умѣющій владѣть языкомъ своимъ, и

живописецъ, вѣрно изображающій для нашего воображенія тѣ предметы, которые его поражали. Сей приговоръ, опредѣленный Жуковскимъ, совершенно справедливъ и будетъ подтвержденъ всѣми безпристрастными и свѣдущими читателями Кантемира. Скажемъ откровенно: много ли у насъ писателей, заслуживающихъ такую похвалу? Умъ, душа, житейскія правила Кантемира ясно и рѣзко отражаются въ его сатирахъ; онъ мыслитъ и заставляетъ мыслить. Думая о славѣ его и о пользѣ нашей, вліяніемъ, которое онъ имѣлъ бы на мнѣніе общественное, должно жалѣть, что онъ родился не нашимъ современникомъ; но съ другой стороны представляется недоумѣніе могъ ли бы онъ нынѣ, при многихъ перемѣнахъ въ нашемъ положеніи и во нравахъ нашихъ, при нынѣшней осторожности, опасливости языка авторскаго, давать свободное теченіе перу? Не былъ ли бы умъ его стѣсненъ литтературными и разнородными преградами и могъ ли бы онъ изображать себя въ стихахъ, какъ въ зеркалѣ, не отуманенномъ чуждымъ вліяніемъ и не полузавѣшенномъ изъ уваженія ко многимъ приличіямъ свѣтскимъ? Кантемиръ жилъ для себя, если не для славы своей, въ счастливое время. Онъ посвящалъ свои сатиры Ѳеофану, а самъ воспѣваемъ былъ имъ и другимъ духовнымъ сановникомъ и побуждаемъ ими къ продолженію занятій благородныхъ. Онъ могъ, пользуясь откровенностію, сродною старинѣ и чуждою эпохамъ утонченности, смѣло и безъ обиняковъ схватываться со всѣми пороками, со всѣми дурачествами и предразсудками, господствовавшими въ обществѣ: онъ могъ, одушевленный мощнымъ негодованіемъ, поборать ихъ силою истины и разсудка. Конечно жаль, что онъ не родился, по крайней мѣрѣ, во время Сумарокова, а еще болѣе, что, одаренный умомъ открытымъ и дарованіемъ стихотворнымъ отличнымъ, не имѣлъ онъ силы, или воли исполинской Ломоносова, круто поворотившаго нашъ стихотворный языкъ на стезю, по которой онъ и нынѣ еще слѣдуетъ, покорный данному движенію. Поучительное и прекрасное зрѣлище открылось бы уму, если-бъ тою же рукою изгонялись погрѣшности изъ языка и предразсудки изъ общества. Ломоносовъ въ родѣ сочиненій, имъ избранномъ, могъ дѣйствовать только въ чисто литтературномъ, а не гражданскомъ смыслѣ.

Кантемиръ дѣйствовалъ бы равно въ томъ и другомъ. Какія благодѣтельныя послѣдствія повлеклись бы за началомъ литературы нашей, если-бъ первымъ классическимъ сочиненіемъ были сатиры, а не оды! Въ статьѣ Жуковскаго, можетъ быть, должно замѣтить, что вступленіе ея слишкомъ обширно, что частныя обозрѣнія свойствъ Кантемира слишкомъ кратки и рѣдки, а выписки изъ него слишкомъ пространны; но въ семъ послѣднемъ отношеніи погрѣшность, если погрѣшностію можно ее назвать, заслуживаетъ благодарность. Стихи Кантемира такъ мало похожи на все то, что у насъ нынѣ печатается, образъ мыслей его, духъ такъ ярко отдѣляются отъ современнаго характера литературы нашей, что эти выписки въ книгѣ, напечатанной въ 1826 году, совершенная нечаянность и находка, тѣмъ болѣе, что не только читатели Кантемира рѣдки, но и самыя стихотворенія его сдѣлались рѣдкостью въ книжномъ обращеніи.

Кантемиръ такъ и смотритъ въ сатирахъ своихъ ученикомъ и воспитанникомъ Петровской школы. Въ немъ отзываются и смѣлость и горячность нашего великаго преобразователя. Пускай по крайней мѣрѣ изъ этихъ выписокъ узнаютъ многіе, что у насъ писалось въ старину и что нынѣ пишется: и поубавится спѣсь высокомѣрныхъ современниковъ, которые не нарадуются успѣхами своими на поприщѣ ума и образованности! Желательно, чтобы Академія или другое ученое общество предприняло новое изданіе Кантемира, который опередилъ свой вѣкъ и, если не по языку, то по всѣмъ другимъ отношеніямъ, можетъ вполнѣ удовлетворить потребностямъ читателей современныхъ. Въ разборѣ Жуковскаго, между прочимъ, заслуживаетъ особенную похвалу прекрасная, мастерская характеристика Ювенала, написанная съ необыкновенною силою и живостію.

Три сестры, или видѣніе Минваны—свѣжая, нравоучительная аллегорія, въ которой, подъ покровомъ прозрачнымъ и красивымъ, рисуется жизнь человѣческая, въ трехъ своихъ явленіяхъ: нынѣ, вчера и завтра.

Нравственно-философическое разрѣшеніе вопроса: Кто истинно-добрый и счастливый человѣкъ? написано слогомъ прекраснымъ, и въ этомъ случаѣ нельзя не вспомнить опредѣленія Бюф-

фона: le style c'est l'homme. Весь человѣкъ видѣнъ въ этомъ разсужденіи: оно писано подъ вдохновеніемъ сердца. Но, соглашаясь съ авторомъ, что для совершеннаго нравственнаго бытія человѣка въ обществѣ гражданскомъ должно быть семьянином, можно однако же спросить: не слишкомъ ли увлекается онъ своимъ опредѣленіемъ и не обижаетъ ли холостыхъ, которые, по склонности или по обстоятельствамъ, остаются холостыми, когда онъ отказываетъ имъ въ возможности быть истинно-добрыми (не говоря уже счастливыми, потому что не почитаю счастіе принадлежностію состоянія или званія, а болѣе способностью частною, даруемою Провидѣніемъ немногимъ избраннымъ)? Кажется, авторъ несправедливъ, когда говоритъ, что онъ не рѣшится назвать добрымъ и судію справедливаго, коего всѣ приговоры сходны съ приговорами закона и совѣсти: напрасно! Такой исполнитель обязанности возвышенной не есть, какъ тутъ сказано, актеръ, старающійся блеснуть искусствомъ на театрѣ свѣта. Нѣтъ! онъ рѣшительно нравственное лицо, заслуживающее наименованіе истинно-добраго, и горе обществу, коему онъ служитъ, если не даруетъ оно ему способовъ быть истинно-счастливымъ, ибо для подобнаго судіи безпрепятственное исполненіе обязанностей должно быть счастіемъ, то-есть высокимъ, изящнымъ удовольствіемъ души. Не спорю съ авторомъ, когда онъ не подводитъ подъ опредѣленіе свое смѣлаго, благоразумнаго полководца; охотно уступаю и всѣ прочія лица, дѣйствующія на поприщѣ свѣта, но вопреки ему отстаиваю судію и увѣренъ, что и холостой судія, если онъ только имѣетъ способности, желаніе и волю быть полезнымъ въ кругѣ дѣятельности своей, можетъ смѣло откликнуться на вопросъ: кто истинно добрый и счастливый человѣкъ? Поспоривъ съ авторомъ только объ одномъ исключеніи изъ правила, спѣшу сказать, что во всѣхъ другихъ отношеніяхъ обозрѣлъ онъ предметъ свой совершенно нравственнымъ и философическимъ образомъ. Картина обязанностей, радостей семейныхъ начертана имъ превосходно; на живыхъ, вѣрныхъ краскахъ ея отсвѣчивается умъ ясный и сердце чистое. Во всякомъ случаѣ, она разрѣшить должна въ пользу автора заданный имъ вопросъ: вся-

кій скажетъ, что тотъ, кто такъ мыслитъ, чувствуетъ и изъясняется, долженъ быть истинно-добрымъ и достоинъ быть истинно-счастливымъ.

Писатель въ обществѣ выведенъ здѣсь во всѣхъ своихъ видахъ, со всѣми выгодами и невыгодами положенія своего, преимуществами и недостатками въ совмѣстничествѣ съ свѣтскими сочленами. Впрочемъ авторъ долженъ былъ довольствоваться въ своемъ начертаніи одними общими соображеніями, не примѣняя ихъ къ положенію Русскаго писателя, въ Русскомъ обществѣ. У насъ въ ономъ нѣтъ ему мѣста. По свѣтскому уложенію нашего общества, авторство не есть званіе, коего представительство имѣетъ свои права, свой голосъ и законный удѣлъ на съѣздѣ чиновъ большаго свѣта. Писатель въ Россіи, когда онъ не съ перомъ въ рукахъ, не въ книгѣ своей, есть существо отвлеченное, метафизическое: если онъ хочетъ быть существомъ положительнымъ, то имѣй онъ еще въ запасѣ постороннее званіе, и сія эпизодическая роль затмитъ и перевѣситъ главную. Исключенія изъ сего правила рѣдки и всегда случайны и временны. Можно пробыть авторомъ въ обществѣ на полчаса, подобно пѣвцу или піанисту, которые обращаютъ вниманіе на себя только, пока ихъ искусство въ дѣйствіи. Роль, которую играли во Франціи писатели, такъ называемые gens de lettres, въ особенности же въ царствованія Людовика XV и Людовика XVI до начала революціи, такъ далека отъ нашихъ нравовъ и господствующихъ у насъ понятій, что мы худо постигаемъ всемогущее вліяніе, которое они имѣли не только на общую образованность народа, но и на частныя мнѣнія и привычки общества. Парижское общество было тогда республикою, управляемою олигархіею новаго рода, составленною изъ умныхъ людей и литераторовъ. Отрывки изъ путешествій въ 1821 и 1824 годахъ—образецъ прозы описательной. Можно смѣло сказать о Жуковскомъ, что онъ равно великій живописецъ и въ стихахъ и въ прозѣ. Сіи отрывки заставляютъ жалѣть, что ихъ мало и желать, чтобы путешественникъ издалъ въ свѣтъ всѣ свои путевыя замѣтки. Пріятно смотрѣть на природу живописную глазами умѣющаго цѣнить ея красоты, но еще пріятнѣе и

полезнѣе смотрѣть съ наблюдателемъ на общества, вникать въ нравы, сводить черезъ него знакомства съ знаменитыми современниками; и Жуковскій въ кабинетѣ Гёте еще для меня любопытнѣе, чѣмъ у Рейнскаго водопада или на высотахъ Сенъ-Готарда. Отрывокъ изъ письма о *Дрезденской галлереѣ*, въ которомъ Жуковскій даетъ отчетъ въ чувствахъ своихъ при созерцаніи *Рафаэлевой Мадонны*, исполненъ красоты необычайной. Это не живопись и не поэзія, а что-то выше самой поэзіи. О немъ можно сказать то, что Жуковскій сказалъ о самой Мадоннѣ. Это не картина, а видѣніе. Нѣтъ сомнѣнія, что сей списокъ, хотя не буквальный, передаетъ твореніе Рафаэля вѣрнѣе эстампа Миллерова. Жуковскій постигъ чувствомъ душу Рафаэля и посвящаетъ насъ въ ея таинства.

XXVIII.

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІИ СЛОВЪ.

1827.

Талеранъ сказалъ: *la parole est l'art de déguiser la pensée*, то есть, слово есть искуство переодѣвать мысль. Замѣтимъ мимоходомъ, что если здѣсь въ переводѣ нашемъ не переодѣта, то отчасти прикрыта мысль Талерана, потому что у насъ, между прочимъ, нѣтъ глагола равнозначительнаго съ Французскимъ *déguiser*; нѣтъ у насъ и еще кое какихъ словъ, не смотря на восклицанія патріотическихъ, или (извините!) отечественнолюбныхъ филологовъ, или (извините!) словолюбцовъ, удивляющихся богатству нашего языка, богатаго, прибавимъ также мимоходомъ, вещественными, физическими запасами, но часто остающагося въ долгу, когда требуемъ отъ него словъ утонченныхъ, отвлеченныхъ и нравственныхъ. Но обратимся къ нашему предмету.

И въ самомъ дѣлѣ: сколько людей, которыхъ умъ въ томъ только и состоитъ, чтобы говорить не то, что́ у нихъ на умѣ! Но этотъ поддѣльный умъ не есть ли искусство, которымъ восхищается слѣпая толпа, а люди ясновидящіе не ослѣпляются? Разсудительность не поддается сѣтямъ, разставленнымъ ей непріятельскимъ умомъ, а побѣдою надъ врагомъ оплошнымъ и хвастаться нечего. Вообще, хитрость—умъ мелкихъ умовъ. Лисица хитритъ, левъ сокрушаетъ. У многихъ это проворство въ большой чести. Хотятъ ли похвалить значительнаго человѣка, говорятъ: онъ прехитрый! забывая, что современныя происшествія

рѣшатся не уловками старой хиромантіи и что въ нашемъ вѣкѣ изслѣдовательномъ и откровенномъ фиглярство кабинетныхъ кудесниковъ имѣетъ право на одно праздное любопытство толпы, или рукоплесканія запоздалыхъ, вздыхающихъ по томъ времени, когда красота была намалёвана, испещрена мушками и огорожена фижмами, а истина наводилась красками лжи и обносилась подмостками обманчивости. Въ обществѣ можно пальцемъ указать на людей, добивающихся чести прослыть скрытными хитрецами. Забавники! они забываютъ слова Суворова, который былъ этого дѣла мастеръ: „Тотъ уже не хитеръ (говорилъ онъ), о комъ всѣ говорятъ, что онъ хитрый человѣкъ“. При всей скрытности своей, эти явные хитрецы выказываютъ простодушіе ребенка, который, спрятавшись за стуломъ, кричитъ: „Ищите меня; я здѣсь!“ Истина есть краснорѣчіе слова; прямодушіе въ дѣяніяхъ есть, такъ сказать, краснорѣчіе практическое, убѣжденіе на дѣлѣ. Говорятъ: трудно достигнуть благодѣтельной цѣли. Напрасно! Должно быть трудно достигать вредной. Гдѣ идти вѣрнѣе и свободнѣе: по прямой, или по дорогѣ излучистой? Лживая рѣчь есть святотатство. Употребляя даръ слова во зло, мы ругаемся надъ первѣйшимъ даромъ человѣка, святынею ниспосланною ему какъ орудіе, безъ сомнѣнія благое, а не гибельное, орудіе любви, а не злобы. Отъ сего преступнаго употребленія рѣчи, перейдемъ къ невиннымъ злоупотребленіямъ словъ, непримѣтно вкравшимся въ нашъ языкъ и поработившимъ насъ своенравнымъ своимъ законамъ. Мѣщанинъ во дворянствѣ ушамъ своимъ не вѣрилъ, когда говорили ему, что онъ каждый день говоритъ прозу: многіе, можетъ быть, глазамъ своимъ не повѣрятъ, когда увидятъ, за сколько злоупотребленій въ словахъ должны они отвѣчать предъ совѣстью и Русскимъ языкомъ.

Памфилъ повѣряетъ какой-то счётъ: сложивъ единицы, онъ говоритъ: „шесть въ умѣ“. Развѣ это выраженіе не злоупотребленіе на языкѣ Памфила? Пускай-бы еще вышло по счёту: нуль въ умѣ.

Безчестный искатель пишетъ къ безчестному покровителю и, зная совѣсть его, какъ свой, или его карманъ, съ которымъ и съ которою онъ часто бывалъ въ личныхъ или наличныхъ

сношеніяхъ, безъ сомнѣнія не прячетъ отъ него и своей совѣсти. Легко представить себѣ разговоръ сихъ совѣстей, подающихъ вѣсть другъ другу. Въ концѣ письма однакоже выставляетъ проситель, какъ будто ни въ чемъ не бывало: съ искреннимъ почтеніемъ имѣю честь и проч. О почтеніи не говорю: каждый другъ друга почитаетъ тѣмъ, чѣмъ онъ есть въ самомъ дѣлѣ. Но куда запряталась бѣдная честь?

У насъ говорятъ: ему простили долгъ. Развѣ долгъ грѣхъ? Въ такомъ случаѣ первородный, ибо кто изъ сыновъ Адамовыхъ, по крайней мѣрѣ въ нашей части свѣта, не долженъ? Фонъ-Визинъ въ своей Грамматикѣ, на вопросъ: Какой глаголъ спрягается чаще всѣхъ и въ какомъ времени? отвѣчаетъ: „Глаголъ: быть должнымъ, и болѣе всего въ настоящемъ времени; въ прошедшемъ весьма рѣдко, ибо никто долговъ своихъ не платитъ, а въ будущемъ спряженіе глагола не употребительно, ибо само собою разумѣется, что всякій непремѣнно въ долгу будетъ, коли не есть“. Иное дѣло: подарить, отпустить долгъ. Кто-то говорилъ: За чѣмъ стыдиться бѣдности? Бѣдность не порокъ! Нѣтъ, возразилъ другой, а хуже. Хорошо такъ порочить бѣдность, но долговъ своихъ никто не стыдится, слѣдовательно и прощать нечего. Одни богатые люди бываютъ должны: бѣдному никто не повѣритъ; ему не съ чего быть и въ долгу. Подагра—знакъ отличія волокитства, говорятъ во Франціи. Долги—почетная грамота на знать и богатство, говорятъ во всей Европѣ.

Въ званіяхъ, титлахъ встрѣчаются часто злоупотребленія. Въ сколькихъ городахъ во зло употреблены слова: Совѣстный судья! Бѣдный просилъ капитана-исправника разсудить его дѣло по совѣсти. „А мнѣ какое дѣло до совѣсти?“ сказалъ онъ, „я не Совѣстный судья!“

Разберите слово: сословіе—и вы увидите, что оно составлено изъ частицъ единородныхъ съ совѣщаніемъ. Но злоупотребленіе наложило на него руку и придало ему другой смыслъ: казалось-бы, что сословъ должно происходить отъ сословія, но ни мало. Впрочемъ, иные и сословъ, въ смыслѣ синонима, не признаютъ за благоупотребленное слово. Во всякомъ случаѣ, должно бы, кажется, говорить: сослово, сослова. Окончательное: словъ при-

дается у насъ лицамъ, какъ наприм. богословъ, острословъ, и проч.

Во многихъ комедіяхъ, трагедіяхъ и операхъ слова: первое, второе и такъ далѣе дѣйствіе и дѣйствующія лица—выходятъ на повѣрку злоупотребленіемъ словъ. Мало ли у насъ комедій, въ коихъ всѣ пять дѣйствій заключаются въ одномъ дѣйствіи: пять разъ повторенномъ поднятіи и опусканіи занавѣса. Сколько оперъ, гдѣ только одно дѣйствующее лицо: машинистъ. Сколько водевилей, гдѣ главныя дѣйствующія лица не на сценѣ, а въ креслахъ, то-есть: друзья переводчика, нещадящіе ни ладоней, ни совѣстей своихъ. Какъ ни будь холодна пьеса, но они свою горячо разыгриваютъ; какъ пьеса ни хлопись въ растяжку, а они выхлопаютъ автора и на своемъ поставятъ.

„Извольте мнѣ заплатить то, что вы мнѣ изволили проиграть". Берите, отвѣчаетъ съ досадою наказанный игрокъ, но знайте, что я проигралъ и плачу вамъ не изъ воли, а противъ воли. Глаголы изволить, пожаловать—за душу тянутъ. Можно ли видѣть барина?—спрашиваетъ заимодавецъ у швейцара, отгадывающаго заимодавцовъ чутьемъ.—Баринъ изволитъ почивать, а пожалуйте въ другой разъ. Бѣдный заимодавецъ! ты увѣрился, что знатные должники спятъ Эпименидовымъ сномъ! „Его сіятельство изволилъ разругать меня, но обѣщался завтра пожаловать ко мнѣ откушать", говоритъ съ улыбкою подлости волокита за знатью, и спѣшитъ продать рекрутскую квитанцію, чтобы купить стерлядь въ 14 вершковъ. Впрочемъ, это и у Римлянъ водилось; ссылаюсь на Марціала: книга десятая, эпиграмма тридцать первая. Калліодоръ продалъ невольника и купилъ рыбу, которою украсилась его пирушка. Марціалъ на языкѣ своемъ безпощадномъ называетъ это: не рыбу ѣсть, а ѣсть человѣка.

Взгляните въ любой журналъ. Вы найдете мысли такого-то, мысли такой-то. Прочитайте ихъ, и вы увѣритесь, что у авторовъ именно мыслей и не достаетъ. По злоупотребленію начали называть мыслями собраніе нѣсколькихъ словъ, расположенныхъ на трехъ или четырехъ строкахъ, не имѣющихъ связи ни вообще, ни отдѣльно, но составляющихъ если не по логикѣ, то по

крайней мѣрѣ по синтаксису полный смыслъ. Многіе называютъ одою дюжину строфъ.

N. N., указывая мнѣ на одно мѣсто въ своемъ сочиненіи, извиняется въ двоесмыслiи. Тутъ двойное злоупотребленіе словъ, подумалъ я: онъ говоритъ о двухъ смыслахъ тамъ, гдѣ и одного не доищемся. Впрочемъ, двѣ безсмысленности можно слить; но два смысла вмѣстѣ быть не могутъ. Могутъ ли быть два средоточія въ одномъ и томъ же кругѣ?

Изидоръ величается графомъ, потому что предокъ его заслужилъ кровью графское достоинство. Кто-то разсказывалъ подробно и плодовито о Римѣ. „Вы жили въ Римѣ?“ спросили его. Нѣтъ! но дядя мой сбирался туда ѣхать, отвѣчалъ онъ.

Спросите у человѣка, непричастнаго тайнамъ свѣтскаго словаря, что́ такое большой свѣтъ въ такой-то столицѣ или землѣ. Онъ вѣроятно сперва задумается, потому что привыкъ знать одинъ свѣтъ, но послѣ, можетъ быть, скажетъ, что большимъ свѣтомъ должна называться та часть народа, въ которой больше число людей. Какъ же удивится онъ, когда узнаетъ, что большой свѣтъ на земномъ шарѣ не составляетъ и стотысячной частицы малаго свѣта? Тутъ, вѣроятно, не задумавшись, скажетъ онъ, что лучшимъ свѣтомъ называется безъ сомнѣнія часть лучшихъ жителей качествами ума и сердца. Отвѣтъ простячка укажетъ вамъ, что онъ равно чуждъ и свѣту и узаконеннымъ злоупотребленіямъ его языка.

Несчастный укоряетъ барина въ жестокосердіи и величаетъ его милостивымъ государемъ. Государство этого государя на воздухѣ, а милость въ безчеловѣчномъ отказѣ подать руку помощи тому, который за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ спасъ его отъ гибели.

Начальникъ даетъ беззаконное предписаніе своему подчиненному и требуетъ отъ него безпрекословнаго повиновенія, но въ концѣ подписывается его покорнымъ слугою. На смѣхъ? Нѣтъ! злоупотребленіе такъ сбило коренной смыслъ словъ, что бѣлое называется чернымъ. Папа называетъ себя рабомъ Божіихъ рабовъ; Римскій народъ величалъ императоровъ: ваша вѣчность.

Иныя злоупотребленія словъ присвоены себѣ нераздѣльно

нѣкоторыми лицами по праву силы. Не всякій тотъ братъ тебѣ, кто называетъ тебя братцомъ. Это слово не обоюдное въ разговорѣ съ знатными. Одинъ изъ нихъ сказалъ однажды смиренному новичку: „подай мнѣ, братецъ, табакерку“. Простодушный Гуронъ, мечтая о всеобщемъ братствѣ людей, отвѣчаетъ ему съ учтивостью: „Извольте, братецъ!“ Старшій братъ никогда не могъ простить этого меньшому своему брату.

Разберите слово: добродѣтель. По законному значенію своему должно-бы оно выражать: дѣлатель добра, и тоже самое, что́ благодѣтель. Сверхъ того, что въ этомъ составномъ словѣ дѣйствующій принятъ за дѣйствіе, должно замѣтить еще, что въ понятіи не отвѣчаетъ оно Латинскому virtus, которому отвѣчаетъ въ словарѣ. *Virtus* значитъ мужество, доблесть; *добродѣтель* скорѣе соотвѣтственно слову *bienfaisance*, благотворительность. Впрочемъ и это слово на Французскомъ языкѣ не старое: въ первый разъ было употреблено оно, то есть создано, аббатомъ Сенъ-Пьеромъ въ 1725 году.

У насъ есть глаголы: исполнить и выполнить. Каждый имѣетъ свое опредѣлительное значеніе; но злоупотребленіе замѣшалось и начали послѣдній ставить иногда на мѣстѣ перваго. Кто-то, писавъ къ Императору Павлу 1-му, впалъ въ эту ошибку. Государь собственноручно означилъ на бумагѣ. „Выполняютъ горшки, а приказанія Царя исполняютъ“ — и возвратилъ бумагу съ выговоромъ. Къ сожалѣнію, Царь можетъ имянными повелѣніями изгнать успѣшнѣе злоупотребленія изъ языка, чѣмъ изъ общества.

Не различать слова: поэтъ отъ слова: стихотворецъ, есть нестерпимое злоупотребленіе. Въ нихъ таже разность, какъ въ словахъ: маляръ и живописецъ. Тѣ и другіе въ своемъ родѣ употребляютъ одно орудіе: первые — перо, вторые — кисть. Но Ефремъ расписываетъ двери и окна, Кипренскій совмѣстничествуетъ природѣ. Стихи Петрова — поэзія, поэзія Хераскова — стихи. Сходя такимъ образомъ по лѣстницѣ стихотворцевъ, найдемъ мы на нижнихъ ступеняхъ риѳмотворцевъ, которые также далеки отъ стихотворцевъ, какъ и они отъ поэтовъ; нижеслѣдующихъ можно еще подраздѣлить на безчисленные разряды и спуститься наконецъ до безконечно малыхъ или не

умѣющихъ справиться ни съ риѳмою, ни съ разсудкомъ. Края сей стихотворной лѣстницы заняты одою Державина и хромыми гекзаметрами Тредьяковскаго. Когда и лучшіе гекзаметры на Русскомъ языкѣ, то есть гекзаметры Жуковскаго и Гнѣдича, только по злоупотребленію именуются Русскими стихами, то что́ же сказать о худыхъ гекзаметрахъ, о злоупотребленіи злоупотребленія?

Злоупотребленіе смѣшало въ одинъ смыслъ слова: безумный и сумасшедшій. Русская пословица говоритъ: пьяный проспится, а дуракъ никогда. Сумасшедшій можетъ проспаться; тотъ спитъ безъ просыпа. Сумасшедшіе живутъ вмѣстѣ въ желтомъ домѣ; безумные порознь и въ разныхъ домахъ, не имѣющихъ опредѣленной краски; жребій первыхъ часто въ рукахъ у послѣднихъ. Сумасшествіе болѣзнь, безуміе состояніе. Слабоумный—слово прекрасное, но иногда неправильно употребляемое. Можно имѣть много ума и имѣть умъ слабый. Въ иномъ умъ ограниченнѣе, но слой его тверже. Самое слово: умъ такъ подраздѣлимо и на столько оттѣнковъ разливается, что оно постоянное злоупотребленіе. Уменъ былъ и Наполеонъ и Барковъ: много ума и въ твореніи Монтескьё и въ записочкѣ свѣтской барыни, приглашающей васъ на чай. Жаль, что злоупотребленіе придало порочный смыслъ слову: вольнодумецъ. По настоящему, вольнодумецъ тотъ, кто пользуется свободою мыслить. Конечно, многіе безкорыстные люди великодушно отказываются отъ права пользоваться сею свободою: какъ мудрецъ, который только и зналъ, что онъ ничего не знаетъ, они только и думаютъ, что лучше не думать. Также и во Французскомъ языкѣ выраженіе: esprit fort, злоупотребительно. Вѣроятно: и Русское и Французское выраженія были въ первый разъ употреблены не въ осужденіе. Лжемудрецъ: вотъ настоящее клеймо тому, кто употребляетъ во зло волю думать.

Положеніе и состояніе, при строгой разборчивости въ словахъ, не могутъ быть равно замѣняемы одно другимъ. Авторъ въ день перваго представленія своей драмы бываетъ до поднятія занавѣса въ мучительномъ состояніи; иногда по паденіи занавѣса и пьесы въ несчастномъ положеніи.

Въ 1812 году, а можетъ и прежде, но въ 1812-мъ году укоренилось злоупотребленіе словъ: пожертвовать и пожертвованіе. Волосъ становится дыбомъ, читая, что такой-то пожертвовалъ десятью человѣками, вмѣсто того, что такой-то снарядилъ десять воиновъ. Но смѣхъ вознаграждалъ за ужасъ, когда въ слѣдъ за этимъ торжественно объявляли, что такой-то милліонщикъ пожертвовалъ двадцатью-пятью рублями, или такой-то бригадиръ заржавленною своею шпагою. Это злоупотребленіе такъ разошлось по городамъ и селеніямъ, что въ иныхъ мѣстахъ называли ратниковъ жертвенниками и жертвами.

Одно безсовѣстное злоупотребленіе можетъ соединять значенія словъ: налогъ и подать. Одно вносится, другое взимается. Подать платится въ силу условія между тѣмъ, который платитъ и которому платятъ и къ пользѣ обѣихъ сторонъ; налогъ налагается въ силу права сильнаго, и если бываетъ кому въ пользу, то рѣдко сторонѣ платящей. Налогъ налагается завоевателемъ на завоеванныхъ; подать подается гражданиномъ правительству въ силу законовъ.

По словамъ Академіи Россійской, и даже по здравому разсудку, подобострастіе означаетъ подверженность тѣмъ же страстямъ. Злоупотребленіе, давно уже перемѣшавшее на языкѣ простолюдиновъ значеніе словъ: страхъ и страсть, преобратило и подобострастіе въ боязливую покорность. Предположили, что подобострастный человѣкъ есть тотъ, которому подобаетъ страшиться. Отъ сего злоупотребленія вѣроятно происходитъ и пристрастный допросъ, не означающій допроса, сдѣланнаго съ пристрастіемъ къ той или другой сторонѣ, но допроса, сдѣланнаго съ пристращиваніемъ.

Въ свѣтскомъ словарѣ выраженія: добрый малый и добрый человѣкъ совершенно поддаются злоупотребленію. Добрый малый обыкновенно называется товарищъ, всегда готовый участвовать съ вами во всякой пирушкѣ и шалости и обращающійся къ вамъ спиною при первомъ предложеніи участвовать съ вами въ добромъ дѣлѣ. Добрый человѣкъ, по свѣтскому понятію, есть человѣкъ, въ коемъ не достаетъ ни духа на злое, ни души на доброе дѣло. Сказано о свѣтскихъ друзьяхъ:

Въ ихъ ласкахъ лесть, коварство вижу,
Ихъ клятвы — звукъ пустыхъ рѣчей!
О! какъ сердечно ненавижу
Большую часть моихъ друзей!

Можно почти тоже сказать о добрыхъ малыхъ и добрыхъ людяхъ: честному человѣку позволительно ненавидѣть ихъ чистосердечно.

Фонъ-Визинъ былъ большой знатокъ въ словахъ и мастеръ разставлять ихъ по оттѣнкамъ словъ. Въ одномъ его отрывкѣ, не изданномъ, представляя политическую картину государства, неуправляемаго положительными законами, онъ говоритъ: „тамъ никто не хочетъ заслужить, а всякій ищетъ только выслужить; тамъ, кто можетъ—грабитъ, кто не можетъ—крадетъ“.

Лѣкарь мою жену зарѣзалъ! говоритъ Аристъ. А кто ее пользовалъ? спрашиваетъ Никодимъ, имѣющій несчастный даръ всегда во зло употреблять самыя употребительныя слова.

Онъ же на вопросъ: „Здорова ли ваша жена?“ отвѣчаетъ: „Къ вашимъ услугамъ“.

А сколько злоупотребленій на языкѣ стихотворномъ? Одинъ стихотворецъ подноситъ оду вельможѣ и въ посвященіи величаетъ его благодѣтелемъ и вашимъ высокопревосходительствомъ, а себя ставитъ ниже травы. Съ перваго стиха говоритъ онъ ему запросто: ты, а въ концѣ обѣщаетъ подѣлиться съ нимъ безсмертіемъ.

Вельможа, незнакомый съ принятыми злоупотребленіями языка боговъ, кинулъ оду въ лицо поэта и съ тѣхъ поръ говоритъ: „Я не люблю этихъ стихотворцовъ: то они у ногъ вашихъ, то съ вами за панибрата“.

Не помню, въ какой-то комедіи Итальянскаго театра служанка одной барыни, помѣшанной на стихахъ и стихотворцахъ, говоритъ ей: Какъ не стыдно вамъ знаться съ этимъ народомъ? Тотъ, который на стихахъ открыто напѣваетъ вамъ о любви своей и прямо говоритъ вамъ: ты, не смѣлъ-бы прозою взглянуть на васъ.

Что́ городъ, то норовъ, что́ деревня, то обычай; что́ вѣкъ, то слово, или, лучше сказать, злоупотребленіе слова въ чести. У Сумарокова, по возвращеніи его изъ Москвы, спрашивали:

„Какихъ людей онъ тамъ видѣлъ?“—Я не видалъ тамъ людей, отвѣчалъ онъ, тамъ все голубчики. Тогда у Москвичей было въ чести слово: голубчикъ. Но и теперь оно не совсѣмъ вышло изъ употребленія. Послушайте: мужъ жену свою зовётъ: голубушка! Она отвѣчаетъ ему: голубчикъ! Посмотрите этихъ голубковъ въ домашнемъ быту, они живутъ какъ кошка съ собакою.

Покойный *Живописецъ* [1]), которому не худо было бы воскреснуть, разумѣется съ тѣмъ уговоромъ, чтобы онъ приноровилъ къ вѣку и кисть свою и краски, сказываетъ, что въ его время любовникъ и любовница назывались болванчиками. Впрочемъ, здѣсь можетъ и не быть злоупотребленія. Всякій кумиръ тотъ же болванъ, а кто не видитъ кумира въ цѣли своей любви, своихъ желаній, искательства? Почетныя, современныя намъ слова, кажется: чудо, чудесный! Нѣтъ сомнѣнія, что въ нашъ вѣкъ видѣли мы много чудесъ; но часто чудесное во зло употребляется вмѣсто чудовищнаго.

Въ *Словарѣ* Академіи: лихой и злой имѣютъ невыгодное значеніе. Въ дополненіяхъ къ нему должно бы прибавить, что на языкѣ офицерскомъ имѣютъ они совершенно иное. „Посмотрите на молодаго гусара N. N.—чудо на лошади! Какъ лихо ѣздитъ и зло одѣвается!“

На языкѣ людей случайныхъ и должниковъ „завтра“ не ограничивается простонароднымъ смысломъ. Они почитаютъ злоупотребительнымъ наименованіе этимъ словомъ дня слѣдующаго за нынѣшнимъ и придаютъ ему значеніе обширнѣйшее, а иногда и неограниченное. Спросите о томъ у искателей и заимодавцевъ.

Я люблю злоупотребительное выраженіе: онъ улыбнулся, въ смыслѣ: онъ умеръ. Но у насъ оно употребляется въ презрительномъ и насмѣшливомъ значеніи. Желательно, чтобы только о смерти добраго человѣка говорили: онъ улыбнулся.

Иныя общества и лица отдѣльно пользуются нѣкоторыми злоупотребленіями словъ, не оправданными, такъ сказать, народнымъ злоупотребленіемъ. Въ Казани, вмѣсто того, чтобы

---

[1]) Журналъ Новикова.

сказать про человѣка: онъ влюбленъ, говорятъ, или говорили нѣсколько лѣтъ тому: онъ сидитъ, потому, что тайна любви одного значущаго человѣка въ городѣ огласилась тѣмъ, что онъ въ театрѣ сидѣлъ всегда въ ложѣ у одной женщины. Въ столицахъ говорятъ про иного: „онъ въ силѣ“. Если-бы судьба повѣдала намъ свои тайны, то мы увидѣли-бы, какъ слабы эти силачи въ единоборствѣ съ нею!

Кто-то имѣлъ привычку говорить безпрестанно: наконецъ, и разсказывалъ продолжительно; долго прослушавъ его плодовитое повѣствованіе, Нелединскій прервалъ его на новомъ *наконецъ* и сказалъ: „Нѣтъ! теперь ужъ не обманете!“ и откланялся ему навсегда. Вольтеръ говоритъ о Saint-Empire Romain: pourquoi Saint? pourquoi Empire? pourquoi Romain? Эта шутка часто приходитъ мнѣ въ голову, когда встрѣчаюсь съ инымъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ. Какъ и тутъ не спросить: въ чемъ онъ дѣйствителенъ? какая заключается въ немъ тайна? кому и что онъ совѣтуетъ?

А можно-ли счесть злоупотребленія словъ въ заглавіяхъ книгъ, журналовъ и проч.? Выставляйте на книгѣ заглавіе ей приличное, а не злоупотребительное, и сколько изъ нихъ останутся въ книжныхъ лавкахъ, не уловляя добросовѣстной довѣрчивости тѣхъ читателей, которые судятъ о вещи по ярлыку.

Вмѣсто Разсужденіе о.... скажите: Бредни о...., помня, что слово: разсужденіе происходитъ отъ разсудка. Вмѣсто: Другъ просвѣщенія, выставьте: Недругъ просвѣщенія. Не говорите: такой-то перевелъ Горація, но скажите: — „такой-то развелъ Горація“, т. е. развелъ его въ жидкости своихъ водяныхъ стиховъ. Переводить, перевесть употребляется у насъ въ значеніи и уничтожить. Напримѣръ говорятъ: Дмитріевъ перевелъ многія басни Лафонтена; Жуковскій перевелъ Шильонскаго узника. Это такъ; но говорится и этакъ: перевесть крысъ мышьякомъ.

Въ разговорахъ и книгахъ по бо́льшей части словами играютъ, какъ шашками, которыя игрокъ переставляетъ на удачу или по прихоти съ мѣста на мѣсто. Вотъ отъ чего споръ о мнѣ-

ніи можетъ часто стушеваться споромъ о словахъ. Въ первомъ случаѣ есть еще надежда согласить и склонить на мировую спорщиковъ; въ послѣднемъ нѣтъ никакой надежды. Дѣло въ томъ, что о мнѣніяхъ спорятъ люди умные и образованные; о словахъ упрямые невѣжды, или, какъ злоупотребленіе иногда величаетъ ихъ, ученые.

XXIX.

ЖУРНАЛИСТИКА.

1827.

I.

Нѣтъ счастія ни литературѣ нашей, ни литераторамъ нашимъ за границею. То молчатъ о нихъ, какъ о мертвыхъ, или, и того хуже, клеплютъ на нихъ, какъ на мертвыхъ. Въ переводахъ съ Русскаго не узнаешь подлинника; въ біографическихъ и библіографическихъ извѣстіяхъ о Русскихъ перековерканы имена и содержаніе. Во *Всеобщемъ Журналѣ Литтературы иностранной* (Journal général de la littérature étrangère), въ февралѣ мѣсяцѣ 1827 года, о наукѣ стихотворства, поэмѣ дидактической Депрео, переведенной графомъ Хвостовымъ, объявлено — гдѣ бы вы думали? въ отдѣленіи романовъ!! Надобно быть журнальнымъ сыщикомъ, чтобы отыскать такую диковинку. На мѣстѣ переводчика, я отомстилъ бы Французскому вѣтреннику, напечатавъ другое изданіе перевода подъ названіемъ: Депрео, вывороченный на изнанку. Тогда пускай помѣстилъ бы онъ l'Art poétique въ отдѣленіе: poëmes burlesques.

Кормчій (Le pilote, journal politique et militaire) сѣлъ на мель, 14 іюня 1827 года, и объявляетъ подписчикамъ своимъ, что онъ прекращается, обѣщая возвратить деньги, за нимъ оставшіяся. Хорошо подписчикамъ Французскимъ, но, кажется,

намъ, заграничнымъ, пиши пропало. Впрочемъ и съ полученіемъ газеты деньги все были пропадшія. Для Французскаго періодическаго листа, *Кормчій* былъ замѣчательно тощъ и ничтоженъ. Сперва былъ онъ издаваемъ Тиссотомъ и Кассано (Tissot et Cassano) и тогда былъ онъ однимъ изъ лучшихъ журналовъ. Тиссотъ, литераторъ достойный уваженія, извѣстный переводами своими классическихъ поэтовъ и образомъ мыслей просвѣщеннымъ и благороднымъ, одинъ изъ основателей *Французской Минервы* и *Газеты Конституціонной*, давалъ *Кормчему* направленіе хорошее; но когда министерство начало покупать журналы независимые, товарищъ Тиссота согласился на сдѣлку и остался одинъ редакторомъ. Въ первые дни по совершеніи купчей выходило два *Кормчихъ: Кормчій* Кассано и *Кормчій* Тиссота. Но полиція вмѣшалась въ этотъ журнальный дуализмъ и проданный выжилъ неподкупнаго. Во время журнальныхъ сдѣлокъ, въ 1824 году, вышла въ Парижѣ довольно забавная книжка: *Чрезвычайное собраніе журналовъ, или разговоръ мертвыхъ и умирающихъ*. Тутъ содержится исповѣдь всѣхъ періодическихъ изданій Французскихъ. Мало въ нихъ совершенно безгрѣшныхъ. Во Франціи министерство почитаетъ журналы державами: заключаетъ съ ними договоры, платитъ имъ субсидіи за вспомогательство, и проч. Видно *Кормчій* былъ плохой союзникъ и не стоилъ жалованья. Впрочемъ, возстановленіе цензуры для періодическихъ изданій во Франціи прекратило на время потребность въ подобныхъ издержкахъ.

Постановленіе 24 іюня нынѣшняго года о возстановленіи во Франціи цензуры на періодическія изданія раздалось въ *Журналѣ Преній* какъ труба полуночная, которая въ публичныхъ маскарадахъ объявляетъ о послѣднемъ издыханіи масляницы. Люди еще ходятъ по залѣ, но уже не оживлены они громомъ оркестра потѣшнаго; журналы еще движутся, но уже нѣтъ музыки, которая была такъ не потѣшна для чувствительныхъ ушей. Шумный міръ живыхъ смѣненъ тихимъ міромъ тѣней. Это постановленіе, въ силу законовъ 31 марта 1820 г. и 25 іюля

1821 г., можетъ быть дѣйствительно только въ промежутки времени между закрытіемъ и открытіемъ Палатъ, и мѣсяцъ спустя послѣ начала засѣданій, если въ теченіи этого мѣсяца не обратится оно въ законъ согласіемъ обѣихъ Палатъ.

II.

Въ отвѣтъ и возраженіе на письмо Шатобріана, въ *Журналѣ Преній* напечатанное, противъ закона объ *управѣ печати* (police de la presse), представленнаго нынѣ въ Палату Депутатовъ и взволновавшаго всю Францію, министерство пустило въ *Монитеръ* статью полу-офиціальную, въ которой защищаетъ оный законъ и, слѣдовательно, нападаетъ на его противниковъ, между прочимъ и на Шатобріана, а въ лицѣ его и на журналистовъ, или, по крайней мѣрѣ, на участвующихъ въ журналахъ. „Одинъ писатель имѣетъ два званія“, сказано тамъ: „онъ журналистъ и сверхъ того членъ Парламента. Какъ журналистъ, онъ пишетъ статьи въ пользу своего ремесла (profession); это въ порядкѣ. Какъ ораторъ, онъ будетъ произносить рѣчи въ оправданіе своихъ статей; это также естественно. Но я вижу участіе, которое онъ имѣетъ въ этомъ дѣлѣ и доводы его уже для меня не убѣдительны: онъ ходатайствуетъ за себя“. Сія выходка устремлена на Шатобріана. Въ нѣсколькихъ изъ слѣдующихъ № *Журнала Преній* напечатаны сильныя возраженія противъ помянутой статьи, худо оправдывающей проектъ закона. Въ одномъ мѣстѣ сказано: „Менѣе презрѣнія къ журналистамъ. Не забудемъ того, что революція измѣнила во многихъ отношеніяхъ наши понятія и породила потребности нападеній и отраженій, дотолѣ намъ неизвѣстныя. Отъ 1789 года до 1827 г., вы, можетъ быть, не найдете ни одного замѣчательнаго человѣка въ различныхъ слояхъ общества, который не воспользовался бы печатаніемъ періодическимъ. Оба Мирабо, злополучный графъ де Клермонъ-Тоннеръ, большая часть членовъ Собранія Образовательнаго и Собранія Законодательнаго во дни первой монархіи, республики, имперіи, монархіи возстановлен-

ной, Шамфоры, Лагарпы, Сюары, Фонтаны и проч., въ Англіи Болинброки, Бурки, Шериданы, Каннингъ, тысяча другихъ, которыхъ имена не представляются теперь памяти моей, наконецъ, самые монархи не гнушались поприщемъ, на коемъ мнѣніе одержало столько побѣдъ". Аристократическая грамота журналитета основана здѣсь на блестящихъ именахъ, въ особенности же для насъ, Русскихъ, журнальная геральдика освящена великимъ именемъ. Перо, писавшее Наказъ, начертило нѣсколько страницъ въ изданіи *Собесѣдника*. Съ любопытствомъ и уваженіемъ находимъ мы въ семъ періодическомъ сочиненіи изумительныя доказательства политической терпимости Императрицы Екатерины II въ отвѣтахъ, данныхъ ею на нѣкоторые, немного отважные запросы Фонъ-Визина. Аристократія талантовъ также не чуждалась у насъ журналовъ. Мы встрѣчаемъ въ разрядѣ журналистовъ нашихъ имена: Сумарокова, Новикова, Крылова, Жуковскаго, Карамзина. Жаль, что сія вѣтвь литтературной дѣятельности не осталась у насъ въ подобныхъ рукахъ. Подъ сѣнью такого покровительства процвѣли бы болѣе и болѣе успѣхи періодическіе. Увлеченные ободрительнымъ примѣромъ, замѣчательные сограждане, государственные люди, хотя и не совершенно принадлежащіе авторскому званію, стали-бы, можетъ быть, въ часы досуга, повѣрять періодическимъ листамъ плоды своей опытности, своихъ наблюденій, патріотическіе свои замыслы, поучительныя указанія. Журналы тогда были бы отголоскомъ мнѣній и понятій людей, имѣющихъ мнѣнія и понятія, свидѣтельствами настоящаго и указателями въ будущемъ къ цѣли усовершенствованія, къ коей стремится умъ человѣческій на всѣхъ поприщахъ, открытыхъ предъ нимъ. Таково должно быть предназначеніе журналовъ политическихъ, литтературныхъ, нравственныхъ и относящихся до какой бы то ни было отрасли наукъ и художествъ. Къ сожалѣнію, наши журналы по бо́льшой части не заглядываютъ вдаль и продовольствуютъ себя и читателей своихъ поборомъ домашней мелюзги: мелочной прозы и мелочныхъ стиховъ рукодѣлья своего, родственнаго или пріятельскаго. Это тѣмъ болѣе достойно сожалѣнія, что публика наша охотница до періодическаго чтенія, будь оно сказано ей

не въ похвалу, а въ засвидѣтельствованіе истины. Большая часть читателей нашихъ слишкомъ лѣнива, развлечена тѣмъ и другимъ и не довольно запасена основными свѣдѣніями, чтобы выдерживать чтеніе важнѣйшее, требующее времени, постояннаго напряженія и предварительныхъ приготовленій. Ей именно было-бы весело въ разнообразномъ и неотягчительномъ занятіи хватать вершки; но уже за то старайтесь, чтобы эти вершки были точно ярки и чтобы съ нихъ можно было окидывать взоромъ обширныя и занимательныя окрестности. У насъ многіе писатели жалуются на равнодушіе публики, на недостатокъ Русскихъ читателей, а между тѣмъ журналы не убавляются, а напротивъ; слѣдовательно есть подписчики, и въ двадцать, въ пятьдесятъ, во сто разъ болѣе того читателей. Спросите у журналистовъ сказать по совѣсти: въ нихъ ли заключается неодолимая прелесть, или въ охотѣ, въ потребности подписчиковъ и читателей читать ихъ журналы. Войдите въ кабинетъ чтенія, находящійся въ какомъ нибудь общественномъ заведеніи: иной морщится, другой зѣваетъ, а весь столъ, покрытый періодическими издѣліями, отечественной работы, обсаженъ добровольными труженниками, которые, въ смиреніи духа, переходятъ отъ красной обертки къ синей и такъ далѣе, ищутъ, чѣмъ поживиться, и часто, часто встаютъ изъ-за стола натощакъ. Долголѣтіе нѣкоторыхъ изъ журналовъ нашихъ, о коихъ нельзя даже сказать, чтобы жили они сгоряча, а только по какой-то силѣ живучести, неподлежащей никакимъ соображеніямъ и разсчисленіямъ, убѣдительно доказываетъ, что журналы сдѣлались у насъ общежительскою необходимостью, и что если и дурные журналы имѣютъ подписчиковъ, то есть поддержателей, ибо вѣроятно никто изъ одной чести издавать журнала не будетъ, то истинно-хорошіе журналы, отвѣчающіе потребностямъ любопытныхъ современниковъ, были-бы у насъ на расхватъ и съ великою пользою получаемы и читаемы.

Читая Парижскіе журналы, видимъ, что и у Французовъ веселость начинаетъ морщиться. Въ старой Франціи насмѣшки, куплеты, эпиграммы были единственными орудіями оппозиціи,

то есть публики: въ новой — партизанская перестрѣлка обратилась въ войну болѣе значительную и систематическую. Не знаю, отъ того-ли, что имъ уже не до шутокъ, но Французы менѣе шутятъ, а болѣе горячатся. Въ политической своей полемикѣ они уже не царапать хотятъ своихъ противниковъ, а сшибать ихъ съ ногъ на повалъ. И поэзія ихъ приняла какой-то видъ степенный и часто сердитый. Одинъ Беранже, въ пѣсняхъ своихъ, держится повадокъ водевиля:

Agréable, indiscret, qui, conduit par le chant,
Passe de bouche en bouche et s'accroit en marchant;

но и у него нерѣдко отзывается сердце въ шуткѣ остроумія. По прежнимъ обыкновеніямъ, какой-нибудь эпиграмматическій *Ноэль* отпѣлъ бы новый проектъ, представленный нынѣ на разсмотрѣніе палаты депутатовъ. Нынѣ Казиміръ Делавинь извлекаетъ изъ патріотической лиры своей мужественные звуки. Въ *Журналѣ Преній*, при объявленіи о новыхъ его семи *Мессеньенахъ*, находится выписка, вѣроятно, изъ введенія къ нимъ. „Въ этомъ маломъ количествѣ фразъ“, говоритъ журналистъ, „заключается полное выраженіе народной мысли. Когда Аѳиняне готовились на войну, они не пренебрегали совѣтами Ѳемистокла или Алкивіада. Франція будетъ судить о проектѣ закона литературнаго, возбудившаго негодованіе Казимира Делавиня и опровергаемаго Шатобріаномъ“.

Въ доказательство, что поэзія Французовъ стала нынѣ сердитѣе и завербовалась подъ знамена политики, можно привесть и оду Виктора Гюго, напечатанную въ *Журналѣ Преній*, 9-го Февраля. Предметъ сей оды дипломатическая тяжба, занимавшая Парижскую публику, вслѣдствіе вечеринки, данной графомъ Аппони, Австрійскимъ посланникомъ, и на коей отказывались величать маршаловъ Французскихъ титулами, дарованными имъ Наполеономъ и заимствованными отъ наименованій городовъ и областей, подлежащихъ Австрійской державѣ. Предметъ, кажется, мало поэтическій, но совсѣмъ тѣмъ онъ послужилъ содержаніемъ

для оды въ двадцать строфъ и болѣе, куда поэтъ перенесъ весь романтизмъ и все лирическое самохвальство, свойственное Французской музѣ. Впрочемъ, въ ней встрѣчаются и яркія и сильныя черты, означенныя истинною поэзіею. Вотъ примѣръ брапоноспаго духа поэта и нынѣшней поэзіи:

Nous froissons dans nos mains, hélas! inoccupés
Des lyres, à défaut d'épés;
Nous chantons, comme on combattroit.

III.

Скоро нельзя будетъ сказать, что въ Русской литературѣ мало дѣтскихъ книгъ и журналовъ: говоримъ не иносказательно (для иносказаній на Руси не скоро еще пройдетъ время), но прямо; съ прошлаго года за книги для дѣтей особенно принялись многіе изъ нашихъ сочинителей и переводчиковъ. Сказавъ уже о нѣсколькихъ книгахъ и журналахъ дѣтскихъ, достойныхъ замѣчанія по ихъ цѣли, а часто и исполненію, мы должны прибавить къ нимъ *Новую Дѣтскую Библіотеку*, издаваемую Б. М. Ѳедоровымъ, съ Января сего 1827-го года. Каждый мѣсяцъ выходитъ небольшая книжка (листа четыре печатныхъ, въ 16-ю долю листа), съ картинками, довольно хорошо гравированными. Содержаніе и расположеніе видѣнныхъ нами двухъ книжекъ заслуживаютъ похвалу, и мы благодаримъ г-на Ѳедорова отъ лица многихъ родителей и наставниковъ за то, что онъ принялъ на себя трудную обязанность наставлять и забавлять дѣтей пріятнымъ и полезнымъ образомъ. Дѣти съ пользою и удовольствіемъ читаютъ журналъ его. Только одно не нравится многимъ въ *Дѣтской Библіотекѣ*: она слишкомъ дорога. Годовое изданіе, состоящее изъ 12 небольшихъ книжекъ, стоитъ 25 рублей ассигн. въ Петербургѣ, а въ Москвѣ и другихъ городахъ 30 рублей. Согласны, что каждый авторъ имѣетъ право цѣнить труды свои, какъ ему угодно; но, издавая книгу, предназначенную для педагогики или ученую, непремѣнно должно имѣть въ виду покупателей, для коихъ она назначается. Сколько

есть добрыхъ, просвѣщенныхъ отцевъ семействъ, которые не въ состояніи удѣлить 30-ти рублей на книжку для дѣтей своихъ, а надобно согласиться, что журналъ г-на Ѳедорова, хотя полезное и занимательное чтеніе, но не такая еще необходимость, какъ учебныя, элементарныя книжки.

Упомянувъ о появленіи *Славянина* (*Телеграфъ* 1827, т. XIII, отд. II, стр. 86), военно-литературнаго журнала, издаваемаго, съ 1 января сего 1827 г., А. Ѳ. Воейковымъ, скажемъ читателямъ, что мы видѣли уже одиннадцать книжекъ сего новаго журнала. Онъ оченъ исправно издается и хорошо печатается; но что́ всего важнѣе, заслуживаетъ вниманія публики по своему внутреннему достоинству. Съ начала года загремѣла было на него сильная канонада изъ листочковъ *Сѣверной Пчелы*, но пристрастное сужденіе пчельнаго застрѣльщика слишкомъ было явно. Скажемъ болѣе: если *Пчела* хотѣла уронить *Славянина*, то она поступала слишкомъ неосторожно, браня въ немъ все, съ первой до послѣдней строчки. Наблюдатели Русской литературы могутъ замѣтить, на какую степень упала нынѣ критика *Сѣверной Пчелы*: на нее никто уже не возражаетъ, никто нейдетъ въ бой съ *Пчелою*, съ нею только шутятъ, или немногими словами отвѣчаютъ на цѣлые листы ея вылазокъ. Вѣроятно, скоро настанетъ время, что и это прекратится, что *Пчелѣ* совсѣмъ ничего отвѣчать не станутъ и жужжаніе ея будетъ только разносимо вѣтромъ, какъ звуки кимвальные на преддверіяхъ жилищъ тѣхъ искусниковъ, которымъ похвалы такъ часто встрѣчаются въ листахъ *Сѣверной Пчелы*.

Кто изъ многихъ примѣровъ не увѣрился еще о достоинствѣ похвалъ и осужденій *Сѣверной Пчелы*, тому совѣтуемъ посмотрѣть на ея сужденіе о *Славянинѣ*. Не подумаете-ли, читая критики на него издателей *Пчелы* и ихъ сотрудниковъ, что *Славянинъ* хуже *Сына Отечества*? Напротивъ, прочитавъ 11-ть вышедшихъ уже книжекъ, можемъ увѣрить читателей, что сей журналъ достоинъ ихъ вниманія, наполняется новыми, хорошими статьями, и въ его отдѣленіи словесности находится много занимательнаго и прекраснаго! Исчисливъ нѣсколько статей, мы докажемъ справедливость нашего мнѣнія.

Въ отдѣленіи I-мъ, военномъ, замѣтимъ статьи: *О горной войнѣ* (изъ книги Лаллемана, изд. въ 1825 г.); *Осада Бадаеза* (изъ Австрійской военной газеты 1826-го года); *Объ арміи Остъ-Индской компаніи* (изъ книги графа Ное, изд. въ 1826 г.); *О военныхъ орденахъ* (изъ Берлинск. Военн. Журнала). Далѣе, три любопытныя статьи, сочиненныя нашими отечественными военными писателями. Наконецъ, матеріалы для Русской военной исторіи: о конной артиллеріи, о войнѣ съ Горцами и Персами; статья: о военныхъ писателяхъ, и проч. имѣютъ также относительное достоинство.

Въ отдѣленіи II-мъ, словесности, мы видѣли стихи Жуковскаго, Баратынскаго, Языкова, Козлова, нѣсколько переводныхъ статей изъ соч. Нодье, статью о Россійскихъ памятникахъ, любопытную по многимъ отношеніямъ, и проч. Между тѣмъ будемъ безпристрастны и скажемъ, что отдѣленіе словесности въ *Славянинѣ* могло быть-бы лучше и что статьи, а особенно стихи, могли бы помѣщаться въ немъ съ большимъ выборомъ. Лучше помѣщать стиховъ меньше, но съ строжайшимъ разборомъ. Предоставимъ *Сыну Отечества* и *Дамскому Журналу* печатать всякую всячину, только бы строчки заклеймены были риѳмами. Снисходительность журналиста вредитъ и самимъ сочинителямъ и журналу, въ которомъ стихи печатаются безъ выбора строгаго. Если издатель *Славянина* усовершенствуетъ отдѣленіе словесности и будетъ продолжать первое отдѣленіе своего журнала такъ же хорошо, какъ началъ, мы предвѣщаемъ ему полный успѣхъ. Публика, какъ мы сказали, уже знаетъ цѣну критикъ *Пчелы* и, конечно, не у издателей ея навѣдывается о достоинствѣ другихъ журналовъ и книгъ.

XXX.

ТАЛЬМА.

1827.

Съ нѣкотораго времени смерть дѣятельно очищаетъ вершины Французскаго общества и похищаетъ съ нихъ имена, сіявшія съ большимъ блескомъ. Сколько политическихъ, воинственныхъ, литературныхъ перерастковъ низвергнуто въ короткое время ея неумолимою косою! Подумаешь, что она, какъ Тарквиній, предпочтительно ссѣкаетъ на жатвѣ жизни колосья, переросшіе прочихъ. Послѣ многихъ похищеній со сцены міра, смерть поразила Францію новою утратою въ лицѣ Тальмы, который владычествовалъ нераздѣльно на сценѣ, имѣющей также свой міръ въ уменьшительномъ видѣ. Не знаемъ, что́ скажутъ теперь Французы, но при жизни Тальмы они говаривали, что со смертью его не станетъ трагедіи Французской, какъ со смертью актрисы Марсъ не станетъ комедіи. Можетъ быть, не захотятъ они подтвердить признанія, тягостнаго для самохвальства народнаго, когда одна уже половина печальнаго предсказанія сбылась. Какъ бы то ни было, но нѣтъ сомнѣнія, что смерть Тальмы должна быть признана общею утратою для всѣхъ друзей искусствъ и усовершенствованія способностей человѣческихъ на какомъ поприщѣ и у какого народа ни ознаменовалось-бы ихъ явленіе. Таковы права дарованія возвышеннаго! Если не признавать сего неотъемлемаго свойства, которымъ дѣйствуютъ на общее мнѣніе, въ кругѣ образованности, люди, возвысившіеся

надъ сверстниками своими и собираютъ повсюду дани уваженія безкорыстнаго, то какъ постигнуть, такъ сказать, заочную славу актера, внѣ границъ дѣйствія своего или жизни? А между тѣмъ мы видимъ, что актеръ, который умѣлъ вознести искусство свое на степень, недоступную дарованіямъ, окружающимъ его, пользуется не только при жизни повсемѣстною знаменитостію, но и по смерти своей, когда уже никакихъ видимыхъ слѣдовъ бытія его не осталось, не теряетъ правъ своихъ: слава его хранится ненарушимо въ преданіи благодарномъ. Имена Росція, Гаррика, Лекена, Клеронъ, Сиддонсъ, Иффланда намъ такъ же знакомы, такъ же ласкаютъ слабость человѣческую мечтою о славѣ, о чемъ то возвышающемъ насъ въ собственныхъ глазахъ, какъ имена и другихъ людей отличныхъ. Мы забываемъ, что искусство ихъ преходящее не завѣщало намъ по себѣ ничего положительнаго, а дорожимъ ихъ памятью, какъ драгоцѣнностію, потому что въ признательномъ уваженіи нашемъ ко всѣмъ успѣшнымъ усиліямъ въ совершенствованіи человѣческомъ, не раздѣляемъ сихъ усилій, зная, что они всѣ дѣйствуютъ одно на другое и обогощаютъ взаимно сумму нашихъ умственныхъ преимуществъ.

Кажется, неоспоримо, не только для тѣхъ изъ нашихъ соотечественниковъ, которые вооруженною рукою два раза занимали мѣста въ партерѣ Французскаго театра или, движимые мирнымъ любопытствомъ, ѣздили въ Парижъ, но и для всѣхъ тѣхъ, кои не видали Тальмы, а только издали слѣдовали за нимъ, какъ за однимъ изъ постоянныхъ любимцевъ молвы Европейской, пріятно будетъ обозрѣть кругъ жизни и дѣйствій сего знаменитаго актера.

Тальма родился въ Парижѣ 15-го Января 1760 года. При жизни его, біографы скрадывали у него нѣсколько лѣтъ и назначали 1776-й годомъ его рожденія. И такъ, не только сильные міра сего, но и владыки театральные имѣютъ своихъ льстецовъ и для нихъ также некрологія не то, что біографія. Отецъ его былъ извѣстный зубной врачъ и, кажется, сынъ его и самъ упражнялся малое время въ ремеслѣ родительскомъ. Отецъ, отправившись на житье въ Англію, оставилъ его во

Франціи въ училищѣ для первоначальнаго воспитанія. Десяти лѣтъ явилъ онъ первыя необычайныя примѣты склонности, которая со временемъ должна была развиться въ немъ съ такою силою. Начальникъ его пансіона сочинилъ трагедію: *Тамерланъ* и молодому Тальмѣ назначенъ былъ въ представленіи разсказъ о смерти героя трагедіи; отрокъ такъ вошелъ въ свою роль, такъ сроднился съ лицомъ, имъ представляемымъ, что, дошедши до трогательнѣйшаго мѣста въ разсказѣ, не могъ продолжать его, залился слезами, зарыдалъ и былъ почти безъ чувствъ вынесенъ со сцены. Какъ ни старались увѣрить его, что все происшествіе одинъ вымыслъ; но онъ былъ неутѣшенъ и время одно могло развлечь впечатлѣніе столь сильное. По окончаніи первоначальнаго ученія былъ онъ взятъ отцомъ своимъ въ Лондонъ для усовершенствованія въ наукахъ. Тутъ имѣлъ онъ снова случай играть комедіи Французскія, вмѣстѣ съ молодыми соотечественниками, жившими въ Лондонѣ, и заслужилъ оригинальною игрою всеобщія похвалы, такъ что многіе изъ знаменитыхъ посѣтителей сего спектакля, между коими находился и принцъ Валлійскій, нынѣ царствующій въ Англіи, стали уговаривать отца Тальмы, чтобы онъ склонилъ сына посвятить себя Англійской сценѣ. Предложеніе сіе тѣмъ было сбыточнѣе, что Тальма, проведшій часть молодости своей въ Англіи, зналъ совершенно Англійскій языкъ и пріобрѣлъ выговоръ народный. Вѣроятно пребыванію въ Англіи и изученію Англійскаго театра обязанъ Тальма тѣмъ перемѣнамъ, которыя онъ послѣ съ такимъ успѣхомъ совершилъ въ слишкомъ однообразной и принужденной декламаціи Французской; сіе предположеніе подтверждается и словами г-жи Сталь, сказавшей, что въ его декламировкѣ видно было искусственное соображеніе Шекспира съ Расиномъ. Для счастія Французскаго театра предложеніе Англійскихъ вельможъ не могло быть принято, и Тальма возвратился въ Парижъ. Тогда еще рѣшительнѣе предался онъ назначенію своему и, посѣщавши нѣсколько времени классы въ королевскомъ училищѣ декламаціи, подъ руководствомъ Моле и Дюгазона, явился онъ въ первый разъ на сценѣ театра Французскаго 27-го Ноября 1787 года, въ роли Сеида. Успѣхъ его

былъ блистательный. Онъ исхитилъ рукоплесканія публики, и приговоръ ея, не всегда безошибочный, былъ на этотъ разъ задаткомъ прочной славы и утвержденъ тогда-же литераторами и знатоками въ драматическомъ искусствѣ: Лемьеромъ, Палиссо и Дюсисомъ, котораго подражанія нѣкоторымъ Шекспировымъ трагедіямъ приняли послѣ лучшій блескъ свой отъ игры Тальмы и вмѣстѣ съ тѣмъ развили и дарованіе актера, болѣе способное къ выраженію ролей мрачныхъ, сильныхъ и рѣзкихъ. Ободренный счастливымъ началомъ и болѣе довѣрчивый къ себѣ, онъ намѣрился упрочить свои первые успѣхи новымъ ученіемъ и, такъ сказать, перевоспитать себя. Онъ сталъ искать знакомства литераторовъ, живописцевъ, ваятелей и въ пользу употребилъ частыя бесѣды свои съ ними. Смѣшно сказать, что на сценѣ, гдѣ владычествовалъ Вольтеръ, смѣлый гонитель предразсудковъ, гдѣ господствовали ученики и друзья его, Лекенъ и актриса Клеронъ, несообразности, анахронизмы въ костюмахъ удержались до покушенія Тальмы, который первый въ трагедіи *Брутъ*, а именно въ роли Прокула, дерзнулъ, не смотря на насмѣшки товарищей и на страхъ оскорбить преданія публики, раболѣпной къ привычкамъ своимъ, показаться въ настоящей Римской тогѣ. Въ другой разъ, въ роли самой ничтожной и гдѣ приходилось ему сказать не болѣе десяти стиховъ, явился онъ въ драпировкѣ по древнимъ образцамъ. Актриса, увидѣвшая его, вскрикнула со смѣхомъ: „Посмотрите, на что онъ похожъ! Точно древняя статуя“. Сія похвала, сказанная въ насмѣшку, показываетъ въ яркомъ видѣ тогдашнія понятія объ искусствѣ. Вскорѣ послѣ того вспыхнула Французская революція; отъ вліянія ея никто не могъ избѣгнуть во Франціи, а особливо-же изъ числа людей замѣтныхъ, и Тальма былъ увлеченъ общимъ потокомъ. Послѣ первыхъ представленій *Карла IX*, трагедіи старшаго Шенье, въ которой Тальма игралъ роль царя, епископы просили короля, чтобы запретили эту пьесу по причинѣ сильнаго дѣйствія, которое произвела она въ народѣ. Король согласился на ихъ просьбу, но Мирабо [1]) сказалъ Тальмѣ:

[1]) Мирабо былъ депутатомъ отъ Прованса.

„Заставлю моихъ Провансаловъ требовать представленія пьесы и увидимъ, чья возьметъ“. Такъ и сдѣлалось. Провансалы, къ коимъ присоединилась и Парижская публика, выкричали трагедію Шенье, и она была вновь представлена. Тальма болѣе всѣхъ изъ актеровъ содѣйствовалъ сему торжеству мнѣнія надъ властью, уже ослабѣвшею. Эта распря поселила раздоръ въ обществѣ актеровъ, которое, по словамъ одного біографа, было, какъ и представительное собраніе и самая нація, раздѣлено на противоположныя партіи. Вскорѣ несогласія и ссоры усилились: актеры издали въ свѣтъ обвиненіе противъ Тальмы; онъ отвѣчалъ имъ оправданіемъ напечатаннымъ. Вслѣдъ за этимъ диссиденты, управляемые имъ, Монвилемъ, Дюгазономъ и г-жею Вестрисъ, основали въ театрѣ, построенномъ на улицѣ Ришелье, вторую сцену Французскую, которая превосходствомъ дарованій, на ней блестѣвшихъ, и славою своихъ переселенцевъ затмила совершенно первую, такъ что принудила ее послѣ присоединиться къ ней. Въ то время Тальма былъ въ дружеской связи съ Мирабо и сей послѣдній жилъ въ его домѣ. Сей домъ существуетъ и нынѣ. Въ немъ и умеръ Мирабо, 2-го Апрѣля 1791 года. Между именами друзей Тальмы находимъ въ той-же эпохѣ имена и другихъ людей, ознаменовавшихъ себя отличіемъ дарованій и силою духа въ сію замѣчательную и бѣдственную годину: Верньо, Годе, Кондорсета, Женсонѣ. Связь съ ними была уже преступленіемъ въ глазахъ торжествующей партіи, извѣстной подъ именемъ Горы, и вскорѣ имя Тальмы подверглось обвиненію на трибунѣ Якобинцовъ и въ листахъ, порабощенныхъ ея кровожадной власти. Въ лѣтописяхъ революціи хранится воспоминаніе о праздникѣ, данномъ Тальмою въ 1792-мъ году генералу Дюмурье, отправлявшемуся для завоеванія Бельгіи, и о томъ, какъ сей праздникъ нарушенъ былъ нежданнымъ появленіемъ Марата, который, предводительствуя депутаціею Якобинцовъ, пришелъ просить отчета у Дюмурье въ томъ, что онъ осмѣлился, вопреки декрету, повелѣвающему предавать смерти эмигрантовъ, спасти жизнь многимъ изъ нихъ, попавшихъ къ нему въ руки. Бѣдственная участь жертвъ, ежедневно поражаемыхъ косою свирѣпаго судилища, угрожала и Тальмѣ;

спасеніе его отъ эшафота можно почесть чудомъ неимовѣрнымъ. Послѣ счастливаго переворота, послѣдовавшаго въ дѣлахъ Франціи низверженіемъ въ 9-е число Термидора партіи Робеспьера и его самого, новая гроза собиралась надъ головою Тальмы. Начали распускать слухи, что онъ былъ дѣятельнымъ гонителемъ товарищей своихъ, находившихся почти всѣхъ въ заточеніи, и что мнѣнія его политическія не совсѣмъ чисты. Клевета нашла слушателей легковѣрныхъ и въ публикѣ возникла противъ него партія недоброжелательная. Однажды, во время представленія трагедіи, задрали его оскорбительными рѣчами изъ партера: „Граждане!“ отвѣчалъ онъ, выходя впередъ, „всѣ друзья мои погибли на эшафотѣ“. Сей голосъ, вырвавшійся изъ души, произвелъ общій восторгъ, и Тальма восторжествовалъ надъ врагами своими. Наконецъ революція поступила въ руки Наполеона; онъ сломилъ ее и овладѣлъ жребіемъ Франціи. Съ той эпохи начинается блестящая и невозмутимая эпоха славы великаго актера. Около того времени соперники его на сценѣ трагической, или, правильнѣе, совмѣстники, ибо соперниковъ у него давно не было, Ларивъ, Монвель оставили сцену, и Тальма, игравшій до того попеременно въ трагедіяхъ и комедіяхъ, занялъ безраздѣльно мѣсто первыхъ трагическихъ ролей. Правитель и сограждане платили дань уваженія его дарованію неимовѣрному; иностранцы просвѣщенные, пріѣзжавшіе въ Парижъ, сдѣлавшійся снова сборнымъ мѣстомъ образованныхъ путешественниковъ, спѣшили повѣрять собственными глазами преданія молвы, натвердившей имя, записанное у нихъ въ счету любопытнѣйшихъ приманокъ, ожидавшихъ ихъ въ столицѣ образованности и вкуса. Съ этой эпохи до самой его смерти жизнь его была цѣпью безпрерывныхъ торжествъ на сценѣ, ибо напрасно было-бы думать, что частыя критики, прерывавшія иногда повсемѣстныя похвалы, могли омрачить сіяніе его славы. Говорятъ однако же, что придирки извѣстнаго журналиста Жофруа́, котораго умъ природный и свѣдѣнія часто были совершенно омрачены предубѣжденіями и пристрастіемъ непростительнымъ, вывели однажды изъ терпѣнія трагика, отмстившаго строгому аристарху отплатою физическою. Тальма извѣстенъ былъ Напо-

леону еще до похода въ Египетъ и тогда уже пользовался его уваженіемъ. По возвращеніи во Францію, во время консульства и царствованія его на тронѣ Франціи, еще болѣе ознаменовалось благоволеніе его къ нему. По низверженіи Наполеона, когда онъ принужденъ былъ заживо подвергнуться суду умершихъ Египетскихъ царей и слышать о себѣ строгія истины исторіи и нелѣпыя сказки, которыя также входятъ въ ея составъ, досужные памфлетеры стали увѣрять, что Наполеонъ бралъ у Тальмы уроки, готовясь къ представленію коронаціи и новой роли, которую онъ принималъ, возлагая на себя корону императорскую. По неожиданномъ возвращеніи своемъ съ острова Эльбы, на коемъ Наполеонъ слѣдовалъ за всѣми движеніями Франціи и читалъ все, что̀ о немъ печаталось, при свиданіи своемъ съ Тальмою сказалъ онъ ему: „И такъ, говорятъ, что я вашъ ученикъ. Впрочемъ, тѣмъ лучше; если Тальма былъ моимъ учителемъ, то это доказательство, что я хорошо разыгралъ свою роль“. По достовѣрнымъ источникамъ, видно напротивъ, что Тальма воспользовался во многомъ рѣзкими и свѣтлыми замѣчаніями Наполеона, котораго умъ всеобъемлющій и проницательный кидалъ орлиные взгляды на все, что обращало его вниманіе. Приведемъ тому нѣсколько доказательствъ, сохраненныхъ намъ біографами Тальмы. Въ то время, когда Наполеонъ преобразовалъ Французскую республику въ имперію, Тальма почелъ обязанностію воздержаться отъ непринужденнаго обращенія, которое онъ имѣлъ съ нимъ, и пересталъ ходить во дворецъ. Наполеонъ вскорѣ замѣтилъ его отсутствіе и велѣлъ ему сказать, что онъ всегда имѣетъ входъ во дворецъ въ часъ завтрака. Въ сіи свиданія возникали между ними продолжительные разговоры, въ коихъ, повидимому, Наполеонъ принималъ живое участіе. Одно изъ замѣчательнѣйшихъ происходило въ С.-Клу, на другой день представленія трагедіи *Британника*, въ коей Тальма игралъ роль Нерона. Былъ большой съѣздъ во дворцѣ: принцы, министры, всѣ государственные чины, послы иностранные ожидали Наполеона въ тронной залѣ, а онъ разсуждалъ съ Тальмою объ искусствѣ трагическомъ и разбиралъ его вчерашнюю игру. „Я желалъ-бы видѣть,—говорилъ

онъ,—въ вашей игрѣ борьбу природы порочной съ хорошимъ воспитаніемъ; желалъ-бы также, чтобы вы сохраняли болѣе спокойствія, дѣлали менѣе движеній; такіе характеры не выказываются въ наружѣ: они болѣе сосредоточиваются въ себѣ. Напрасно еще думаете вы, что король, императоръ не можетъ быть никогда запросто человѣкомъ. Но и вы въ своемъ простомъ быту, вы сами по домашнему, въ семьѣ своей, не то, что́ при гостяхъ и въ людяхъ. Когда Неронъ одинъ съ своею матерью, онъ не можетъ быть такимъ, каковъ онъ во второмъ актѣ. Прочтите Светонія. Конечно, когда люди на степени видной, облеченные въ званіе возвышенное, предаются размышленіямъ важнымъ или волнуются страстями, то должны и говорить они съ бо́льшею силою, но все же рѣчь ихъ должна быть имъ свойственная и естественная". И тутъ-же, занятый всегда мыслію, которая господствовала во всѣхъ дѣйствіяхъ жизни его, Наполеонъ вдругъ обратился къ себѣ: „Напримѣръ, теперь мы изъясняемся какъ въ обыкновенномъ разговорѣ, а между тѣмъ работаемъ для исторіи. Будущій мой историкъ скажетъ, что Наполеонъ, когда весь дворъ ожидалъ его появленія, занятъ былъ бесѣдою съ скоморохомъ (histrion: сіе слово употреблено Наполеономъ и сохранено въ разсказѣ Тальмы) и давалъ ему наставленія, какъ выражать свою роль. Вотъ что скажутъ обо мнѣ, если захотятъ меня изобразить въ истинномъ видѣ, а не всегда съ бархатною мантіею на плечахъ. Неронъ съ матерью уже не императоръ: онъ сынъ, скучающій опекою и данными клятвами. Самъ Расинъ вамъ о томъ напоминаетъ:

„Neron cesse de se contraindre".

Актеръ понялъ своего критика, и съ той поры въ ролѣ Нерона, особливо же въ явленіяхъ съ матерью, выражался съ какою-то свободою и чувствомъ досады, которыя, лишивъ игру его однообразной величественности, придали ей поразительную простоту. Въ другой разъ, одна изъ сихъ бесѣдъ рѣшила важную политическую мѣру, одаривъ Евреевъ во Франціи гражданскимъ бытіемъ. Въ первыхъ дняхъ Іюля 1806 года представляли при дворѣ трагедію *Эсѳирь*. На другой день Тальма, по

обыкновенію, явился къ завтраку императорскому; тутъ былъ и Шампаньи, тогдашній министръ внутреннихъ дѣлъ. Разговоръ коснулся вчерашняго представленія и народа Еврейскаго. „Что это за люди Евреи?“ обратился императоръ съ вопросомъ къ министру. „Какое ихъ существованіе? Заготовьте мнѣ записку о нихъ“. Записка была подана и около пятнадцати дней послѣ сего разговора созвано было первое собраніе именитыхъ Евреевъ, въ предположеніи устроить жребій сего народа и дать ему во Франціи законное существованіе. Послѣ представленія трагедіи *Смерть Помпея*, въ коей Тальма игралъ Цезаря, Наполеонъ, разговаривая съ нимъ о томъ, какъ понимаетъ онъ эту роль, заключилъ сужденіе свое замѣчаніями прозорливости отмѣнной и актеръ, каковъ былъ Тальма, глубоко проникнутый духомъ своего искусства, не могъ не признать ихъ справедливости и не воспользоваться ими. „Высказывая“ — говорилъ Наполеонъ, — „свою длинную выходку противъ царей, въ коей находится сей стихъ:

Pour moi qui tiens le trône égal à l'infamie,

Цезарь ни въ одномъ словѣ не мыслитъ того, что́ говоритъ: онъ такъ изъясняется потому, что за нимъ стоятъ Римляне, коихъ выгодно ему увѣрить, что онъ ужасается престола; но онъ самъ отнюдь не думаетъ, что престолъ сей, сдѣлавшійся цѣлью всѣхъ его желаній, былъ бы предметомъ, достойнымъ пренебреженія. Не должно заставлять его говорить какъ человѣка убѣжденнаго, и тайное противорѣчіе должно быть рачительно выказано актеромъ“. Сіи новыя и глубокомысленныя соображенія были схвачены Тальмою въ совершенствѣ и въ первое представленіе той же трагедіи, данное въ Фонтенебло, онъ съ такою удивительною истиною вникъ въ понятія Наполеона, что сей былъ въ восторгѣ и сказалъ, что въ первый разъ видѣлъ Цезаря. Безъ сомнѣнія и по самолюбію его, ревнующему ко всѣмъ родамъ превосходства и торжествъ, было пріятно ему видѣть, что совѣты его служили вдохновеніемъ великому художнику. Впрочемъ Тальма слушался часто и своихъ собственныхъ вдохновеній и критическаго изученія лицъ, которыхъ воскрешалъ на сценѣ.

До него, напримѣръ, актеры произносили всегда съ какою то самодовольною напыщенностью извѣстный стихъ въ ролѣ Эдипа:

J'étais jeune et superbe.

Тальма почувствовалъ, что Эдипъ, отягченный лѣтами и бѣдствіями, не могъ воспоминать съ гордостью и какимъ то самохвальствомъ свои молодые и блестящіе года, и онъ эти слова произносилъ почти въ полголоса и съ унынiемъ, какъ и быть должно. Когда Наполеонъ собирался въ Эрфуртъ для свиданія сі Императоромъ Александромъ, Тальма просилъ позволенія ѣхать за дворомъ; онъ получилъ на то позволеніе, и тогда-же велѣно было отправиться вмѣстѣ съ нимъ первымъ актёрамъ сцены трагической. Въ день осмотра поля Іенской битвы, гдѣ приготовленъ былъ великолѣпный воинскій праздникъ, актёры играли Французскую трагедію въ Веймарѣ, находящемся въ ближайшемъ разстояніи отъ поля сраженія, чѣмъ Эрфуртъ. По словамъ Наполеона, Тальма имѣлъ тутъ предъ собою партеръ царей. Замѣчательно, что по назначенію Французскаго Императора давали въ сей вечеръ *Смерть Цезаря*. Роль Брута, пересозданная Тальмою въ 1792 и 93-мъ годахъ и безпрестанно съ того времени имъ изучаемая, есть одна изъ тѣхъ, въ коихъ онъ самъ себя превосходилъ. Онъ въ ней обнаруживалъ такое глубокое познаніе древности, такое добросердечіе, соединенное съ стоицизмомъ непреклоннымъ, такую простоту, совершенно до него неизвѣстную, что видѣнъ былъ въ немъ человѣкъ, самъ возмужавшій въ раздорахъ междоусобныхъ, долго и зрѣло размышлявшій о ихъ дѣйствіи, и сей плодъ жизни и размышленій своихъ передавалъ онъ на сценѣ съ истиною разительною и потрясающею.

На островѣ Св. Елены Наполеонъ сказывалъ, что онъ когда-то хотѣлъ дать Тальмѣ крестъ Почетнаго Легіона, но устрашился общественнаго мнѣнія. „Въ системѣ моей“,—говорилъ онъ,—„сочетать всѣ роды достоинства и утвердить одну награду всеобщую, я намѣренъ былъ дать крестъ Почетнаго Легіона Тальмѣ, но остановился передъ своенравіемъ нравовъ нашихъ и рѣшился сдѣлать попытку маловажнѣйшую: я далъ орденъ Желѣзной Короны Кресчентини (Итальянскій пѣвецъ). Отличіе было

иностранное и онъ самъ былъ иностранецъ: мнѣ казалось, что мѣра не такъ будетъ замѣтна. Попытка моя была неудачна". Въ самомъ дѣлѣ, сія милость, до того не виданная, возбудила страшный ропотъ въ гостиныхъ предмѣстья Сенъ-Жерменскаго и подверглась единогласному негодованію. Частыя сношенія Тальмы съ Наполеономъ должны были имѣть вліяніе глубокое на актёра, размышлявшаго о своемъ искусствѣ: онъ имѣлъ передъ глазами историческое лицо, могъ учиться по немъ тайнамъ сердца человѣческаго, игрѣ страстей, драматическимъ дѣйствіямъ оныхъ, столь разительно развивающимся тамъ, гдѣ кругъ ихъ обширнѣе и возвышеннѣе, однимъ словомъ, могъ образовать себя по живому образцу размѣра необыкновеннаго. Сіе трагическое ученіе отзывалось особенно въ игрѣ въ нѣкоторыхъ новыхъ трагедіяхъ, представленныхъ уже по низверженіи Наполеона и наведенныхъ авторами живымъ колоритомъ Наполеонизма. Въ *Германикѣ*, въ *Силлѣ* онъ возбуждалъ въ партерѣ воспоминаніе о современникѣ, заживо перешедшемъ въ область исторіи и коего эпоха величія и опалы, равно поэтическія и драматическія, столь сильно должны были дѣйствовать на память, воображеніе и чувства народной массы, еще недавно одушевленной его могущественнымъ присутствіемъ.

На драматическомъ поприщѣ Тальмы замѣчательно, что рѣшительнѣйшее развитіе его дарованія и важныя перемѣны, введенныя имъ въ свою игру и декламацію, по собственному признанію его, были слѣдствіемъ сильной нервической болѣзни, коей свойство и ходъ были такъ необыкновенны, что знаменитые врачи Корвизаръ и Алиберъ, пользовавшіе его въ то время слѣдовали за нею, какъ за феноменомъ. Въ разсужденіяхъ своихъ о Лекенѣ, напечатанныхъ при запискахъ послѣдняго, Тальма замѣчаетъ тоже дѣйствіе и въ жизни сего великаго актёра и утверждаетъ, что и онъ обязанъ былъ сильной болѣзни блескомъ, коимъ сіяли послѣдніе годы его бытія театральнаго.

Не кстати слѣдовать намъ за Французскими критиками въ сужденіяхъ объ игрѣ его въ различныхъ роляхъ. Ограничимся выпискою изъ сочиненія г-жи Сталь (*О Германіи*). „Мнѣ кажется",—говоритъ она,—что Тальма можетъ быть пред-

ставленъ въ образецъ смѣлости и соразмѣрности, простоты и величественности. Онъ обладаетъ всѣми тайнами искусствъ различныхъ; его аттитюды напоминаютъ прекрасныя статуи древности; одежда на немъ, какъ бы безъ вѣдома его, драпируется во всѣхъ движеніяхъ его, какъ будто имѣлъ онъ время располагать её на досугѣ въ совершенномъ спокойствіи. Выраженіе лица его всегда должно быть изученіемъ всѣхъ живописцевъ. Иногда онъ является съ глазами полуоткрытыми и вдругъ чувство зажигаетъ въ нихъ лучи свѣта, которые, кажется, озаряютъ всю сцену".

„Звукъ голоса его потрясаетъ, какъ только начнетъ онъ говорить и прежде чѣмъ смыслъ рѣчей имъ произносимыхъ успѣетъ возбудить умиленіе. Когда въ трагедіяхъ встрѣчались стихи описательные, онъ выражалъ красоты ихъ, какъ будто самъ Пиндаръ произносилъ свои пѣсни. Инымъ нужно собраться съ силами, чтобы растрогать, и хорошо они дѣлаютъ, что готовятся, но въ голосѣ этого человѣка есть какое-то волшебство, которое съ первыхъ пріемовъ пробуждаетъ все сочувствіе сердца. Прелесть музыки, живописи, поэзіи, и, сверхъ всего, прелесть языка души, вотъ средства, которыми развиваетъ онъ въ слушателѣ все могущество страстей великодушныхъ и ужасныхъ".

„Какое познаніе человѣческаго сердца обнаруживаетъ онъ въ соображеніи своихъ ролей! Онъ ихъ второй творецъ по выраженію и физіономіи.

„Въ *Андромахѣ* Герміона въ изступленіи обвиняетъ Ореста въ убійствѣ Пирра безъ ея согласія; Орестъ отвѣчаетъ:

Quoi! ne m'avez vous pas
Vous même ici, tantôt, ordonné son trépas?

Говорятъ, что Лекенъ, когда говорилъ сіи стихи, напиралъ на каждое слово, какъ будто съ тѣмъ, чтобы напоминать Герміонѣ о всѣхъ подробностяхъ приказанія, отъ нея полученнаго. Оно было бы кстати передъ судіею; но когда предстоишь передъ женщиною любимою, тогда отчаяніе, что видишь ее несправедливою и жестокою, есть единственное чувство, душу наполняющее. Такимъ образомъ и Тальма постигалъ сіе положеніе: вопль вырывается изъ сердца Ореста; онъ произноситъ

первыя слова съ силою, а слѣдующія съ изнеможеніемъ, постепенно возрастающимъ: руки опускаются, лицо въ одно мгновеніе покрывается блѣдностью смерти и состраданіе зрителей увеличивается, по мѣрѣ какъ онъ самъ теряетъ силу выражать чувства свои.

„Въ твореніяхъ, извлеченныхъ изъ исторіи Римской, Тальма ознаменовываетъ дарованіе совсѣмъ другаго рода, но не менѣе замѣчательное. Увидѣвъ игру его въ роли Нерона, лучше понимаешь Тацита; онъ въ ней являетъ умъ необыкновенно проницательный, ибо содѣйствіемъ одного ума можетъ душа честная постичь признаки преступленія; мнѣ кажется, однакоже, что онъ производитъ еще болѣе дѣйствія въ роляхъ, гдѣ, слушая его, любимъ предаваться чувствамъ, которыя онъ выражаетъ. Благодаря ему, лишился Баярдъ въ трагедіи Дю-Белоа замашекъ молодечества, которыя прежніе актеры почитали себя въ обязанности придать ему: сей герой, Гасконецъ, по милости Тальмы удержалъ въ трагедіи простоту, которую имѣетъ онъ въ исторіи. Одѣяніе его въ сей роли, рукодвиженія непринужденныя и умѣренныя напоминаютъ о рыцарскихъ статуяхъ, видимыхъ въ древнихъ церквахъ: удивляешься, какъ человѣкъ, столь глубоко проникнутый чувствомъ искусства древняго, можетъ также хорошо присвоивать себѣ и характеръ среднихъ вѣковъ.

„Тальма играетъ иногда роль Фарана въ трагедіи Дюсиса *Абюфаръ*, Аравійскаго содержанія. Множество стиховъ восхитительныхъ придаютъ сей трагедіи большую прелесть: краски Востока, задумчивое уныніе полудня Азіятскаго, уныніе тѣхъ странъ, гдѣ жаръ не украшаетъ, а сожигаетъ природу, отзываются въ семъ твореніи съ отмѣнною живостью. Тотъ же Тальма, Грекъ, Римлянинъ и рыцарь, настоящій Аравитянинъ, житель пустыни, исполненный силы и любви; взоры его какъ будто подернуты, чтобы уберечься отъ зноя солнечнаго; въ движеніяхъ его видна удивительная переходчивость изъ томленія въ стремительность: то онъ подавленъ рокомъ, то кажется могущественнѣе самой природы и побѣждаетъ ее; страсть къ женщинѣ, почитаемой имъ за сестру, пожираетъ его и таится у

него въ сердцѣ: по невѣрнымъ шагамъ его можно подумать, что онъ отъ себя бѣжать хочетъ; глаза его отвращаются отъ той, которую онъ любитъ; руки отталкиваютъ образъ, которымъ онъ мысленно преслѣдуемъ неотступно, и когда онъ наконецъ прижимаетъ Салему къ сердцу, говоря просто: мнѣ холодно! онъ умѣетъ выразить въ одно время и дрожь души и сокрушительный зной, который хочетъ скрывать.

„Можно найти много погрѣшностей въ трагедіяхъ Шекспира, принаровленныхъ къ нашему театру Дюсисомъ, но несправедливо было бы не признавать въ нихъ и красотъ первостепенныхъ: геній Дюсиса заключается въ сердцѣ его, и тутъ онъ на своемъ мѣстѣ. Тальма разыгрываетъ его творенія съ дружескимъ уваженіемъ къ прекрасному таланту благороднаго старца. Сцена колдуній въ *Макбетѣ* преобразована въ разсказъ въ трагедіи Французской. Надобно видѣть, какъ Тальма пытается передать зрителямъ смѣсь простонародности и сверхъестественности въ выраженіи колдуній, сохраняя притомъ въ семъ подражаніи величавость, требуемую нашимъ театромъ.

Par des mots inconnus, ces êtres monstrueux
S'appelaient tour à tour, s'applaudissaient entréux.
S'approchaient, me montraient avec un ris farouche,
Leur doigt mistérieux se posait sur leur bouche,
Je leur parle, et dans l'ombre ils échappent soudain
L'une avec un poignard, l'autre un sceptre à la main.
L'autre d'un long serpent serrait le corps livide,
Tous trois vers ce palais ont pris un vol rapide,
Et tous trois, dans les airs, en fuyant loin de moi
M'ont laissé pour adieu ces mots: Tu seras roi.

„Голосъ пониженный и таинственный актера при произношеніи сихъ стиховъ, палецъ приложенный къ губамъ, какъ у статуи молчанія, взглядъ, измѣняющійся для выраженія воспоминанія ужаснаго и отвратительнаго: все соображено было, чтобы перевести новую на театрѣ нашемъ стихію чудесности, о которой никакое предыдущее преданіе не давало понятія.

„Изъ трагедіи чужестраннаго театра торжество его Гамлетъ. На Французской сценѣ зрители не видятъ тѣни Гамлетова отца: видѣніе совершается въ одной физіономіи Тальмы и безъ со-

мнѣнія оно тѣмъ не менѣе ужасно. Когда, посреди разговора спокойнаго и грустнаго, онъ вдругъ усматриваетъ тѣнь, то не возможно не слѣдовать за всѣми ея движеніями по глазамъ, къ ней обращеннымъ, не возможно сомнѣваться о присутствіи привидѣнія, когда подобный взоръ вамъ о томъ свидѣтельствуетъ.

„Когда въ третьемъ актѣ Гамлетъ приходитъ одинъ на сцену и сказываетъ въ прекрасныхъ Французскихъ стихахъ извѣстный монологъ: To be or not to be:

La mort c'est le sommeil, c'est un reveil peut-être,
Peut-être.—Ah! c'est le mot qui glace, epouvanté,
L'homme, au bord du cercueil, par le doute arrêté,
Devant ce vaste abime, il se jette en arrière,
Ressaisit l'éxistence et s'attache à la terre,

—Тальма не дѣлалъ ни одного рукодвиженія, иногда только потрясалъ онъ головою, чтобы допрашивать землю и небо о томъ, что̀ есть смерть. Онъ былъ болѣе неподвиженъ; глубокость размышленія поглощала все его существо. Видѣнъ былъ человѣкъ, посреди двухъ тысячъ людей безмолвныхъ, вопрошающій мысль о судьбѣ смертныхъ! Черезъ нѣсколько лѣтъ все, что тутъ было, существовать не будетъ, но другіе люди предстанутъ въ свою очередь съ тѣми же недоумѣніями и также опускаться будутъ въ пропасть, не вѣдая ея глубины. Когда Гамлетъ заставляетъ клясться свою мать надъ сосудомъ, хранящимъ прахъ ея супруга, что она не участвовала въ убійствѣ, пресѣкшемъ жизнь его, она мнется, смущается и наконецъ признается въ преступленіи, совершонномъ ею; тогда Гамлетъ обнажаетъ кинжалъ, чтобы по повелѣнію родителя вонзить его въ грудь матери; но въ самую минуту, какъ готовится онъ нанесть ударъ, нѣжность и жалость превозмогаютъ и, обращаясь къ тѣни отца, взываетъ онъ: „grâce, grâce, mon père!“ съ выраженіемъ, въ которомъ, кажется, сосредоточились всѣ чувства природы, всѣ впечатлѣнія сердца, и, кидаясь къ ногамъ матери изнемогающей, онъ сказываетъ ей два стиха, заключающіе въ себѣ жалость неистощимую:

Votre crime est horrible, exécrable, odieux;
Mais il n'est pas plus grand que la bonté des dieux,

„Наконецъ нельзя думать о Тальмѣ, не вспомня *Манлія*. Сія трагедія производила мало дѣйствія на театрѣ: содержаніе ея то же, что́ *Избавленіе Венеціи*, трагедія Отвая, перенесенное въ событіе Римской исторіи. Манлій составляетъ заговоръ противъ Римскаго сената и повѣряетъ тайну свою Сервилію, съ которымъ онъ друженъ уже пятнадцать лѣтъ: онъ вѣритъ въ него вопреки подозрѣніямъ друзей своихъ, не полагающихся на малодушнаго Сервилія, привязаннаго къ женѣ своей, дочери консула. Боязнь заговорщиковъ вскорѣ оправдывается. Сервилій не можетъ утаить отъ жены опасность, угрожающую ея родителю, которому она открываетъ оную. Манлій взятъ подъ стражу, умышленія его дознаются и сенатъ приговариваетъ его къ низверженію со скалы Тарпейской.

„До Тальмы, въ семъ твореніи, слабо написанномъ, почти не замѣчали страсти въ дружбѣ, питаемой Манліемъ къ Сервилію. Когда записка заговорщика Рушила извѣщаетъ, что тайна выдана и выдана Сервиліемъ, Манлій приходитъ съ сею запискою въ рукѣ; онъ приближается къ другу преступному, уже терзаемому раскаяніемъ, и, показывая ему строки уличительныя, говоритъ: Qu'en dis-tu? Ссылаюсь на всѣхъ, слышавшихъ сіи слова изъ устъ Тальмы: физіогномія и звукъ голоса могутъ ли въ одно время выразить болѣе впечатлѣній разнородныхъ: изступленіе, смягчаемое внутреннимъ чувствомъ жалости, негодованіе, которое отъ дружбы становится и живѣе и слабѣе, какъ излить ихъ, если не въ выраженіи души, подающей вѣсть душѣ безъ посредства словъ. Манлій обнажаетъ кинжалъ, чтобы поразить Сервилія; рукою своею ищетъ онъ сердца и страшится найти: воспоминаніе о многолѣтней дружбѣ къ Сервилію воздымаетъ какъ бы облако слезъ между мщеніемъ и другомъ.

„Мало говорено о пятомъ актѣ, а можетъ быть Тальма въ немъ еще превосходнѣе, чѣмъ въ четвертомъ. Сервилій на все отваживается, чтобы искупить свою вину и спасти Манлія: въ глубинѣ сердца рѣшился онъ раздѣлить участь друга, если тому погибнуть должно. Скорбь Манлія услаждена сожалѣніемъ Сервилія; однакоже онъ не смѣетъ сказать ему, что прощаетъ его предательство ужасное, но схватываетъ украдкою руку Сер-

вилія и прижимаетъ ее къ сердцу; невольныя движенія его ищутъ друга виновнаго, котораго онъ еще разъ хочетъ обнять передъ разлукою вѣчною. Ничто или почти ничто въ трагедіи не указывало на сіе восхитительное свойство души чувствительной, которая еще помнитъ долгую привязанность, даже и тогда, когда предательство ее рушило. Роли Петра и Жафьера въ Англійскомъ произведеніи выказываютъ сіе положеніе съ удивительнымъ успѣхомъ. Тальма умѣлъ дать трагедіи *Манлій* нравственную силу, ей недостающую, и ничто не приноситъ такой чести дарованію его, какъ истина, съ которою онъ выражаетъ то, что́ есть въ дружбѣ непобѣдимаго. Страсть можетъ возненавидѣть предметъ любви своей; но тамъ, гдѣ связь укрѣплена священными соотношеніями души, тамъ, кажется, и самое преступленіе не въ силахъ ее уничтожить: тамъ ждешь раскаянія, какъ послѣ долгой разлуки ожидаешь возвращенія".

Не смотря на сіи и такъ уже длинныя выписки изъ книги г-жи Сталь, не можемъ удержаться отъ удовольствія привести еще одно письмо знаменитой женщины къ знаменитому актеру, письмо мало извѣстное. Кромѣ того, что пріятно заниматься извлеченіями изъ сочиненій автора, всегда исполненнаго мысли и чувства, но намъ кажется, что и для многихъ читателей сіи выписки могутъ показаться занимательными, тѣмъ болѣе, что, по странному небреженію, большая часть изъ сочиненій г-жи Сталь можетъ имѣть еще цѣну новости на языкѣ нашемъ.

ПИСЬМО КЪ ТАЛЬМѢ.

Іюль, 1809.

„Не бойтесь, чтобы я послѣдовала г-жѣ Милордъ и возложила на вашу голову вѣнокъ, въ минуту наиболѣе патетическую; но васъ могу сравнивать только съ вами самими и потому скажу вамъ, Тальма, что вчера вы превзошли совершенство и самое воображеніе. Есть въ этомъ произведеніи, не смотря на всѣ его погрѣшности, обломокъ трагедіи, которая сильнѣе нашей, и дарованіе ваше явилось мнѣ въ роли Гамлета, какъ геній Шекспира, но безъ его неровностей, безъ его повадокъ (gestes familiers), внезапно облагороженныхъ до высшей степени благородства. Сія неизмѣримость природы, сіи запросы о жребіи на-

шемъ общемъ, въ виду сей толпы, которая умретъ и казалось слушала васъ, какъ вѣщателя рока; сіе явленіе привидѣнія ужаснѣйшаго во взорахъ вашихъ, чѣмъ въ самомъ грозномъ образѣ; сіе глубокое уныніе, сей голосъ, сіи взгляды, повѣдающіе чувства, сей характеръ выше всѣхъ размѣровъ человѣческихъ: все это восхитительно, три раза восхитительно, и сіи впечатлѣнія, которымъ подобныхъ искусство еще никогда во мнѣ не рождало, независимы отъ дружбы моей къ вамъ: я васъ люблю въ комнатѣ, въ роляхъ, гдѣ вы равны себѣ; но въ сей роли Гамлета вы увлекаете мой восторгъ до того, что это уже были не вы, что это была не я: это была поэзія взглядовъ, выраженій, движеній, до которой еще ни одинъ писатель не достигнулъ. Прощайте. Извините меня, что я пишу къ вамъ, когда ожидаю васъ сегодня утромъ въ часъ, а вечеромъ въ восемь; но если приличія общественныя не должны были бы все умѣрять и задерживать, то не знаю, не бросилась-ли бы я вчера съ гордостью къ вамъ, чтобы поднести вѣнокъ, который принадлежитъ вашему таланту болѣе чѣмъ всякому иному: вы тутъ уже не актеръ, вы человѣкъ, возвышающій природу человѣческую, давая намъ новое понятіе. Прощайте до часа. Не отвѣчайте мнѣ, но любите меня за мое восхищеніе“.

Тальма былъ женатъ и жена его также являлась на сценѣ съ успѣхомъ. Изъ свѣдѣній, собранныхъ нами выше, можно убѣдиться, что онъ былъ человѣкъ умный, свѣдущій и благороднаго характера. Одинъ талантъ, какъ онъ ни будь великъ, и особливо же талантъ сценическій, не достаточенъ, чтобы привлечь личное уваженіе и пріязнь людей отличныхъ, а мы видѣли, что Тальма имѣлъ друзей, коими гордиться можно. Въ домашней жизни и въ общежитіи онъ былъ такъ же привлекателенъ, какъ былъ восхитителенъ на сценѣ. Вотъ что̀ говоритъ о знакомствѣ своемъ съ нимъ леди Морганъ, въ сочиненіи о Франціи, а сей свидѣтель, какъ Англійской націи, не подозрителенъ въ излишнемъ потворствѣ. „Величавость и сила трагическія Тальмы на сценѣ образуютъ противоположность, равно разительную и пріятную, съ простотою, радушіемъ, веселостью его обхожденія въ обществѣ. Никогда не встрѣчавшись съ Коріоланомъ въ го-

стиной и видѣвши его только на форумѣ, я думала, что найду въ семъ актерѣ, въ быту домашнемъ, торжественность и напыщенность, присвоенныя его званію, пріемъ холодный, рѣчь мѣрную; однимъ словомъ, думала найти актера; но, напротивъ, я замѣтила въ простыхъ обычаяхъ и непринужденномъ обращеніи сего знаменитаго человѣка одни признаки хорошаго воспитанія и совершеннаго умѣнья жить".

Многіе изъ нашихъ соотечественниковъ также знали его лично и успѣли оцѣнить въ немъ прекрасныя качества актера и человѣка, а одинъ изъ нихъ, В. Л. Пушкинъ, былъ съ нимъ въ дружеской связи, во время пребыванія своего въ Парижѣ, о коемъ можетъ сказать онъ съ отраднымъ воспоминаніемъ:

Не улицы однѣ, не площади и домы,
Дилиль, Сенъ-Пьеръ, Тальма мнѣ были тамъ знакомы.

Въ часы досуга актеръ давалъ Русскому поэту уроки въ декламаціи Французской и перечитывалъ съ нимъ нѣкоторыя изъ своихъ ролей. Многимъ, можетъ быть, еще памятно, какъ въ обществѣ пріятелей и пріятельницъ, Василій Львовичъ любилъ декламировать, между прочимъ, разсказъ Макбета, выше упоминаемый. Сообщаемъ читателямъ остроумную записку Тальмы къ нему:

Je n'ai point de crime à commettre samedi. Ma conscience est à l'aise ce jour là. Je n'ai affaire ni aux Euménides, ni aux Furies; elles ont bien voulu m'accorder cet intervalle de repos pour aller offrir mon hommage à Madame la Princesse Dolgorouki. A samedi donc, tout à vous Talma [1]).

Не станемъ входить въ подробное описаніе обстоятельствъ, послѣдовавшихъ за болѣзнію и кончиною Тальмы, умершаго въ Парижѣ 19-го октября 1826 года. Они слишкомъ еще свѣжи въ памяти читателей газетныхъ. Если получимъ полныя жизнеописанія его, вышедшія во Франціи уже по его смерти, то можно

[1]) Не совершаю никакого преступленія въ субботу. Въ этотъ день моя совѣсть на просторѣ. Не буду имѣть дѣла ни до Эвменидъ, ни до Фурій; имъ угодно было дать мнѣ сей отдыхъ, чтобы я могъ засвидѣтельствовать мое почтеніе княгинѣ Долгоруковой. И такъ до субботы, весь вашъ Тальма.

будетъ извлечь изъ нихъ дополненіе къ сей статьѣ, писанной, такъ сказать, за глаза, подъ руководствомъ свѣдѣній разбросанныхъ по разнымъ біографическимъ словарямъ и театральнымъ альманахамъ. Можетъ быть, придется и поправить нѣкоторыя погрѣшности, въ которыя могли вовлечь невольно различные указатели. Замѣчательно, что погребеніе Тальмы совершилось безъ шума и безъ народнаго волненія. Извѣстно, что Французскіе актеры отлучены отъ церкви и что смертные останки ихъ не могутъ быть отпѣваемы въ храмѣ Божіемъ, если актеры при жизни не отреклись отъ званія своего. Намъ, сѣвернымъ варварамъ, по выраженію нѣкоторыхъ соевропейцевъ, кажется неимовѣрнымъ сей обычай просвѣщеннаго Запада. Всего въ этомъ дѣлѣ забавнѣе, или прискорбнѣе, судя по точкѣ, съ которой смотришь, есть исключеніе изъ сего постановленія, — кого-же? оперныхъ актеровъ и оперныхъ танцовщицъ, потому что Французская опера, то есть, театръ, на коемъ даются большія оперы и балеты, именуется королевскою академіею музыки, и такимъ образомъ академическія фигурантки, или плясовые академики, вакханки, баядерки, нимфы пользуются, подъ академическою фирмою, правомъ, отъ коего отрѣшены трагическія Эсѳири, Аталіи, Меропы. Разумѣется, что не всѣ во Франціи признаютъ красоту сего чуднаго установленія, и потому погребеніе актера въ Парижѣ нерѣдко бываетъ поводомъ къ явленіямъ существенно-трагическимъ. Памятно, какъ въ день погребенія актера Филиппа, народъ бросился къ дворцу и просилъ Карла X, не задолго передъ тѣмъ вступившаго на престолъ, разрѣшить выносъ гроба въ церковь. Король выслушалъ депутацію благосклонно, но не принялъ на себя разрѣшенія дѣла, не подлежащаго его вѣдѣнію. Тальма, желая избѣгнуть невольнаго дѣйствія въ драмѣ по смерти, назначилъ въ духовномъ завѣщаніи своемъ, чтобы прямо понесли тѣло его на кладбище. Такъ и было сдѣлано. Обрядъ погребенія его совершился спокойнѣе, но не менѣе величественно и умилительно. Люди, отличные по дарованіямъ и по знанію своему, литтераторы, ученые, художники, государственные сановники, многочисленная толпа народа слѣдовали въ глубокой, тихой горести за гробомъ

любимца своего, который нѣкогда съ такою силою волновалъ ихъ души впечатлѣніями возвышенными, поражалъ изящнымъ ужасомъ, увлекалъ могуществомъ вдохновенія, и былъ для нихъ избраннымъ посредникомъ между міромъ идеальнымъ и міромъ положительнымъ, между исторіею и поэзіею. Товарищи его и литераторы въ рѣчахъ надгробныхъ заплатили дань признательности общественной человѣку и согражданину. Тотчасъ открылась подписка на сооруженіе памятника незабвенному въ лѣтописяхъ драматическихъ, и значительныя суммы отъ разныхъ лицъ, отъ разныхъ званій, изъ разныхъ мѣстъ сливаются для выраженія одного чувства, одного высокаго помышленія: увѣковѣчить знаменіе благодарности современной. Жизнь, дарованія Тальмы были достояніемъ народнымъ; смерть его почитается народною печалью. Должно отдать справедливость Французамъ: они хорошо понимаютъ просвѣщенный патріотизмъ, и сіе чувство горести народной, если хотятъ народнаго самохвальства, должно быть чувствомъ живительнымъ и производительнымъ. Какъ не предпочесть его мудрому безстрастію, стоической неподвижности, которыя молча совершаютъ свое поприще и не озаряютъ ни однимъ восторгомъ, и не оглашаютъ ни однимъ сердечнымъ словомъ гробовое молчаніе населенной пустыни.

Статья наша, вѣроятно, покажется инымъ читателямъ непомѣрно и не кстати длинною. Оно, можетъ быть, и такъ. Но у насъ вообще такъ мало дѣльнаго говорится о драматическомъ искусствѣ, о театрѣ и о сценическихъ представителяхъ его; нашъ театръ со всѣми принадлежностями стоитъ такъ одиноко, обращаетъ на себя такое маловажное и второстепенное вниманіе, что мы воспользовались случаемъ и не прямо до насъ относящимся, чтобы выставить театральные вопросы въ надлежащемъ ихъ видѣ. Русскіе актеры, или готовящіеся къ этому званію, могутъ извлечь полезныя свѣдѣнія и поощренія изъ очерка, набросаннаго нами. Они увидятъ изъ примѣра, даннаго Тальмою, какими приготовительными началами, какимъ долготерпѣніемъ въ изученіи искусства, какими усиліями образуются великіе сценическіе художники. Хорошіе-ли драматическіе писатели пробуждаютъ хорошихъ актеровъ, или, на оборотъ, хоро-

шіе-ли актеры содѣйствуютъ развитію драматическаго искусства въ данную эпоху,—вопросъ еще не совершенно рѣшеный. Вѣроятно тѣ и другіе служатъ себѣ взаимно вспомогательными средствами. Но нѣтъ сомнѣнія, что тамъ, гдѣ мало творчества въ драматическихъ, не скажу, созданіяхъ, а развѣ изданіяхъ, тамъ и сценическому искусству негдѣ почерпать вдохновенія свои, негдѣ образовать себя. Замѣтимъ, что актеру, для достиженія полнаго успѣха, предстоятъ затрудненія, которыя легко можетъ избѣжать авторъ. Авторъ избираетъ предметъ свой, событіе, эпоху, лице, которое онъ желаетъ возпроизвести. Скажемъ просто, онъ садится за работу, за свой письменный столъ, когда ему хочется, когда чуетъ онъ въ себѣ свѣжую, пробѣжавшую струю вдохновенія. Актеръ, такъ сказать, невольникъ искусства своего, которое многими окраинами нисходитъ до ремесла. Онъ часовой и долженъ простоять столько-то часовъ на опредѣленномъ ему мѣстѣ, а между тѣмъ актеръ, и особенно въ высшей драмѣ, долженъ изучить исторію, физіогномію предстоящей ему эпохи, нравы общества во всѣхъ видахъ его и въ разныя времена, онъ долженъ быть живописецъ, археологъ, моралистъ, сердцевѣдецъ, проникать въ глубокія тайны натуры человѣческой, сердца человѣческаго, многое самъ перечувствовать, иное угадать, перевести часто на всѣмъ понятный и живой языкъ темные намеки, недомолвки автора. Онъ долженъ зрителямъ и слушателямъ передавать, такъ сказать, въ натурѣ все то, что онъ пріобрѣлъ искусствомъ и переработалъ въ себѣ. Способы, геніи авторовъ различны, а актеръ долженъ одинъ усвоить себѣ геніальныя натуры Расина, Корнеля, Вольтера. Имя актера легіонъ. Конечно, ему нужны врожденныя способности, дарованія, вдохновеніе; но нужна и наука разносторонняя, почти всеобъемлющая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и частная, такъ сказать, мелочная. Тальма часто и понималъ роли свои иначе, чѣмъ знаменитые предшественники его, но обращалъ прилежное и совѣстливое вниманіе и на одежду свою: онъ иначе одѣвался, чѣмъ они, иначе ходилъ, стоялъ, сидѣлъ.

При этихъ соображеніяхъ, осмѣлимся думать, что и наша статья можетъ принести свою относительную пользу.

XXXI.

1827.

ЦЫГАНЫ. ПОЭМА ПУШКИНА.

Весело и поучительно слѣдовать за ходомъ таланта, постепенно подвигающагося впередъ; такое зрѣлище представляетъ намъ творецъ поэмъ: *Русланъ и Людмила* и нынѣ появившейся *Цыганы*; таковъ и долженъ быть ходъ истиннаго дарованія въ порѣ зрѣющаго мужества. Движенія жизни въ дарованіи тщедушномъ могутъ быть только временны и, такъ сказать, случайны. Стремленіе къ совершенству возможному, или невозможному, если оно не доля смертнаго, есть принадлежность избранныхъ натуръ. Подобное стремленіе должно быть непрерывно. Въ поэмѣ *Цыганы* узнаемъ творца *Кавказскаго Плѣнника*, *Бахчисарайскаго Фонтана*, но видимъ уже мужа въ чертахъ, нѣкогда обозначавшихъ юношу. Видимъ въ авторѣ болѣе зрѣлости, болѣе силы, свободы, развязности, и, къ утѣшенію нашему, видимъ еще залогъ новыхъ силъ. Нынѣ разсматриваемая поэма, или повѣсть, какъ хотите назвать ее, есть пока, безъ сомнѣнія, лучшее созданіе Пушкина, по крайней мѣрѣ изъ напечатаннаго, потому что мы не вправѣ говорить о трагедіи его, еще невыпущенной въ свѣтъ. Поэтъ переноситъ насъ на сцену новую: природа, краски, явленія, встрѣчающіяся взорамъ нашимъ, незаимствованныя: они возбуждаютъ въ насъ ощущенія, еще намъ незнакомыя, а не такія, которыя мы уже давно знаемъ наизусть; ощущенія эти свѣжи, дѣвственны; впечатлѣнія глубоки и все-

объемлющи. Не ужели нѣтъ здѣсь ни малѣйшаго подражанія? спроситъ сейчасъ злонамѣренная недовѣрчивость. Кажется рѣшительно нѣтъ; по крайней мѣрѣ, нѣтъ подражанія уловимаго, подлежащаго уликѣ. Но намъ лично, хотя для того, чтобы поддержать свое мнѣніе, нельзя впрочемъ не признаться, что, вѣроятно, не будь Байрона, не было бы и поэмы *Цыганы* въ настоящемъ ея видѣ. Въ самой формѣ, или, лучше сказать, въ самомъ отсутствіи такъ сказать условленной формы, по коему Пушкинъ начерталъ планъ созданія своего, отзывается, можетъ быть, чтеніе *Гяура*. Байронъ также, не изъ лѣни, не отъ неумѣнія, не спаялъ отдѣльныхъ частей цѣлаго, но скорѣе слѣдовалъ онъ такому порядку, или безпорядку, по внушенію мысли свѣтлой и вѣрнаго понятія о характерѣ эпохи своей. Единство мѣста и времени, спорная статья между классическими и романтическими драматургами, можетъ быть замѣнено непрерывающимся единствомъ дѣйствія въ эпическомъ или въ повѣствовательномъ твореніи. Нужны-ли воображенію и чувству, симъ законнымъ судіямъ поэтическаго творенія, математическое послѣдствіе и прямолинейная выставка въ предметахъ, подлежащихъ ихъ зрѣнію? Нужно ли, чтобы мысли нумерованныя слѣдовали предъ ними одна за другою, по очереди непрерывной, для сложенія итога полнаго и безошибочнаго? Кажется, довольно отмѣчать тысячи и сотни, а единицы подразумѣваются. Путешественникъ, любуясь съ высоты окрестною картиною, минуетъ низменные промежутки и объемлетъ однѣ живописныя выпуклости зрѣлища, предъ нимъ раскинутаго. Живописецъ, изображая оную картину на холстѣ, слѣдуетъ тому же закону и, повинуясь дѣйствіямъ перспективы, переноситъ въ свой списокъ одно то, что́ выдается изъ общей массы. Байронъ слѣдовалъ этому соображенію въ повѣстяхъ своихъ. Изъ міра физическаго переходя въ міръ нравственный, онъ подвелъ къ этому правилу и другое. Байронъ, болѣе всѣхъ другихъ чуткій къ голосамъ и требованіямъ эпохи своей, не могъ не отразить въ своихъ твореніяхъ и этой знаменательной примѣты. Нельзя не согласиться, что въ историческомъ отношеніи не успѣли бы мы пережить то, что пережили на своемъ вѣку, если происшествія совре-

менныя развивались бы постепенно, какъ прежде обтекая заведенный кругъ стараго циферблата; нынѣ и стрѣлка времени какъ-то перескакиваетъ минуты и считаетъ одними часами. Въ классической старинѣ войска осаждали городъ десять лѣтъ, и пѣснопѣвцы въ поэмахъ своихъ вели поденно военный журналъ осады и дѣяній каждаго воина въ особенности. Въ новѣйшей эпохѣ, романтической, минуютъ крѣпости на военной дорогѣ и прямо спѣшатъ къ развязкѣ, къ результату войны; а поэты и того лучше: уже не поютъ ни осады, ни взятія городовъ. Вотъ одна изъ характеристическихъ примѣтъ нашего времени: стремленіе къ скорымъ заключеніямъ. Отъ нетерпѣнія-ли и вѣтренности, какъ думаютъ старожилы, просто ли отъ благоразумія, какъ думаемъ мы, но на письмѣ и на дѣлѣ перескакиваемъ союзныя частицы скучныхъ подробностей и порываемся къ *результатамъ*. Какъ въ были, такъ и въ сказкѣ, мы уже не пріемлемъ младенца изъ купели и не провожаемъ его до поздней старости, и наконецъ до гроба, со дня на день исправляя съ нимъ рачительно ежедневные завтраки, обѣды, полдники и ужины. Мы вѣримъ на слово автору, что герой его или героиня ѣдятъ и пьютъ, какъ и мы грѣшные, и требуемъ отъ него, чтобы онъ намъ выказывалъ ихъ только въ рѣшительныя минуты, а впрочемъ не хотимъ вмѣшиваться въ домашнія дѣла. Между тѣмъ замѣтимъ, что уже и въ старину Буало, сей Магометъ классическаго корана и не менѣе того пророкъ въ своемъ дѣлѣ, чувствовалъ выгоду такихъ скачковъ; кажется, гдѣ-то онъ говоритъ про кого-то, что, свергнувъ иго обязательныхъ переходовъ, освободился онъ отъ одной изъ величайшихъ трудностей въ искусствѣ писать.

Поэма *Цыганы* составлена изъ отдѣльныхъ явленій, то описательныхъ, то повѣствовательныхъ, то драматическихъ, не хранящихъ математической послѣдовательности, но представляющихъ нравственное развитіе, въ которомъ части соглашены правильно и гармонически. Какъ говорится, что и въ *разбросенныхъ членахъ видѣнъ поэтъ*, такъ можно сказать, что и въ отдѣльныхъ сценахъ видна поэма. Скажемъ нѣсколько словъ о составѣ и ходѣ ея. На грунтѣ картины изображается таборъ

южныхъ Цыгановъ, или Цыганъ, со всею причудностью ихъ отличительныхъ красокъ, поэтическою дикостью ихъ обычаевъ и промысловъ, и независимостью нравовъ. Замѣчательно, что сіе племя, коего происхожденіе и существованіе историческое предлагаютъ задачу не совсѣмъ еще разрѣшенную, не смотря на изысканія и вѣроятныя гипотезы ученыхъ, вездѣ сохраняетъ неизгладимые оттѣнки какого-то первоначальнаго бытія своего; сіи оттѣнки не сливаются, по крайней мѣрѣ во многихъ чертахъ, съ нравами туземцовъ, между коими они искони ведутся. Въ самыхъ городахъ являютъ они признаки кочевой жизни; временемъ и законнымъ образомъ укорененные въ гражданскихъ обществахъ, они какъ будто все на перепутьи и готовы на утро сложить палатки свои для переселенія. Тѣмъ еще своеобразнѣе должно быть житье ихъ въ степяхъ и на волѣ. Племя съ такою оригинальною физіогноміею принадлежитъ поэзіи, и Пушкинъ удачно завоевалъ его и покорилъ фантазіи своей. Два лица выдаются впередъ изъ сей толпы странной и живописной: Земфира, молодая цыганка, и старый отецъ ея. Среди сихъ дѣтей природы, независимой и дикой, является третье лицо: гражданинъ общества и добровольный изгнанникъ его, недовольный питомецъ образованности, или худо понявшій ее, или неудовлетворенный въ упованіяхъ на ея могущество, однимъ словомъ, лицо, прототипъ поколѣнія нашего; лицо не условное и непремѣнное въ новѣйшей поэзіи, какъ лицо перваго любовника, плута, слуги или субретки въ старой Французской комедіи; нѣтъ, лицо, перенесенное изъ общества въ новѣйшую поэзію, а не изъ поэзіи выведенное въ общество, какъ многіе полагаютъ. Любовь къ Земфирѣ, своевольная прелесть, которую находитъ онъ въ независимомъ житьѣ-бытьѣ ихъ сообщества, тягость отъ повинностей образованнаго общежитія, пресыщеніе отъ опостылѣвшихъ ему удовольствій свѣтскихъ, удерживаютъ его при таборѣ и водворяютъ въ новую жизнь. Но укрывшійся отъ общества, не укрылся онъ отъ самого себя; съ измѣною рода жизни не измѣнился онъ нравственно и перенесъ въ новую стихію страсти свои и страданія за ними слѣдующія. Раздѣляя съ новыми товарищами ихъ занятія и досуги, не могъ онъ раздѣлить

съ ними ихъ образъ мыслей: недовѣрчивость и самолюбіе возмутили спокойствіе души, на минуту прояснившейся и освобожденной отъ прежнихъ впечатлѣній; ревность и обманутое самолюбіе ввергли его въ преступленіе. Онъ убиваетъ соперника своего и любовницу. Общество, усыновившее пришельца, и отецъ Земфиры удаляются отъ него и, не удовлетворяя мести, предаютъ его собственнымъ мученіямъ и волѣ Промысла. Вотъ сущность поэмы. Не будемъ въ подробности обращать вниманіе читателя на отдѣльныя красоты разсказа, яркія черты живописныя, поэтическое движеніе въ оборотахъ, строгую и вмѣстѣ съ тѣмъ свободную точность выраженій смѣлыхъ. Въ исполненіи вездѣ видѣнъ Пушкинъ, и Пушкинъ идущій впередъ. Дадимъ отчетъ читателю въ главныхъ впечатлѣніяхъ нашихъ. Каждое изъ трехъ лицъ, упомянутыхъ выше, очертано вѣрно кистью мѣткою и широкою. Легкомысленная, своевольная Земфира; отецъ ея, безстрастный, равнодушный зритель игры страстей, охлажденный лѣтами и опытами жизни трудной; Алеко, непокорный данникъ гражданскихъ обязанностей, но и не безкорыстный въ любви къ независимости, которой предался онъ не послѣ обдуманнаго выбора, не въ ясной тишинѣ мыслей и чувствъ, а также въ порывѣ и раздраженіи страстей, всѣ они выведены поэтомъ въ подобающемъ имъ очертаніи и свѣтѣ, съ свойственными каждому мнѣніями, рѣчами, движеніями. Первая, изложительная сцена, и вторая, служащая къ ней дополненіемъ,—двѣ картины цыганской природы, подъ которыми Орловскій смѣло подписалъ бы имя свое. Живопись не можетъ быть ни удовлетворительнѣе, ни, такъ сказать, осязательнѣе. Послѣ сихъ двухъ сценъ положительныхъ, въ которыхъ краски почерпнуты изъ природы видимой, слѣдуетъ, и очень кстати, сцена болѣе идеальная, но не менѣе истинная, хотя истина въ ней и отвлеченная. Читая ее, нечувствительно готовишься къ бѣдствіямъ, которыя постигнутъ Алеко и отразятся на общество его пріявшее. Вводные стихи о птичкѣ, которые поэтъ съ искусствомъ составилъ по другому размѣру и бросилъ какъ иносказаніе, свойственное поэзіи нашихъ народныхъ пѣсенъ, придаютъ этому отрывку какую-то неопредѣленность, совершенно соотвѣтственную мысли, гос-

подствующей въ немъ. Кажется только, поэту не должно бы кончить послѣднимъ стихомъ, а предыдущимъ. Онъ говоритъ объ Алеко:

Но, Боже, какъ играли страсти
Его послушною душой!
Съ какимъ волненіемъ кипѣли
Въ его измученной груди!
Давно-ль, на долго-ль усмирѣли?
Онѣ проснутся: погоди!

Этотъ стихъ, это слово: *погоди* должны подразумѣваться и смыслъ ихъ обнажиться самъ собою впослѣдствіи. Тутъ онъ, какъ будто, заранѣе подсказанное слово заданной загадки. По мнѣнію нѣкоторыхъ, эпизодъ Овидія, вставленный въ четвертой сценѣ, не у мѣста и не приличенъ устамъ Цыгана. Мы съ этимъ не согласны. Почему преданію объ Овидіи не храниться всенародно въ краю, куда онъ, по всей вѣроятности, былъ сосланъ? Къ тому же, брилліянтъ высокій цѣны, кажется, вездѣ у мѣста; а эта вставка есть точно драгоцѣнность поэтическая. Можетъ быть, только не совсѣмъ кстати старикъ приводитъ примѣръ сосланнаго Овидія послѣ стиховъ:

Но не всегда мила свобода
Тому, кто къ нѣгѣ пріученъ.

Легко согласиться, что насильственная свобода сосланнаго можетъ быть для него и не слишкомъ мила. Въ слѣдующемъ отрывкѣ, гдѣ описывается житье-бытье пришельца, не хотѣлось бы видѣть, какъ Алеко по селеньямъ *водитъ медвѣдя*. Этотъ промыселъ, хотя и совершенно въ числѣ принадлежностей Молдаванскихъ Цыганъ, не имѣетъ въ себѣ ничего поэтическаго. Тутъ уже выходитъ злоупотребленіе мѣстной краски. Понимаемъ, что Алеко сдѣлался Цыганомъ изъ любви къ Земфирѣ и изъ ненависти къ обществу; но все не можемъ свыкнуться съ мыслью, что онъ школитъ несчастнаго медвѣдя и наживается боками его. Если непремѣнно нужно ввести Алеко въ совершенный Цыганскій бытъ, то лучше предоставить ему барышничать и цыганить лошадьми. Въ этомъ ремеслѣ, хотя и не совершенно безгрѣшномъ, все есть какое-то удальство, и слѣдственно поэзія. Съ шестаго отрывка до конца поэмы за-

нимательность, художничество поэта, красоты разнородныя, но вездѣ первостепенныя, возвышаются болѣе и болѣе. Сцена извѣстной пѣсни: „Старый мужъ, грозный мужъ“, возникающая ревность Алеко и спокойное воспоминаніе о сей пѣснѣ, давно сложенной, старика, который безъ участія, безъ вниманія смотритъ на жестокое, но уже для него непонятное волненіе разыгривающихся страстей; безчувственность старика, въ которомъ одна только память еще способна принимать впечатлѣнія; ужасная ночная сцена сновидѣній Алеко, тоска и страхъ Земфиры, разговоръ ея съ отцомъ, разговоръ его съ Алеко, и кипящія выходки и страсти послѣдняго, въ которыхъ такъ мрачно, такъ злосчастно предсказывается жребій Земфиры, если она измѣнитъ любви его, и самое совершеніе роковаго предсказанія: все это исполнено жизни, силы, вѣрности необычайныхъ. Слѣдуя своему поэтическому crescendo, поэтъ въ послѣдней главѣ превзошелъ себя. Обрядъ погребенія, совершаемый передъ убійцею, который

Съ ножомъ въ рукахъ, окровавленный,
Сидѣлъ на камнѣ гробовомъ;

—слова старика, прощающагося съ нимъ: все это дышетъ величественною простотою, истинною, то-есть, возвышенною поэзіею. Послѣднія подробности, коими авторъ довершилъ картину свою, доказываютъ вѣрность и смѣтливость его поэтическаго взгляда:

. . . . Шумною толпою
Поднялся таборъ кочевой
Съ долины, страшнаго ночлега,
И скоро все въ дали степной
Сокрылось. Лишь одна телѣга,
Убогимъ крытая ковромъ,
Стояла въ полѣ роковомъ.
Такъ иногда, передъ зимою,
Туманной утренней порою,
Когда подъемлется съ полей
Станица позднихъ журавлей
И съ крикомъ вдаль на югъ несется,
Пронзенный гибельнымъ свинцомъ
Одинъ печально остается,
Повиснувъ раненымъ крыломъ.
Настала ночь; въ телѣгѣ темной
Огня никто не разложилъ,
Никто подъ крышею подъемной
До утра сномъ не опочилъ.

Все это замѣчено, все списано съ природы. Вотъ истинная, существенная, незаимствованная поэзія. Въ заключеніе эпилогъ, въ которомъ послѣдній стихъ что-то слишкомъ Греческій для мѣстоположенія

И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Подумаешь, что этотъ стихъ взятъ изъ какого-нибудь хора древней трагедіи. Напрасно также, если мы пустились въ щепетильныя замѣчанія, авторъ заставляетъ Земфиру умирать эпиграмматически, повторяя послѣднія слова изъ пѣсни:

Умру любя.

Во всякомъ случаѣ развѣ: умираю, а то при послѣднемъ издыханіи и некогда было бы ей разлюбить. Еще не хотѣлось бы видѣть въ поэмѣ одинъ вялый стихъ, который, Богъ знаетъ какъ, въ нее вошелъ. Послѣ погребенія двухъ несчастныхъ жертвъ Алеко

Медленно склонился
И съ камня на траву свалился.

Вотъ изложеніе впечатлѣній, которыя остались у насъ послѣ чтенія одного изъ замѣчательнѣйшихъ и первостепенныхъ явленій нашей поэзіи. Авторъ, кажется, хотѣлъ-было сначала развернуть еще болѣе части своей повѣсти. Мы слышали объ одномъ отрывкѣ, въ которомъ Алеко представленъ у постели больной Земфиры и люльки новорожденнаго сына. Сіе положеніе могло бы дать просторъ для новыхъ соображеній поэтическихъ. Алеко, волнуемый радостью и недовѣрчивостью, любовью къ Земфирѣ и къ сыну и подозрѣніями мучительной ревности, было бы явленіе, достойное кисти поэта.

Пушкинъ совершилъ многое; но совершить можетъ еще болѣе. Онъ это долженъ чувствовать, и мы въ этомъ убѣждены за него. Онъ, конечно, далеко за собою оставилъ берегъ и сверстниковъ своихъ; но все еще предстоятъ ему новыя испытанія силъ своихъ; онъ можетъ еще плыть далѣе въ глубь и полноводіе.

Приписка. Этотъ разборъ поэмы Пушкина навлекъ, или могъ-бы навлечь облачко на свѣтлыя мои съ нимъ сношенія. О томъ я долго не догадывался и узналъ случайно, гораздо позднѣе. Александръ Алексѣевичъ Мухановъ, нынѣ покойный, а тогда общій пріятель нашъ, сказалъ мнѣ однажды, что изъ словъ, слышанныхъ имъ отъ Пушкина, убѣдился онъ, что поэтъ не совсѣмъ доволенъ отзывомъ моимъ о поэмѣ его. Точныхъ словъ не помню, но смыслъ ихъ слѣдующій: что я не вездѣ съ должною внимательностью обращался къ нему, а иногда съ какимъ-то учительскимъ авторитетомъ; что иныя мои замѣчанія отзываются слишкомъ прозаическимъ взглядомъ, и такъ далѣе. Помнится мнѣ, что Пушкинъ былъ особенно недоволенъ замѣчаніемъ моимъ о стихахъ *медленно скатился и съ камня на траву свалился.* Признаюсь и нынѣ не люблю и *травы* и *свалился.* Между тѣмъ Пушкинъ самъ ничего не говорилъ мнѣ о своемъ неудовольствіи: напротивъ, помнится мнѣ, даже благодарилъ меня за статью. Какъ бы то ни было, взаимныя отношенія наши оставались самыми дружественными. Онъ молчалъ, молчалъ и я, опасаясь дать словамъ Муханова видъ сплетни, за которую Пушкинъ могъ бы разсердиться. Но и не признавалъ я надобности привести въ ясность этотъ сомнительный вопросъ. Могъ я думать, что Пушкинъ и забылъ или измѣнилъ свое первоначальное впечатлѣніе, но Пушкинъ не былъ забывчивъ. Въ то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкинъ однажды спрашиваетъ меня въ упоръ: можетъ-ли онъ напечатать слѣдующую эпиграмму:

О чемъ, прозапкъ, ты хлопочешь?

Полагая, что вопросъ его относится до цензуры, отвѣчаю, что не предвижу никакого, со стороны ея, препятствія. Между тѣмъ замѣчаю, что при этихъ словахъ моихъ лицо его вдругъ вспыхнуло и озарилось краскою, обычайною въ немъ примѣтою какого-нибудь смущенія, или внутренняго сознанія въ неловкости положенія своего. Впрочемъ и тутъ я, такъ сказать, пропустилъ или проглядѣлъ краску его: не далъ себѣ въ ней отчета. Тѣмъ дѣло кончилось. Уже послѣ смерти Пушкина какъ-

то припомнилась мнѣ вся эта сцена: загадка, нечаянно, сама разгадалась предо мною, ларчикъ самъ раскрылся, я понялъ, что этотъ *прозаикъ*,—я, что Пушкинъ, легко оскорблявшійся, оскорбился нѣкоторыми замѣтками въ моей статьѣ, и, наконецъ, хотѣлъ узнать отъ меня, не оскорблюсь-ли я самъ напечатаніемъ эпиграммы, которая сорвалась съ пера его противъ меня. Досада его, что я, въ невинности своей, не понялъ нападенія, бросила въ жаръ лицо его. Онъ не имѣлъ духа прямо объясниться со мною: на меня нашла какая-то голубиная чистота, или куриная слѣпота, которая не давала мнѣ уловить и разглядѣть *словеса лукавствія*. Такимъ образомъ громъ не грянулъ и облачко пронеслось мимо насъ, не разразившись надъ нами. Когда я одумался и прозрѣлъ, было поздно. Бѣднаго Пушкина уже не было на лицо. Пушкинъ былъ вообще простодушенъ, уживчивъ и снисходителенъ, даже иногда съ излишествомъ. По характеру моему, я былъ болѣе тугъ, несговорчивъ, неподатливъ. Это различіе между нами приводило насъ не рѣдко къ разногласію и къ преніямъ, если не къ спорамъ. Подобныя пренія касались скорѣе и болѣе всего до литературныхъ вопросовъ и литературныхъ личностей. Въ этомъ отношеніи, я былъ болѣе Альцестомъ, онъ Филинтомъ (*Мизантропъ* Мольера). Въ литературныхъ отношеніяхъ и сношеніяхъ, я не входилъ ни въ какія уступки, ни въ какія сдѣлки: я держался того мнѣнія, что въ литературѣ, то есть въ убѣжденіяхъ, правилахъ литературныхъ, добрая, то есть явная ссора лучше худаго, то есть недобросовѣстнаго мира. Онъ, пока самого его не задѣнутъ, болѣе былъ склоненъ мирволить и часто мирволилъ. Натура Пушкина была болѣе открыта къ сочувствіямъ, нежели къ отвращеніямъ. Въ немъ было болѣе любви, нежели негодованія; болѣе благоразумной терпимости и здравой оцѣнки дѣйствительности и необходимости, нежели своевольнаго враждебнаго увлеченія. На политическомъ поприщѣ, если оно открылось-бы предъ нимъ, онъ безъ сомнѣнія былъ-бы либеральнымъ консерваторомъ, а не разрушающимъ либераломъ. Такъ называемая либеральная, молодая пора поэзіи его не можетъ служить опроверженіемъ словъ моихъ. Во-первыхъ, эта пора сливается съ порою либерализма,

который, какъ повѣтріе, охватилъ многихъ изъ тогдашней молодежи. Нервное, впечатлительное созданіе, какимъ обыкновенно родится поэтъ, еще болѣе, еще скорѣе, чѣмъ другіе, бываетъ подвержено дѣйствію повѣтрія. Многіе изъ тогдашнихъ такъ-называемыхъ либеральныхъ стиховъ его были болѣе отголоскомъ того времени, нежели отголоскомъ, исповѣдью внутреннихъ чувствъ и убѣжденій его. Онъ часто былъ Эолова арфа либерализма на пиршествахъ молодежи, и отзывался тѣми вѣяніями, тѣми голосами, которые налетали на него. Не менѣе того, онъ былъ искрененъ; но не былъ сектаторомъ въ убѣжденіяхъ, или предубѣжденіяхъ своихъ, а тѣмъ болѣе не былъ сектаторомъ чужихъ предубѣжденій. Онъ любилъ чистую свободу, какъ любить ее должно, какъ не можетъ не любить ее каждое молодое сердце, каждая благорожденная душа. Но изъ того не слѣдуетъ, чтобы каждый свободолюбивый человѣкъ былъ непремѣнно и готовымъ революціонеромъ.

Политическіе сектаторы двадцатыхъ годовъ очень это чувствовали и примѣнили такое чувство и понятіе къ Пушкину. Многіе изъ нихъ были пріятелями его, но они не находили въ немъ готоваго соумышленника, и, къ счастію его самого и Россіи, они оставили его въ покоѣ, оставили въ сторонѣ. Этому соображенію и разсчету ихъ можно скорѣе приписать спасеніе Пушкина отъ крушеній 25-го года, нежели желаніе, какъ многіе думаютъ, сберечь дарованіе его и будущую литтературную славу Россіи. Рылѣевъ и Александръ Бестужевъ, вѣроятно, признавали себя такими же вкладчиками въ сокровищницу будущей Русской литтературы, какъ и Пушкинъ, но это не помѣшало имъ самонадѣянно поставить всю эту литтературу на одну карту, на карту политическаго быть или не быть.

Мы говорили выше о добросердечіи Пушкина. Теперь, возвращаясь къ исходной точкѣ нашей приписки, скажемъ, что, при всемъ добросердечіи своемъ, онъ былъ довольно злопамятенъ, и не столько по врожденному свойству и увлеченію, сколько по разсчету; онъ, такъ сказать, вмѣнялъ себѣ въ обязанность, поставилъ себѣ за правило помнить зло и не отпускать должникамъ своимъ. Кто былъ въ долгу у него, или кого почиталъ

онъ, что въ долгу, тотъ, рано или поздно, расплачивайся съ нимъ, волею или неволею. Для подмоги памяти своей, онъ держался въ этомъ отношеніи бухгалтернаго порядка: онъ велъ письменный счетъ своимъ должникамъ настоящимъ или предполагаемымъ; онъ выжидалъ только случая, когда удобнѣе взыскать недоимку. Онъ не спѣшилъ взысканіемъ; но отмѣтка *долженъ* не стиралась съ имени, но Дамоклесовъ мечъ не снимался съ повинной головы, пока приговоръ его не былъ приведенъ въ исполненіе. Это буквально было такъ. На лоскуткахъ бумаги были записаны у него нѣкоторыя имена, ожидавшія очереди своей; иногда были уже заранѣе заготовлены при нихъ отмѣтки, какъ и когда взыскать долгъ, значившійся за тѣмъ или другимъ. Вѣроятно, такъ и мое имя было записано на подобномъ роковомъ лоскуткѣ и взысканіе съ меня было совершено извѣстною эпиграммою. Таковы, по крайней мѣрѣ, мои догадки, основанныя на вышеприведенныхъ обстоятельствахъ.

Но поспѣшимъ добросовѣстно оговориться и пополнить набросанный нами очеркъ. Если Пушкинъ и былъ злопамятенъ, то развѣ мимоходомъ и бѣглымъ почеркомъ пера напишетъ онъ эпиграмму, внесетъ кого-нибудь въ свой *Евгеній Онѣгинъ*, или въ посланіе, и дѣло кончено. Его point d'honneur, его затѣя чести получила свою *сатисфакцію*, и довольно. Какъ при Французскихъ поединкахъ честь спасена при первой капли крови (se battre au premier sang), такъ и здѣсь все кончалось нѣсколькими каплями чернилъ. Въ дѣйствіяхъ, въ поступкахъ его не было и тѣни злопамятства, онъ никому не желалъ повредить. Хотя онъ самъ, по поводу стиховъ Державина:

За стихи меня пусть гложетъ,
За дѣла сатирикъ чтитъ—

сказалъ, что въ писателѣ слова — тѣ же дѣла; но это не вполнѣ вѣрно. Въ исторіи нашей видимъ мы, какъ во зло употреблялось выраженіе *слово и дѣло*. Слово часто далеко отъ дѣла, а дѣло отъ слова. Написать на кого-нибудь эпиграмму, сказать съ горяча, или для шутки, про ближняго острое слово, или повредить и отмстить ему на дѣлѣ—разница большая. Са-

тирикъ и насмѣшникъ дѣйствуютъ на чистоту: не только не таятся они, а желаютъ, чтобы собственноручная стрѣла ихъ долетѣла по надписи, и чтобы знали, чья эта стрѣла. Рука недоброжелателя, или врага заправскаго дѣйствуетъ во мракѣ и невидимо. Ей мало щипнуть и оцарапать: она ищетъ глубоко уязвить и докопать жертву свою.

1875.

XXXII.

1827.

СОНЕТЫ МИЦКЕВИЧА.

Вотъ необыкновенное и удовлетворительное явленіе. Изящное произведеніе чужеземной поэзіи, произведеніе одного изъ первоклассныхъ поэтовъ Польши, напечатано въ Москвѣ, гдѣ, можетъ быть, не болѣе десяти читателей въ состояніи узнать ему цѣну; оно вышло изъ типографіи и перешло въ область книгопродавцовъ incognito, безъ почестей журнальныхъ, безъ тревоги критической, какъ знаменитый путешественникъ, скрывающійся въ своемъ достоинствѣ отъ дани любопытности и гласныхъ удовольствій суетности. Батюшковъ, опровергая мнѣніе Даламбера, что поэтъ на необитаемомъ островѣ пересталъ бы писать стихи, потому что некому читать и хвалить ихъ, а математикъ все продолжалъ бы проводить линіи и составлять углы, указываетъ на Кантемира, который въ Парижѣ писалъ свои безсмертныя сатиры. „Парижъ былъ сей необитаемый островъ для Кантетира“, говоритъ Батюшковъ. Москва почти тотъ-же необитаемый островъ для Польскаго поэта. Но поэтъ носитъ свой міръ съ собою: мечтами своими населяетъ онъ пустыню, и когда говорить ему не съ кѣмъ, онъ говоритъ самъ съ собою. Вѣроятно, вотъ отъ чего многіе изъ прозаистовъ и почитаютъ поэтовъ безумцами. Они не понимаютъ: что́ за выгода поэту говорить на вѣтеръ, въ упованіи, что вѣтеръ этотъ куда-нибудь и когда-нибудь занесетъ звуки ихъ души; что они сольются

въ свое время съ отзывами всего прекраснаго и не исчезнутъ, потому что когда есть безсмертіе, то должно быть и безсмертіе поэзіи. Проза должна болѣе или менѣе говорить присутствующимъ; поэзія можетъ говорить и отсутствующимъ: ей не нужно непосредственной отповѣди наличныхъ слушателей. На поэзію есть эхо: гдѣ-нибудь и какъ-нибудь оно откликнется на ея голосъ.

Мицкевичъ принадлежитъ къ малому числу избранныхъ, коимъ предоставлено счастливое право быть представителями литтературной славы своихъ народовъ. Кажется, утвердительно сказать можно, что ему принадлежитъ почетное мѣсто въ современномъ намъ поколѣніи поэтовъ. Не намъ, со стороны, подтверждать или изслѣдовать сей приговоръ: приводимъ его только въ свидѣтельство, какъ выраженіе общаго мнѣнія безпристрастныхъ и болѣе свѣдущихъ судей Польской литературы. Нельзя не подивиться и не пожалѣть, что сія соплеменица нашей такъ у насъ мало извѣстна. Сколько узы политическія, соединяющія насъ нынѣ съ Польшею, столько узы природнаго сродства и взаимной пользы въ словесности должны бы, кажется, насъ сблизить. Изученія Польскаго языка могло быть-бы вспомогательнымъ дополненіемъ къ изученію языка отечественнаго. Многія родовыя черты, сохранявшіяся у сосѣдей и сонаслѣдниковъ нашихъ, утрачены нами; въ обоюдномъ разсмотрѣніи наслѣдства, раздѣленнаго между нами, въ миролюбной размѣнѣ съ обѣихъ сторонъ, могли-бы обрѣсти мы общую выгоду. Братья, которыхъ исторія часто представляетъ новымъ примѣромъ древней Ѳивской вражды, должны бы, кажется, предать забвенію среднюю эпоху своего бытія, ознаменованную семейными раздорами и слиться въ чертахъ коренныхъ своего происхожденія и нынѣшняго соединенія. Журналамъ Польскимъ и Русскимъ предоставлена обязанность изготовить предварительныя мѣры семейнаго сближенія. По крайней мѣрѣ, радуемся съ своей стороны, что намъ выпалъ счастливый жребій запечатлѣть одинъ изъ первыхъ шаговъ къ сей желаемой цѣли ознакомленіемъ Русскихъ читателей съ сонетами Мицкевича, которые, безъ сомнѣнія, пріохотятъ къ

дальнѣйшему знакомству. Впрочемъ, если Мицкевичъ былъ-бы побуждаемъ равнымъ желаніемъ способствовать къ этому соединенію, то должно признаться, что онъ принялся за лучшее средство: печатая свои сонеты въ Москвѣ, онъ задираетъ насъ обольстительною вѣжливостью, и если Кантемиру не удалось никого выучить по Русски на своемъ островѣ, то надѣюсь, что нашъ поэтъ будетъ его счастливѣе. Самый родъ, избранный Польскимъ поэтомъ, рама, въ которую онъ втѣснилъ свои впечатлѣнія и чувства, доказываютъ, что его не пугаютъ взыскательныя формы искусства, и что для истиннаго поэта нѣтъ оковъ стихосложенія. Мы уже отошли отъ суевѣрнаго пристрастія Депрео къ сонету, но все должны признаться, что правильное исполненіе его сопряжено съ нѣкоторымъ затрудненіемъ и налагаетъ иго. Участь сонета странная. Un sonnet sant défaut vaut seul un long poême,—сказалъ законодатель новѣйшей классической поэзіи: отечество его вѣруетъ еще и нынѣ въ его Французскій Коранъ (такъ Пушкинъ называетъ l'art poétique), а сонетъ давно забытъ. Напротивъ, у поэтовъ, исповѣдующихъ романтизмъ, онъ еще въ употребленіи. Впрочемъ и они имѣютъ за себя если не законодателя романтизма, то главу его, Шекспира, который оставилъ намъ болѣе 150 сонетовъ. На этомъ-ли примѣрѣ основано возрожденіе сонета въ наше время, или просто на томъ, что въ кругообращеніи умственной дѣятельности старое дѣлается новымъ, а новое старымъ, и что, за невозможностью всегда творить, мы припоминаемъ забытое; но наклонность нынѣшнихъ поэтическихъ формъ къ однообразному размѣру сонета, или вообще опредѣленнаго состава строфъ, очевидна даже и въ твореніяхъ большаго объема. Сонеты Мицкевича раздѣлены на двѣ части: въ первой — двадцать два, принадлежатъ къ роду эротическихъ сонетовъ Петрарки, хотя и есть въ нихъ иные съ сатирическимъ уклоненіемъ, какъ напримѣръ: Do wizytują-cych, Pożegnanie, Danaidy (Посѣтителямъ, Прощаніе, Данаиды); но и тутъ любовь кажется чувствомъ господствующимъ. Кто насмѣхается надъ женщинами, кто на нихъ сердится, тотъ ихъ еще любитъ: равнодушіе о нихъ не упоминаетъ. Другая часть составлена изъ Крымскихъ сонетовъ, такъ названныхъ потому,

что вдохновенія, ихъ внушившія, почерпнуты всѣ въ путешествіи автора по нашему поэтическому полуострову. Каждое изъ замѣчательныхъ мѣстъ сей живописной страны отсвѣтилось въ стихахъ поэта. Можно назвать эти сонеты поэтическими путевыми записками. Такъ и Байронъ велъ свой странническій журналъ во многихъ строфахъ Чайльдъ-Гарольда, и, безъ сомнѣнія, нѣкоторые изъ Польскихъ сонетовъ могутъ быть поставлены наравнѣ съ лучшими строфами Англійскаго поэта. Изъ этого не слѣдуетъ, что нашъ соплеменникъ подражалъ ему, хотя, можетъ быть, вліяніе поэзіи его дѣйствовало и на поэзію сонетовъ. Поэзія Шотландскаго барда, свѣтила нашего вѣка, какъ свѣтило дня проникаетъ нечувствительно, или, лучше сказать, неизслѣдуемо, и туда, гдѣ не ощутительно, не очевидно непосредственное дѣйствіе лучей его: оно то потаеннымъ образомъ растворяетъ сокровенные тайники, то проливаетъ отсвѣтъ блеска своего на вещества самобытныя, не подлежащія его творческой силѣ. Вездѣсущее, оно всюду постигаетъ, хотя и не повсюду явно. Кажется, въ нашемъ вѣкѣ невозможно поэту не отозваться Байрономъ, какъ романисту не отозваться Вальтеръ-Скоттомъ, какъ ни будь велико и даже оригинально дарованіе, и какъ ни различествуй поприще и средства, предоставленныя или избранныя каждымъ изъ нихъ, по обстоятельствамъ или волѣ. Такое сочувствіе, согласіе нельзя назвать подражаніемъ: оно, напротивъ, невольная, но возвышенная *стачка* (не умѣю вѣрнѣе назвать) [1]) геніевъ, которые, какъ ни отличаются отъ сверстниковъ своихъ, какъ ни зиждительны въ очеркѣ дѣйствія, проведенномъ вокругъ ихъ Провидѣніемъ, но все въ нѣкоторомъ отношеніи подвластны общему духу времени и движимы въ силу какихъ-то мѣстныхъ и срочныхъ законовъ. Каждый мыслящій человѣкъ опредѣлитъ духъ времени, свойственный каждой эпохѣ; но мы, чтобы не увлекаться въ даль, оставили это выраженіе неопредѣленнымъ. Какъ книгопродавцы во времена Монтескьс требовали Персидскихъ писемъ отъ Французскихъ авторовъ, такъ, можно сказать, нынѣшнее поколѣніе требуетъ Бай-

[1]) Стачка, согласіе; стакиваться, сговариваться: судебное слово, употребленное въ Уложеніи (*Словарь Академіи Россійской*).

роновской поэзіи, не по модѣ, не по прихоти, но по глубоко въ сердцѣ заронившимся потребностямъ нынѣшняго вѣка. Во всѣ времена люди возвышенные, хотя впрочемъ и разногласные въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, были одной вѣры по нѣкоторымъ основнымъ мнѣніямъ; не смотря на слова ихъ, противорѣчащія одно другому, выдавалась и у нихъ невольная соотвѣтственность. Одни посредственные люди избѣгаютъ сего напитія вѣка, которое падаетъ сначала только на вершины, и уже послѣ съ нихъ разливается по дольнымъ отлогостямъ. Тутъ хвастать нечѣмъ; за то посредственные люди и бываютъ внѣ круга дѣйствія во время его производства, а обхватываются имъ уже послѣ, когда разливъ совершился и уже всеобъемлющъ. Этотъ феноменъ нравственнаго міра отыскивается на всѣхъ поприщахъ равно: и поэзіи, и политики, и всѣхъ великихъ соображеній, близкихъ сердцу и уму человѣка. Возьмите, напримѣръ, Вольтера и Руссо, двухъ антагонистовъ; они во многомъ другъ другу противорѣчили; часто, можетъ быть, заблуждались, каждый по своему направленію, но не найдется-ли и у нихъ во многомъ возвышенная стачка, о которой говорено выше? Съ кѣмъ Руссо имѣлъ болѣе сострой ства въ запросахъ: съ Вольтеромъ, или, напримѣръ, съ Фрероном ъ, или новѣйшимъ противоборникомъ графомъ де-Местромъ, который, въ пылу человѣколюбиваго краснорѣчія, говорилъ, что онъ воздвигнулъ-бы статую Вольтеру, но рукою палача. Отъ именъ, уже запечатлѣнныхъ вниманіемъ потомства, перейдемъ къ именамъ, еще не освященнымъ рѣшительнымъ его приговоромъ и подлежащимъ еще суду, отъ прорицателей понятій отвлеченныхъ человѣчества къ представителямъ положительныхъ запросовъ общежительства, Шатобріану и Бенжаменъ-Констану. Они завербованы политическими мнѣніями подъ знамена противоположныя; но во мнѣніяхъ, не прильнувшихъ къ настоящей минутѣ, въ истинахъ государственныхъ, вѣковѣчныхъ и возвышающихся надъ истинами условными, которыя брошены долу какъ будто на драку мелочнымъ страстямъ, они неумышленно, но въ рѣшительной необходимости сталкиваются между собою, хотя и расходятся послѣ. Нѣтъ двухъ истинъ, двухъ потребностей на одну и ту же минуту. Байронъ не изобрѣлъ

своего рода: онъ во-время избранъ былъ толмачомъ человѣка съ самимъ собою. Онъ положилъ на музыку пѣсню поколѣнія, онъ ввелъ новыя буквы, которыя напечатлѣли понятія и чувства, таящіяся подъ спудомъ за недостаткомъ знаковъ выразительныхъ. Какъ ни дѣлайте, а если хотите говорить языкомъ понятнымъ и умѣстнымъ, то вы отъ буквъ и правописанія этого языка не отдѣлаетесь: соображенія ихъ будутъ разныя, но средства для возбужденія разнообразныхъ понятій и впечатлѣній одни. Вотъ, можетъ быть, одна изъ характеристическихъ примѣтъ романтизма: освобождаясь отъ нѣкоторыхъ условныхъ правилъ, онъ покоряется потребностямъ. Въ немъ должно быть однообразіе, но это однообразіе природы, которое завсегда ново и заманчиво. Классицизмъ (разумѣется классицизмъ нынѣшній, прививной, ибо въ свое время онъ также былъ выраженіемъ вѣка) разнообразнѣе въ своихъ наружныхъ явленіяхъ, какъ игра искусственныхъ огней разноцвѣтнѣе сіянія солнца, какъ ложь можетъ быть разнообразнѣе истины. Истинное должно быть однообразно: въ вѣрномъ выраженіи чувства, въ сличеніи видимаго съ желаемымъ, въ отголоскѣ ощущеній и понятій, построенныхъ событіями, долженъ быть у возвышенныхъ людей одного времени одинъ общій діапазонъ, какъ въ инструментахъ различныхъ, но одинаковой доброты и въ рукахъ художниковъ разнаго искусства: звукъ, не сливающійся въ общую гармонію, звукъ фальшивый. Отзывы беззаботной мудрости Горація, оды Ломоносова, циническія шутки Вольтера были бы нынѣ фальшивыми звуками. Кромѣ цѣны ихъ эстетической, имѣютъ они и цѣну внутреннюю; только, подобно календарямъ нравственнаго міра, хороши они для справокъ и для узнанія времени, на которое они были изданы; но примѣненныя къ настоящему, они будутъ издавать анахронизмы, какъ несогласно съ прочими настроенный инструментъ издаетъ фальшивые звуки. По словамъ Вольтера, жалокъ тотъ, который подверженъ анахронизмамъ, жалокъ тотъ —

Qui n'a pas l'esprit de son âge;

можно примѣнить это правило личной жизни и къ жизни общества, возрастъ человѣка къ возрасту общества.

Извиняться-ли мнѣ передъ читателями за длинное отступленіе? Написаннаго не вырубить топоромъ, говоритъ пословица, а особливо же, если топоръ въ рукѣ авторскаго самолюбія. На всякій случай предоставимъ вырубку сѣкирѣ критики, а сами обратимся къ сонетамъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало. Отрывковъ отдѣльныхъ стихотвореній раздроблять не должно: лучшій отчетъ состоитъ въ представленіи самыхъ документовъ, подлежащихъ суду. Такъ мы и сдѣлаемъ, тѣмъ болѣе, что, когда дѣло идетъ о произведеніи иностранномъ, мы можемъ судить единственно о достоинствѣ въ цѣломъ. Подробности ускользаютъ отъ близорукости иностранцевъ. Основываясь на этомъ правилѣ, перевели мы только два сонета изъ перваго отдѣленія, потому что главное достоинство стихотвореній, въ немъ заключающихся, должно состоять въ способѣ выраженія, въ прелести, такъ сказать, не переносной, а особливо въ прозу. Возьмитесь, напримѣръ, перевести въ иностранную прозу нѣкоторыя изъ короткихъ, но жизни исполненныхъ, элегій Баратынскаго? Вы распустите живописное и яркое шитье искусной золотошвейки. Крымскіе же сонеты всѣ переведены нами, потому, что въ каждомъ изъ нихъ болѣе или менѣе встрѣчаются красоты безусловныя, цѣлыя. Можетъ быть, нѣкоторымъ изъ Русскихъ читателей, вообще довольно робкихъ и старообрядныхъ, покажется страннымъ яркій восточный колоритъ, наведенный на многіе изъ сонетовъ. Замѣтимъ для этихъ сѣверо-западныхъ читателей, что поэтъ переноситъ ихъ на Востокъ и что, слѣдовательно, должны они вмѣстѣ съ нимъ поддаться вдохновеніямъ восточнаго солнца, что наивосточнѣйшіе сравненія, обороты вложены поэтомъ, въ уста мирзы, который проводникъ Польскаго пилигрима, и еще, держась мнѣнія, изложеннаго выше, напомнимъ, что нѣкоторый отблескъ восточныхъ красокъ есть колоритъ поэзіи вѣка, что кисти Байрона, Мура и другихъ первоклассныхъ поэтовъ современныхъ напоены его радужными переливами. Мы сами почти готовы сознаться, что въ иныхъ мѣстахъ, хотя и очень рѣдко, польскій поэтъ увлекается въ выраженіяхъ и сравненіяхъ своихъ гиперболическою смѣлостью, сбивающеюся на дерзость въ глазахъ нашего гиперборейскаго благоразумія, что въ нѣко-

торыхъ уподобленіяхъ и оборотахъ встрѣчается у него что-то похожее на принужденіе, на изысканность; но самыя, повидимому, насильственныя уподобленія, выкупаются вѣрнымъ выдержаніемъ до конца, и во всѣхъ частяхъ, какъ, напримѣръ, въ первой строфѣ 8-го Крымскаго сонета. Этимъ способомъ поэтъ даетъ отчетъ въ своей смѣлости, и читатель, пораженный съ перваго раза неожиданностью, убѣждается постепеннымъ ея развитіемъ и пріучается къ ней. Кажется, за исключеніемъ не всегда довольно строгой экономіи въ употребленіи смѣлыхъ фигуръ и оборотовъ, критикѣ остается только похвалить въ Польскомъ поэтѣ богатство, роскошь воображенія, сильное и живое чувство поэтическое, которое у него вездѣ выдается, и въ вѣрномъ, свѣжемъ выраженіи переливается въ душу читателя: мастерство необычайное, съ которымъ умѣлъ онъ втѣснить въ сжатую раму сонета картины во всей полнотѣ красоты ихъ разнообразныя и часто исполинскія. Не беремся судить, всегдали слово, употребляемое имъ, вѣрно, и вмѣстѣ съ тѣмъ красиво, но и вчужѣ чувствуемъ, что оно выразительно и живописно, а это главное: на красивость, какъ и на все относительное, бываетъ пора. Иное слово, которое было въ употребленіи у народа въ старину и нынѣ отброшено тиранствомъ употребленія, можетъ со временемъ отыскать свои права на уваженіе. Аббатъ Галіани справедливо обвиняетъ Вольтера за лексиконскія и грамматическія примѣчанія его на Корнеля, въ которыхъ уличалъ онъ трагика, что такое-то слово, такое-то выраженіе, употребленное имъ, неправильно по-Французски. „Также было-бы „глупо увѣрять меня“, прибавляетъ аббатъ, „въ своенравномъ „движеніи полуденной живости, что Цицеронъ и Виргилій, хотя „Итальянцы, не такъ чисто писали по-Итальянски, какъ Бок„качіо и Аріостъ. Какое дурачество! Каждый вѣкъ и каждый „народъ имѣютъ свой живой языкъ, и всѣ равно хороши. Каж„дый пишетъ на своемъ. Мы не знаемъ, что подѣлается съ „Французскимъ, когда онъ будетъ мертвымъ языкомъ; но легко „случиться можетъ, что потомство вздумаетъ писать по-Фран„цузски слогомъ Монтаня и Корнеля, а не слогомъ Вольтера. „Мудренаго тутъ ничего-бы не было. По Латынѣ пишутъ сло-

„гомъ Плавта, Теренція, Лукреція, а не слогомъ Пруденція, „Апполинарія и прочихъ, хотя Римляне, безъ сомнѣнія, были „въ IV-мъ вѣкѣ болѣе свѣдущи въ Астрономіи, Геометріи, Ме„дицинѣ, Литературѣ, чѣмъ во времена Теренція и Лукреція. „Это зависитъ отъ вкуса, а мы не можемъ предвидѣть и уга„дать вкусъ потомства, если притомъ будетъ у насъ потомство „и не вмѣшается въ это дѣло общій потопъ".

По крайней мѣрѣ, мы въ переводѣ своемъ не искали красивости (élégance) и дорожили болѣе вѣрностью и близостью списка. Стараясь переводить какъ можно буквальнѣе, слѣдовали мы двумъ побужденіямъ: во первыхъ, хотѣли показать сходство языковъ Польскаго съ Русскимъ, и часто переносили не только слово въ слово, но и самое слово Польское, когда отыскивали его въ Русскомъ языкѣ, хотя и съ нѣкоторымъ измѣненіемъ, но еще съ знаменіемъ родовымъ. Не всегда могли мы это дѣлать, ибо въ перенесеніи своемъ многія слова, хотя и сохранившіяся, но испытали превратности фортуны, и то-же слово, которое въ Польскомъ языкѣ стоитъ на высшихъ ступеняхъ лексиконской іерархіи, на нашемъ служитъ для черной работы, и обратно. Съ переводомъ сонетовъ, здѣсь приложеннымъ, и не знающіе Польскаго языка, сличая списокъ съ подлинникомъ, дойдутъ легко до удовлетворительныхъ убѣжденій въ истинѣ сказаннаго замѣчанія. Вторымъ побужденіемъ къ неотступному переложенію было для насъ и увѣреніе, что близкій переводъ, особливо же въ прозѣ, всегда предпочтительнѣе такому, въ которомъ переводчикъ болѣе думаетъ о себѣ, чѣмъ о подлинникѣ своемъ. Прямодушный переводчикъ долженъ подавать примѣръ самоотверженія. Награда его ожидающая: тихое удовольствіе за совершеніе добраго дѣла и признательность одолженныхъ читателей, а совсѣмъ не равный участокъ въ славѣ автора, какъ многіе думаютъ. Конечно, не каждый читатель будетъ въ состояніи, или захочетъ дать себѣ трудъ разобрать въ неубранномъ спискѣ достоинство подлинника, но за то художники вѣрнѣе поймутъ его, не развлеченные посторонними усиліями самолюбиваго переводчика. Любитель зодчества не удовольствуется красивымъ изображеніемъ замѣчательнаго зда-

пія: любя науку свою, онъ подорожитъ болѣе голымъ, но вѣрнымъ и подробнымъ чертежомъ, передающимъ ему также буквально всѣ средства, мысли и распоряженія зодчаго. Какъ обыкновенно для каждаго зданія составляютъ два плана, одинъ вчернѣ, другой набѣло, такъ должно, кажется, поступать и въ переводахъ, особливо же съ подлинниковъ мало извѣстныхъ или подлежащихъ изученію художниковъ. Предоставляя другимъ блестящую часть труда, смиренно ограничиваюсь существеннѣйшею, и представляю здѣсь читателямъ переводъ вчернѣ.

УТРО И ВЕЧЕРЪ.

Солнце сіяетъ на восходѣ въ вѣнцѣ пламенныхъ облаковъ, а на западѣ меркнетъ блѣдное лицо луны. Роза обращаетъ къ солнцу развивающіяся почки; фіялка клонится, отягченная слезами утра.

Лаура блеснула въ окнѣ: я палъ на колѣни; она ласкала кудри своихъ распущенныхъ волосъ: „отъ чего“, спросила, „такъ рано печальны очи у васъ: мѣсяцъ, фіялка, и у тебя, мой возлюбленный?“

Вечеромъ пришелъ я насладиться новымъ зрѣлищемъ: возвращается мѣсяцъ, лицо его полно и румяно; фіялка подымаетъ листки, освѣженные сумракомъ.

Снова явилась у окна моя милая, но еще въ прелестнѣйшемъ уборѣ и съ радостнѣйшимъ взглядомъ; снова палъ я на колѣни передъ нею, такъ же печаленъ, какъ утромъ.

Покорность [1]).

Несчастливъ, кто напрасно молитъ о взаимности; несчастливѣе тотъ, кого тяготитъ сердце праздное; но тотъ, по мнѣ, не-

[1]) Покорность. Въ подлинникѣ заглавіе сонета сего Resygnacya съ французскаго слова: Résignation, употребленнаго и Шиллеромъ. У насъ нѣтъ равнозначительнаго ему. Впрочемъ, кажется, здѣсь оно неумѣстно и не отвѣчаетъ содержанію сонета. Переводчикъ.

счастнѣйшій изъ всѣхъ, кто не любитъ и не можетъ забыть, что нѣкогда любилъ.

Глядя на очи пылающія и на безстыдныя чела, онъ отравляетъ воспоминаніями нѣгу, обольщающую его, и если прелесть и добродѣтель пробуждаютъ въ немъ чувство, онъ не смѣетъ съ сердцемъ поблекшимъ приблизиться къ ногамъ ангела.

Онъ или первыми пренебрегаетъ, или обвиняетъ себя предъ другими; минуетъ смертную и спѣшитъ посторониться [1]) передъ богинею, и, глядя на обѣихъ, прощается съ надеждою.

И сердце его подобно древней святынѣ, опустошенной непогодами и временемъ, въ которой божество не хочетъ обитать, а люди не смѣютъ.

---

[1]) Въ Польскомъ сказано: z drogi ustąpi bogini, то-есть: уступаетъ дорогу богинѣ, сходно съ французскимъ: céder le pas. Пер.

XXXIII.

СОНЕТЫ КРЫМСКІЕ.

Wer den Dichter will verstehen
Muss in Dichters Lande gehen.
Göthe.

Акерманскія степи.

Вплывая въ пространство сухаго океана, колесница [1]) ныряетъ въ зелени и какъ лодка зыблется среди волнъ шумящихъ нивъ, среди разлива цвѣтовъ, минуя багряные острова бурьяна [2]).

Уже сумракъ нисходитъ: нѣтъ ни стези, ни кургана; смотрю на небеса, ищу звѣздъ путеводительницъ ладьи; тамъ вдали блещетъ облако? Тамъ денница всходитъ? Нѣтъ, это блещетъ Днѣстръ, это загорѣлся маякъ Акерманскій.

Остановимся! Какъ тихо! Слышу, какъ тянутся журавли, которыхъ не достигнулъ бы взоръ сокола; слышу, какъ мотылекъ колышется на травѣ, какъ змія дотрогивается до растеній скользкою грудью. Въ этой тиши—такъ напрягаю ухо любопытное, что могъ бы услышать голосъ съ Литвы—ѣдемъ; никто не взываетъ.

Морская тишь.

На высотѣ Тарканкута.

Уже вѣтерокъ едва ласкаетъ ленты кормовой ставки, свѣтлѣющаяся вода разыгралась въ тихомъ лонѣ своемъ, какъ

[1]) Въ Польскомъ сказано woz возъ, повозка; жаль, что у насъ нѣтъ общаго Русскаго слова для выраженія: équipage. Пер.

[2]) На Украйнѣ называютъ бурьянами кусты травъ, которые лѣтомъ бываютъ покрыты цвѣтами и пріятно разнообразятъ равнины. Авторъ.

молодая невѣста, которой снится о счастіи, пробуждается, чтобы вздохнуть, и опять засыпаетъ.

Паруса, подобно хоругвямъ, по окончаніи битвы, дремлютъ на мачтахъ нагихъ; корабль легкимъ движеніемъ колышется, будто прикованный цѣпью: матросъ отдохнулъ; плаватели развеселились.

О море! посреди твоихъ рѣзвыхъ живчиковъ [1]) есть полипъ, который спитъ на днѣ, когда небо мрачно, а въ тишь развиваетъ онъ долгія рамена.

О мысль! въ твоей глубинѣ есть гидра воспоминаній: она спитъ въ годину бѣдствій и въ бурю страсти, но, когда сердце спокойно, оно вонзаетъ въ него когти свои.

Плаваніе.

Шумъ усиливается; морскія страшилища движутся толпами, матросъ взбѣжалъ по лѣстницѣ: готовьтесь, ребята! Взбѣжалъ, распростерся, повиснулъ въ невидимой сѣти, какъ паукъ, стрегущій движеніе ткани.

Вѣтеръ! вѣтеръ! Бьется корабль, срывается съ удила, раскачивается, ныряетъ въ пѣнистой мятели, заноситъ выю, затопталъ волны, и сквозь небеса летитъ, челомъ разсѣкаетъ облака, и вѣтеръ подъ крылья хватаетъ.

И мой духъ паритъ полетомъ мачты средь бездны; воображеніе вздувается какъ рупо [2]) паруса, невольный кликъ соединяю съ веселою толпою.

Вытягиваю руки, падаю на лоно корабля: кажется, грудь моя поддаетъ ему бѣгу. Легко мнѣ! любо! Знаю, каково быть птицею!

Буря.

Паруса сорваны, корма треснула, ревъ волнъ, шумъ вихря; голоса встревоженной громады, звонъ насосовъ зловѣщій, по-

---

[1]) Въ Польскомъ Zyjątek; это слово въ маломъ употребленіи на Польскомъ языкѣ, составлено было Трембецкимъ, на подобіе слова: zwierzątek, звѣрекъ. Слово: живчикъ существуетъ въ Русскомъ языкѣ, хотя и нѣтъ его ни въ Словарѣ Академіи, ни въ Словарѣ Церковномъ. Нельзя-ли примѣнить его къ живущей мелочи природы, къ малымъ тварямъ? Пер.

Примѣчаніе позднѣйшее: Въ Словарѣ Даля сказано: *живчикъ*, рыбка для ловли щукъ—о человѣкѣ: проворъ, егоза, непосѣда.

[2]) Въ Польскомъ warkocz, chevelure. У насъ нѣтъ подобнаго слова. Пер.

слѣднія верьви вырвались изъ рукъ матросовъ, солнце кроваво заходитъ, съ нимъ остатокъ надежды.

Торжественно буря завыла, а на влажныя горы, возносящіяся ярусами съ бездны морской, вступилъ Геній смерти и пошелъ къ кораблю, какъ ратникъ въ проломленныя стѣны.

Одни лежатъ полумертвые, другой ломаетъ себѣ руки, сей прощающійся падаетъ въ объятія друзей, иные предъ смертію молятся, чтобы смерть отогнать.

Одинъ путникъ сидѣлъ безмолвно въ сторонѣ и мыслилъ: Счастливъ, кто утратилъ силы, или кто умѣетъ молиться, или знаетъ, кому сказать прости!

Видъ горъ изъ степей Козловскихъ.

Пилигримъ и Мирза.

ПИЛИГРИМЪ.

Тамъ? Не Алла ли поднялъ оледенѣлое море? Не Ангеламъ ли отлилъ онъ престолъ изъ замерзшихъ облаковъ? Не Дивы ли [1]) вознесли стѣны изъ обломка вселенной, чтобы заградить каравану звѣздъ дорогу съ Востока?

Какое зарево на вершинѣ! [2]) Будто пожаръ Царь града! Не Алла-ли, когда ночь раскинула темный покровъ [3]), засвѣтилъ для міровъ, плавающихъ по морю природы, тѣ свѣтильники среди небеснаго круга!

МИРЗА.

Тамъ? Я туда доходилъ; тамъ зима обитаетъ: я видѣлъ, какъ клювы потоковъ и зѣвы рѣкъ пьютъ изъ ея гнѣзда; дохнулъ я, съ устъ моихъ летѣлъ снѣгъ; прокладывалъ слѣды тамъ, гдѣ орлы дороги не вѣдаютъ, гдѣ конецъ странствію облаковъ; я прошелъ мимо грома, дремлющаго въ колыбели изъ тучъ, тамъ, гдѣ надъ чалмою моею была только звѣзда. Это Чатырдагъ [4])!

[1]) Дивы, по древней Персидской миѳологіи, злые геніи, нѣкогда царствовавшіе на землѣ, потомъ изгнанные Ангелами и нынѣ живущіе на концѣ міра, за горою Кафъ. Авт.

[2]) Вершина Чатырдага, по закатѣ солнца, отъ отражающихся лучей, кажется нѣсколько времени пламенѣющею. Авт.

[3]) Въ Польскомъ употреблено Татарское слово: хилатъ, халатъ. Пер.

[4]) Самая высокая въ цѣпи горъ Крымскихъ, на южномъ берегу. Она видна изъ дали почти въ 200-хъ верстахъ, съ разныхъ сторонъ, въ видѣ исполинской тучи синеватаго цвѣта. Авт.

ПИЛИГРИМЪ.

Ага!!

Бахчисарайскій дворецъ.

Еще и нынѣ величественное, уже пусто наслѣдіе Гиреевъ; по преддверіямъ, нѣкогда вытираемымъ лбами пашей, по софамъ, престоламъ власти и убѣжищамъ любви, нынѣ скачетъ саранча и вьется гадъ.

Сквозь оконъ разноцвѣтныхъ, плющъ, продираясь по нѣмымъ стѣнамъ и сводамъ, завладѣлъ созданіемъ человѣковъ во имя природы и пишетъ чертами Вальтасара [1]): развалина.

Посреди храмины чаша, высѣченная изъ мрамора: это фонтанъ гарема, уцѣлѣвшій донынѣ; онъ точитъ перловыя слезы и разноситъ по пустынѣ голосъ свой:

Гдѣ-же вы, о любовь, власть и слава? Вамъ надлежало пребыть навѣки, струя шибко уплываетъ! О позоръ! васъ не стало, а струя журчитъ и понынѣ!

Бахчисарай ночью.

Расходятся изъ Джамидовъ [2]) набожные жители, отголосокъ изана теряется въ тиши вечерней; закраснѣлась заря рубиновымъ лицомъ. Сребристый царь ночи спѣшитъ опочить при возлюбленной.

Блистаютъ въ гаремѣ небесъ вѣчные пламенники звѣздъ; посреди ихъ плаваетъ по сапфирному пространству одно облако, какъ сонный лебедь на озерѣ: бѣлыя перси его отливаются золотомъ по краямъ.

Здѣсь падаетъ тѣнь съ минарета и верховъ кипариса; далѣе, полукружіемъ чернѣются исполины гранитные, подобные сатанамъ, сидящимъ въ диванѣ Эвлиса [3]).

---

[1]) Пророчество Даніилово, V, 25, 26, 27 и 28. Авт.

[2]) Месдзидъ или Джами—обыкновенныя мечети. Извнѣ, по угламъ ихъ, возвышаются тонкія башенки, называемыя минаретами (менаре); онѣ въ половинѣ своей высоты бываютъ обведены галлереею (шурфе), съ которой мюеззины, или извѣстители, созываютъ народъ къ молитвѣ. Этотъ призывъ съ галлереи называется изаномъ. Пять разъ въ день, въ опредѣленные часы, повторяется изанъ со всѣхъ минаретовъ, и чистый, далеко слышный голосъ мюеззиновъ пріятно раздается по городамъ мусульманскимъ, въ конхъ не слышно стука колесъ и царствуетъ величайшая тишина (Сенковскій, Collectanea, T. I, 68). *Авт.*

[3]) Эвлисъ, или Гаразель, у мугаммеданъ—Люциферъ. *Авт.*

Подъ наметомъ мрака, иногда на вершинѣ ихъ пробуждается молнія, и быстротою Фариса [1]) пробѣгаетъ по безмолвнымъ пустынямъ лазури.

Гробница Потоцкой [2]).

Въ странѣ весны, среди роскошныхъ садовъ, ты увяла, юная роза! Ибо мгновенія протекшаго, улетая отъ тебя, какъ золотые мотыльки, заронили въ глубину сердца червь воспоминаній.

Тамъ, на Сѣверѣ, къ Польшѣ, сіяютъ сборища звѣздъ; почему же по той стезѣ сіяетъ ихъ столько? Не твой ли взоръ, исполненный огня, предъ тѣмъ какъ угаснуть въ могилѣ, безпрерывно туда обращенный, зажегъ эти ясные слѣды?

Полячка! И я дни свои отживу въ скорби уединенной. Пусть здѣсь пріязненная рука броситъ мнѣ горсть земли. Путники, часто бесѣдуя при твоемъ гробѣ,

Пробудятъ тогда и для меня звуки языка роднаго, и вѣщій, замысля о тебѣ одинокую пѣсню, замѣтитъ близкую могилу и пѣсню заведетъ и про меня.

Могилы Гарема [3]).

Мирза къ пилигриму.

Здѣсь изъ виноградника любви взяты были на столъ Аллы недозрѣлыя кисти; здѣсь, съ моря утѣхъ и счастія, смерть

---

[1]) Рыцарь Арабскихъ Бедуиновъ. *Авт.*

[2]) Недалеко отъ дворца хановъ возвышается могила, устроенная въ восточномъ вкусѣ, съ круглымъ куполомъ. Есть преданіе въ Крыму, между простымъ народомъ, что памятникъ сей поставленъ былъ Керимъ-Гиреемъ невольницѣ, которую онъ любилъ страстно. Говорятъ, что она была полька, изъ дому Потоцкихъ. Сочинитель *Путешествія по Таврид*, Муравьевъ-Апостолъ, полагаетъ, что преданіе неосновательно, и что въ гробницѣ сокрыто тѣло какой-то грузинки. Не знаемъ, на чемъ онъ основываетъ свое мнѣніе, ибо возраженіе его, что татары въ половинѣ XVIII столѣтія не могли столь легко увозить невольницъ изъ дому Потоцкихъ, недостаточно. Извѣстны послѣдніе мятежи казаковъ на Украйнѣ, когда немалое число народа уведено и продано было сосѣднимъ татарамъ. Въ Польшѣ есть многочисленныя дворянскія семейства Потоцкихъ, и невольница могла и не принадлежать знаменитому дому владѣтелей Умани. Изъ простонароднаго разсказа о гробницѣ Бахчисарайской, Русскій поэтъ А. Пушкинъ, съ свойственнымъ ему талантомъ, написалъ повѣсть: *Бахчисарайскій Фонтанъ*. *Авт.*

[3]) Въ роскошномъ саду, среди высокихъ тополей и шелковицъ, находятся гробницы изъ бѣлаго мрамора Хановъ и Султановъ, ихъ женъ и родственниковъ. Неподалеку въ двухъ зданіяхъ лежатъ гробы, сваленные безпорядочно; они были нѣкогда богато обиты, нынѣ видны голыя доски и лоскутья савановъ. *Авт.*

преждевременно похитила перлы восточные и сложила ихъ въ мрачное лоно гробницы, раковины вѣчности.

Скрыла ихъ завѣса забвенія и времени; надъ ними, посреди сада, блещетъ хладная чалма [1]), какъ бунчукъ войска тѣней, и едва сохранились подъ нею имена, вырѣзанныя рукою гяура [2]).

О вы, розы Эдемскія! У источника непорочности отцвѣли дни ваши подъ листами застѣнчивости, навѣки утаенные отъ ока невѣрнаго.

Нынѣ гробницы ваши оскорбляетъ воззрѣніе иноземца. Позволяю, прости, о великій пророкъ! Онъ одинъ изъ иноземцевъ, смотрѣлъ на нихъ со слезами.

Байдары [3]).

Пускаю на вѣтеръ коня и не щажу ударовъ: лѣса, долины, скалы, то порознь, то вмѣстѣ, уплываютъ изъ-подъ ногъ моихъ, теряются, какъ волны потока; хочу обезумѣть, упиться вихремъ явленій.

А когда огненный конь не слушаетъ велѣній; когда міръ утрачиваетъ краски свои подъ саваномъ мрака: тогда въ моемъ разгорѣвшемся окѣ, какъ въ разбитомъ зеркалѣ, мелькаютъ привидѣнія лѣсовъ, долинъ и скалъ.

Спитъ земля, я не сплю, кидаюсь въ лоно морское; черный, вздутый валъ, съ шумомъ стремится къ берегу: склоняюсь къ нему челомъ, протягиваю руки.

Треснулъ надъ головою валъ, хаосъ меня окружаетъ, жду, пока мысль, какъ челнъ, вращаемый водоворотомъ, закружится и на мгновеніе потонетъ въ забвеніи.

Алушта днемъ [4]).

Уже гора отрясаетъ съ персей мглистые покровы, шумитъ раннимъ намазомъ [5]) нива златокласая, преклоняется лѣсъ и

---

[1]) Мусульмане ставятъ надъ гробами каменныя чалмы, разной формы, соотвѣтственно тому, мужчина или женщина покоится въ могилѣ. *Авт.*

[2]) Гяуръ—невѣрный. Такъ называютъ мусульмане христіанъ. *Авт.*

[3]) Прелестная долина, чрезъ которую обыкновенно въѣзжаютъ на южный берегъ Крыма. *Авт.*

[4]) Одно изъ самыхъ роскошныхъ мѣстъ Крыма; туда никогда не доходятъ сѣверные вѣтры и путникъ въ ноябрѣ часто ищетъ прохлады подъ тѣнью огромныхъ Итальянскихъ орѣшниковъ, еще зеленыхъ. *Авт.*

[5]) Молитва мусульманская, во время которой они сидятъ и кладутъ поклоны. *Авт.*

сыплетъ съ зеленыхъ волосъ, какъ съ четокъ калифовъ [1]), рубины и гранаты [2]).

Поляна въ цвѣтахъ, надъ поляною летучіе цвѣты—пестрые мотыльки, какъ бы коса радуги заслонила небеса брилліантовымъ балдахиномъ; далѣе, саранча тянетъ свой саванъ крылатый.

Тамъ, гдѣ лысая скала глядится въ водахъ, море кипитъ и, отраженное, новымъ приступомъ напираетъ; въ его пѣнѣ играетъ лучъ дневной, какъ въ очахъ тигра, предвѣщая свирѣпѣйшую бурю для земныхъ береговъ; а тамъ, въ открытомъ морѣ, волны легко колышутся, и въ нихъ купаются флоты и стаи лебедей.

Алушта ночью.

Свѣжѣетъ вѣтеръ, дневной зной утихаетъ; на рамена Чатырдага падаетъ лампада міровъ, разбивается, разливаетъ пурпурныя струи и гаснетъ. Заблудившійся пилигримъ, оглядывается, вслушивается.

Уже горы почернѣли, въ долинахъ глухая ночь, ручей лепечетъ, какъ сквозь сонъ, на ложѣ изъ цвѣтовъ, говоритъ сердцу языкомъ, утаеннымъ отъ уха.

Засыпаю подъ крылами тишины и сумрака; вотъ будятъ меня поражающія блески метеора; небеса, долъ и горы облилъ потопъ золота.

Ночь восточная! Ты подобно восточной одалискѣ ласками усыпляешь, а когда сонъ уже близокъ, ты искрою ока вновь пробуждаешь къ ласкамъ.

Чатырдагъ.

Мирза.

Трепещущимъ мусульманиномъ цѣлую подошвы твоей твердыни, мачта Крымскаго корабля! Великій Чатырдагъ! О минаретъ вселенной! Падишахъ горъ [3])! ты отъ дольнихъ скалъ убѣжалъ въ облака.

---

[1]) Мусульмане употребляютъ во время молитвъ четки; у знатныхъ особъ бываютъ они изъ драгоцѣнныхъ камней. *Авт.*

[2]) Дерева гранатныя и шелковичныя, съ краснѣющимися прелестными плодами, встрѣчаются вездѣ, на всемъ южномъ берегу Крыма. *Авт.*

[3]) Титулъ Турецкаго султана. *Авт.*

Сидишь себѣ подъ вратами небесными, какъ высокій Гавріилъ [1]), стерегущій Эдемскую обитель. Темный лѣсъ твой плащъ, и янычары ужаса вышиваютъ струями молній твою чалму, сотканную изъ облаковъ.

Печетъ ли насъ солнце, осѣняетъ ли мгла, пожираетъ ли саранча нашу жатву, гяуръ предаетъ ли огню наши домы, Чатырдагъ! ты завсегда пребываешь глухъ, неподвиженъ.

Между міромъ и небомъ, какъ дрогманъ созданія, подостлавши подъ стопы свои землю, людей, громы, ты внимаешь только тому, что́ Богъ глаголетъ творенію.

Пилигримъ.

У ногъ моихъ страна богатствъ и прелестей, надъ головою небо ясное, кругомъ пригожія лица: отчего же сердце порывается въ края далекіе, и увы! во времена еще отдаленнѣйшія!

Литва! для меня очаровательнѣе пѣли твои шумящіе лѣса, чѣмъ соловьи Байдары и Сальгирскія дѣвы [2]); веселѣе было топтать твои влажныя тундры, чѣмъ рубиновыя ягоды и золотые ананасы.

Я такъ далеко! Сколько различныхъ приманокъ меня привлекаетъ: отчего же въ раздуміи вздыхаю безпрерывно о той, которую любилъ на утрѣ дней моихъ?

Она въ милой отчизнѣ, у меня отнятой, гдѣ ей все повѣдаетъ о вѣрномъ другѣ; попирая мои свѣжіе слѣды, помнитъ ли она обо мнѣ?

Дорога надъ пропастью въ Чуфутъ-Кале [3]).

МИРЗА И ПИЛИГРИМЪ.

Мирза.

Сотвори молитву, брось повода, отврати лицо; здѣсь сѣдокъ довѣряетъ свой разсудокъ ногамъ коня [4]). Добрый конь! смотри,

---

[1]) Оставляю имя Гавріила, какъ болѣе извѣстное, но собственно, стражъ неба— по восточной миѳологіи, есть Рамегъ (созвѣздіе Арктура, одна изъ двухъ большихъ звѣздъ, называемыхъ есъ-семекейнъ). *Авт.*

[2]) Сальгиръ, рѣка въ Крыму, вытекающая изъ подошвы Чатырдага. *Авт.*

[3]) Чуфутъ-Кале, мѣстечко на высокой скалѣ; домы, стоящіе на берегу, подобны гнѣздамъ ласточекъ: тропинка, ведущая на гору, весьма трудна и виситъ надъ бездною. Въ самомъ городѣ, стѣны домовъ почти соединяются съ краемъ скалы изъ оконъ взоръ теряется въ неизмѣримой глубинѣ. *Авт.*

[4]) Конь Крымскій, въ трудныхъ и опасныхъ проѣздахъ, кажется, имѣетъ осо-

какъ онъ сталъ, мѣритъ окомъ глубину, гнетъ колѣна, уцѣпляется копытомъ о края берега.

И повисъ! Туда не гляди, тамъ опущенный взоръ какъ въ кладязѣ Ал-Каира о дно не ударится. И руки туда не протягивай, рука твоя не крыло; и мысли туда не опускай, ибо мысль какъ якорь, съ мелкой ладьи брошенный въ неизмѣримость, ринется перуномъ, во дно морское не вонзится и ладью съ собою опрокинетъ въ бездну хаоса.

ПИЛИГРИМЪ.

Мирза! а я заснулъ! сквозь щель міра тамъ видѣлъ—чтожъ видѣлъ, повѣдаю послѣ смерти, ибо на языкѣ живущихъ нѣтъ на то выраженія.

Гора Кикинеисъ.

МИРЗА.

Взгляни въ пропасть; тамъ небеса лежащія: это море; среди валовъ сдается, что птица-гора [1]), убитая громомъ, расточила свои мачтовыя перья въ очеркъ обширнѣйшій, чѣмъ радужная полоса.

И накрыла снѣжнымъ островомъ голубую степь водъ Островъ плавающій въ безднѣ—туча [2]): съ ея лона падаетъ на полъ-міра темная ночь. Видишь-ли на челѣ ея огнистую ленту

Это молнія! Но пріостановимся; бездна подъ ногами: должно взмахомъ коня перескочить ущелье; я кинусь, ты будь готовъ съ бичемъ и шпорою;

Когда сгину изъ очей, смотри на тотъ край скалы; если тамъ блеснетъ перо, то это будетъ чалма моя; если нѣтъ, то знай: людямъ не ѣхать по той дорогѣ.

бый инстинктъ предосторожности и увѣренности. Прежде нежели сдѣлаетъ шагъ держа ногу на воздухѣ, онъ ищетъ камня и испытываетъ, можно ли стать ему безопасно. *Авт.*

[1]) Извѣстная изъ Тысячи одной ночи, славная въ Персидской миѳологіи и многократно восточными поэтами описанная птица Симургъ. „Она велика“, говоритъ Фирдуси въ Шахъ-Намэ, „какъ гора; сильна какъ крѣпость; слона уноситъ въ своихъ когтяхъ“... И далѣе: „увидѣвъ рыцарей, Симургъ сорвался, какъ туча, со скалы, на которой живетъ, и потянулся по воздуху какъ ураганъ, бросая тѣнь на войска конниковъ“. См. Гаммера, Geschichte der Redekünste Persiens. Вѣна. 1818, стр. 65. *Авт.*

[2]) Съ вершины горъ, вознесенныхъ за облака, взглянувъ на тучи, плавающія надъ моремъ, думается, что онѣ лежатъ на немъ, въ видѣ большихъ бѣлыхъ острововъ. Я смотрѣлъ на сіе любопытное явленіе съ Чатырдага. *Авт.*

Развалины замка въ Балаклавѣ. [1])

Сіи зàмки, развалившіеся въ обломкахъ безъ порядка, украшали и сторожили тебя, о Крымъ неблагодарный! Нынѣ торчатъ они на горахъ, какъ черепы великановъ, въ нихъ гнѣздятся гады или человѣкъ презрѣннѣе самыхъ гадовъ.

Взберемся на башню; ищу остатки гербовъ, есть и надпись, здѣсь можетъ быть имя богатыря, которое было ужасомъ войскъ и нынѣ дремлетъ въ забвеніи, обвитое какъ червь виноградным листомъ.

Здѣсь Грекъ высѣкалъ на стѣнахъ Аѳинскія украшенія; отсюда Итальянецъ металъ желѣза на Монголовъ и Меккскій пришелецъ пѣлъ пѣсню намаза.

Нынѣ чернокрылые коршуны облетаютъ гробницы; какъ на мѣстѣ, которое побито язвою, развѣваютъ съ башенъ вѣчно-черныя хоругви.

Аюдагъ.

Люблю смотрѣть, опершись на скалу Аюдага, какъ пѣнистыя волны, то въ черный строй сомкнувшись кипятъ, то какъ сребристые снѣга въ неисчетныхъ радугахъ великолѣпно кружатся.

Сокрушаются о мели, разбиваются о зыби, какъ рать китовъ облегаютъ берега, завоевываютъ сушь съ торжествомъ и вспять убѣгаютъ, меча за собою раковины, жемчуги и кораллы.

Подобно и у тебя на сердцѣ, юный поэтъ! Страсть часто воздымаетъ грозныя непогоды, но только примешься за лютню, страсть безвредно для тебя убѣгаетъ, погружается въ бездны забвенія и роняетъ за собою безсмертныя пѣсни, изъ коихъ вѣка соплетаютъ вѣнецъ для твоей главы".

Одинъ изъ сихъ сонетовъ: Чатыръ-Дагъ, былъ въ Петербургѣ переведенъ на Персидскій языкъ съ предисловіемъ переводчика и литографированъ. Намъ доставили буквальное преложеніе сего любопытнаго образца краснорѣчія восточнаго: подѣлимся удовольствіемъ нашимъ съ читателями и выпишемъ изъ него, что̀ показалось намъ особенно замѣчательнымъ.

---

[1]) Надъ заливомъ сего имени стоятъ развалины замка, построеннаго нѣкогда Греками, выходцами изъ Милета. Потомъ Генуэзцы построили на томъ же мѣстѣ крѣпость Чембало. *Авт.*

„Во дни счастія моего случилось мнѣ имѣть удовольствіе быть въ домѣ науки, въ гнѣздѣ письменъ, ученаго изъ ученыхъ, витіи изъ витій, свѣдущаго въ языкахъ Востока и единственнаго друга моего, г-на Сеньковскаго, Поляка; тамъ осчастливленъ я былъ встрѣчею и полезною бесѣдою, и вскорѣ потомъ связалъ узелъ знакомства съ молодымъ человѣкомъ, совершеннымъ, краснорѣчивымъ, мудрымъ, ученымъ, дружелюбнымъ, хочу сказать съ г-мъ Мицкевичемъ, Полякомъ, который въ изяществѣ поэзіи своего вѣка достигъ до высшей ступени лѣствицы совершенства и отличается среди ученыхъ своего отечества, и коего перлы риѳмъ прекраснаго блеска высоко цѣнятся знатоками Польскаго языка. Съ той поры, каждое мгновеніе присутствія его приносило мнѣ радость и счастіе. Но вскорѣ послѣ намѣреніе посѣтить страны чужія созрѣло въ немъ и, проливая мнѣ въ сладость пребыванія съ нимъ отраву прощаній, онъ поднялъ крылья полета своего изъ столицы С.-Петербурга къ землямъ Крыма.

„Полно скорбѣть объ отъѣздѣ этомъ,
„Не здѣсь мѣсто повѣствовать о немъ“.

„Пробѣгая Крымъ, онъ остановилъ шаги и взоры свои передъ великою горою; при взглядѣ на сію гору море воображенія его взъерошилось огромными валами, и онъ нанизалъ на нить описанія каждый сребристый перлъ, брошенный на берегъ риѳмы. Онъ желалъ, чтобы твореніе его было переведено на языкъ Персидскій; по причинѣ старинной пріязни, въ которой онъ жилъ съ бѣднымъ (со мною), онъ благоволилъ приказать ему перевесть оное стихами. Чувствуя въ себѣ недостатокъ дарованія бѣдный, бѣдный, Мирза Джафаръ, Бенъ-Алимъ Данъ-Бегъ, уроженецъ Тусскій, сынъ Топчи-Баши, извинился. Но послѣ, разсудивъ во-первыхъ, что должно задобрить къ себѣ сердца друзей, а во-вторыхъ, что доселѣ никто еще не переводилъ Европейскихъ стихотвореній на Персидскій языкъ, онъ покорился симъ двумъ побужденіямъ, и они ухватились за воротъ его воли, такъ, что по возможности онъ пропустилъ это твореніе на нить риѳмы и изъясненія.

„Пространно расплодился я въ рѣчи своей, но надѣюсь, что закинутъ полу забвенія на то, что́ было“.

Для пополненія сей статьи о сонетахъ Польскихъ, впрочемъ и такъ уже слишкомъ обширной, сообщаемъ здѣсь и еще приложеніе, которое, безъ сомнѣнія, удостоится вниманія читателей, въ совершенно другомъ отношеніи. Заслуженный поэтъ, покоящійся на лаврахъ, но еще чувствительный къ воззваніямъ поэзіи и вѣрно откликающійся на ея голосъ, былъ такъ сильно пораженъ красотою сонетовъ, что внезапно и, такъ-сказать, невольно перевелъ одинъ изъ нихъ стихами.

Плаваніе.

Морскія чудища взвозилися толпами;
Волненье, шумъ! Матросъ по вервіямъ бѣжитъ;
Готовьтесь, молодцы! товарищамъ кричитъ.
Взбѣжалъ, и размахнувъ проворными рѹ̀ками,
Въ невидимой сѣти повиснулъ, какъ паукъ,
Стрегущій ткань свою въ движеніяхъ ея.
О радость! вѣтръ! Корабль, какъ съ удила сорвался;
Зашевелился, раскачался,
Ныряетъ въ пѣнистыхъ зыбяхъ..
Подъемлетъ выю, топчетъ волны;
Челомъ бьетъ облакъ, мчится къ небу,
И вѣтръ опъ забралъ подъ крыло,
Съ нимъ вмѣстѣ и поэтъ средь бездны
Уносится порывомъ мачты;
Надулся духъ его, какъ парусъ, и съ толпой,
Невольно, шумнымъ онъ восторгамъ предался;
Соплещетъ спутникамъ, припалъ на край громады,
И грудью мнитъ ея движенью помогать;
О, какъ ему легко и любо!
Отнынѣ только онъ узналъ
Завидную пернатыхъ долю.

Надѣемся, что сей примѣръ побудитъ соревнованіе и въ молодыхъ первоклассныхъ поэтахъ нашихъ, и что Пушкинъ, Баратынскій освятятъ своими именами желаемую дружбу между Русскими и Польскими Музами. Пускай оденутъ они волшебными красками своими голое мое начертаніе, и такимъ образомъ выразятъ языкомъ живымъ и пламеннымъ то, что̀ я передалъ на языкѣ мертвомъ и безцвѣтномъ.

XXXIV.

ГРАФЪ МАРКОВЪ.

(некрологія).

1827.

Графъ Аркадій Ивановичъ Марковъ родился въ Москвѣ 6-го Января 1747 года. Еще въ ранней молодости вступилъ онъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ и находился при графѣ Стакельбергѣ во время посольства его въ Мадритъ, въ 1771 г. Потомъ переведенъ онъ былъ въ миссію Варшавскую, подъ начальство г-на Сальдерна, съ которымъ имѣлъ неудовольствіе по службѣ. Г-нъ Сальдернъ, негодуя на сопротивленіе оказываемое подчиненнымъ, держалъ его подъ арестомъ въ посольскомъ домѣ. Послѣ того, Марковъ былъ вытребованъ въ Петербургъ къ отчету въ своемъ поведеніи и оправдался съ такимъ успѣхомъ, что съ того времени графъ Панинъ отзывался о немъ императрицѣ Екатеринѣ, какъ о молодомъ человѣкѣ, одаренномъ отличными способностями, присутствіемъ и твердостью духа, обнаруживающими въ немъ признаки государственнаго человѣка. Онъ причисленъ былъ къ Цареградскому посольству Князя Репнина, въ 1776 г., въ званіи секретаря посольства, и потомъ назначенъ въ Гагу; здѣсь получилъ онъ отъ императрицы повелѣніе, въ 1778 году, отправиться въ Парижъ, для исполненія порученія тайнаго и важнаго, о коемъ посолъ при Версальскомъ Дворѣ, князь Барятинскій, не имѣлъ полнаго свѣдѣнія. Марковъ оправдалъ въ семъ случаѣ довѣренность императри-

цы и достигъ переговорами предназначенной цѣли, съ умѣньемъ и успѣхомъ. Вскорѣ за тѣмъ былъ онъ назначенъ полномочнымъ посланникомъ въ Стокгольмъ и сопровождалъ короля Шведскаго въ путешествіи его по Италіи. Въ 1786 году императрица опредѣлила его третьимъ членомъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, по смерти тайнаго совѣтника Бакунина. Во время ея путешествія въ Полуденную Россію, къ донесеніямъ вице-канцлера Марковъ прибавлялъ всегда свои сужденія и замѣчанія: они обратили на себя благосклонное вниманіе государыни; по возвращеніи своемъ, она призывала Маркова къ себѣ на совѣщанія, и вскорѣ потомъ на него одного возложено было составленіе всѣхъ важныхъ бумагъ, изъ Русскаго кабинета исходящихъ; ему же была поручена и вся переписка съ посломъ нашимъ въ Вѣнѣ и посланникомъ въ Берлинѣ въ продолженіе переговоровъ трехъ державъ по дѣламъ Польши. Императрица уважала политическія мнѣнія его и съ каждымъ днемъ болѣе цѣнила его дарованія и способность къ работѣ. Быстро переходилъ онъ изъ чина въ чинъ, отъ почести къ почести; въ царствованіе императрицы пожалованы были ему ордена: Св. Владиміра, Александра Невскаго; графское достоинство имперіи; прекрасный домъ въ Петербургѣ и богатыя помѣстья въ Подольской губерніи и въ Бѣлоруссіи. Все предсказывало ему еще блистательнѣйшіе успѣхи; но съ восшествія на престолъ Павла I-го до кончины его графъ Марковъ жилъ въ своихъ деревняхъ. Императоръ Александръ послалъ его въ Парижъ заключить миръ съ Французскою республикою и назначилъ его полномочнымъ посланникомъ при консулѣ. Европейская политика приняла тогда другое направленіе: всё предзнаменовало прозорливому взору, что Франція присвоитъ себѣ господство непомѣрное, если заранѣе не станутъ съ твердостью и постоянствомъ противиться властолюбію необыкновеннаго человѣка, схватившаго бразды правленія. Графъ Марковъ съ перваго взгляда усмотрѣлъ опасность и указалъ на нее: смѣлость ума его не понравилась Бонапарту; сначала старался онъ уловить его въ свои сѣти обольщеніемъ, но, видя свои усилія тщетными, рѣшительно возсталъ противъ него. Графа Маркова вызвали изъ Парижа, но

съ почестью; передъ самымъ прекращеніемъ его посольства присланъ ему былъ орденъ Св. Андрея Первозваннаго.

Съ возвращенія его въ Россію, онъ не былъ употребленъ по дѣламъ. Политика нашего кабинета перемѣнилась и не была уже въ согласіи съ мнѣніями, обнаруженными графомъ Марковымъ. Онъ удалился въ деревню въ 1804 г.; но и въ тишинѣ сельской жизни усердіе его къ пользѣ отечества и умственная дѣятельность еще увлекали его мысленно на сцену политическихъ событій. Онъ сообщалъ по временамъ правительству записки о современныхъ дѣлахъ, и, между прочимъ, въ 1808 г. изложилъ свои мнѣнія о важности воспользоваться возстаніемъ Испанскаго народа и неудачами Наполеона на Пиренейскомъ полуостровѣ, чтобы свергнуть вліяніе, похищенное Наполеономъ надъ Европою, вслѣдствіе Тильзитскаго мира.

Наконецъ, въ 1820 г. графъ Марковъ назначенъ былъ членомъ въ Государственный Совѣтъ и пробылъ въ званіи семъ до самой кончины, воспослѣдовавшей 29-го Января 1827 года; ему было отъ роду 80 лѣтъ и 23 дня [1]). Онъ погребенъ въ монастырѣ Александра Невскаго съ почестями, приличными его сану. Въ послѣдніе годы его жизни, ослабленіе физическихъ силъ отозвалось и въ умственныхъ его силахъ: бремя лѣтъ тяготѣло на немъ. Въ эти годы онъ страстно предался карточной игрѣ, по цѣлымъ вечерамъ и до поздней ночи былъ онъ прикованъ къ ломберному столу и одну за другою возобновлялъ онъ партіи бостона, или виста.

Дипломатическое поприще покойнаго было означено многими блестящими слѣдами: имя его принадлежитъ лѣтописямъ нашей современной исторіи. Общій голосъ, судящій часто о людяхъ и событіяхъ по невѣрнымъ соображеніямъ и частнымъ догадкамъ, обвинялъ его нѣсколько въ неудачѣ переговоровъ, долженствo-

[1]) Въ «Сѣверной Пчелѣ» ошибочно напечатано 87 лѣтъ графу Маркову. Извѣстіе о смерти его, напечатанное въ сей газетѣ, замѣчательно по своей сухой краткости, тѣмъ болѣе, что въ слѣдъ за нимъ находится другое, о смерти французской актрисы, оживленное какимъ-то участіемъ. Мы не порочимъ сего участія, заслуженнаго дарованіемъ покойной актрисы, но въ правѣ удивляться, что издатели Русской газеты не могли замолвить признательнаго слова въ память человѣка, съ честью служившаго отечеству.

вавшихъ въ царствованіе Екатерины утвердить семейными узами сношенія двора нашего съ Шведскимъ дворомъ, но обстоятельства и подробности этого дѣла еще недостаточно объяснены; другое обвиненіе, на графа Маркова падающее, относится къ поведенію его, неуклончивому немиролюбивымъ и слишкомъ рѣзко высказываемымъ притязаніямъ, которыя онъ обнаруживалъ во время пребыванія своего при первомъ консулѣ. Можетъ быть, не доставало ему одного свойства, нужнаго дипломату: осторожности и скромности въ переговорахъ, при сохраненіи, впрочемъ, твердости и настойчивости. Дипломатическимъ *въ-полголоса* можно часто имѣть болѣе успѣха, нежели въ дипломатическомъ запальчивомъ кричаніи, а тутъ нашла коса на камень: и Наполеонъ былъ крикливъ и запальчивъ, и Марковъ не шелъ за словомъ въ карманъ.

Впрочемъ, въ отношеніи къ Наполеону событія оправдываютъ правила его и постоянное соблюденіе оныхъ. Особенно 1812 годъ и послѣдствія его, паденіе Наполеона и преимущественное участіе наше въ переворотѣ судьбы Европейской, отвѣчаютъ направленію, которое Гр. Марковъ хотѣлъ дать нашей и Европейской политикѣ.

Въ личномъ отношеніи замѣчательно, что онъ съ молодыхъ лѣтъ самъ образовалъ себя, не имѣвъ при воспитаніи своемъ удовлетворительныхъ пособій. Умъ его былъ тонокъ, проницателенъ; разговоръ занимателенъ, и оживленъ эпиграммическими вспышками. Извѣстно, что во время посольства въ Парижѣ, онъ не рѣдко отражалъ выходки консула колкими и твердыми отвѣтами. Жаль, что у насъ нѣтъ эха для подобныхъ преданій и что одни только оффиціальныя извѣстія спасаются отъ забвенія на листахъ послужныхъ списковъ и газетъ, сохраняющихъ эпохи и цѣльныя событія. За недостаткомъ красокъ, любопытныхъ матеріаловъ и вспомогательныхъ подробностей, должны мы ограничиваться въ начертаніи біографическихъ и некрологическихъ абрисовъ, однѣми голыми вѣхами, чтобы означить поприща мужей, достойныхъ вниманія согражданъ. Въ семъ сожалѣніи нашемъ заключается и оправданіе въ неполнотѣ некрологическаго извѣстія, представляемаго нами. Пользуясь

тѣмъ, что́ имѣемъ, сообщаемъ здѣсь одинъ анекдотъ о графѣ Марковѣ, извлеченный изъ памятныхъ записокъ достовѣрнаго собирателя. Во время посольства графа Маркова въ Стокгольмѣ, посѣтилъ онъ Дроттенгольмъ, королевскій замокъ. Главный смотритель надъ замкомъ, или кто-то изъ придворныхъ, указывая въ оружейной на три знамени, сказалъ ему: „Вотъ Русскія знамена, отбитыя при Петрѣ Первомъ и въ послѣдующія войны“.— „Да, это наши, отвѣчалъ Гр. Марковъ, но они стоили вамъ трехъ провинцій“. Вотъ еще сообщенное намъ дополненіе въ нашей статьѣ:

Когда Французская республика, по праву сильнаго, побѣдоноснымъ своимъ мечемъ межевала свои и чужія земли, Рейнъ утвержденъ былъ границею между Франціею и Европейскими державами къ востоку. Мѣра сія, на однѣхъ побѣдахъ основанная, побѣдами могла только быть и опровергнута; но тогда слава Наполеона была еще неприкосновенною; онъ возвращался изъ Маренго, а не съ острова Эльбы; Европа безмолствовала и всѣ Германскіе принцы, имѣвшіе владѣнія на лѣвомъ берегу Рейна, были безпощадно обобраны для округленія Французской границы. Одна Россія могла защитить угнетаемыхъ. Графу Маркову препоручена была сія трудная негоціація, которая, послѣ долгихъ преній съ Французскимъ министромъ Талейраномъ, стараніями Россійскаго дипломата увѣнчана была совершеннымъ успѣхомъ, и доставила всѣмъ лишеннымъ своихъ владѣній принцамъ вознагражденія въ другихъ странахъ Германіи [1]). На замѣчаніе, сдѣланное однимъ знаменитымъ Французскимъ генераломъ, въ тѣхъ же переговорахъ участвовавшимъ, что Россіи не должно-бы вмѣшиваться въ пріобрѣтенія, купленныя Французской кровію, Марковъ сдѣлалъ слѣдующее прекрасное возраженіе: Исторія передастъ потомству, что Французская республика съ оружіемъ въ рукахъ завоевала такія-то земли; но таже Исторія прибавитъ также, что стараніями и великодушіемъ Россійскаго императора владѣльцы оныхъ земель были возна-

[1]) Въ то время изъ Сенъ-Клудскаго кабинета выпущенъ былъ политическій памфлетъ, въ коемъ сказано было, что Россійскій посолъ хочетъ перемѣнить теченіе Рейна; графъ Марковъ отразилъ насмѣшки словомъ и дѣломъ.

граждены за свои потери. Не трудно догадаться, что въ концѣ 1811 года и въ началѣ 12-го, когда война между Франціею и Россіею, такъ сказать, чуялась въ воздухѣ и угрожала не только намъ, но съ нами и всей Европѣ, задорный Марковъ долженъ былъ быть большимъ ея поборникомъ. Авторитетъ его, сильная и меткая рѣчь подстрекали къ войнѣ Московское общественное мнѣніе. До Карамзина дошли слухи о воинственныхъ разглашеніяхъ его; весь тогда преданный историческому труду своему, онъ рѣдко выѣзжалъ изъ дома, и не посѣщалъ общества, былъ знакомъ съ Марковымъ и уважалъ его, но не былъ съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ. Однажды, послѣ обѣда, собирается онъ выѣхать: это удивило домашнихъ. Спрашиваютъ его: куда онъ ѣдетъ?—Къ Маркову.—За чѣмъ?—Мнѣ любопытно услышать и узнать, какъ умный человѣкъ можетъ, въ настоящемъ положеніи нашемъ, желать войны съ Наполеономъ. Онъ отправился. Часа два бесѣдовалъ онъ и спорилъ съ Марковымъ о предстоящемъ жгучемъ вопросѣ. Разумѣется и какъ обыкновенно водится, каждый, не вполнѣ убѣдивъ другаго, остался при своемъ мнѣніи. А жаль, что не было тутъ стенографа, который записывалъ бы пренія. Впрочемъ, на дѣлѣ выходитъ, что тотъ и другой были относительно правы. Карамзинъ не желалъ и просто страшился войны, потому что не признавалъ насъ готовыми къ ней. Противъ этого сказать нечего. Марковъ былъ самонадѣяннѣе, смѣлѣе, и, слѣдовательно, неосторожнѣе, но смѣлымъ Богъ владѣетъ, а особенно Русскій богъ, который не всегда бываетъ богомъ благоразумія и предусмотрительности: странныя бываютъ противорѣчія въ жизни и въ исторіи. Карамзинъ зналъ Россію, умственно выросъ въ ней и возмужалъ, изучилъ ее; Марковъ зналъ ее мало и болѣе поверхностно: любилъ ее болѣе политически, чѣмъ любовью семейною, сыновнею. Образованіе его, складъ ума, дипломатическая дѣятельность, дипломатическіе навыки и способности отчуждали его отъ Русской среды и Русскихъ партій. Карамзинъ любилъ Россію чистою, глубокою, кровною, вмѣстѣ съ тѣмъ и просвѣщенною любовью, а въ послѣдствіи оказалось, что правъ

былъ Марковъ, а не Карамзинъ. Провидѣніе, или случай, который Блудовъ называетъ *инкогнито* Провидѣнія, любитъ иногда подобными печаянностями озадачивать человѣческую мудрость и какъ будто подсмѣиваться надъ нею.

Графъ Марковъ, котораго остроуміе было нерѣдко безпощадно и жестоко, называлъ двухъ отставныхъ сановниковъ, живущихъ въ Москвѣ: les deux monuments ambulants du regne de la terreur.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.